

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ
МИР

1999

2

1999

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(886)

Февраль, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Начать сначала, стихи	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — В компьютерном окне, стихи	9
МИХАИЛ БУТОВ — Свобода, роман. Окончание	14
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ — Город и окрестности, стихи	60
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — И звезда ни гугу, стихи	63
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978). Продол- жение	67

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ СИМОНОВ — Либерализм и христианство. Размышления ученого на пороге XXI века	141
---	-----

МИР НАУКИ

НИКОЛАЙ КУРЕК — Разрушение психотехники. Послесловие Юрия Кублановского	153
--	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

ИРИНА СУРАТ — «Да приступлю ко смерти смело...». О гибели Пушкина	166
--	-----

ПОЛЕМИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Случай Хармса, или Оптический обман	183
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

По ходу текста

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Неподражательная странность	192
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. Деревенская проза ледникового периода	198
Дмитрий Быков. Последняя	207
Глеб Шульпяков. Записки из мертвого замка	212

Валерий Липневич. — Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо. Последние свидетели; Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики. Зачарованные смертью. Чернобыльская молитва	215
Вл. Новиков. — Андрей Немзер. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е	216

АНКЕТА

«ВЫРАЖАЕТСЯ СИЛЬНО РОССИЙСКИЙ НАРОД!». Отвечают Людмила Улицкая, Галина Щербакова, Михаил Бутов, Елена Невзглядова, Валентин Непомнящий, Валерий Белякович, Вера Павлова	219
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	227
Периодика (составитель Андрей Василевский)	230
SUMMARY	240

В конце ноября пришло горькое известие о гибели Андрея Сергеева. Джип сбил его, когда он возвращался вечером из одного литературного собрания. Случилось это в еще бесснежном городе, неожиданно схваченном морозом. В те дни даже асфальт на московских улицах непривычно побелел от холода.

Андрей Сергеев долгие годы пребывал в нише художественного перевода, где стал бесспорным мастером. Его переводы с английского старых и новых англо-американских поэтов признаны знатоками как образцовые.

В последние годы он открылся как самобытный поэт, острый эссеист, интересный прозаик, мемуарист. (В «Новом мире» печатались его поэма, стихи и короткие рассказы.)

Позднее признание, внезапная смерть, человеческое благородство, все расцветающий талант. Мы глубоко опечалены этой потерей.

Редколлегия «Нового мира».

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экзemplя журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

НАЧАТЬ СНАЧАЛА

* *
*

Поэзия — переливание крови
Шекспировской и пушкинской в того,
Кто держит ветхий томик в изголовье
Унынья и упадка своего,
Поистине запас гемоглобина,
Горячих кровяных приток телец —
И псковская пылает в них малина,
И стратфордских кленовых рощ багрец.

Поэзия — ты то же, что здоровье.
Я сделал бы такой доклад назло
Собравшимся, болезни и злословью
Приверженным и тайное тепло
Отвергнувшим; увы, плохой оратор,
Смущаясь, я рискнул бы заявить,
Что лучшие стихи — аккумулятор
Энергии. И жизни, стало быть.

* *
*

До свиданья, Кавказ, мы тебя любили
Больше, чем Кострому или Вятку, в гору
Поднималась арба в туче белой пыли,
И живому поэту погибший фору
В восемь лет баснословных давал, — в рогожу,
Очевидно, завернут или холстину? —
«В Эриване чума». — «В Ахалцике тоже».
Мертвый в гору, а всадник, смутясь, в долину.

И когда мне бывает тоскливо, с полки
Не бутылку шампанского (нет бутылки),
Не «Женитьбу» беру «Фигаро», а долгий
Этот путь вспоминаю и полдень пылкий,

Кушнер Александр Семенович родился в 1936 году в Ленинграде. Закончил филологический факультет Ленинградского пединститута им. Герцена. Автор двенадцати поэтических книг, последнюю из которых («Тысячелистник») составили стихи и эссе, частично опубликованные в нашем журнале. Лауреат премии «Северная Пальмира» и Государственной премии России. Наш постоянный автор.

Пост казачий, раскинутые палатки,
 Горы, словно их плавил и гранили,
 Горький дым, запах смерти и воздух сладкий
 И столичный журнал, где его бранили.

* *
 *

Усть-сысольский Христос деревянный
 С монголоидным круглым лицом
 И усами, скуластый и странный,
 Может верным служить образцом
 Местных мук и пермяцкой печали,
 Разведенных на камской воде.
 Что за блеклые краски и дали!
 А страданья примерно везде
 Одинаковы, разве чуть глуше
 На Урале они и темней.
 Кто считает несчастные души
 Среди бревен, болот и камней?

У природы суровой и хмурой
 Есть резон и величье свое.
 Любовался я бедной скульптурой:
 Не молиться же мне на нее!
 Да и как? Все равно не умею.
 С той и с этой зайду стороны,
 Понимая: еще пожалею
 Там, где счастливы все и равны.

* *
 *

Как Святой Себастьян у Беллини в саду
 Со стрелой гуляет в груди и бедре
 И не чувствует боли, и кустик в цвету
 О нездешней любви шелестит и добре,
 Так и ты удержать бы за гробом хотел
 Пусть не сами мученья, но символы мук.
 А попробуй страдальца избавить от стрел —
 Удивится, а то и обидится вдруг.

Эта пыль, эти поручни шатких перил...
 Слово «муки», признаюсь, смущает меня:
 Никогда я превыспренних фраз не любил,
 Лучше грязные голуби, их воркотня,
 Лучше жалкий, обиденный, будничныи план
 И размашистый шум городских тополей.
 Но ни язв не отдам, ни уколов, ни ран —
 Развлеку ими встречного в царстве теней.

* *
*

Как я прожил без автомобиля
Жизнь, без резкой смены скоростей?
Как бездарно выбился из стиля!
Пешеход я, господа, плебей.

Все равно что в Риме — без носилок,
Без рабов, несущих вчетвером
Их под солнцем, жалящим затылок
Сквозь толпу идущих напролом.

А еще читаю Цицерона!
И к Монтеню-всаднику на грудь
Припадаю, дабы отвлеченно
Он меня утешил как-нибудь.

Боже мой, сначала колесницы
Все проедут, все пройдут слоны,
Промелькнут все упряжи и спицы,
Фары все, мечтой распалены...

По дороге сумрачной и узкой
Вслед за ними двинемся пешком
В те края, что призрачно и тускло
За игольным светятся ушком.

* *
*

Со Смоленского кладбища ехали мы
В полегчавшем автобусе — прочь,
На поминки, в апреле, остатки зимы
Как руины лежали точь-в-точь,
По обочинам — залежи снега и тьмы.
Жаль нам было жену его, дочь.

А весенний огонь разгорался, текло
С крыш, автобус бежал, дребезжал,
Плохо знал я места эти — их развезло,
Грязь дымилась, и лед оплывал.
Тормозил наш конек и дышал тяжело,
Натыкался квартал на квартал.

Вдруг увидел я улицу: шла под углом,
Вся в слезах, незнакомая мне,
В безмятежном небесном сиянье дневном
И каком-то младенческом сне,
Пощаженная горем, забытая злом,
От несчастий и бед в стороне.

Только в детстве я видел такой на подбор
Тесно сомкнутый каменный ряд,
Защищающий жизнь, ослепляющий взор,
Обещающий счастье и лад,
Солнцем залитый, стройный, дымящийся хор,
Непрерывную милость громад.

Что? Еще раз родиться? Всему вопреки.
 И попробовать жизнь еще раз!
 О, как нравятся мальчикам грузовики
 И автобусы «ЗИЛ» или «ГАЗ»,
 Тайны взрослых, — у страха глаза велики,
 Тайны статуй, — железный каркас,
 Великанш под карнизом глазные белки,
 Чудо рук их лепных и гримас...

Это все только подступы, черновики —
 И бессмертного счастья запас!

* *
 *

Смысл постичь небесный, сущность бледную
 Райских роц, мерцания зеркал...
 Камеру сменить велосипедную
 В десять раз трудней, но я — менял!

Перепахав руки, плоский гаечный
 Ключ просунув между колесом
 И резиной — так что вздох упадочный
 Мне смешон, мистический излом.

Боже мой, дорога поселковая
 С бабочкой, привыкшей падать ниц,
 Как листок, плашмя, — дымно-пунцовая,
 Пыльная, не различая спиц.

Вот чего не будет там, наверное,
 Это гайки, тормоза, цепи,
 Контргайки и ключа резервного,
 Черт бы их побрал, но... потерпи.

* *
 *

Я думаю, когда Гомер писал
 Прощание героя с Андромахой,
 Не старцем был он, — плакал и пылал
 И слезы утирал, смутясь, рубахой,
 Заглядывая в пасть тоски, — оскал
 Ее сквозит за лирой-черепахой!

И славил он спасительную тьму,
 На элинов наброшенную свыше...
 Лет двадцать пять, я думаю, ему,
 От силы тридцать было...

Рассмотри же

Ахиллов щит, всю эту кутерьму
На нем, дворцы, и пастбища, и крыши...

Не он слепец, а ты — в сравненье с ним!
Очки сними и брось их в пыльный угол.
Он видел все, он слишком молодым
Был в этом мире нимф и старых пугал,
Которым ветхий миф необходим,
И сонный стих, чтоб нежил их, баюкал, —
А он отверг весь этот жирный грим,
И сам любил, и жарко был любим,
И презирал ученых, пыльных кукол.

* *
*

Шли дорогой заросшей,
А когда-то проезжей,
И скользили подошвы
По траве запотевшей,
И две бабочки рядом
С нами, нам подражая,
Вились, шелком крылатым
Долго нас провожая.

О, какая глухая
И забытая всеми;
Сонно благоухая
И дымясь, как в эдеме,
До чего ж она густо
Заросла, лежебока!
Неужели искусство
Зарастет, как дорога?

Может быть! Почему бы
И не стать ему лишним?
Заговаривать зубы
Сколько можно? Всевышний
Даст нам лучшие игры
И другие улады:
Вот ведь Криты и Кипры
Рухнули и Эллады.

И кино не похоже
На себя: приуныло.
Да и живопись тоже
В тупике, и чернила
Стихотворные блёклы.
Тем приятней и слаще
Нам брести одиноко
По заросшей и спящей.

* *
*

Эта песенка Шуберта, ты сказала.
Я всегда ее пел, но не знал откуда.
С нею, кажется, можно начать сначала
Жизнь, уж очень похожа она на чудо!

Что-то про соловья и унылый в роше
Звук, немецкая роща — и звук унылый.
Песня тем нам милей, чем слова в ней проще,
А без слов еще лучше, — с нездешней силой!

Я всегда ее пел, обходясь без смысла
И слова безнадежно перевирая.
Тьма ночная немецкая в ней нависла,
А печаль в ней воистину неземная.

А потом забывал ее лет на десять.
А потом вновь откуда-то возникала,
Умудряясь дубовую тень развесить
Надо мной, соблазняя начать сначала.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ



В КОМПЬЮТЕРНОМ ОКНЕ



Весть не буквальная. Я вижу как во сне
Яйцо пасхальное в компьютерном окне.

Яйцо расцвечено: по тонкой скорлупе
Мария мечется в смеющейся толпе.

А кровь распятая жалеет палачей,
И три крылатые свечи для трех ночей

С креста возносятся и знаки подают, —
И Богородица припоминает тут

Те ясли тесные, где Сына родила,
А весть архангела поныне ей светла.

24 мая 1998.

Жизнь

Улыбкой слезу
Стираю с лица, —
Кому же к лицу
То хворь, то ленца?

Хочу — не в подъем,
В подъем — не хочу, —
Вот так день за днем
Я жизнь волочу.

Ленись не ленись,
Болей не болей.
А все-таки жизнь
Всех жалоб умней:

Снимает как смерч
С насиженных мест.
Она — моя речь,
А я — ее жест.

4 июня 1998.

Лиснянская Инна Львовна родилась в Баку. С 1960 года живет в Москве. Автор десяти поэтических книг, в том числе двух книг, вышедших во Франции и США в начале 80-х годов, литературоведческой книги «Шкатулка с двойным дном» (о «Поэме без героя» А. Ахматовой). Постоянный автор нашего журнала.

* *
*

«Мы уйдем из словесной памяти» —
Этой мысли мне не навязывай,
Мне и так есть о чем поплакати
Под плакучею тенью вязовой.

Вижу дачный мой домик проданный,
Слышу бред твой с утра и до ночи,
А вокруг, нищетой обглоданный,
Русский путь юродски разбойничий.

Так на что мне в любимой местности
Толковать о Лете и в частности
О местечке в русской словесности
И моей к нему непричастности?

Видишь, пламень с водой в обнимочку, —
Челка черная, око червонное, —
Это осень. К такому снимочку
Не подходит рама оконная.

4 мая 1998.

* *
*

Уста работают, улыбка движет стих...
Мандельштам.

Я возвращаюсь в разговор о Данте,
Уста работают, улыбка движет стих
О вряд ли управляемом десанте
Пыльцы космической и бабочек ночных.

Жизнь не игра. А все-таки блефую, —
Заместо козыря — шестерок мошара.
Зачем нащупываю точку болевую,
Когда последнюю поставить мне пора?

Но и в последней жизнь и смерть, поверьте,
Пересекаются, не образуя крест,
И через голову пустынноглазой смерти
В луга стигийские свершаем переезд.

5 мая 1998.

* *
*

Что твои бессловесные розы,
Что мои безответные дни, —
То ли приняли солнца сверх дозы,
То ль в тени перемерзли они.

Так давай же устроим поминки,
На поминках и то веселей,
Чем рассматривать фотокартинки —
У меня как-никак юбилей.

Что мне пинии в древней Равенне,
А в Марселе моллюски в вине?
Ничего нет уже несравненной,
Чем со смертью кутить наравне.

Ишь какая сыскалась кутила —
Алчным солнцем влетела в окно
И стаканы до дна осушила
И кувшин из-под роз заодно.

19 июня 1998.

* *
*

В лесу многогнездном,
Где каждый мал и велик,
Лучом инозвездным
Ты в сердце мое проник, —

Последняя вспышка
Последней моей любви,
Умру от излишка
Печали, а ты живи.

А там, за разлукой,
Когда от смерти очнусь,
Ты мне поаукай —
И я с небес отзовусь.

16 июня 1998.

* *
*

Август. Знойная сырость.
Август. Яблочный Спас.
И почему-то сырость
Мимо глядящих глаз.

Кто ты, глядящий мимо,
Прячущийся в закат?
Преображенье мнимо,
Ежели — без утрат.

Все и в утрате ново, —
И на мир неспроста
С каждого дна глазного
Смотрят глаза Христа.

7 августа 1998.

* *
*

Так ли, не так ли —
Жизнь получилась:
Капля по капле
Горе копилось,
Нитка по нитке
Рана латалась,
Нотка по нотке
Песня слагалась,
Искра по искре
Пламя рождалось, —
То, что таилось,
Тайной осталось.

14 июня 1998.

* *
*

Андромаха громко плачет
На руинах Трои,
Слез осмысленных не прячет,
Скорость времени утроив.

Русь глотает слезы эти,
Превращает их в дожди
Для иных тысячелетий,
Что рассеяны впереди.

Проглоти комок горячий
И в молитве порадей
За глотательницу плачей,
Насылательницу дождей.

4 — 13 мая 1998.

Книголюб

У тебя на ужин полсдобы —
Лишь бы с книгой наедине.
Заокононого мира микробы
Размножаются на пенсне.
Протираешь платочком стекла —
Буквы зыблются и рябят, —
Над тобой, словно меч Дамокла,
Глеет лампа в минимум ватт.
Что осталось тебе на досуге,
Бедный маленький книголюб,
Мысли воющие, как вьюги,
Слово ноющее, как зуб.

29 мая 1998.

Ода компьютеру

За тебя зеленых тыщу
Отдала, дружок,
И тебе готовлю пищу
Из последних строк,

Смысла облачное мясо,
Рифма на гарнир, —
Из последнего припаса
Наш с тобою пир.

Что мне деньги? Что мне слава,
Зрелищ колдовство?
Ты — последняя забава
Века моего.

Эхо, зеркало, посредник,
Призрак двойника,
Сохрани мой день последний —
Боль и облака.

23 июля 1998.

* *
*

Нет покамест в душе
Ни безбожной алчбы, ни безверия ветреника,
Но и нету уже
Алтаря, и престола, и жертвенника.

Что случилось со мной?
Что с друзьями, ушедшими в жизнь предприимчивую?
Что стряслось со страной?
Или все-то я преувеличиваю?

Даром, что ли, цветут
Заоконные липы — пчелиные пасечники?
Разве нас не зовут
Соловьи — древнерусские сказочники?

Разве зря как живой
Мой компьютер со мной третьи сутки сумерничает,
И вопрос ключевой
Задаёт, и от слов моих нервничает.

1 июня 1998.



МИХАИЛ БУТОВ

*

СВОБОДА

Роман

В пору было тихо грустить, а меня посетили подзабытые сестры — строгая, аскетическая собранность и воля к действию. Я затеял большую уборку. Я протер полы, применив в особо грязных местах щетку и мыло; отдраил плитку, ванну, раковины и унитаз, а в довершение вымыл с обеих сторон оконные стекла, напрочь выстудив квартиру. Долларовый сосед, шагая по дорожке к подъезду, застал меня балансирующим на подоконнике, поприветствовал, удивился: что это я — не в сезон? (Прежде за всю зиму я не встречал его ни разу: если с кем и сталкивался в нашем коридоре на четыре квартиры — то с бабками или с детьми; дети глядели исподлобья и шугались к стене.) Когда я замачивал в белоснежной ванне серые, как очень пасмурный день, простыни и пододеяльник, позвонил Андрюха с докладом: бабушка счастлива его лицезреть, назад сегодня не отпустит и ночевать ему предстоит здесь, у родителей. Я ответил, что доставить бабушке удовольствие — несомненная честь для меня. Однако сильнее волнуется расклад во тьме внешней, куда не достигает свет семейного очага. Все на мази, успокоил Андрюха. Увидимся — он изложит детали. Но не удержался и стал рассказывать глухим шепотом, что сложилось еще удачнее, чем мы надеялись, и платить больше ничего не придется, ибо в счет остатка долга, неустоек и компенсации за потрепанные нервы он сдал им на год тот самый отцовский гараж, где прятал в землю сокровища — под склад для водки, сигарет и консервов, торговлей которыми на площади возле железнодорожной платформы занят целый штат пенсионеров и подростков. Я спросил, что думает об этом отец.

— Да он туда и не заглядывает. Лет пять, наверное, не был. У нас другой есть, теплый — в гаражном комплексе. А от старого даже ключи заржавели. Я замок весной едва провернул.

Тут его отвлекли, и он крикнул в сторону: «Сейчас, мама, сейчас я все сделаю...»

— Ну, давай, до скорого. А то у матери гости — неудобно распространяться.

Добрый семьянин, намекнул я, отличается тем, что всегда готов запустить руку в холодильник и порадовать неприкаянного друга.

— О чем речь! — сказал Андрюха.

Позже, выйдя выкинуть образовавшийся после уборки мусор, я нашел на плиточном полу лестничной площадки письмо из Антарктиды. Вообще-то хозяин оставлял мне ключ и от почтового ящика — но поскольку газеты на наш адрес не поступали, а никакой корреспонденции я ниоткуда не ждал, ключ где-то благополучно затерялся за ненадобностью. А теперь взломали целую секцию: что-нибудь, вероятно, украли, а неинтересное вывалили наружу. Письмо лежало чуть в стороне от основного га-

зетного вороха, в компании двух журналов — шахматного и «Новый мир». За «Новым миром» я и нагибался, чтобы полистать ночью и сунуть завтра обратно в искореженный ящик, — но вдруг прочел на конверте рядом свою фамилию. Судя по дате на московском штампе, доставили письмо четыре дня назад.

Мой друг писал коротко и только о самом важном. Что, в сущности, пребывание летом в Антарктиде не так уж отличается от пребывания где-нибудь в зимнем Подмосковье — если зима по преимуществу ясная и не слишком морозная. Разве что деревьев нет и под снегом здесь — земля, там — лед. С одной стороны лед моря, иногда — ровный, иногда — торосами; то — сплошь, то покрывается на полпути к горизонту черной сеткой — протоками открытой воды, то от самого берега распадается на отдельные льдины. С другой — шельфовый ледник, всегда одинаковый. В десятке километров от базы — туда добираются вездеходом — выходят на поверхность нижние, ископаемые ледниковые слои. Они — предмет его исследований. Они складчаты, словно шкура носорога (с этого места я стал отмечать некоторые изменения, произошедшие в стиле его высказываний), и в них мистериозно мерцает как будто и не отраженный свет, а внутренний холодный огонь. Иногда — при нем всего дважды — в окрестностях станции появляются пингины Адели. Наблюдать за ними забавно, особенно за малышней. Больших, императорских, пингинов он пока не видел. А во льду обитают особенные эндемичные черви, приспособившиеся к жизни при температурах много ниже нуля; в тепле же их пищеварительная функция так активизируется, что они в считанные секунды полностью переваривают собственную плоть.

Он писал, что по дороге, во время стоянки в Монтевидео, встретил на припортовом базаре своих бывших актеров. И совершенно ничего не почувствовал — ну кроме, конечно, удивления невероятным на расстояниях такого масштаба совпадением. Он даже согласился посмотреть их номер: на подиуме кабака для штурманско-капитанского состава и туристов из стран третьего мира они имитировали под боссанову половой акт.

Прощаясь, они признались ему, что не на шутку испугались в первое мгновение — решили, что это их преследуя он пересек, тронувшись умом, океан.

Теперь мысль о такой возможности искренне насмешила его. Он перестал помнить о них с тех пор, как поднялся на борт экспедиционного судна; и снова перестал помнить, когда вернулся на борт в Монтевидео.

А когда плавание закончилось, когда высадились и выгрузились на барьер — его охватила небывалая тишина (хотя на станции день и ночь стучат движки, а разный гусеничный транспорт, как и везде, грохочет и чадит соляркой). Он больше не слышит слабый треск, последние годы сопровождавший его непрерывно, — звук, с которым рвется мировая ткань. И еще его не покидает странное ощущение, будто прежде, с самого, может быть, своего начала, он только и делал, что не разбирая направлений бежал. Но вот достиг края, где все направления сошлись и обрываются и бежать дальше уже не осталось куда и зачем. Здесь воплощается в лед апория с Ахиллом и черепахой. Он сообщал, что это отрезвляет. Отрезвление выразилось в том, что он полюбил девушку. Женщин в Антарктиду берут очень неохотно — практически не берут. Но у его избранницы уникальная научная тема, связанная с долгосрочным прогнозированием погоды, тщательно подготовленная программа сложных экспериментов и вдобавок высокий разряд по альпинизму. Она из Питера, но жить в Москве для нее предпочтительнее: только у нас есть лаборатория и кафедра, где ее защита и дальнейшая работа будут по профилю. Ориентировочно они должны быть дома в середине мая. Однако тут все зависит от ледовой обстановки — не скует ли суда раньше времени и сколько понадобится ледоколам

на переход от их станции до соседней и потом на север, до границы замерзания.

Сейчас ему почти не выпадает даже короткого досуга, а тем не менее о театре он размышляет глубже и сосредоточеннее, чем удавалось когда-либо. И в окружающем проступили контуры новой задачи. Наш обжитый мир решительно меняется, можно сказать, исчезает, делается на глазах все более иллюзорным. Древним грекам, чтобы иметь понятие о движении, хватало, если кто-то перед ними ходил, или плыла триера, или солнце регулярно закатывалось за мыс. Нынче так легко не отделаешься. Слова «форма», «факт», «бесконечность», «свобода», «дление» (только не «тление», подумал я, оно-то никуда не упало и не пропало, осталось на трубе; и с греками, по-моему, чепуха — ты ведь, братец, сдавал кандидатский минимум... но дальше я увлекся и комментировать бросил), едва ли не все слова, важнейшие для мышления, означают уже не то, что прежде. Никому еще толком не известно, что лежит за ними сегодня. Мы — очевидцы смены эпох. Будущее ломится в наши двери. Мы даже вовсю работаем на него — возникают новые логики, новые основания математики, — но работаем слепо, испытывая кризис достоверности. Нам еще не на что опереться, чтобы создать сколько-нибудь цельное и продуктивное мировоззрение. Ибо построить его можно лишь тогда, когда достаточно большим числом людей уже восприняты некие фундаментальные сущности. Эти сущности нельзя ни раскрыть, ни описать. Они постигаются интуитивно — и становятся базой для всякого дальнейшего мышления и коммуникации. Например, ни один математик не объяснит тебе, что такое множество вообще, определения нет, — а теория множеств успешно развивается. Но главное — они не заданы нам раз и навечно. Мы вольны, при желании, предположить, что для гипотетического вседержителя, владеющего всей информацией, они являются своего рода константами творения. Относительно же нас они как бы плывут, они способны перерастать и отрицать себя: некоторые — веками и тысячелетиями, иные — взрывом. Продвигаясь в познании — как правило, методом тыка, — мы покидаем какие-то из них, чтобы войти в другие, а в каких-то утверждаемся все прочнее. И любой наш опыт — это новый выбор, который пусть на дифференциальную величину, но обязательно будет отличаться от предыдущего. Этот выбор иррационален, он — впереди рационального, всегда отстающего в силу своей вторичности. Поэтому наступает рано или поздно момент — и мы вынуждены признать, что наше понятийное схватывание отчаянно промахивается, тасует пустые оболочки на заброшенных проселках действительности. Что мир нужно осмысливать заново — с нуля. Это страшный излом, трагическое погружение в хаос, в долгие блуждания без проблеска надежды вернуться когда-нибудь к стройности и осознанному целеполаганию. Но он благоприятен для театра. Именно здесь театр может вернуть себе место и пафос, какие имел некогда в Древней Греции. Именно теперь театр должен быть востребован в его истинной функции. Потому что важнейшие, недоступные рассуждению интуиции, уже реально определяющие нашу жизнь и пути, — но перед лицом которых каждый из нас пока еще неуверенный, смятенный одиночка, — театр по природе своей умеет непосредственно демонстрировать. Умеет показывать — из чего состоит бытие. Тем самым театр мог бы стать идентификатором для разрозненных в отсутствии адекватного языка индивидуальных сознаний. Позволил бы им обнаружить друг друга в общей ситуации. Так будет сделан первый шаг к преодолению онтических замкнутости и отчуждения.

Но на уровне конкретном мой друг только начал обдумывать систему визуальных и пластических образов, вернее даже — воздействий. Зато уже определил постановочный метод — бриколаж, благодаря которому спектакль получит максимальную независимость от состава и подготовки актеров (в идеале зритель должен уразуметь, что центральный актер здесь —

он сам, и вступить в игру). Меня растрогало упоминание о наших совместных прогулках по городу — ему их недостает. Похоже, на сей раз предварительный этап — вынашивание структуры, формы спектакля — займет много больше времени, чем обычно. В этом году, не исключено, до репетиций и подбора нужного оборудования дело еще не дойдет. Кстати, имеются шансы, что осенью он опять двинет в Южное полушарие — причем через Америку и на американскую базу, на ледник Росса: это там, где погиб капитан Скотт. По линии обмена специалистами — если подпишут нужный договор.

К письму прилагался смутный любительский снимок: две фигуры в одинаковых пуховиках, за ними, в отдалении, среди льдин большой и довольно-таки обшарпанный крутобокий корабль. Свет падает сбоку, и в тени от надвинутых капюшонов с меховой оторочкой лица совершенно неразличимы. Но четко видны буквы на корабельной скуле: «Академик Федоров». Я перевернул фотографию и прочел карандашную надпись незнакомой рукой: «Станция Мирный. Ледокол антарктического класса „Михаил Сомов”». Без даты.

Постскрипtum мне советовалось сохранить конверт, поскольку, погашенный в Антарктиде круглым штемпелем с изображением айсберга, жилых блоков и пингвина, он представляет собой известную филателистическую ценность.

Андрюха прибыл на третьи сутки вечером, обдал меня веселым перегазом; пакеты со снедью оттягивали ему руки. Из одного небрежно и живописно торчал наружу необернутый золотой хвост копченой скумбрии.

— На, — сказал Андрюха. — Привет от бабушки.

Я спросил, как поживает экс-прапорщик.

— А, нету его. Уехал куда-то.

— Ну и что теперь?

Не было у Андрюхи расположения обсуждать низкие материи. На столе образовалась початая бутылка портвейна и два разовых пластиковых стаканчика, уже бывшие, судя по следам, в работе. Андрюха разлил вино, чокнулся с моей порцией и выпил, меня не дождавшись. Потом скусил порядочный конец у круга тонкой колбасы, вытянув через зубы веревочку. Я дал ему письмо.

— Так я и знал, — сказал Андрюха, запуская палец глубоко в рот, чтобы сковырнуть колбасный хрящик из дупла в зубе мудрости. — Э-э... Скука там смертная.

— Ты смысл уловил? — спросил я.

— Смотря где. Про театр — не очень. Вот парень нашел, как говорит-ся, любовь в вечных снегах — это да, красиво, это мне нравится.

— Смысл в том, — сказал я, — что скоро мне отсюда съезжать. Значит, пора искать — куда. Значит, нужны деньги.

— Кончай, — обиделся Андрюха, — все будет. Я тебе обещал...

Он открыл ящик, достал брезентовый чехол — я-то считал, в нем разборная удочка или спиннинг, — и свинтил звенья в шомпол с деревянной ручкой и частым железным ершиком, похожим на камышину. Затем вытащил из шкафа сумку, тоже брезентовую, а из нее — четыре белые пластмассовые коробки вроде швейных. Снял крышки. Внутри плотно стояли патроны. Андрюха брал по одному и, покатав на ладони, раскладывал на столе: дробь такая и саяка, картечь, пули... Те, что для карабина — узкие, обтекаемые, острые, — отливали то в сталь, то в медь. Были они как ступок убойной мощи, концентрированная тяжесть рядом с картонными охотничьими цилиндрами. Ими хотелось обладать. Коробки опустели; Андрюха задумчиво пощипал бороду, сложил из шестнадцатого калибра городошную «пушку» и перенес к столу ружья.

Я встревожился:

— Зачем это? Все-таки намечаются боевые действия?

— Намечается охота! И выпить. И денежное вознаграждение. Вот что намечается. — Он мне подмигнул. — Ничего я халтурку нашел, а?

— Угу. И на кого же мы охотимся? Если на человека, то я не согласен.

Нет, нас ангажировал свежий Андрюхин приятель. Давеча, пока Андрюха шептал мне в телефон, его мать принимала гостей: старинную сотрудницу с сыном. Видал Андрюха этого сына и раньше, но в пору, когда сам еще курить учился в школьном туалете, а тот уже поступил в университет, — и на чем им было сойтись? Зато теперь, покурив вместе на кухне и перекинувшись анекдотами, они сразу нашли общий язык — тем более, текла за ужином живая вода, как ничто объединяющая мужчин. Дабы не угасить порыва, условились, что завтра, прямо с утра, Андрюха своего нового друга навестит — благо всей ходьбы от порога до порога десять минут. А там, оказалось, по соседству круглосуточный магазин, и дома кое-что припасено, — у них не обреталось причины расстаться, и они мило посидели и день, и ночь, и опять день. Сидели бы еще, но приятель должен был выспаться перед рабочей неделей. Он то ли директор, то ли управляющий в каком-то подмосковном хозяйстве, по шатурской ветке, а в Люберцы возвращается только на выходные. В качестве директора он и сделал Андрюхе, наслушавшись его таежно-степных рассказов, экстравагантный заказ: срочно отстрелить несколько единиц хищного зверя (ну, не медведей, конечно, уточнил Андрюха. Волки, лисы...). Я недоумевал: что за странное место и чем он таким управляет, если ему в Подмоскovie досаждают хищники? Ладно лисы: еще на моей памяти они попадались даже в черте города, возле птицефабрики на Крылатских холмах, где сейчас микрорайон, в котором и я бы не отказался поселиться, когда б некто омни-омни изволил проявить ко мне интерес, худо-бедно укоренил в поднебесной и подкинул немного удачи. Но волки — откуда, близ железной дороги, в пятидесяти верстах от мегаполиса?

Все это как-то не того... Ф. М. Достоевский.

— Представления не имею, — разводил руками Андрюха. — Я не очень расспрашивал. Какая тебе разница, откуда волки? Да это выплыло в последний момент. Он пошел со мной до автобуса — и вдруг предлагает. Он говорит, там есть где ночевать. И кормежка его. Я предупредил, что нас двое.

— Андрюха, — сказал я, — из меня ружейный охотник — как из говна пуля.

— А ничего особенного от тебя и не потребуется. Зверюга бежит, ты стреляешь: пух-бах! — наповал. Куда целиться, я тебе нарисую.

Выстрелить — и достаточно метко — для меня, наверное, не составило бы проблемы: в пневматических тирах я выбивал неплохие результаты. Но надобно же еще найти как-то этих животных: выслеживать, что ли, преследовать, открыть норы... Андрюха сказал, чтобы я не волновался — артистическую часть работы он берет на себя. Мое дело маленькое: знай пали, да не слишком шуметь, если придется подкрадываться. И какой там у них может быть лес: в пару дней мы прочедем его вдоль и поперек, до кусточка.

Сложность в другом: как провезти оружие по городу и в электричке. Чехлов нет к ружьям, а и были бы — что в них пользы: все одно и с ними обязательно останоят и спросят охотничьи билеты. В порядке эксперимента мы заворачивали двустволку и карабин в одеяла, клеенчатую занавеску из ванной и даже в рубероид, полосу которого зачем-то хранилась на антресолях. Мы выяснили, что чем ни укутывай, их очертания угадываются легко, а то и подчеркиваются, как выгодные женские формы умелой драпировкой. Здесь бы сгодился высокий туристский рюкзак: набить его тряпьем, теми же одеялами, ружья вставить сбоку, обмотав стволы брезентом, а снаружи, для маскировки, навесить двуручную пилу, палаточные

стойки и лыжные палки... Но Андрюхин износился, и теперь родители насыпают в него картошку, а мой отправился на станцию Мирный.

На следующий день за окном метель мела, и я отказывался выходить. Но едва в сумерки стало потише, Андрюха потянул меня обследовать улицы и дворы, ямы магистральных работ и строительные площадки: его посетила мысль набрать бруса и досок, чтобы спрятать ружья в их связку, — дачники, волокущие на горбу накопленный стройматериал, во всякое время года вне подозрений. Но со строек нас гнали, ломать заборы или ограждения на глазах у прохожих мы не решались, а в свободном состоянии ничего не попадалось. Единственная грязная, расщепленная на конце двухметровая доска, которую Андрюха поднял уже на обратном пути из дорожного месива и со злым упорством тащил до самого подъезда, никак не делала нам погоды. К этому часу охотничья затея представлялась мне совершенным безумием. Слава богу, технические препятствия, похоже, не позволят ей осуществиться. Понудим Андрюху искать какой-нибудь другой заработок.

Разносольную бабушкину посылку мы единым махом ополовинили еще накануне, да и в обед сегодня заморили червя. Андрюха согласился, что нет смысла беречь и растягивать остаток. Однако им овладела неожиданная страсть к сервировке. Покуда я истекал слюной и слушал томительные гулы в пустом брюхе, он с инквизиторской неспешностью составлял на ущербной тарелке ресторанные узоры, орнаменты, натюрморты, целые сады из колбасных кружков и ветчинных прямоугольников, ломтиков сыра и белесых, словно утопленники, кальмаров, из шпрот и сайры, тонко нарезанного фиолетового лука, огуречных и помидорных долек, венчая солнечными половинками лимона. Не в два приема устраивалась такая мандала, и разбирать ее наспех тоже рука не поднималась — каждое движение к ней полагалось будто бы обмозговать. Когда улетучивался с тарелки последний кусок или рыбий хвост, Андрюха тщательно мыл ее, мыл нож, мыл наши вилки — и начинал сначала. Я предложил оставить лимон к чаю — забытый шик! Он ответил категорическим нет. Я спросил, что он вообще мудрит, от добра добра не ищут — зачем голодным людям добиваться от среза ветчины сердоликовой полупрозрачности? Чревоугодие, заявил Андрюха, произрастает там, где процедура принятия пищи лишена эстетической компоненты — а у меня в быту это несомненно имеет место. Тогда я рассказал ему, что грехов в плане еды, строго говоря, два, и они равновелики, хотя и различны: есть чревоугодие, а есть — гортанобесие; и если под первым подразумевается простое обжорство, то второй — в стремлении получать тонкие вкусовые ощущения, и «эстетическая компонента» относится, в сущности, сюда же. Необременительна для души перловая каша в скромной посуде — ее при всем желании много не съешь.

— Чего ты хочешь, кадавр? — сказал Андрюха. — Проглотить все разом? А чем потом заниматься? В потолок плевать?

Но нас сморило еще прежде, чем настало «потом». Дружно, в обнимочку, упали на кровать. Я подремал недолго, Андрюха и того меньше. Проснувшись, я нашел записку на табуретке, в одно слово: «Придумал». Во сне, что ли?

Мы с пауком, —

пел из приемника далекий англичанин, кумир моей авангардистской юности Брайан Ино, —

смотрим на небо,
на мир вокруг.
Мы спим по утрам.
Мы мечтаем о кораблях, что уплывут
за тысячу миль отсюда.

Шла передача о нем и об эмпанте — «музыке окружения». Я зажег слабую настольную лампу, сел в углу на свернутый матрас и под плавные «уи-уи» на фоне курлыканья гватемальских лягушек погрузился в приятные беспредметные грезы. Вскоре неловкое топтание и необычный шелест вернули меня на землю: я встал навстречу — и натурально остолбенел. Андрюха затаскивал в комнату два высоких, почти в человеческий рост, ветвистых куста с бульбами мерзлой глины и снега на корневищах — они тут же пустили от себя лужицы.

— Пардон... — И он показал, во что обратился мой лучший кухонный нож: рукоятка и пенек лезвия. — Земля каменная. Помучился.

Я вытолкнул его в переднюю — разуваться. Кусты отнес в ванную и поставил в пластмассовый таз.

— А зачем копал? Отпилил бы.

Пила швейцарского складного ножа — Андрюха с ним не расставался — выглядела игрушечной, но в деле была на редкость эффективна: однажды мне довелось опробовать ее в лесу на сухих сосенках.

Андрюха растолковал: нельзя, без корней неправдоподобно. Кто и куда станет перевозить мертвые палки? Это может наступодить. А здесь — все понятно: кусты для посадки. Вопросов не возникает.

Удивительная вещь: чем явственней смахивают наши методы на хитрость настырного сумасшедшего, тем очевиднее они попадают в яблочко. Так, значит, и надо? Так и добиваются успеха? Я только заметил, что у милиционеров в Москве происхождение по большей части деревенское. И генетическая память, вероятно, позволит им отследить несоответствие нашей поклажи календарю садовых работ.

— Да и бог с ними, — сказал Андрюха, — ну, посмеются, примут за дураков. Вот ты на их месте догадаешься проверять, чего у нас там внутри?

— Пожалуй, нет.

— Прицепятся — объясним. Растения, к примеру, специальные, северные, морозостойкие. А сами мы ботаники. Направляемся на опытные участки. Лишь бы приклад об пол не брякал.

Я вздохнул:

— И когда он нас ждет, твой приятель?

Естественно, крайний срок — завтра. Промедление смерти подобно: пожрут волки христианских младенцев. И выехать, естественно, предстоит в несусветную рань.

— Но вот что, — сказал я, — если нас заловят, учти: я от тебя отрекусь. Ничего не знаю. Это все твое. Меня ты просил помочь довести и в содержимое не посвящал. Договорились?

— Иди, верный товарищ, — усмехнулся Андрюха. — Смотри, как мушки пристреляны...

Никто нами не заинтересовался. Взгляды милиционеров скользили по нам рассеянно и не выделяли из толпы. Лица потенциально опасные не ломятся в переполненное метро в семь утра, брезгуют. Кусты, с ружьями, накрепко привязанными к собранным вместе, закрывшим их со всех сторон веткам, мы обернули рубероидом и клеенкой. Весили они — дай бог. Хорошо, Андрюха, командовавший увязкой, не поскупился на веревку, пожертвовал целую бухту первосортного репшнура и предусмотрел петли для руки и плеча.

Затем электричка едва ползла промышленными районами. Андрюха сказал, что мы удачно вписались, в противофазу: в Москву сейчас давка, а из Москвы — свободно. Получасом раньше тоже полным-полно угрюмого рабочего люда, но теперь смена уже началась. И контролеров в такое время еще не бывает.

Миновав Выхино, покатали шибче. Прижавшись виском к стеклу, я наблюдал, как за спиной у Андрюхи, в соседней секции, заранее раскрас-

невшийся дородный дядька в теплом голубом спортивном костюме наливал в крышку термоса по глотку горячего кофе с молоком жене и двум девочкам-близняшкам — наверное, первоклассницам. Едут с лыжами — куда-нибудь в неподвижный, тихий черно-белый лес. Кофе распространял пар и волнуемый аромат, будил память о живительных ожогах гортани, каких мне на долю не досталось сегодня перед дорогой — Андрюха торопился, не успели даже чайник согреть толком. Дабы переключиться с этих грустных мыслей и не растаять от жалости к себе, я задался вопросом в духе брюзгливого пенсионера: почему, собственно, дети не в школе посреди недели? Каникул нет в феврале. Должно быть, родители подгадали отгул или скользящие выходные и устроили праздник вне расписания. Когда я ходил в первый класс, самыми дорогими вещами у нас в доме были холодильник и проигрыватель «Концертный» — обтянутый коричневым дерматином чемоданчик с динамиком в крышке. Крутили на нем Седьмую симфонию Шостаковича (вряд ли мне хватило терпения прослушать ее хоть раз всю от начала до конца, но знаменитый inferнальный марш, сцену нашествия, я любил и часто мычал); крутили Эллу Фитцджеральд (немецкая серия «Джаз-портрет»), какую-то классическую испанскую гитаристку, а также пару номеров «Кругозора» — журнала квадратного формата, со сквозной дыркой по центру и гибкими, как резина, прозрачными грампластинками между страниц — канувшее в Лету исключительно отечественное изобретение. И еще диск промежуточного размера, в две трети лонгплея, где читал свои стихи поэт Кирсанов. Я и сейчас способен повторить отдельные строки. «В тыл, к расстрелянному лесу, где разбитый дот, молодую догарессу старый дож ведет...» Было там, кстати, и охотничье: «Разбросал свой мозг — лось». На снегу. И стихотворение «Смерти больше нет» — хотя вроде бы следовало из предыдущего, что это чистой воды вранье...

Семья напротив лихорадочно разыскивала пропавшую крышку термоса, дети полезли под лавки — но тщетно. На платформе, где они сошли, от названия сохранились только две буквы: «...ВО». Перрон обрывался в голое поле. Стоило электричке двинуться снова, крышка выкатилась откуда-то в проход, гордая, как Колобок.

— Нам через одну, — сказал Андрюха.

— Курева не купили, — сказал Андрюха.

Было бы на что.

— Этот мужик, — сказал Андрюха, — который нас пригласил, он пишет диссертацию. Диссертацию про перевязок. Зверек такой, типа хорька или ласки. И он их изучает, один во всем мире. Он мне объяснил: самое удивительное — это как они размножаются. Как только самка приносит приплод, приходит самец и всех новорожденных самочек, слепых еще, покрывает. А дальше они растут уже с зародышами. То есть зародыши развиваются с ними вместе, по мере их роста.

От станции шагали минут пятнадцать, сверяясь с планом, начерченным на разодранной сигаретной пачке. Тут и там по дороге, в тракторной колее из-под снега выворотилась красноватая глина. Клеенка на морозце ломко хрустела под рукой. Я в десятый раз давал себе зарок с первых же доходов приобрести новую вязаную шапку — на пару размеров побольше. У Андрюхи шапка была двухслойная и налезала глубоко, зато не было теплых носков. Таким образом, завидовать друг другу мы не имели оснований. Возле стоявших особняком коровника и трех бревенчатых домов дорога раздвигалась, и правый, короткий, рукав вел вдоль бетонного забора в поломанные, без створки, ворота. Сразу за воротами начинались навесы, как будто крытые рыночные ряды. У забора мы распаковали кусты, а рубероид и клеенку прикопали, чтобы не разнесло ветром и не стянул случайный прохожий. Я оценил Андрюху вооруженного — наружность вполне

партизанская. «Парни в вымокшей одежде дождь ведут на дот...» Из сугроба при входе торчал обломок фанерной вывески с неподходящим пейзажу словом «студия». А лес виднелся только верхушками, далеко, в той стороне, куда тянулась потрескивающая над нами линия электропередач.

Андрюха оставил меня дожидаться в воротах и отправился искать своего директора. Я осматривался и кривил рот: ох, до рези, до слез, до куриной слепоты намозолил мне глаза тусклый, в одну краску — бурую, набор строений и предметов, одна и та же конфигурация российской тоски, что по зиме берет душу в кулак особенно тесно, встречая на любом хоздворе, у всякой дороги, через версту подкарауливая за вагонным окном: корежечное железо, какие-то обода, остов старого грузовика возле сварного гаража с промятым ребром, перевернутый прицеп, ржавые бочки... Впереди, под навесами, кто-то залаял, не собака. Прошла женщина в валенках с галошами, в ушанке и ватнике, выплеснула в снег у гаража пахучее ведро и бесцеремонно устала на меня. Я делал вид, что не замечаю, и смотрел на свои ботинки. Я все еще пытался убедить себя, что наша поездка — приключение веселое. Вот эта аборигенша, например, надолго меня запомнит — нелепого, зябко напыжившегося, с ружьем на плече... Чуть погода из глубины двора выступила и другая, совершенно такая же, принесла топор. С громом поколотив им, чтобы насадить прочнее, о капот грузовика, под которым скрывалась гулкая пустота, она на мгновение отрезанно замерла; будто, испытав тишину на прочность, теперь расслышала в ней горние зовы, и сообщила в пространство перед собой:

— Опять сегодня тошнит. Так-то! А ты говоришь — не беременна...

— Ага, — отозвалась первая. — От ветра.

— Нет, не от ветра. Я две недели с человеком была...

Почему я здесь? Почему не в Антарктиде?

Андрюха все не показывался. Небось давно сидит в тепле и точит ляды, — забыл обо мне. Я подошел к навесу. Крыша защищала составленные в два яруса средних размеров клетки, сейчас пустые и с чисто подметенными полами, — однако кислый запах зверя стойко держался вокруг. В следующем ряду уже воочию наблюдались три лисицы и некрупная рысь. Лисы, каждая в своем боксе, беспокоились, крутились юлой от стенки к стенке. Рысь застыла боком к проволочной сетке, чуть повернув голову, сторожила белый свет одним глазом — другой прикрыт, — желтым, как противотуманная фара. Зрачок в нем даже не шелохнулся, когда я приблизился. Мех у рыси на боку — пятно с детскую ладошку — тронула парша, метелки на ушах тревожно топорщились. Я начал догадываться.

Еще семь или восемь таких рядов отделяла от меня широкая площадка, целая площадь, в центре которой из некрашенных деревянных щитов был сооружен прямоугольный загон величиною с дворовую хоккейную коробку. На загон смотрел окнами длинный одноэтажный дом с белым крыльцом посередине фасада, похожий на сельскую поликлинику. Я ступил на крыльцо — и раскокал ружейным стволом лампочку, болтавшуюся на проводе без рефлектора. Сметая ногой осколки в снег, я спустил было ружье в руку, но подумал, что так буду выглядеть чересчур воинственно и могу ненароком испугать кого-нибудь неподготовленного. Бочком, осторожно, протиснулся внутрь: коридор, полдюжины обитых дверей — и ни звука. Наугад толкнул ближнюю и попал в тесный кабинетик: книжные полки, письменный стол у стены, а на стене — прикипленный лист плотной бумаги с мастерским рисунком головы животного, но иначе таинственной перевязки. Череп делился на пронумерованные части, совсем как разрез коровы со стеклянной таблицы в гастрономе. Я вернулся в коридор, попробовал другую дверь — заперто. Позвал, сперва шепотом, потом громко:

— Андрюха!

И тут, словно и на самом деле мне в ответ, голос его долетел с улицы.

— Ты пасть свою поганую закрой! — кричал на кого-то невидимого мой невидимый друг. — Поганую пасть...

О-го! События принимали тот еще оборот. Подобный тон Андрюха брал не часто. Значит, он разъярен, как вепрь, и способен наломать дров, не задумываясь о последствиях. Я обежал загон и свернул в проход между клетками. Спиной ко мне стоял человек без шапки, с зачаточной плешкой на затылке, в приталенном пальто с погончиками; над ним угрожающе нависал Андрюха, которого злость сделала словно на голову выше. Карабин Андрюха держал поперек бедер, то есть к стрельбе пока не изготовился (да и патроны остались у меня, в сумке), зато двинуть собеседнику прикладом было бы ему из этой позиции вполне сподручно. Я подался вперед, спеша вклиниться между Андрюхой и его визави; ружье съехало у меня с плеча и лязгнуло, когда я его перехватил, о железную стойку. Человек оглянулся, обнаружил новую фигуру, загородившую ему отступление, и шархнулся, рефлекторно защитившись неожиданно узкой для его сложения и грубо вылепленного лица ладонью, вбок, к сетке (за нею выхудлый и какой-то линиялый не ко времени волк встрепенулся и перешел в дальний угол); но уже через мгновение справился с замешательством и предпринял, в свой черед вырастая над Андрюхой, энергичную контратаку.

— По-твоему, я тебя об одолжении, что ли, прошу?! Да в охотобщество только свистни за такие деньги! Это я тебе — услугу! Это я купился как распоследний дурак на твои жалобы: затруднения у него, ему необходимо по-быстрому заработать... Задницу собственную ради него подставляю... Меня с потрохами сожрут, если докопаются, кого я использовал. Ты ж никто. У тебя документы хоть есть на оружие?

— Мы на что договаривались?! — ревел Андрюха, но уже слегка пятился. — На охоту! На о-хо-ту. Это — охота?

— Вот не надо! Я тебе ничего красивого не обещал. Я назвал прямо: отстрел. Может, мне их в лес теперь для тебя выпустить?! А там поселок, там школа-интернат... Потом у меня рыси на головы будут прыгать детям?!

Наверное, убедившись, что, если до сих пор не ударили, не станем и дальше, он перевел дух, обстучал о ладонь папиросу и заговорил спокойнее:

— Да потравят их все равно. И что — это лучше? Ядом — лучше? Ветеринар мой туда же: усыплять жизнеспособных животных не стану! Уволился. Терять-то нечего: через месяц так и так сократят... А я его и не ставлял. Один раз всего обсудили с ним...

Он пустил дым и отправил папиросу, выявив в ней дырку, под каблук.

— У него совесть! А у меня, блядь, плеватьница... Я специально деньги искал, чтобы пулей, а не отравой. Пулей-то все-таки погуманнее...

Я шагнул к Андрюхе и взял его за рукав:

— Пойдем! Все ведь ясно уже...

Однако у обоих много успело накопиться на языках, и перебранка еще продолжалась, теперь без первого накала и уклоняясь в подробности, которыми Андрюхин приятель обелял себя. Питомник принадлежал киностудии. Какой именно — прозвучало невнятно: не то детских, не то учебных фильмов. Помимо рысей и лисиц здесь содержали несколько волков, барсуков и енотов, десяток подрезанных лесных птиц, ручную косулю, кабана, даже росомуху. С осени средства на их питание почти перестали поступать. Выкручивались как могли, кормили старым, залежалым, из просроченных запасов. Не хватало мяса и витаминов. Животные болели. Затем студию объявили акционерным обществом. Вникнув по-хозяйски в бюджет, акционеры приуضاхнулись и порешили от нерентабельных служб вроде питомника немедленно избавляться. Зоопарк в Москве никого не взял, хотя и зарился на росомуху, — тоже не было фондов. Мелочь — бурундуков, ежей, белок — раздали по окрестным школам и садикам. Самый умный енот уехал в Уголок Дурова. И еще добрый совхозный конюх забрал

пока косую к себе в конюшню: на пробу — как приживется. Убивать остальных прибыли мы. Загон строился не для этого, но свежих опилок в него набросали специально.

Я сказал Андрюхе:

— Ладно, следопыт. Ты как хочешь, а я совсем замерз.

И пошел обратно к воротам. На сей раз рысь повела мордой мне вслед. Я ей подмигнул: мол, ничего, как-нибудь еще, может, и обойдется... Неубедительно подмигнул, фальшиво.

Возле гаража и выпотрошенного грузовика Андрюха нагнал меня. Он сам упаковывал заново ружья и кусты. Я не помогал. Я стоял смотрел в сторону и перетапывался, спрятав руки под мышками.

— Ну что ты дуешься? — бурчал Андрюха. — Я-то чем виноват?

— Заранее почему нельзя было выяснить, что ему от нас нужно?

— Да он темнил! Он рассчитал, поди, что так я точно откажусь, а вот когда уже приеду... Слушай, мы отлично сидели, душа в душу, с виду он без подянки...

Хорошо хоть электричку ждали недолго. Не знаю, чем таким обогрелись у себя машинисты, но боковое окно их кабины было раздвинуто, бордовая занавеска выбилась наружу, реяла на ветру, словно конец повязанной косынки, и сообщала электричке в фас разухабистую, пиратскую физиономию. В вагоне я отыскал сиденье над печкой и устроился боком, чтобы плотнее прижать ноги к радиатору. Лодыжкам скоро стало горячо, даже больно. Но ступни по-прежнему коченели.

— А у родителей в холодильнике, — нараспев вспоминал Андрюха, — банка исландской селедки — раз. Банка маринованных огурцов — два. И целый пакет домашних пельменей. Это после гостей. Сами-то мои больше по кашам — думают о здоровье. Может, выскочим в Люберцах?

— Куда... — я кивнул на нашу поклажу.

— Верно, — вздохнул Андрюха, — не погуляешь. Только что мы будем есть?

Тут я почувствовал себя если не на коне, то хотя бы на пони — о, эти редкие моменты, когда идут в дело мои бесполезные книжные познания! Я рассказал ему, как персонаж знаменитой латиноамериканской повести — Полковник — ответил на такой вопрос раз и навсегда.

Шумно протопали по вагону сопровождающие электричку милиционеры. Нас оглядели мельком, а миновав единственного еще пассажира (я видел его со спины: поднятый воротник куртки, зябко вздернутые плечи, высоко намотанный толстый синий шарф), вывернули шеи и до самых дверей двигались вперед затылком. Любопытно, кто это там — урод? Но на урода постеснялись бы тарашиться так бесцеремонно...

Церковь, где я работал, несколько недель регулярно посещал прокаженный или что-то вроде того. Лет тридцати пяти, с неопрятными бесцветными длинными волосами и перистой жидкой бороденкой, он становился обыкновенно у стены, в тени, в некотором отдалении от остальных прихожан. Но лицо с отвисшими ярко-красными нижними веками, на котором сквозь совершенно белую, неживую, будто отделившуюся уже от мышц, от всякого кровопитания кожу сочилась лимфа, не прятал и даже, напротив, словно бы подавал, почти бравировал. Прихожане сами тактично и боязливо отводили глаза, делали вид, что в своей сосредоточенности не замечают его. Исходивший от него сладковатый тленный запах, неприятный в той же мере, как бывают неприятны мужские лосьоны, был не то чтобы слишком силен, однако, не убиваемый ни свечами, ни ладаном, ни лампадным маслом, тонко растекался в предалтарной части. Ко кресту он прикладывался, конечно, последним и к иерейской руке от креста не тянулся — да наш игумен вообще этого не любил и предоставлял особо приверженным традиции тыкаться губами в поручь. Все равно теперь после службы батюшка стал тщательно драить руки каким-то импортным соста-

вом из пластикового флакона; что с крестом делал — не удалось подсмотреть. Если игумен упоминал этого человека в разговоре с дьяконом или старостой, то не позволял себе обойтись, как чаще всего обходятся при встрече с подобными вещами люди мирские, кивками и местоимениями, защитными — чур меня! — фигурами умолчания, а называл его, с ненаигранным состраданием, ласковым словом «несчастный». И хотя держал за правило в личные контакты с неофитами не вступать прежде первой исповеди — ибо Царство Божие усилием берется, и всякий ищущий духовной помощи и окормления к усилию обязан, обязан в начале всего сам принести себя, доказав, что укрепился в стремлениях и не к болтовне на религиозные темы готов, а ко смирению и труду тяжелейшему ради пребывания в жизни вечной, — вопреки собственным строгим установкам дважды заводил с ним продолжительные беседы. Только до исповеди у них так и не дошло. Прокаженный вскоре исчез и больше не появлялся. Должно быть, храм наш не понравился — неустроенный еще, наполненный хозяйственной и строительной суетой. Или решил, что церковь не даст ему утешения и опоры таких, в каких он нуждался...

Но вот попутчик, задавший направление моим дремотным мыслям, обернулся и о чем-то спросил через три скамьи, разделявшие нас, — паренек как паренек, подросток, почти мальчишка. Я показал, что не слышу его. Тогда он поднялся, чтобы подойти ближе, и стало ясно, чему удивились милиционеры. Правую руку у него закрывала по локоть сшитая из грубой кожи коричневая крага, на которой восседала и резко крутила из стороны в сторону головой здоровенная, в добрых полметра, хищная птица, пестрая и космоногая. Он хотел справиться, будет ли остановка на одной из платформ, — я и названия такого не знал. Птица, поразившись моей глупости, переступила на рукавице, пустила по оперению недовольную волну, сократила и снова вытянула шею. Я толкнул Андриюху:

— Остановится?

Должна, ответил Андриюха, а впрочем, он не уверен, эта ветка плохо ему знакома. Не оторвался, смотрел за окно: видел в трезвом пасмурном свете белое поле с черными царапинами бадья, черный грузовик на дороге, силосную башню и водонапорную башню, приземистые строения... В темноте, при фонарях — еще выносимо...

— Да ты сюда глянь, эй!

Он через силу перевел пустой и туманный взгляд. Но будто не вернулся еще из тех замороживших его монохромных полей, и самосвал продолжал катиться у него в голове, и новые пятна в связную картину составились не сразу.

— Ну, понятно, — сказал парень.

— Ишь ты. — Андриюха наконец очухался и настроился на фокус. — Это кто у тебя, ястреб?

Парень помялся, определяя, до каких пределов с нами можно безопасно фамиллярничать, — и не рискнул (к тому же «сам ты ястреб» звучало бы как-то странно, получается насмешка наоборот).

— Орлом еще назовите... — фыркнул он. — Филин.

Андриюха поправил очки.

— И где же ты такого надыбал? В лесу поймал?

— Не, сменял.

— На жевачку?

— На черного коршуна.

— Класс! То есть вы ими запросто, как марками, да? Или там рыбами для аквариума. Приезжаешь на Птичий рынок...

— На Птичке, — перебил парень раздраженным тоном специалиста, вынужденного объяснять спесивым профанам очевидные истины, — ничего дельного не бывает. Пустельга разве. Пустельга ничего не стоит.

Он попросил сигарету — взял предпоследнюю, — однако курить не стал, а поместил за ухо. Потом сел напротив меня, опустил руку в краге — и филин сошел. К широкому железному кольцу вокруг птичьей лапы крепилась прочная бечева, намотанная на запястье перчатки. Обозначала неволю. Этот короткий и мощный крючковатый клюв, способный, наверное, пробить темя человеку, без труда перерубил бы шнурок одним ударом — почему не сообразит? Или не зря досталась филину слава тугодума, попадающего в смешные просаки? Но по стати не скажешь.

Я впервые мог рассматривать такую птицу живьем и вблизи. Мех спадал по могучим лапам и накрывал толстые плоские когти длиной в мой мизинец. Желтые, черные и белые перья воротника складывались в размытый узор. Круглые желтые глаза — точь-в-точь как у давешней рыси, только без снулой затравленной поволоки; и кисточки над бровями усиливали неожиданное сходство. Такого и клеткой не унизишь: все в нем останется — хищно и приспособлено для убийства. Правда, понаблюдав еще, я нашел, что вид у него все же несколько нелепый: уж больно важно бросал он по сторонам губернаторские взоры и лупал. Но руку протянуть к нему я так и не осмелился.

После двух-трех наших вопросов, словно только и ждал, когда наведу на тему, парень пустился обстоятельно рассказывать о себе, и рассказ его строился из явно обкатанных многократно периодов, подаваемых с заученной небрежностью, — чувствовалось, что с птицей он разезжает часто и привык быть в центре внимания, маленькой звездой. В отличие от основной массы сверстников из подмосковного рабочего поселка, он резинового клея по подвалам в детстве не нюхал, а прибился волею судеб к образовавшемуся в Москве клубу соколиной охоты (я подумал: надо же, лыко в строку, прямо охотничий праздник у нас сегодня). Клуб просуществовал недолго и около года назад был закрыт по требованию экологической организации «Гринпис». Но к тому времени многие его члены уже профессионально, по заказам, снаряжая целые экспедиции в разные концы страны, занимались отловом благородных соколов на продажу — преимущественно контрабандную, за кордон. Свои люди в нужных конторах пишут разрешения на вывоз: проводят птиц как научный материал или выдают за породы, не представляющие ценности. Вот он прошлой осенью ловил для японцев в Приморье и на Камчатке, продавали через Владивосток. Покамест он вторым номером у одного мужика, на самостоятельные дальние поездки ему еще денег не хватает. Но тут главное — клиентура, и он сейчас налаживает связи, подбирает свою, для начала среди перекупщиков. Благо из техникума его теперь выгнали за прогулы, и учеба эта тупая больше над ним не висит, можно наконец взяться за дело серьезно. Он знает в Подмоскovie два сапсановых гнезда и летом заберет птенцов, вставших на крыло. Планирует выручить за них достаточно, чтобы отправиться самому, с парой помощников, в Восточную Сибирь. Почему именно туда? Есть у него мечта: белый кречет. Великая редкость оный сокол и тянет на большие тысячи долларов.

Вообще-то у меня не было никакого желания обличать его. Но и промолчать совсем совесть не позволяла. Поэтому я укоряюще подытожил:

— Значит, браконьеришь.

И он радостно согласился:

— Ага, браконьерю.

— А с этим что, тоже охотятся? — спросил Андрюха и поднес филину палец; филин открыл клюв, и Андрюха палец отдернул. — На мышей?

Нет, филин для работы не предназначен, разумеется. Плохо обучается, летает не очень быстро... — да никому и в ум не приходило его испытывать, больно дурацкая была бы идея. Предназначен для души. Хотя в природе действует умело. Мыши мышами и суслики — их он, точно, предпочитает, — но бьет и утку, и глухаря. Зайца бьет. Когтищи-то не зря у него.

— Я в совхозе договорился, — сказал парень, — дешевых кроликов для него покупаю. Он и доволен. Ему нравится головы им отрывать.

— Ах, головы... — Андрюха немного припух. — И, значит, доволен... Погоди, кролики — живые, ты имеешь в виду?

— Ясно, живые. Филин чужой убоины не берет.

Андрюха смотрел недоверчиво.

— И как же это... ну, происходит?

— Усядется на загривок и лапой сверху, — парень изобразил, обхватив пальцами сжатый кулак, — р-раз... Потом клюет, с горла. Интересно глядеть, когда свыкнешься. Мамаша у меня никак не может. А чего такого — хищник, ему положено.

По-моему, здесь он приврал ради пушкого эффекта, стремился произвести впечатление: пугал нас, короче говоря, как старушек в буклях, — и отслеживал результат. Но, правдивый или вымышленный, описанный им способ умерщвления кролика что-то напоминал мне, причем ассоциации были культурного порядка, — рисунок, кадр, символ?.. Разговор заглох. Пассажиров не прибавлялось. Андрюха потер лоб, разгладил глубокомысленные морщины и опять отрешился, прижавшись к стеклу. Наконец я вспомнил: хрестоматийный иероглиф с таблички фараона Нармера, объединителя царств: «Царь взял шесть тысяч пленных» — его печатают в любом учебнике по древней истории. Горизонтальный прямоугольник, оканчивающийся человеческой головой: как бы пленник, поверженный лицом в землю, — и сокол, олицетворение царя, одною лапою поправ его, вздергивает другой ему голову вверх за узду.

Остановки объявляли неразборчиво, и парень едва не пропустил свою, выбежал в последний момент, подхватив птицу с боков ладонями, будто ташил чучело. Филин весь вытянулся, как петух на прилавке. Электричка тронулась, но сразу же за платформой встала — должно быть, на красный сигнал. Парень шагал пешеходной дорожкой параллельно полотну, мимо покосившейся зеленой голубятни, мимо угольной кучи возле кирпичной котельной и ангаров, похожих на половины распиленных вдоль огромных алюминиевых труб. А поравнявшись с нами, с нашим окном, — но не для нас, потому что нас уже и тени не осталось в его мыслях, — вдруг резко подбросил филина в воздух. И тот, еще не расправив крыльев, столбиком, как сидел на руке, на миг словно застыл, раздумывая, между белой землей и тусклым небом, затем медленно перевалился на грудь, сделал несильный пробный мах, еще один и пошел — парень кольцами скидывал бечеву с запястья — набирать высоту. Я подвинулся к окну, нагнулся и следил за ним. Филину открывался теперь выработанный карьер, роща и пустошь и дальше — тяжелые и темные кучевые дымы больших пригородов; а здесь, за лесополосой и пригорком, — корпуса старенькой фабрики и трехэтажные жилые дома: если поселишься в них, начнет и тебе сниться из ночи в ночь бегущая из-под резца стружка. Невольно не тяготила его. Он знал простые вещи. Что жизнь бывает выносима и невыносима. И первое — слишком большая удача, чтобы ею поступаться, променяв на что-то неведомое. Филин оценил землю под собой: вытоптана и бесплодна. Необитаема. Но все же упал несколько раз на несуществующие цели, сбрасывая напряжение инстинкта, словно электричество с оперения. Потом, уже пустой и безразличный, закладывал широкие круги, натягивая веревку, — так натягивает корды модель самолета. Образ другого края, где все было иначе и охота шла не на призраков, давным-давно филина не тревожил, истерся в его птичьей памяти. И только направление, точный азимут на те североуральские леса, в которых филин некогда появился на свет, некий орган ориентации у него в мозгу, совершенный внутренний компас держал по-прежнему неизменно и указывал отовсюду. А там мело сейчас, уже какую неделю напоздали от севера, с океана, цепляя брюхом еловые верхушки, набухшие снегом тучи. В деревнях, засыпанных по коньки приземистых

низких крыш, ханты и манси вели учет запасу вяленой нельмы, курили соскобленный со стен голубоватый мох и смотрели в огонь, глотая высушенные летом мухоморы — чтобы увидеть возвращающимися своих богов, танцующих с тамбурином в славе из весенних цветов и молодой листвы. Удавалось редко.

В нежные лета — да и за всю, по сути, жизнь — у меня случилось четыре яркие находки.

Пять рублей. Они полоскались в луже, и я наехал сверху велосипедом. Если не ошибаюсь, я купил на них у спекулянта в «Детском мире» четырехосный спальный вагон для двенадцатимиллиметровой немецкой железной дороги. Эта железная дорога была моей страстью. Миниатюрные паровозы и вагоны, мосты и шлагбаумы, дома и платформы, воспроизводившие в точности все необходимые оригиналу внешние детали и надписи (а в дорожных моделях — даже видимые через окна части интерьера), вызывали у меня сладкий трепет. Часами я перекладывал и рассматривал свою небогатую коллекцию. На уроках вместо конгруэнтных треугольников вычерчивал в тетрадах сложные планы путей, схемы соединения управляющих контактов и реле, которые должны будут автоматически переводить стрелки, открывать-закрывать семафоры. Проекты оставались на бумаге — воплощение требовало прежде всего свободного пространства, а его-то в нашей двухкомнатной квартирке и не хватало катастрофически. Максимум, что я мог время от времени здесь собрать, — примитивное кольцо с одним-двумя ответвлениями. Убожество своих обстоятельств я преодолевал, по-детски легко переходя на иной уровень реальности: снимал с полки атлас, заложенный на карте Канады — чем-то она полюбилась мне больше других, — и поезд мой катился уже не от батареи к дивану и обратно, а из Ванкувера в Галифакс с остановками по всем обозначенным пунктам для смены локомотивов и переформирования состава: в Калгари ждали цистерну «Шелл» и контейнеры, из Виннипега в Оттаву отправляли фирменные двухосники «Мартини» и «Чинзано». В кровати, перед сном, повернувшись к стене и накрывшись второй подушкой, я мечтал, что однажды каким-нибудь чудом у меня заведется отдельная комната (в чем не полагалось сомневаться, ибо на этой вере держался весь мой внутренний мир), и тогда я построю большой стационарный макет с прихотливым ландшафтом из папье-маше, тоннелями, эстакадами, разъездами и многопутевым вокзалом. Такие макеты демонстрировали на ежегодных выставках в Доме железнодорожника солидные дядьки, игравшие в милые моему сердцу игрушки вполне самозабвенно, — ходили слухи, что негласным председателем у них чуть ли не член Политбюро. Наверное, сотни раз я совершенно въяве, вплоть до ощущения в кончиках пальцев, переживал эту радостную работу, начиная с поиска оргстекла нужной величины и заканчивая отправлением паровозика в первый испытательный рейс. (Много лет спустя, кочуя по чужим квартирам, я точно так же стану убежать ночами в фантазии о том, как устроил бы свою: немореный стеллаж, система подвижных светильников, два просторных стола углом, письменный и рабочий, кресло-вертушка, а над столами, дабы не на голой стене отдыхал глаз в паузах занятий и плавно наплывала новая мысль, подсвеченные аквариум и сад камней в застекленной книжной полке... — и тем уберегусь от отчаяния.) Если ты прилежен и терпелив, ты непременно достигнешь того, к чему стремишься, — семья и школа настойчиво одурманивали незрелое сознание этой беспардонной ложью. И я прилежно копил звонкую советскую монету, утаивая от родителей по гривеннику со сдачи при каждом походе в магазин за колбасой или картошкой. А навешая, когда гривенников набиралось достаточно, «Детский мир», не столько пополнял себе вагонный парк — чего хотелось, понятно, в первую очередь, — сколько, с прицелом на будущее, разыскивал у барыг бесполезные покуда пере-

ключатели и трансформаторы, о назначении которых узнавал из каталогов с выставок. Дома бдительно сторожил, гоняя мамашиних кошек, журнальный столик, где, не имея места, хранил свои хрупкие модели. Но вот тут я за козявками проморгал слона. Братишка у меня подрос, покинул колыбель, почувствовал вкус к самостоятельным действиям и как-то, буквально в один прием, благополучно мне все переломал: рельсы погнул, домики разбил, у вагонов в лучшем случае отковырял колеса. Оправившись от потрясения, я кинулся спасать, ремонтировать — и махнул рукой: урон был очевидно непоправим. С младенца взятки гладки — мне не требовалось объяснять прописные истины, если я и злился, то не на брата. И немногое, что он пощадил, вскоре все равно отошло ему — ибо не составляло больше никакой цельности, а без нее сразу пропадал всякий интерес. Я вынес из этой истории крепкую науку и впредь остерегался каких-либо увлечений. Однако любая железнодорожная атрибутика — особенно ажурные опоры контактных линий, переплетение путей на узловых станциях и последние бытующие паровозы — долго еще волновала меня, как героев Платонова.

Фабрика глобусов. Вернее, свалка при ней. Класа до шестого на все праздники, каникулы и выходные родители сплавляли меня бабушке (исключая летние месяцы, летом я назначался в училище — пионерлагерь, и там смену за сменой в кружке «Умелые руки» выжигал на фанере картину Сурикова «Боярыня Морозова» в половину натуральной величины). Бабушка жила в центре, на Новокузнецкой, где новые дома соседствовали с дореволюционными мебелирашками, лабазами и мануфактурами. Поскольку уже самая первая моя попытка завязать знакомства в бабушкином дворе обернулась неравной дракой с рыжим верзилкой существенно старше меня и его окружением, в которой мне съездили по лбу качелями, гулять я предпочитал на задворках, исследуя их и продвигаясь все дальше вглубь — словно проникал в неведомую страну. Это были целые кварталы каких-то сараев, маленьких мастерских, бесколесных фургонов и гаражей, сросшихся стенами, углами, примыкавших к флигелям таких же невысоких зданий, — железные, шиферные, рубероидные крыши образовали ступенчатые террасы, и получалось, забравшись в известном месте, пройти по ним километр, не меньше. Но еще сильнее притягивали к себе лазейки и проходы внизу, меж стен. Огрехи спонтанной застройки, они сложились в сущий лабиринт. Где-то я протискивался, втягивая живот и пачкая курточку, где-то вольно шагал просторными коридорами. Здесь водились крысы, а о крысах я часто читал, но никогда прежде их не видел, так что испытывал к ним — хотя и помнил: они переносят чуму — отнюдь не отвращение, а жгучее любопытство. Возле домов встречались замкнутые пустыри-колодцы, в них выходили полуподвальные пыльные окна или облупленные двери черных лестниц, откуда, бывало, выкидывали что-нибудь стоящее — скажем, блоки допотопных электронно-вычислительных машин: пестрый ковер проводов в металлической раме с разъемами, с красными и зелеными цилиндриками сопротивлений. Однако главный клад лежал не на виду. С крыши его вовсе нельзя было обнаружить, а с земли он открывался только пытливого, не вдруг. Я, конечно, знал, что помойки — источник ценных вещей и в сокровенных своих глубинах чего только не прячут. Уже показали новую серию телефильма про милицию «Следствие ведут знатоки»: мелкие жулики с городской свалки — актеры Менглет и Носик — на глазах всего советского народа доставали из мусора бриллиантовые броши. Но здесь дух захватывало от впечатления скорее эстетического. Перекрытый вентиляционными коробами тупичок из фабричного брандмауэра и двух разных заборов, эдакую пещеру Али-Бабы, глобусы заполняли доверху — гора глобусов, желто-синих картонных планет, склоном ко входу. Похоже, сюда годами отправляли через пролом в заборе бракованную продукцию: попадались треснутые, расколотые, безнадежно оборванные, но по большей части брак заключался в смещении отверстий, неровной на-

клейке карт — отчего возникал разрыв в траектории экспедиции Магеллана — и тому подобной ерунде. Правда, на многих уже стихии оставили следы своих разрушительных воздействий. Несколько выходных подряд я раскапывал и сортировал эту кучу. В результате одних лишь обычных, учебных, но безукоризненных, угодивших сюда явно по ошибке, отобрал дюжину. А еще, с пренебрежимыми дефектами, гиганты — как надувные пляжные мячи, и, напротив, карлики — для школьных приборов, демонстрирующих движение Земли вокруг Солнца, смену дня ночью и времен года. А еще — я и не подозревал, что такие существуют: украшают, не иначе, кабинеты важных людей — пятнистые политические; среди них совсем раритетный, старый, непривычных густых цветов и с колониями. Особняком — жемчужина, ручная работа: чуть-чуть пообитый рельефный глобус Луны. Кто-то мелко надписал на нем простым грифелем: Море Ясности, Коперник. Не мог же я все это бросить на произвол дождей и снега. Я перетаскивал земные сферы, как арбузы, прижимая к бокам; и на подступах к дому начинал опасливо осматриваться: не столкнуться бы с кем из коды рыжего. Обошлось. Бабушка не роптала, хотя теснота у нее была еще почище родительской. Но глобус без подставки — предмет, который очень трудно удержать в отведенном для него углу. Месяц спустя мне и самому надоело, что они катаются по всей квартире. Тогда мы сели с бабушкой и приняли соломоново решение. Мне будет достаточно по одному каждого вида. Однако и остальное не должно пропасть втуне. Вечером в воскресенье, перед моим отъездом домой, мы вместе за три ходки перенесли их авоськами на веранды ближайшего детского сада (сторож, выслушав нас, засмеялся, но ворота отомкнул и показал, где какая группа гуляет); причем яростно спорили, как распределить: чтобы совсем малыши нашли шары поменьше либо наоборот. Бабушка давно умерла. Лунный глобус просуществовал у меня дольше других. Его раскокал кто-то из моих ретивых институтских приятелей, когда я собрал в отсутствие родителей компашку отметить окончание первой сессии.

Утопленник в канаве на Крылатских горах. Тогда здесь была еще глухая московская окраина. За полуразваленной церковью и древним кладбищем, где на поросших мхом надгробиях не всегда удавалось разобрать надписи — позже его срыли в преддверии Олимпиады, — уже начинались деревни: собственно Крылатское и дальше — Татарово. От наших домов, последних перед кольцевой, если не считать раскинувшейся на многие гектары укрытой в лесу Кремлевской больницы, тропинка к холмам тянулась краем поля, засеянного то овсом, то гречихой, вдоль ограды яблоневого сада. Сад принадлежал неведомо кому, и за ним не очень-то доглядывали: в конце лета родители посылали нас туда нарвать антоновки на варенье. Кроме ограды сад и поле разделял рукотворный овражек, длинная и глубокая яма. Весною в ней собиралась талая вода, и мы катались на плотах. Потом уровень воды падал, и аквариумисты ловили маленькими сачками циклопов — микроскопических плавающих существ, годных на корм домашним рыбам. Изредка доставался кому-нибудь и тритон (такая вот концентрация мифологических мотивов в отдельно взятой луже) — красивая небольшая саламандра с перепончатыми лапами и зубчатым гребнем от головы до кончика хвоста. Про тритонов, про их способность к регенерации, рассказывали много чудесного. Землю из ямы вынули давно и аккуратно — на откосах успел подняться новый кустарник, а осины над обрывом не опрокинулись и не засохли. Сперва мы заметили серую кепку, повисшую на кусте, и что-то острили по этому поводу. Мы учились во вторую смену, а с утра вышли посшибать майских жуков, втроем: я и два моих приятеля из параллельного класса — будущий пьяница и будущий комсомольский вожак. Владелец кепки лежал в воде ничком и не слишком бросался в глаза, ибо одет был в тон окружающим его сырым корягам. Должно быть, поддатый работяга с крылатской птицефермы: вздумал, судя

по приспущенным штанам, облегчиться с обрыва, не устоял и полетел вниз, а там ударился головой о комель — и готово. По молодости лет единичная смерть представлялась нам событием государственного значения, и хотя никому из нас еще не доводилось видеть мертвеца, притихли мы не от испуга, а от растерянности, быстро сменившейся возбуждением, — даже не верилось, что мы оказались причастны к происшествию такого масштаба. Будущий комсомолец, уже отличавшийся замашками лидера, распорядился караулить, чтобы нашего жмурика никто не присвоил, и побежал к автоматам звонить в ноль-два. Примчался назад, подождали — ни сирен, ни мигалок. Дождик покапал и кончился.

— Ты, — спрашиваем, — с кем говорил-то?

— С теткой.

— И чего она?

— Ничего. Домашний адрес записала.

— Твой?

— Нет, покойника!..

Минут через сорок неспешно подъехал зеленый с синей полосой милицейский «газик». Толстый усатый капитан с бутербродом и бутылкой кефира, мужик в кожаной куртке и рядовой водитель поглядели сверху, посовещались, на нас — ноль внимания. Капитан вернулся в машину и долго разговаривал по трескучей рации. Вылез, допил кефир искомандовал:

— Вытаскивайте его!

— Мы?! — удивились мы.

— А кто, я?

Не поспоришь — логика! Хватаясь за ветки, мы спустились к воде и замерли, подталкивали друг друга локтями. Пока-то он не страшный, бревно бревном. Но коснуться, перевернуть, посмотреть ему в лицо...

— Не ссы, не укусит, — ободрил милиционер. — Вот ты, здоровый, бери за ногу! Туда его кантуйте, где полого...

Я помянул недобрым словом свою комплекцию, вечно выделяющую меня из масс. Побито нагнулся и ухватил стоптанный каблук. Однако ботинок неожиданно легко слез вместе с носком, обнажив грязно-восковую ороговевшую пятку. И тут нас дружно, без предварительных судорог, в три глотки вырвало.

А эта находка — по времени самая ранняя: скорее всего, я еще не поступил в школу, — вальдшнеп в траве на том же гречишном поле. За давностью картинка смазана, осталась схема впечатлений. Вечер летний, но прохладный уже, августовский, очень ясный, кучевые облака собрались к западному горизонту и сопровождают багряное раздутое солнце, на которое можно смотреть не щурясь. Я гулял на холмах и возвращаюсь домой; на ужин будут блины со сгущенкой; мне уютно, я в бабушкиной желтой вязаной кофте. Я не помню, что привлекает мое внимание; как будто и вовсе не было никакого знака: по чистому наитию я делаю шаг в сторону с тропинки, сажусь на корточки и ладонями раздвигаю у края пашни высокую, густую, выгоревшую за долгое сухое лето зелень. Наверное, первогодок, почти еще птенец: в цвет сепии, с пестринами, с длинным прямым клювом — даже не пытается взлететь, но жметя к земле, втягивает голову в сложенные крылья и словно косит на меня по-заячьи, назад и вверх. Я знаю вальдшнепа, среди других диковинных птиц вроде глухаря и удода, по этикеткам спичечных коробков — целая птичья серия — и до сих пор пребывал в убеждении, что водятся они только где-то в дремучих лесах. С минуту я разглядываю его затаив дыхание. Он не так уж и мал, но кажется таким невесомым и хрупким, что я опасаясь чем-нибудь повредить ему, если возьму в руки, хотя взять хочется. Потом отпускаю траву и отступаю. И дома ничего не рассказываю — боюсь, что мне не поверят...

Но странные все-таки штуки играют с человеком охота да икота. Детство, разумеется, — золотые денечки, но не до такой же степени, чтобы вспоминать о них двое суток подряд. Суп виноват. По дороге с вокзала, в овощной лавке, Андрюха наскреб на кочанчик капусты и банку томат-пасты. К вечеру я соорудил отличное густое варево. Только крышка у переносницы оказалась плохо завернута, и весь перец ухнул в кастрюлю разом. Так что за ужином пришлось попотеть. Отозвалось мне это с запозданием, ранним утром. Спать я уже не мог, решительно проснуться не хватало воли — вертелся, икал в полубреду, вот и лезли в голову неожиданные вещи. Сквозь пелену слышал раздраженное Андрюхино шарканье — то ли он и сам страдал, то ли мои утробные звуки его разбудили. Когда за ним хлопнула дверь, я пожалел, что талдычил ему о деньгах слишком настойчиво. К пожару недр примешивалась знакомая невротическая беспричинная тревога — и хрен ее развеешь в одиночестве. А он возьмет да скроется теперь, и правильно сделает, — чтобы я не пенял ему насчет долга понапрасну, до срока. Я, конечно, не думал, что он не вернется никогда: вещи-то остались в шкафу. В походах и экспедициях демократично зарастающий грязью наравне со всеми, в городе Андрюха стирал дважды в неделю и чугунным утюгом, найденным у меня под плитой, манипулировал, бывало, ночи напролет. Ему не вытерпеть долго без свежих рубашек — разве что в Люберцах держит второй гардероб... Но, спросив себя, а как вообще-то у Андрюхи с совестью — то есть способен ли он, хотя бы и на день всего, ради своего душевного комфорта бросить друга заведомо без еды и средств, — я пришел к выводу, что после десяти лет знакомства не могу ответить твердо. Светлые часы я пробродил между кроватью и кухней, где пил воду методом ослика: десять глотков согнувшись в поясе, закинув руку за спину и напрягая горло, — и на некоторое время помогало. Я все-таки очень надеялся, что Андрюха позаботится не только о себе и с минуты на минуту преподнесет какой-нибудь съедобный сюрприз. Приблизились сумерки. Надежда угасала. Чтобы успеть до закрытия, я поспешно оделся и побежал на рынок. Там дешево продал три тома хозяйского Фрейда торгующему книгами инвалиду. И потратил значительную часть выручки в чистеньком кафетерии при кулинарии, вдоволь напившись чаю с эклерами и ромовыми бабами.

Я не хотел сразу идти домой: делать там мне было совершенно нечего, — я сел на рыночной площади в подъехавший троллейбус. Здесь, на конечной, не набралось и пяти пассажиров. Но выруливал троллейбус на весьма оживленную улицу, и я рассудил так: если народа и дальше останется немного, можно прокатиться до другого конца и обратно — все-таки убью часика полтора; если же будет битком — просто сойду на углу своего переулка. Чуда не случилось, и на следующей остановке хлынула в двери застоявшаяся толпа. Однако я не стал продираться к выходу. Место я занял хорошее, первое за кабиной водителя, где достаточно голову повернуть — и ты вроде бы сам по себе, отдельно; спокойно наблюдаешь, как за окном расплываются в звезды и галло красные огни попутных и желтые — встречных машин. А с открытого бока меня удачно загородил брезентовым чехлом для работ студент-художник с учебником «Тени и перспектива».

Но главное, я сообразил, что троллейбус идет в сторону Кунцева. И в моей спонтанной и бесцельной поездке мало-помалу замаячила вполне конкретная цель. Я сделал неутешительные подсчеты. Судя по тому, на какую непомерную сумму я сегодня начаевничал, жизнь продвигалась вперед семимильными шагами и все вокруг опять вздорожало. Значит, за Фрейда я получил сушиные копейки, с которыми и двух дней не протянешь... В общем, когда перевалили филевский мост, я уже точно знал, куда и зачем еду: в родные пенаты, к матери, просить займы. Много она не даст, да и вряд ли у нее есть — но что-нибудь, может, и перепадет.

Она удивилась, что я так, без звонка. Обычно звоню.

— Ты на запах, — предупредила, — не обращай внимания. Я полчаса только как вошла. У Рыжика с утра расстройство. Не везде еще убрала... Ну, я рада. Давай снимай куртку, мне нужно досмотреть...

И вернулась в кресло перед телевизором; рыжий короткошерстый кот вскочил ей на колени. Я думал — фильм, оказалось — информационная программа. Я все еще не привык к новым реалиям и страстям, мне по инерции виделось что-то противоестественное в том, с каким алчным вниманием теперь следят за новостями. Сообщили о пикете с кумачовыми транспарантами возле ленинского паровоза на Павелецком вокзале — коммунисты поднимали голову.

— Сволочи, — сказала она. — Недобитки.

Ее второй супруг и соответственно мой отчим некогда был инструктором по прыжкам с парашютом, затем — дельтапланеристом. Своевременно уловив, откуда дует денежный ветер, он взялся осваивать новомодный парашют — управляемый парашют, стартующий с земли. Сей летучий муж, имея в подмосковном «Туристе» двадцатисекундный полет на трехметровой высоте, потерял от восторга бдительность и приземлился с переломом обеих ног и правой ключицы. Отныне два месяца из трех он проводил в больницах: сперва наращивал недостающие кости, затем пытался излечить тромбоз, — благо львиную долю расходов пока принимало на себя спортивное общество, в котором он состоял. Их сын как-то незаметно для меня вырос и уже заканчивал школу.

Прослушали сводку погоды. Потепление. Совсем я забыл об опасностях, подстерегающих здесь: не стоило садиться на диван — свитер тут же покрылся кошачьими шерстинками. Это не счистишь щеткой, нужно снимать по одной. Я чертыхнулся:

— Сколько их у тебя?

— Кошек?

— В последний раз было три. Все живут?

Она сокрушенно вздохнула:

— Нет, пропали. Вот один Рыжик остался. Потому что первый этаж! Даже если берешь домашнюю, она рано или поздно соображает, что можно уйти. Пару недель еще возвращаются — и все. Наверное, их отлавливают. И я, конечно, на будущее зарекаюсь. А без них скучно...

Кот, когда она взяла его под передние лапы и чмокнула в нос, отвортил морду и сдавленно вякнул.

— Рыжик у нас еще девственник, еще маленький... А иногда Уголек меня навещает. Он из подвала. Тоже юноша — прыгун ужасный. Я его подкармливаю.

Квартира выглядела запущенной. Похоже, после травмы отчима всем и все тут окончательно стало до лампочки. Только часов прибавилось. Мать не то чтобы коллекционировала часы, но почему-то именно интересный будильник, или конструктивистский настенный механизм, или ходики под старину привлекали ее в универмагах в первую очередь. Время на каждом циферблате свое — обслуживать это хозяйство, регулярно заводить и менять батарейки руки у нее уже не доходили. Я спросил, где брат.

— Утверждает, что на подготовительных курсах. В институте. Не стану ведь я его караулить?! Я съездила, узнала: действительно там занятия, с шести до девяти. И он в десять как штык дома. Но все равно у меня сердце не на месте. Мне кажется, он курить начал. Видимо, он чем-то заедает, но от одежды потягивает табаком.

— В шестнадцать лет все покуривают, — успокоил я. — Ерунда. А какой институт?

— Сам выбрал. Автодорожный. На «Аэропорте», прямо рядом с метро. Я сказал:

— Замечательный выбор. Кто не мечтал проехаться на катке по горячему асфальту, у того не было детства.

— Не ерничай. Там конкурс небольшой; по его словам, достаточно сдать без двоек. И военную кафедру не отменили. Да господи, в какой угодно, лишь бы поступил. В армию разве можно сейчас? Куда их завтра пошлют, с кем воевать? Телевизор включать страшно...

— Так у него еще год в запасе. Провалится нынешним летом — пройдет следующим. Потом, институт — не единственный способ. Тем более теперь и после институтов гребут за милую душу...

— Но все-таки отсрочка... Бог даст, за это время как-то вокруг образуется. И уже офицером... О чем ты говоришь — не единственный? Не в психушку же ему ложиться!

— Ну, в психушку, да, — согласился я, — хорошего мало. Но можно, например, по сердечной линии или там по сосудистой — комиссуют по всяким статьям... Найти знающего врача, заплатить. И пусть пишет ему обращения, обследования, диагноз такой, чтобы трудно проверялся, — тогда и в госпиталь его вряд ли направят. Чем раньше начнете, тем вернее.

— И где я должна искать этого врача? — Тон у нее стал надменный, будто я предлагал что-то неприличное.

— Да у тебя полно подруг! Потормоши их. Человек через третьего знаком со всем миром.

— По-твоему, я способна просить о таких вещах?! Способна где-то под столом передавать деньги за подлог?! Как ты себе представляешь?.. Это ведь... унижительно! Будь у меня деньги, мы бы скорее наняли репетиторов. Институт — по крайней мере честный путь. А мухлевать я не собираюсь и ему не позволю.

— При чем тут честный — нечестный? Что, преступление, если человек не хочет, чтобы государственная машина безо всякой вины, силой, за дарма отбирала у него два года жизни? Не желает подвергаться издевательствам. Отказывается убивать, отказывается быть убитым...

— Отказываться можно по-разному.

— Ах, по-разному! То есть открыто, смело, благородно — так? Но тебе ведь известно, чем это грозит. Так поступают, да. Верующие. Допустим, кадровые военные, когда совесть не позволяет выполнять приказы, — одним словом, люди, сознательно отважившиеся на поступок. Я таких уважаю. Может быть, больше, чем кого-либо. А от восемнадцатилетних мальчишек, которые просто пытаются избежать бессмысленности и насилия, не слишком ли многого ты требуешь?

— Но страны без армии не бывает! Не заставляй меня повторять прописные истины. Значит, кто-то должен служить! А тебя послушать — и ясно, за что москвичей всюду ненавидят. У вас даже тени понятия нет о таких вещах, как гражданский долг, о том, что, в конце концов, просто первая обязанность мужчины — отстаивать, если нужно, интересы своей родины и своего народа. Нет, вы во всем видите исключительно бессмыслицу и несправедливое принуждение. Увиливаете любыми правдами и неправдами. А деревенским парням — им деться некуда. Институты не для них, и болезнь фальшивую себе не состряпаешь — живут-то на виду. Вот они и идут, и терпят, как ты назвал, издевательства, и погибают, покуда вы тут прятаетесь по больницам, а в сущности — за их спины...

— Мама! — взмолился я. — Ну что ты городишь?! Кто такие: мы, вы? Ты хоть вспомни, что мы не вообще рассуждаем, а о твоём сыне! Ты же не хочешь, чтобы он там очутился! Стало быть, нутром чувствуешь обман? Догадываешься, что у слов, которыми тебя покупают, бессовестным образом подменили значение? Разве родина — это государство? Разве власть и народ — одно и то же? — если уж ты не можешь обойтись без подобных категорий. Прежде всего в том преступление и бесчестие, что власть, прикрываясь законом и разглагольствуя о государственных интересах, исполь-

зует принудительную, дармовую, с уголовными порядками армию в собственных целях.

— Теперь, — сказала она, — все изменится. Нужно время.

— Да? Ну, не знаю. — Разговор меня злил, впереди просматривалась бесконечная цепь взаимных возражений, и я спешил его свернуть. — Тебе виднее. Я плохо разбираюсь, что нынче творится. Только я надеюсь, ты не будешь в случае чего ставить ему палки в колеса? И на мораль, пожалуйста, не дави. Хочешь устанавливать правила — устанавливай их себе. А он пускай сам решает, кому обязан, кому не обязан...

Мы отчужденно замолчали. Телевизор транслировал арктические панорамы. Я подумал, что все равно хорошо сделал, приехав. Уже давно мы нуждались друг в друге ровно настолько, чтобы встречаться пару раз в году — один из них, как правило, в сентябре, в ее день рождения. Я знал, что сходить чаще было бы тяжело нам обоим. Но и стоило мне прозевать очередной срок — она обижалась, переживала, что забуду ее совсем. Сегодняшний визит благополучно освобождал нас до осени.

Я выждал паузу, перевел разговор на другое и осторожно закинул удочки, нельзя ли сколько-нибудь одолжить у нее. Она растерялась и запустила пальцы в журнал мод на столике — всю жизнь их выписывала и ничего не шила. Она не умела отказывать: робела, обыкновенно уступала, а после стыдилась своей робости — и потому очень не любила, когда ее о чем-либо просили. Это я перенял по наследству.

— Нет так нет, — сказал я. — Не бери в голову.

— Понимаешь, медицина — такая прорва... Ладно, операции нам оплатили. Но половину специалистов мы приглашаем за свой счет. И еда... Больничная — в рот не лезет! Мне теперь зарплату поднимают каждый месяц. Но цены-то обгоняют!

Она приготовила мне омлет с расплавленным сыром. Я еще не проголодался, но не мешало загрузиться впрок. За столом расспрашивала:

— Не болел?

— Смотря чем. Дух, боюсь, болен у меня. Как выражается английский словарь — проходит через ночь. Остальное вроде нормально.

— Жилье получается пока что снимать?

— Я не снимаю сейчас. Сторожу квартиру. Друг один двинул на край света...

— Видишь, как удачно. Мы с твоим отцом тоже снимали, года два или три — не помню уже. Еще до тебя. Это ничего. Все устроится. Женишься. Не надумал жениться?

— Я невыгодная партия. И необщительный.

— А работаешь по-прежнему в церкви?

— Ушел. Уволили, правду говоря. Они больше не издают книги.

— Но какие-то связи полезные, знакомства у тебя сохранились? Ты держись за них. Обязательно что-нибудь предложат. Если у тебя в руках издательское, литературное дело — это отличная профессия, настоящая.

— Ну да, — сказал я. — Так приблизительно и складывается.

— С твоим братом все по-другому, — посетовала она. — А в тебя я с самого начала верила. Ты был очень серьезный. Почти не плакал. Сидел в манеже и рвал детские книжки — часами. Никак не мог научиться перелистывать. А я сырала ползунки и радовалась: вот вырастет глубокий, цельный человек...

На обратном пути имел место контролер, но странно расслабленный и уступчивый: я ему наплел, что у меня нету ни рубля, и он даже не заставил сойти на ближайшей остановке. Я только здорово перепугался от неожиданности, когда он сунул мне под нос красное удостоверение. Я восстанавливал в памяти еще одну старую историю, связавшуюся и с мыслями о брате. Получасом ранее, попрощавшись с матерью, я спускался в

подземный переход под Рублевским шоссе и разминулся с человеком, которого почти наверняка узнал. Почти — потому что выглядел он совершенно разрушенным. Причем разрушенным не так, как это бывает от не-удержимого пьянства или каких-нибудь более оригинальных пороков, — мне показалось, он попросту катастрофически, преждевременно постарел. А в старших классах я нередко хвастался тем, что хорошо с ним знаком. Учился он в центре, в английской, что ли, спецшколе. И выделялся среди моих ровесников, поголовно увлеченных музыкой и через пень колоду ковырявших на гитарах, профессиональным, по нашим меркам, обращением с клавишами. Естественной целью наших массовых музыкальных упражнений было поразить своими талантами возможно большее число девушек. Он же в самые что ни на есть рок-н-рольные времена отдавал решительное предпочтение джазу, для девушек абсолютно невразумительному. Мечтал сбежать в Голландию и поступить в джазовую школу в Амстердаме; захлебывался от волнения, рассказывая, какие всемирные знаменитости — Джон Льюис, Маккой Тайнер — порой ведут там занятия. Как и пристало уважающему себя музыканту, западал на индийские дела и читал все подряд: «Рамаяну» и Дхаммападу (с пеной у рта доказывал, что, «убив отца и мать, брахман идет невозмутимо» ни в коем разе нельзя понимать буквально), Еремея Парнова и до дыр затертые книжки с ятями — сочинения йога Рамачараки; а заодно и ксероксы Штейнера, и дешевые американские покетбуки про оккультизм. Где-то (полагаю, не в «Рамаяне») он наткнулся на описание эксперимента, который следовало осуществить над собой. В течение пятидесяти дней ежедневно, по часу, при слабом искусственном освещении, нужно было неотрывно смотреть в зеркало, глаза в глаза своему отражению. Первые недели две — и тут важно запастись терпением — не происходит ничего. Дальше понемногу отражение начнет гримасничать. Затем лицо в зеркале окажется не твоим и станет меняться раз от раза. И наконец, однажды там не отразится вообще никакого лица. Здесь-то и вспыхнет истина, состоится просветление, коего ради, собственно, все и затевалось. Пустота и полнота сомкнутся, сознание расширится и обымет космосы, скрытые прежде сущности предстанут астральному зрению, а тайные силы, духовные и телесные, будут освобождены из-под спуда и подчинятся воле... Разумеется, он сразу перетащил зеркало к себе в комнату и вскоре, похоже, в этих потусторонних опытах преуспел: интеллигентные родители, подсмотрев очередной сеанс, нечто такое уловили между ним и амальгамой, что спешно определили сына в клинику Ганнушкина. К новому повороту событий он отнесся с юмором и считал, что ему только на руку — белый билет обеспечен. В больнице он беседовал с врачами на отвлеченные темы, прятал таблетки под язык и разгадывал кроссворды. Пока по глупости, угостившись контрабандным спиритиком из боржомной бутылки у соседа-шизоида, не ввязался в драку с санитаром. Тогда с ним что-то сделали. Он не распространялся, что именно (молчал и о результатах своих путешествий в зазеркалье), но вариантов, думаю, существовало наперечет: сульфазин, инсулин, электрошок, какое-нибудь лоботомирование... И быстро выписали, с диагнозом благоприятным для его пацифистских устремлений. Он почти ничего не утратил — ни от ума, ни в эмоциональном плане, и даже мог по-прежнему самозабвенно смеяться. И клавиры Баха играл с прежней проникновенной точностью. Но джаз... Едва он пытался теперь оторваться от темы, все начинало звучать как исполнение регтайма механическим пианино. Причем он всячески выставлял это напоказ: всюду, где была возможность, непременно садился к инструменту, но уже через несколько тактов с виноватой улыбкой отнимал руки и будто бы заново удивлялся открытию. Я догадывался, зачем нужны ему подобные болезненные демонстрации. Не жалости и не сочувствия он хотел от нас — другой характер и другой сюжет, — а понимание величины его потери. Как будто ждал, что и мы зададимся вопро-

сом, который жег его — сжигал медленно, но дотла. Однако ведь — жив, не debil, не в тюрьме... Его друзья не в том возрасте пребывали, чтобы принять действительно близко к сердцу такую прикрытую, внутреннюю чужую боль. После школы он устроился аккомпаниатором в детскую секцию художественной гимнастики. Потом нас всех раскидало. Но лет пять спустя кто-то еще рассказывал мне, что он по-прежнему аккомпанирует и ни с кем не поддерживает контакта.

— Где тебя носит? — спросил Андрюха.

Он сидел на кухне, жарил курицу, пил пиво и читал в газете страницу брачных объявлений. Я устыдился своих несправедливых давешних мыслей.

— Здравсьте пожалуйста. Да я тут днем чуть не очоурился, дожидаясь... Откуда такая роскошь?

— А? Нравится? — Андрюха снял со сковороды крышку и полил курицу вытопившимся жиром. Курица была что надо: крутобокая и золотистая — прямо с голландского натюрморта. Слегка надавил ложкой — корочка упруго подалась.

— Снова бабушка?

— Все, готова. Бери вон пиво в холодильнике...

И Андрюха отделил нам по хрустящему крылу — для начала.

Бабушка ни при чем. Сегодня он поехал на бывшую работу — без цели, а просто поболтать: может, кто чем промышляет в области купли-продажи. Вдруг его приглашают в бухгалтерию и выписывают с депонента премию по итогам прошлого сезона, которая ему полагается, потому что уволился он уже в новом году. Премия невеликая, половина оклада. В уплату долга она покрыла бы лишь малую часть — какой смысл, это ничего не решит. А так хоть побалуем себя. Лучший праздник — праздник желудка.

Андрюха выпятил подбородок и сделался важен, как Гегель, у которого минуту назад сошлись концы с концами в картине самораскрытия абсолютного духа. Законная гордость добытчика. Пиво он принес дорогое, тверское.

— Обратно не зовут? — спросил я.

— Вовсю.

— И что ты?

— Ну нет. Нельзя никогда возвращаться.

Разговор наш не клеился. Андрюха держался очень напряженно. Должно быть, предвидя, что речь о деньгах зайдет непременно, заранее сложил какие-то слова в ответ и торопился произнести их. А я не давал повода. Я с радостью убедился, что уходить ему неохота, и боялся лишним напоминанием все испортить. Вот мы и мялись, как влюбленные на первом свидании. Прогрохотал снаряд в мусоропроводе. Я уронил вилку. Андрюха сказал:

— Встретил там мужика — он у нас в Армении полем командовал. А теперь — шишка. Контролирует всю сейсмическую программу. Хороший дядька. Поговорили с ним. Интересные вещи всплывают...

В основных чертах из множества Андрюхиных рассказов мне было известно, чем занималась его геофизическая партия. Бурили шурф — большей или меньшей глубины, в зависимости от конкретной задачи и условий — и закладывали взрывчатку. Потом производили взрыв, и самописцы в разных точках фиксировали сейсмические колебания. Через несколько километров — новый шурф, новый взрыв, — и так продвигались. По совокупности измерений делали выводы о тектонических особенностях района и содержанием недр. Наверное, в проекте намечалось охватить этими исследованиями всю страну — только страна пошла некстати разваливаться. Буквально в последнее спокойное лето Андрюхина экспедиция работала на границе Армении и Азербайджана. И все теперь я впервые услышал от Андрюхи, что деятельность их там была не совсем обычной. Вместо штат-

ного аммонала — такого же, как лежал сейчас у нас в оружейном ящике, — предполагалось в испытательном порядке применить маломощные (по сравнению, видимо, с Хиросимой) атомные заряды. Придумали размещать их в загодя нашупанных естественных кавернах скальной породы. С июня по август Андрюха и другие работяги тратили взрывчатку и вкалывали от света до света, проводя к этим камерам наклонные тоннели. Люди понимающие недоумевали: гористая местность, пустоты — эффект возможен самый непредсказуемый. Но высокое начальство потому и высокое, что снизу не докричишься. Первый заряд привезли под армейским конвоем, а с ним приехали наблюдающий генерал и стайка военспецов. Спецы потирали руки, предвкушая, что удастся спровоцировать небольшое тактическое землетрясение. Все было установлено, подключено, уже готовились замуровать шахту, но тут-то и сообщили из Москвы, что в министерстве кое-кого сменили и новым эта затея не представляется ни невинной, ни перспективной. Распорядились прекратить работы и ждать указаний. Как только истек плановый срок взрыва, вояки, доставившие бомбу, расселись по «Уралам» и укатили, ибо не имели приказа оставаться дольше (к тому же их нечем было кормить). Начальник экспедиции в панике взывал к старшему над ними капитану, но капитан ответил, что с собой заряда не заберет, поскольку армии он не принадлежит, а они всего лишь осуществляли сопровождение. Следом, наскучив ночевать на раскладушке в палатке, отбыл в Ереван и генерал со своими разочарованными специалистами, попросив известить, когда все-таки приступят к делу, и посоветовав снестись с Москвой, чтобы обеспечили охрану. Своей властью он солдат выслать не мог — он был какой-то технический генерал. В министерстве, однако, сочли, что официально прибегнуть к помощи военных — все равно как во всеуслышание принять на себя ответственность за инициативы предшественников, со всеми вытекающими неприятностями. А хотели без лишней огласки, на личных связях, найти какую-нибудь организацию подходящего уранового профиля, куда удалось бы по-тихому адскую машину передать (причем желательно неподалеку, дабы не пришлось везти уже своими силами, таясь от других ведомств, через весь Союз), — и, подшив документ о передаче, избавиться от проблемы. Тщетно проискали до середины осени. Между тем подступали холода — экспедицию надо было снимать.

В конце концов, после долгих согласований, на неделю приковав начальника экспедиции к телефону в ближнем (но не близком) поселке, признали наименьшим злом оставить все как есть и вывозить бомбу в будущем сезоне. Верстах в двадцати от экспедиционного лагеря находилась военная часть, даже не часть, а точка, объект — то ли станция системы слежения, то ли тропосферный ретранслятор (несостоявшийся инженер-связист, Андрюха не умел описать антенну, лишь пальцы топырил — во, такая...). Молодой командир объекта сильно скучал по родному Питеру, тянулся к культуре и частенько наезжал, прихватив казенной тушенки и флягу гидролизного спирта, провести время с москвичами. С начальником они стали приятели. Теперь начальник приватно, под строгим секретом, объяснил ему, что к чему. Тот выделил бетонную плиту — ею закрыли выход на поверхность, присыпав потом землей, — и пообещал назначить новый маршрут грузовику, который по вторникам и пятницам гоняли в райцентр: водитель, толковый сержант, в подробности посвящен не будет, но за окрестностью присмотрит. Казалось, впрочем, довольно маловероятным, чтобы случайный путник в чистом поле, вдали от всякого жилья наткнулся на замаскированную плиту и уж тем паче угадал под нею спуск в подземелье и начал долбить бетон, рассчитывая на упрятанные сокровища (а образ террориста еще не укоренился в умах и не подсказывал сюжетов более увлекательных). Так что домой возвращались со спокойной душой: дальше пускай наверху голову ломают — зима длинная...

Но на следующий год эти края уже называли в газетах не иначе как примыкающими к зоне межнационального конфликта, и геофизикам было там, понятно, не место. А еще через год стали они как бы и вовсе чужой территорией. Знакомого командира отозвали. Проездом в Москве он навещал начальника, успевшего шагнуть на пару ступенек по должностной лестнице. Рассказал, что армяне объявили станцию своей — только на кой она им сдалась вне всей системы? По его словам, бомба мирно покоилась в земле — никто о ней не проведал, никто не проявлял интереса... А здесь, распрошавшись с надеждой бомбу вернуть, про нее старались попросту не вспоминать. Покуда министерских олимпийцев не перетасовали снова и в процессе разных ревизий не выплыли опять старые документы, а с ними и старая головная боль — изыскать способ и вывезти хотя бы в Россию.

Я спросил: а зачем, собственно? Если она надежно похоронена, если шансы, что кто-то ненароком ее откопает, пренебрежимо малы... Взорваться сама она не может: подлодки на дне морском и те пока не взрываются. Так пусть и лежит себе в своей пещере. Сейчас она менее опасна, чем станет в любом другом варианте.

— Нельзя, — разъяснил Андрюха. — Она же на балансе.

— Ага. У завхоза. — Я живо представил себе соответствующую графу материального отчета.

— Ну, не на балансе... как-то там еще... суть в том, что она за ними числится. И липовый акт о взрыве не составишь, его наблюдатели от вояк должны подписать. Как быть? Вдруг инспекция, вдруг потребуют предъявить? Вот они и боятся. Одно дело — отвечать там за неправильное хранение или что-нибудь в таком роде. А тут — совсем потеряли! Ты только вообрази, если сведения просочатся и дойдут до армян: атомная бомба скрытно заложена на территории другого государства! — во что это выльется, в какой политический скандал...

Я замахал руками:

— Все, все... Про политические скандалы — это для меня уже слишком.

— Постой, я не договорил. Я что думаю: почему бы нам с тобой не съездить?

— Чего? — не понял я. — Куда?

— Заберем ее. А нам заплатят. Видел я ее — она не очень большая. В рюкзак влезет элементарно. Тяжелая, правда. Килограмм сорок.

День сегодня получился долгий и пронзительно бездарный. Я устал и не был настроен подыгрывать.

— Слушай, когда нечем развлечься, нужно либо есть, либо спать. Мы уже поели.

— Не, я серьезно, — сказал Андрюха.

Я едва не застонал. Я почувствовал себя так, будто меня зомбируют или подвергают гипнозу. Еле на стуле держусь, засыпаю, после курицы и двух бутылок крепкого пива свинец растекся от лобных долей к затылку — и в этот обескровленный мозг мне начинают внедрять откровенную туфту!

— А с теми, кто должен нам заплатить, ты уже поделился своими планами? Или делаем им сюрприз?

Не трепать бы языком новость о чем, а послать Андрюху к чертям собачьим и первым уйти в комнату — тогда кровать на ночь достанется мне.

— Он сам завел разговор... И он действительно — шишка, многим ворочает. Деньги будут.

— То есть вышли покурить...

— Он не курит, — сказал Андрюха. — Мужик этот — не курит.

— ...и образовалось, между прочим, предложенье — не привезешь ли бомбочку? Серьезней не бывает.

— Напрямик не предлагал. Намекнул.

— Намекнул! Андрюха, я тебя разочарую. Он, может, на что и намекал, но ты намек расшифровал неправильно.

— Почему? Тогда для чего он посвящал меня в эти их дела кулуарные?

— Да потому, что какие бы сложности ни испытывали твои бывшие начальники, к посторонним раздолбам в таких ситуациях не обращаются.

— А к кому? Ты не забывай, там теперь все, самостоятельная страна, забугорье. Военных даже теоретически не отправишь.

— Ерунда! Под чужим видом — запросто, кого угодно. Граница ведь не закрыта. Не военных, так гэбэшников. Вот под твоим. Не так уж трудно изобразить геофизика.

Андрюха покачал головой.

— Не годится. Для них ведь по-прежнему самое важное — сор не выносить из избы. Через столько лет — тем более. И, кроме меня, он, считай, уже и не найдет никого, кто с ним в том сезоне работал и знает местность. Ну, разве еще взрывник один до сих пор в партии. Я-то как раз не посторонний. Я самолично шахту под эту штуку пробивал. Меня ночью разбуди, я вспомню приметы, где она зарыта. А взрывник точно не поедет. У него пунктик на радиации. Когда бомбу опустили, дыру за сто шагов обходил.

— Отлично! — развеселился я. — Она еще и светит!

— У страха глаза велики. Заряд в ней слабый. И защита — откуда вес? Солдаты вон с ней валандались, ничего... Нет, разумеется, я не самоубийца. Сначала обмеряем ее из тоннеля. Радиометр добуду.

Он, в общем-то, все уже прикинул. Садимся на ереванский поезд (некоторое время назад с ними было весьма неровно, но Андрюха звонил в справочную вокзала и выяснил, что регулярное движение давно восстановлено). При себе имеем бумагу, где значится, что мы командированы за научными образцами, заготовленными экспедицией еще до начала карабахских событий, — якобы тогда вывезти их не успели. Подчеркнуто, что результаты исследований, для которых данные образцы нужны, планируется впоследствии передать Армении, поскольку они могут способствовать обнаружению здесь новых месторождений полезных ископаемых. По Андрюхиной мысли, такая клюква послужит нам лучшим пропуском и обеспечит от подозрений тем вернее, чем чаще и настойчивей мы станем на нее ссылаться. Дальше, из Еревана, добираемся рейсовым автобусом или попутками...

— Каким автобусом?! Ты с луны свалился? — Я поймал себя на том, что уже втягиваюсь помимо воли и обсуждаю заведомую пустышку почти с увлечением. — По радио говорили: в Ереване электричество включают на три часа в сутки. С бензином, думаешь, лучше картина. Они воюют с Азербайджаном. Забыл?

Но там, куда нам надо, он полагает, некому и незачем воевать. Там только крестьяне, пасут своих овец. Ничего важного, дороги и то нет приличной. Что касается бензина... какие-то машины по трассе все равно ходят. Пусть военные. Нам и выгоднее останавливать военные — из тех же, демонстративных, соображений: раз мы ни от кого не прячемся, следовательно, не держим камня за пазухой и намерения наши воистину чисты. А от шоссе не слишком далеко и пешком: половина зимнего дня пути до деревни и потом еще километров пятнадцать. Наше появление деревню не удивит, жители привыкли к экспедициям: раньше, до Андрюхиной, у них много лет подряд размещались геологи. Стоит, должно быть, нетронутым и выстроенный геологами сарай. Вряд ли его разрушили и растащили ящики со старыми кернами (керны — это пробы породы, каменные цилиндры размером со стакан). Ящики, конечно, удобные и много для чего сгодились бы, но у армянских крестьян Андрюха наблюдал строгие патриархальные нравы: они не позарятся на чужое, покуда помнят хозяина и не убеждены, что тот пропал навсегда. В деревне мы разживемся лопатой и

киркой — разбить плиту. Переночуем в сарае или воспользуемся чьим-нибудь гостеприимством. А утром, убедившись, что не предвидится метели, выходим за бомбой.

Засветло мы, скорее всего, не обернемся. Но если сражаться с плитой самоотверженно и погода не выкинет фортеля, потемки застанут нас уже на подходе к деревне. Хорошие компактные ножовки, берущие арматурный прут, найдутся в гараже Андрюхиного отца (другом, рабочем) — у него там целая мастерская. Рюкзак Андрюха починит свой. Бомбу завернем в спальные мешки — а то отобьет спину.

Про ящики он упомянул не зря. Нам понадобится пять штук. В одном на дне — наш ценный груз, сверху прикрытый кернами, в остальных — только керны, в два слоя. В случае проверок — таможенных или дорожных — показываем холостой ящик: серые камни, пронумерованные краской или химическим карандашом, наглядное соответствие документу. Мало? — пожалуйста: второй, третий. Хоть все — не станут ведь в каждом еще и докапываться до дна.

Я заметил, что ящики будут у него неподъемные.

— Да ладно, — не смутился Андрюха, — сотня килограмм. Нам не на горбу их таскать. А в кузов, из кузова — вдвоем нечего делать.

Настоящая закавыка — грузовик, чтобы вывезти нас из деревни. Поблизости машин не найдешь, их и прежде не было, глухомань. Наведаемся на объект с антеннами. Не выгорит — в поселок на трассе, в райцентр. Просто голосовать на шоссе нет смысла. Даже если мы дождемся попутку до самого Еревана, придется еще уговаривать водителя съездить за нашей поклажей — здоровенный крюк в сторону по никудышной грунтовке. Естественно, доллары, война не война, всюду в чести, а на расходы нам выдадут не скупясь. Но когда вокруг полно вооруженных людей, не стоит искушать долларами кого попало. Предпочтительнее — опять-таки и в подтверждение нашей легенды — добиваться содействия от властей, гражданских или военных, упирая на пользу своей миссии для суверенной Армении. Не исключено, что предстоит потратить несколько дней и стоптать по паре железных сандалий.

А в Ереване обычным порядком, с квитанцией, сдадим ящики в багажный вагон. Себе покупаем билеты в купейный. Телеграфируем условленным кодом. Все. Тут, на вокзале, нас встретят. Мы им — бомбу, они нам — конвертик. Вернее, пакетик. Возможно, померзнем, возможно, поголодаем, но при благоприятном раскладе управимся за неделю-полторы.

— Прямо кино, — сказал я. — Кино с Бельмондо.

Андрюха не отрицал: доля риска остается. Всего не предусмотритишь. Так мы и цену назначим за риск. А попадемся... ну что нам, в сущности, грозит? Помурьжат — и выпустят. На вляпавшихся сдуру в плохую историю мы смахиваем определенно сильнее, чем на тренированных диверсантов. Будем крепко стоять на своем: мол, нанялись на временную работу, нас и отрядили. Нам известно не больше, чем содержится в бумаге. На бомбе не написано, что она — бомба. Объяснили: образцы, наука, там-то и там-то, и будь любезен — доставь...

Некий ужас и ощущение безысходности, охватившие меня вначале, теперь развеялись. Я не пытался подловить Андрюху на многочисленных нестыковках. Вот бумага, необходимый в его схеме элемент: кто, какой здравомыслящий начальник согласится ее подписать и тиснуть свою печать — выступить крайним? Почему, например, наши заказчики могут быть спокойны, что мы не загоним бомбу чернорабочим армянским радикалам? И вообще, такая авантюра получалась бы чревата для них — если нас сцапают и скандал действительно вырастет в межгосударственный — куда худшими последствиями, нежели нынешнее состояние вещей. Чего бы я достиг? Зачем мне Андрюхино признание, что все это — голая фантазия? Я знал, таков один из Андрюхиных способов возвращать себе в затрудни-

тельном положении уверенность: феерические выдумки, как правило с приключениями и большим призом, — всего лишь неизжитая детская магия, своеобразное приманивание удачи. Он особо и не рассчитывает, что кто-нибудь отнесется к ним всерьез. Однако в упрямстве, с каким сам за них держался, заключалось что-то привораживающее. Пусть ты не собирався подхватывать предназначенную для тебя в его вымысле роль и поддакивал, когда того требовало развитие игры, единственно из нежелания спорить, опровергать, — Андрюха буквально навязывал тебе чувство, будто решения ты принимаешь отнюдь не иллюзорные, а самые что ни на есть ответственные. Вовлекая в специфическое двоемыслие, он помогал и другим сохранить дух бодрым. Что, случалось, понимали постфактум, оглядываясь назад, не только друзья и подельники, но и выучившие свое кредиторы.

Но я не о духе заботился, когда наконец отмахнулся: «О'кей, хорошо, едем», — игрушечное согласие на игрушечное приглашение к путешествию. Я не видел, как еще перерубить разговор, обещавший иначе длиться до зари. Андрюха с энтузиазмом шлепнул ладонями по коленям. Сказал, что боюсь — вдруг я откажусь. Очень ему не хотелось отпраляться туда в одиночку.

Следующие дней десять он пунктиром пропадал, возникал, пропадал опять, — ночевал всего дважды. Приносил продукты из тех, что можно собрать после застолья, и ополовиненные бутылки. Иногда оставлял несколько изрядно обесценившихся червонцев или пятерок. Я не расспрашивал, где он бывает, догадывался и так: очередное полюдьё, снова взялся объезжать друзей и родственников, занимает по крохам — кто что даст. Похоже, он сообразил, что в этот раз все-таки перегнул палку, — мы не возвращались к ночному разговору, и вскоре я совершенно о нем забыл. Наш главный, финансовый, вопрос не то что вовсе перестал меня волновать, я по-прежнему остро чувствовал движение времени. Но мысль, что в чем-то я мог бы понадеяться и на себя самого, день ото дня казалась мне все менее несурзадной. Меня явственно отпускало. Я почти перестал ощущать, выйдя из дому, направленное на меня противодействие, поэтому много гулял и находил удовольствие в новизне восприятия. Однажды, с Андрюхиных денег, даже посетил Киноцентр, смотрел в маленьком пустом зале длинный, медленный и страшный фантастический фильм режиссера Кубрика. Однако по преимуществу еще осторожничал и общественных мест избегал: путаясь в изменившихся денежных мерах, предполагая за ними новые, неведомые доселе правила жизни, опасался попасть в нелепую, а то и унижительную ситуацию.

Освоившись довольно, я исполнился куража и нагрянул в гости к той семейной паре, с которой некогда зимовал в выселенной коммуналке (их демарш, стойкое осадное сидение несмотря на применявшиеся к ним силовые методы — многосуточные перебои с газом, отоплением и водой, — завершился победой, и весной они получили замечательную квартиру в районе Никитских ворот). Мой внезапный визит их ошеломил. Они-то подозревали, сознался хозяин дома, я либо опустился на жизненное дно (его выражение), либо давным-давно пытаю счастья за границей. Но приняли меня сердечно. За столом я усерднее ел, чем разговаривал. А хозяин не стеснялся рассказывать о себе. Он говорил, что у него был тяжелый период внутреннего перелома, трезвой оценки своего художественного дарования — и теперь он больше не помышляет о станковой живописи. Что, словно в награду за усмирленную гордость, за болезненное, но честное отречение, ему стало приносить подлинные творческие радости оформительство, мнившееся раньше занятием второстепенным, вынужденным, всего лишь приемлемым для живописца источником хлеба насущного. Что издательское дело вступает в компьютерную эпоху; привычные технологии

бесповоротно ушли в прошлое; через пару лет уже никто не будет работать по старинке. К счастью, в фирме, где он не только служит, но и принимает участие в совете учредителей, этого никому не надо растолковывать. И нынешнее его кредо — компьютерный дизайн. Фирма развивается, растет, в будущем месяце они собираются поменять технику на самую передовую — тогда и у него на квартире установят персоналку.

— У нас грандиозные планы, — сказал он, провожая меня к лифту, — книжные серии, иллюстрированный журнал. Сам я уже не смогу обрабатывать всю графику и макетировать каждый выпуск. Моя задача — общая идея, концепция, отдельные обложки... Мне нужны люди. Здесь не обязательно быть профессиональным художником — это не карандаш, не кисти. Просто иметь вкус и кое-какие знания. Ты ведь разбираешься в фотографии. И работал в редакции, так что в целом кухня тебе знакома. Смотри. Азам я бы обучил тебя за неделю, а там — постигай на практике. Все так начинают... Зарплата достойная. Не хватит — наберешь левых заказов, халтура всегда найдется. Ну, распорядок... Да нет никакого распорядка. Хоть ночью являйся. У тебя материал, у тебя срок сдачи — остальное меня не касается. Поверь, хорошая атмосфера, нормальные ребята...

Мое тонкое чутье на судьбу включилось сразу же, с первых его слов, за которыми я моментально уловил не обыкновенные для всего, бывшего со мной в эти месяцы, ненатуральность и пустоту, а наконец-то долгожданную достоверность. Вот оно. Он сделал мне предложение по всем параметрам почти идеальное. Мог бы взять доку, специалиста, но зовет меня — великая штука старое приятельство. Вот и конец моей странной зависимости от непутевого друга, чужих долгов, антарктических экспедиций... Только чего-то тут не хватало. И лифт еще не успел добраться к нам на девятый этаж, как я уже знал — чего. Я должен был испытать освобождение, что ли, облегчение... Но я не испытывал облегчения.

Лифт перехватили этажом ниже. Хозяин ткнул кулаком в кнопку. Он деликатно молчал. Ждал, пока я отвечу.

Я одернул себя: стоп, не смей. Там — ничего, пшик. Ничего недовоплотившегося, под чем было бы жаль подвести черту. Это мерещится, этого нельзя брать в расчет. Это отброшенная во мне тень слишком долгой неудачи. Может быть, завтра, может, через час, через пять минут я опомнюсь — а скороспелый гордый выбор уже не получится переиграть. Никогда не выходило.

Стараясь не дать повода принять это за вежливую форму отказа, я попытался объяснить ему, что не хотел бы решать прямо сейчас, в данную минуту. Спросил, терпит ли время. Он пожал плечами: о чем тут думать? — но вроде бы понял правильно. Сказал, что может держать для меня место до первых чисел марта. Но определено не дольше.

Домой я вернулся пешком. Я надеялся, что прогулка позволит мне сконцентрироваться, навести в голове порядок, однако мысли разбегались по множеству направлений. Было около десяти вечера. Еще дворник без шапки колот у подъезда приваренным к лому топором лед, легко отслаивавшийся от асфальта. Благодарный весенний труд. Возле торчал в почерневшем снегу дюралевый скребок. Когда я пробирался, расставив руки и балансируя, по вздыбленным ледовым оковалкам, дворник спросил огня. Он поджег приплюснутую «Астру» и виновато кивнул на осиротевшую лопату:

— Дочка устала. Неважно себя чувствует.

Я расстегнул куртку и выдернул скребок. Примерился. Черенок коротковат — под женщину или подростка.

— Зачем вы? — растерялся дворник. — Не надо...

Да бог разберет зачем. Так. Разогнать кровь по жилам.

Он повторил:

— Не надо... — Но тон уже сползал в безразличие. — А то вроде я вас разжалобил...

И спешно отошел, подчеркивая дистанцией: я развлекаюсь по собственному почину и он ни при чем. Мы молча работали вдвоем: он колот у самой дороги, я с другой стороны энергично подгрел и отбрасывал за сугробы. Меня хватило на четверть часа: скоро у основания пальцев на отвыкших ладонях стала слезать кожа.

В кухне на столе я обнаружил бутерброд с колбасой в крафтовом пакете и ящичек из коричневой пластмассы, снабженный брезентовым ремнем для носки, похожий на футляр полевого телефонного аппарата. Ящичек прижимал оторванную полоску газетных полей. Андрюха писал перьевой ручкой, и чернила на газетной бумаге сильно расплылись: «В четверг с Курского 23.10 Ереван. 8 вагон. Носков шерст. не найдешь для меня? Четверг завтра. Курский вокзал (дважды подчеркнуто)».

Я отщелкнул крышку и уставился на переключатель шкал, какие-то настройки, стрелочный индикатор с градуировкой «микрорентген-час». Внутри глубокой крышки крепились трубчатые секции и датчик со шнуром. Я свинтил из них штангу и состыковал разъемы, как было указано в открывшейся под трубками инструкции на металлической табличке. Стрелка явила признаки жизни. В сборе все это напоминало миноискатель.

Из любопытства и для тренировки я предпринял несколько измерений. Установил, что в прихожей и ванной фонит приблизительно одинаково и вдвое меньше, чем в том углу, где холодильник (вспомнились белые тараканы). Что самая чистая точка в квартире — на середине пути от письменного стола к кровати. Шаг за шагом я совершенно погрузился в исследования (хотя действовал вполне сомнамбулически), даже попробовал выудить из дальней памяти санитарные нормы, которые зубрил в институте, готовясь к экзамену по гражданской обороне. Пока до меня не дошло: показаниям нельзя доверять, ибо снимаются они по младшей шкале и в секторе, ближнем к нулю, — а в таком режиме любой прибор, как правило, забывает, к чему предназначен, и начинает ловить фантомаса.

От возни с радиометром меня отвлек телефон. Я помедлил: поднимать — не поднимать? Простенькое бытовое ясновидение — я сразу догадался, кого услышу.

— Нам полезно было отдохнуть друг от друга, — сказала она. — Но пора, наверное, поговорить?

— Тебе не кажется, что поздновато? — спросил я.

Она засмеялась:

— Нет, ты уникальный все же бегемот. Звонит женщина, ночью, тайком от мужа, с ясными намерениями, которые вообще-то мужчин вдохновляют. А он — поздновато! Давно ли? Ты что, начал вставать по утрам? На службу устроился?

Суший талант у нее: что угодно перетолкует в благоприятном для себя ключе. Мысли не допускает, что с ней могут обойтись резко.

Я перечитал записку. На животе у меня болтался радиометр. Неожиданный оборот...

— Лучше завтра побеседуем, — сказал я. — Ты дома?

— Дома. Мужа нет. Сосед учит его по ночам машину водить.

— А который час?

— Полдвенадцатого, двенадцать... Куда ты торопишься?

Не в Андрюхином стиле возобновлять уже не задавшийся однажды розыгрыш. Выглядит так, будто мы правда уезжаем. Тогда мне уйму всего предстоит еще переделать.

— На кухню, — соврал я. — Ужин грею. Сгорит ведь ужин.

— Точно, — вздохнула она, — бегемот. За что мне такая доля?

Кто бы спорил — доля незавидная. Тем не менее завтра она собралась ко мне. Ее подруга подрядилась шить концертные костюмы какому-то казачьему коллективу и зовет ее в компаньонки. Она должна получить вы-

кройки. Возможно, она зайдет днем, а отсюда направится к подруге. Но если сосед будет занят, а муж, соответственно, свободен, если муж согласится уложить ребенка спать — она объяснит ему, что работа не ждет, что казаки доплачивают за срочность, поэтому ей необходимо у подруги остаться. И придет ко мне ночевать.

Я спросил:

— Он тебе верит? Муж?

— Не знаю. Но проверять он не станет. Никогда не проверяет. По-моему, он сам боится ненароком в чем-нибудь меня уличить. Не понимает, как себя вести со мной, если уже и мне будет известно, что ему известно... Раньше тебя это не очень-то беспокоило...

Я сказал: ладно, годится, завтра увидимся. Но мне тоже придется отлучиться, и тоже пока не решилось, днем или ближе к вечеру. Так что предварительно набери мой номер. Не хочу, чтобы ты оказалась у запертой двери.

Теперь — извини, моя еда превращается в угли.

Я учитывал: она одна, ей некуда спешить и ночь располагает к разговору, — стоит мне сейчас заикнуться о моем вдруг обрисовавшемся отъезде, долгого разбора отношений не миновать. А завтра, пусть она и успеет дозвониться, — наверняка с чужого телефона или из будки, на бегу, что выгодно скомкает всякое обсуждение факта, перед которым я ее поставлю.

Я по-прежнему не сомневался, что предпочел бы распрощаться с ней прямо и честно. Только время, увы, поджидает...

И все-таки эти расчеты вынудили меня поежиться от некоторой гадливости к себе.

Потом еще старательнее, чем в прошлый раз, я вымыл полы, навел содой глянец на сантехнику и посуду; кастрюли и чайник откипятил в ведре с мыльной водой. В результате, за вычетом вспученного паркета и барашков отслоившейся краски на потолке (их бы ободрать до уборки, в первую очередь, но я упустил, а после — значит, все усилия псу под хвост, начинай по новой), квартира приобрела довольно сносный вид. Кусочком прогорклого сала я промазал свои туристские ботинки. Пошуровав в ящиках письменного стола, разжился катушкой оранжевых ниток и подлатал кое-какие ненадежные места на джинсах и куртке. Но пока я в комнате управлялся с иголкой, в кухне повторился старый трюк с краном и тряпочкой: вода на полу уже стояла ровень с порошком, отделявшим кухню от прихожей, и накапливала силы для дальнейшего наступления. Проклинаю хозяйина — почему не отремонтировал краны, — проклиная вечно сопутствующие мне убожество и разруху, проклиная родителей за то, что вообще произвели меня на свет, я опять опустился на четвереньки с тряпкой и металлической кружкой в руках. Когда выгонял из-под плиты и холодильника последние волны, за окном заурчала, разогреваясь, ранняя машина.

До сих пор цель своих приготовлений я как-то выносил за скобки. Зачем Андрюхе тащить меня в воюющую Армению? Должно быть, образовалась у него новая идея типа нашей охотничьей, и с поезда мы сойдем где-нибудь на полдороге. Не принимать же за чистую монету сказку о бомбе.

А прибор, а «микрорентген-час»?..

Меньше чем через сутки мы встретимся на вокзале — и все выяснится. Я свободен не ехать. Свободен. Но не для того ли я и забился с осени в эту пыльную нору, чтобы никто и ничто не связывало меня, когда выпадет мой шанс разомкнуть опустылевшие круги?

Я рассуждал: если бомба все же не миф и мы действительно направляемся за ней — мало надежды, что удастся Андрюхин замысел. Скорее всего, нам и до места не добраться. Только это роли никакой не играет. Главное, война, подобная идущей там, как представляется мне, обязательно меняет вокруг самый дух времени. Попасть в ее орбиту — все равно что

полностью ввериться непредсказуемому случаю, а то и чуду. Я как будто раскусил головоломку. Желания повоевать у меня никогда и в детстве не возникало. От стрельбы из автомата закладывает уши. Андрюха, несмотря на свойственные ему закидоны, тоже, думаю, не любитель очертя башку лезть под пули и рисковать жизнью, — и даст бог, мы сумеем удержаться на расстоянии от зоны настоящих боев и не совершим ничего, за что даже по военным законам нас можно было бы взять и спровадить на цугундер. Но чудо и случай — вот где зарыта собака! Пора признаться: вряд ли есть что-нибудь притягательнее для меня.

Какой тут сон! Напрасно я ворочался в кровати и считал баранов. Я был очень возбужден, воображал нас то удирающими из-под стражи, то скитающимися в горах, то пересекающими турецкую границу. Вдобавок мне уже предносился образ Андрюхиного бутерброда. Бутерброд, по уму, следовало пока приберечь — не так давно меня от души накормили в гостях, а до поезда иной еды не предвидится, — но я не вытерпел. И вся обстановка моего скудного завтрака — что вот и последнюю свою, со слоном, пачку чая я опустошаю, что сахарницу, тщательно обколов присохший к стенкам песок, ставлю под горячую струю, а единственную насельницу холодильника, банку окаменевшей аджики, кинул, понюхав, в пакет с мусором — сложилась словно в чин прощания, будила добрую грусть. С тем хорошо бы и уйти — но мне-то еще целый день сидеть, зубы на полке...

И тут я вспомнил, что в куртке, да не в одном кармане, звякали монеты — мелкая сдача с немногочисленных покупок. Высыпал их на стол — образовалась приличная горка. Отделил, сколько понадобится, чтобы доехать вечером до вокзала. Остаток вроде бы тянул на булку или дешевый батон. Булочная на углу возле зоопарка открывалась (однажды я прочитал часы работы и обратил внимание) раньше других магазинов — туда я и двинулся, когда совсем рассвело. Падавший ночью медленный снежок лежал еще не везде убитый. На воздухе ум мой стал сух и резок — вроде того, как бывает наутро после качественной водки. В булочной разгрузили с машины хлеб, почему-то через входную дверь, и я подождал в стороне, в компании трех старушек. Взгляд блуждал самостоятельно и монтировал, как Дзига Вертов: вот троллейбус причалил к остановке напротив, и пассажиры потянулись в переход, привычно ругая власти, поставившие на многолетний ремонт ближний вестибюль метро; две галки перелетели с крыши через улицу и состязались, толкаясь, за съедобный обглодыш возле бордюрного камня, — как они видят, на таком расстоянии?.. вот всепогодный районный придурок, старый, в старой милицейской шинели и ушанке с промятыми следом кокарды, волочит авоськи по земле — в них скомканные грязные газеты и треснувшая молочная бутылка; а вот он я иду: топ-топ — смерть в животе, атомная бомба под мышкой, по душу великого князя. И ни черта уже не найдет весь этот муравейник, чем бы меня переманить...

Дома я записал в тетрадь с максимами: «Свобода начинается там, где вещи перестают намекать на что-либо, кроме самих себя». Туманно — ну и пускай, зато весомо. Тетрадь сперва убрал в кофр, который оставлял здесь то ли на хранение, то ли в наследство, — но, поразмыслив, достал снова и положил на виду: что плохого, если она развлечет хозяина и его пассию. Перед зеркалом обкорнал себе волосы. В теплой ванне все же задремал и проснулся оттого, что вода остывала. А взялся за телефон узнать время — в трубке не оказалось гудка. Ну, это совсем ни в какие ворота! Мало того, что я еще должен сегодня ориентироваться, — простая порядочность требовала, пускай мне не по силам произвести ремонт или остановить течь в кранах, прочее все вернуть в исправности. Как назло, пропала отвертка. Пришлось лезть в ящик за принадлежностью к карабину. Битый час я колдовал над аппаратом, пока не определил по наитию: причина не в нем. На кухне, в черной плашке с контактами, при потопе сде-

лалось замыкание. Отвинтил плашку вовсе, скрутил проводки на живую (теперь монтера сюда лучше не вызывать: упадет в обморок) — и телефон немедленно затрезвонил.

Я со злостью ткнул кулаком в пол и поднялся. Конечно, мы ведь условились, что она будет звонить! И конечно, я опять попадаюсь ей в раздрае, не собранный, не готовый ни рубить сплеча, без обиняков, ни вести тяжелый для обоих разговор на полтонах и улыбке.

Но спросил меня, по фамилии, незнакомый женский голос.

— У вас постоянно занято, — сказала женщина, пожилая очевидно.

— Простите, а кто говорит?

— Я насчет Андрюши. Это его бабушка.

Юрьев день, подумал я. Что-то случилось. И поинтересовался, откуда у нее номер. (Откуда? Известно откуда: из рыбы, которую я поймала, а в ней заяц, которого я догнала, а в нем утка, которую я застрелила, а в утке яйцо, которое я разбила, а в яйце перстень медный, на нем нацарапан твой телефон, и если прочесть цифирь задом наперед — тутова тебе, Кошей, отшельник хренов, и грянет карачун.)

— Я подсмотрела, — созналась бабушка. — В Андрюшиной записной книжке. Потому что вдруг что-нибудь срочное... Мы же его неделями не видим. А у вас, я знаю, он часто бывает...

Я согласился:

— Бывает иногда. Но сейчас его нет. Да что произошло?

И она рассказала, что Андрюшин папа купил — у коллеги, дав символическую цену, — прицеп к машине. До лета (прицеп нужен только в дачный сезон) решил поместить его в пустующий гараж. А там какие-то люди, — она замаялась, — неприятные люди. Разгружают коробки с сигаретами, и водка стоит, целые штабеля. Он сначала ничего не понимал, кричал на них, чтобы они все уносили, хотел ехать в милицию. Но пришел их главарь, видимо, и заявил очень грубо, что Андрюша должен деньги и за эти деньги с ним могут поступить так, что она даже боится повторить. Андрюшин папа растерялся, он вовеки ни с чем подобным не сталкивался. Он заплатил, сколько они назначили, очень много, почти все свои сбережения. А кто поручится, что его не обманули, не назвали больше, чем Андрюша должен по-настоящему? И не выкатываются они из гаража, хотя с ними уже два дня как рассчитались. Отговариваются: завтра, завтра — некуда, мол, пока. Как теперь поступать? Обратиться все-таки в милицию? Но не повредит ли это и Андрюше?..

— Его, наверное, втянули в махинации... — Тут она всхлипнула и заплакалась.

— Только не я. Мне не во что втягивать.

— Разве я вас обвиняю? Но нам хотя бы разобраться. А от него ни слуху ни духу. Если он вам безразличен...

Дурдом! Поди нащупай правильные слова для утешения рыдающей бабушки тридцатилетнего мужика. Ладно бы брошенная жена — еще туда-сюда...

Я сказал: нет, безразличен. Однако он не обсуждает со мной каждый свой шаг. Не надо так волноваться. Совсем не обязательно он замешан в чем-то ужасном. Такие стали нравы и порядки: занимаешь всего ничего, потом не удается вернуть к назначенному дню — и нарастает вдвое, втрое. И беспокойство за гараж, по-моему, напрасное. Раз долг полностью погашен — съедут, потерпите. Может, пока действительно — некуда.

Помолчал и добавил:

— А деньги отцу он отдаст. Со временем.

— Он слишком доверчивый, — сообщила бабушка. — И все этим пользуются. Ему всегда доставалось за других. Даже в детском саду.

Я не притворялся, я искренне ей сочувствовал. Тем более, что едал ее хлеб с маслом. В отношении своей родни Андрюха, натурально, стервец. А

ведь питает к ним глубокую нежность! И где он, любопытно, болтается, когда ему положено латать рюкзак и складывать спальники?

— Вы если повстречаетесь с ним, — попросила она, — передайте, чтобы домой — пулей.

Я пообещал. Не исключено, что Андрюха раздобыл необходимую амуницию на стороне и в Люберцах сегодня не покажется. Узнает от меня о звонке бабушки прямо у поезда. И что потом? Повернет он — перед самым-то отправлением?

— И пожалуйста, поговорите с Андрюшей тоже. Как друг, как мужчина с женщиной. Он к вам прислушается. Он отзывался о вас с большим уважением.

Повернет или не повернет? По-человечески — стоило бы. Одно дело — деньги: тут уже все, заплатили и заплатили, останется Андрюха или уедет — в любом случае ничего не поправишь. Но я отнюдь не был убежден, что оправдается мой оптимистический прогноз по поводу гаража. Люберецкие ушкуннички, понятно, не упустили возможности подоить лохов-владельцев. Однако отсюда еще не вытекает, что они готовы теперь гараж освободить — у них свой здравый смысл и свои представления о причинно-следственных связях. Кому тогда препираться с ними, глотать угрозы, шарахаться от пальцев в глаза — выручать семейное достояние, — бабушке?.. Вместе с тем попросту не соединялось в голове, каким таким образом от неких неведомых мне бандитов в постороннем для меня сарае будет зависеть, осуществится ли в моей жизни судьбическая перемена? И призрак неминуемого облома впереди не замычал. Я многократно наблюдал: что-то буквально оберегает Андрюху от любых распутий, ситуаций осмысленного выбора (и в шутку предупреждал его, как Амасис Поликрата: смотри, однажды сразу так нарвешься, что раздерет пополам), — обойдется и нынче. По телефону, с вокзала, за десять минут до отхода поезда, он выяснит у родителей, что с гаражом благополучно утряслось. А там несколько клятв, несколько покаянных фраз, дежурная песня про новую перспективную работу и срочную командировку — и мы с чистой совестью отбываем...

Я повесил трубку и сел сочинять письмо хозяину. Я от души поблагодарил его: мне было хорошо зимовать в этих стенах, о лучшем я не мечтал. Теперь я уезжаю из Москвы — ибо во мне очнулась тяга к путешествиям — и вернусь, вероятно, не скоро. (Написал — и сам себе удивился: что значит — не скоро? Он прочтет письмо не раньше середины мая. Это сколько ж я, получается, намерен странствовать и гоняться за приключениями — годами?) Моя фотоаппаратура в его распоряжении — щелкай на здоровье, благо есть кого. Единственная просьба: чтобы не переходила в третьи руки. Я извинился, что вынужден бросить в квартире и другое, не столь безобидное, имущество. За оружием не тянется ничего преступного. Но если идея арсенала на дому смущает его как таковая, он волен хоть в реке утопить содержимое ящика... Ну что еще? Поздравления, разумеется — истинному рыцарю, отвоевавшему свою донну из ледяного плена. Я надеялся, он не сочтет это издевкой, если что-нибудь у них разладится и соединение сердец все же не состоится.

Добираясь до карабина и наборчика с отверткой, я все перевернул в ящике. Заново уместив ружья, оптический прицел и брикеты взрывчатки, я встал у окна с рыболовной сетью: кое-где распутать и свернуть поаккуратнее. Снег на улице сиял, словно разом очистился от грязной коросты. В первый этаж солнце едва заглядывало: прямым его лучам попадали лишь подоконник и узкий клин пола; зато почти до центра комнаты добивали отраженные в плазменных окнах соседнего дома. И оттого, что я долго смотрел, сощурившись, в это сияние, оно произвело саламандру. Со стороны автобусной остановки, из отдаления, на котором блеск впереди не позволял различать детали, выступила знакомая тонкая фигурка.

Я успевал шагнуть назад, в тень, скрыться — но застыл на месте. В один миг рухнула моя оборона, дутая на проверку. Легко быть жестким и непреклонным заочно. Но вот она приближалась — и все выпестованные резоны за разрыв с нею, в которых не сомневался мгновением раньше, казались надуманными и смехотворными. Потому что давно не видел ее, что ли?

Куда мы спешили тогда — осенью, ночью? К метро?.. Да, она впервые побывала у меня здесь, и я провожал ее к метро. (И мы опоздали, станция уже закрылась. Ловили потом такси на Тверской.) Переулки пустые. Дождь кончился, но воздух до того сырой, что на лице и одежде по-прежнему оседают капли. Мокрый асфальт блестит. Она в сером кожаном плаще — и плащ тоже блестит, как цирковой, когда проходим под фонарями. Я сказал, что хочу пофотографировать ее. Если взять чуть сверху и чуть сбоку, в таком ракурсе она похожа на актрису Ханну Шигулу — и это мне нравится. Сказал в шутку и приготовился к притворному возмущению в ответ. А она остановилась и вдруг прижалась ко мне. Волосы у нее пахли прелыми листьями. «Дурак, это она на меня похожа...»

Значит, зря я держался правила всякую книгу, натолкнувшись на сочетание «русская душа», немедленно захлопнуть? Доводилось ведь делиться одеялом с девушками жизнерадостными и спортивными. Почему же самый отчетливый образ, возникающий у меня при слове «любовь», — это как я в ванной отпаиваю теплой водой замужнюю, вполне чокнутую женщину средних лет, наевшуюся до одури таблеток, зане тоска опять хлестнула через край?.. Сейчас мы обнимемся в дверях, словно той осенней ночью, когда еще нам вместе было хорошо и тревожно и я не напяливал маску отрешенности, которая мне не впору, — и все возвратится. Я пойму, что достиг своей Антарктиды и дальше мне некуда бежать...

Истинно: каждому свое и каждой твари по паре. Ну и какого еще рожна тебе надо? — спрашивает Бог из-за тучки.

Надо. Другого.

Она заметила меня. Быстрым, нервическим движением, не отводя глаз, прячет щеку в воротник из опоссума. Таких произвольных обаятельных жестов у нее целый репертуар, но этот мне особенно дорог. Делает знак рукой: войду?

Каких-нибудь пару минут: не жалеть, не любить... Я помотал головой: нет.

Удивилась, подняла брови.

Нет?

Нет.

Что-то говорит — не слышно. Опять знак — форточку открой...

Нет.

Теперь потерянно заслонила ладонью, будто защищала горло от ветра. Пару минут... Ради чего все это, изверг? — нашептывал мне на ухо омни-омни. Я стоял пень пнем, склонный капитулировать.

Неопрятный старикан с палкой проплелся между нами и потеснил ее с дорожки плечом. Перехватил взгляд и уставился на меня в том бессмысленном роде, как смотрят прямо в камеру феллиньевские горгульи. Я пожелал ему угодить под автомобиль.

Пиная ледышки, она сделала раздумчивый круг на площадке у подъезда... Мне проще представлять, что мысли ее были сцеплены с моими. Что это нас обоих обескуражила внезапная двоякая очевидность: чем мы способны (и уже вплотную к тому, на толщине оконного стекла) стать друг для друга — и чем не сумеем тогда остаться для себя. Старик все тарачился мне в окно, раззявив рот и сомкнув поверх палки крапчатый кулачок. Я взял из ящика капкан и поклацал на него стальными челюстями: поторопил на проезжую часть. Я пропустил момент, когда она повернулась и пошла прочь — безвидная, как земля накануне первого дня творения. Ни обиды, ни злости, ни горечи от нее ко мне не передалось.

Андрюхи не было на вокзале. А я приехал к подаче вагонов. И жевал на перроне свою булку и не беспокоился, куда проводники не стали оттирать провожающих от дверей. Тут я сообразил, что мог неверно истолковать записку — и мы должны встретиться где-то в другой точке. Побежал, колотя по ногам сумкой с радиометром, к локомотиву, потом — назад, в зал, к большому табло. Нет Андрюхи. Выскочил опять на платформу — вагоны поплыли мимо меня. Носильщики, сдвинув тележки, курили у спуска в переход. Прокатила кара с голубыми контейнерами для почты. Я на что-то еще надеялся. Виразировал между столбом и урной и убеждал себя, что мне не в чем разочаровываться. Что до конца я в эту историю, разумеется, не верил, а всего лишь согласился на игру и действовал напоследок решительно и серьезно, только чтобы сообщить игре необходимые правдоподобие и соль. Однако пусть вымысел, игра, обман — как раз сейчас, по такому сценарию, Андрюхе и полагалось прокуковать из-за угла: улыбка до ушей и полные карманы денежных знаков. И мы бы загрузились в ближайший ночной шалман — и с шуточками-прибауточками переживали веселое обновление. Так бывало. Но вещи с тех пор перегруппировались и приобрели отчетливую конфигурацию кукиша.

Сержант милицейского наряда меня нехорошим взглядом. Мне явно пора было убраться отсюда. Я сошел в подземный этаж вокзала, но в самых дверях метро вспомнил, что не оставил денег на жетон — не лебезить же перед контролершей. На притихшем к ночи Садовом юркие оранжевые тракторишки сгребали жижу к бордюру. В троллейбусе красочный плакат, пропагандирующий Бхагавадгиту, изображал последовательность превращений щекастого дитяти в черноротый старческий труп. И грудник, и мертвяк, и срединное между ними акме имели одинаковый восковый оттенок и были исполнены в специфически некрофильской манере, чем настырно притягивали внимание. Их кукольная жуть мне скоро надоела, и я пересел к плакату спиной. Водитель ленился жать на педаль, мы еле дотащились до Красной Пресни. На каждой остановке он словно ждал кого-то и, не дождавшись, трогал неохотно.

На оградке возле дома, вытянув ноги и запрокинув голову, Андрюха наблюдал дыру в облаках вокруг луны; по нижнему краю дыры, в лунном свете, тучи приобретали мнимое измерение — и получался как будто открявшийся с горы ночной вид на далекую гряду заснеженных холмов.

Я бросил сумку ему на колени.

— Носки для тебя...

Я не рассчитывал найти его здесь. Я вообще старался не думать о нем или о несостоявшемся приключении.

— Мог бы хоть на вокзале меня подобрать...

— Опоздал, — сказал Андрюха.

— Бабушка твоя звонила.

— Ага. — Он стукнул пальцами по трубе, на которой сидел, приглашая устраиваться рядом. — Я только что оттуда.

— И как с гаражом?

— Порядок. Завтра вывезут свое добро.

— Отлипнут?

— Ну, я ходил разбирался. К большим людям попал...

— В рожу-то дали? — спросил я.

— Родители? Не... Отец на дежурстве. А маме я объяснил. Она, наоборот, рада, что все устаканилось.

— А большие люди?

— Так... Выразили неудовольствие. Они, видите ли, еще и недовольны! Папашу как липку ободрали: мои проценты, проценты на проценты, неустоечку за гараж...

По дороге сюда моя опустошенность была как долгая неподвижная мысль, и что-то эйфорическое заключалось в ее созерцании. Теперь насту-

пала реакция, эйфория сменилась буравчиками в висках. Я говорил — и мне мерещилось эхо. Вдобавок меня трясло, хотя зябко не было — сказывалось сброшенное разом напряжение последних суток, голод и ночь без сна. Напрасно Андрюха обнаружил себя уже сегодня. Лицом к лицу мне трудно не обвинять его в этой тяжести.

— Пойдем, — предложил я. — Что мы высиживаем? Если нечего делать, надо либо есть...

Он перебил:

— Помню, помню! Не спеши. Я условился кое с кем.

— О чем условился?

— Не спеши.

Он явно нервничал. Вертел сложенную бумажку. Я отнял — раздражало.

— Только не выкидывай, — предупредил Андрюха. — По-моему, их еще не поздно сдать с утра. За полцены. Или за четверть.

— Сдать?

Я развернул бумажный квадратик, поделившийся на два голубых железнодорожных билета. Число нынешнее. Вагон купейный.

— Признайся мне как на духу, — сказал я после оторопелого молчания, — бомба существовала?.. Существует?

Андрюха посмотрел вверх. Облака уже сомкнулись, луна исчезла.

— Слушай, — спросил он, — ты чувствуешь трение?.. Обо все, о вещи? Как оно меня доводит, знаешь... Самый звук его...

Я согласился: не люблю тоже. Особенно шелк и болонью.

— Нет, не то. Я не о том трении. И это не звук, конечно. Хотя... почти. Вот стоит только зашевелиться — и сразу вокруг все как-то натягивается: снег вот этот, асфальт, машины, столбы эти чертовы... Сперва вроде и раздается и пропускает — потом тянет, тянет... Как на резиновом ремне. Чем быстрее хочешь бежать — тем сильнее оттаскивает. Раньше-то мне было наплевать. Раньше меня как бы не убывало...

— Не убывало, не убывало... Снова меня морочишь?

— Я к чему: это ведь неспроста наверняка — такая паскудная упругость. Зачем-то, стало быть, нужно, чтобы я задыхался? А зачем? Ты понимаешь? Я не понимаю. Место освободить? Какое место? Вынудить на что-нибудь? На что? Да что с меня, в принципе, можно получить?

Я зевнул.

— Зависит от угла зрения. Кто, по твоему мнению, виноват. Ежели бесы с лярвами — они, говорят, именно твоего страха и добиваются. Затравленности. Они этим питаются. Или, скорее, жажду утоляют. Изводит их потому что жажда адская, и не ведают они от нее покоя — во! Если люди... ну, в общем, то же самое. А еще можно считать, что тут природа, закон, естественное состояние. Закон — штука самодостаточная и осуществляется в целях себя самого. Смиряются или бунтуют, как ты, отдельные единички, ему, соответственно, без разницы.

Озадаченный Андрюха затеребил бороду.

— Эй, — испугался я, — ты всерьез не принимай мою болтовню. И хватит юлить. Ответь.

— Ты, — вздохнул Андрюха, — просто давно не ездил...

— Куда не ездил?

— Никуда. В том-то и дело. Не привык, не знаешь. Уже бесполезно. Ничего не меняется... Вон они!

Машина, пролетевшая было по переулку, обеими осями громыхнув в дорожной выбоине, выползла задним ходом из-за угла, притормозила возле таблички с номером дома и повернула к нам. Светлая «Волга», пикап. Андрюха поднялся навстречу. В машине врубили дальний свет, от которого пришлось загородиться рукой.

Я возмущился:

— Сбесились, козлы? Ума нет?

— Только не возникай! — прошипел надо мной Андрюха. — Рот не открывай, ясно?

Дверцы машины распахнулись с двух сторон одновременно, и на асфальт ступили Пат с Паташоном — длинный худой шланг и плотный коротышка. Очевидно, еще один остался за рулем: мотор продолжал работать и фары по-прежнему слепили. Андрюха не двигался.

— Этот, — подал голос коротышка, — точно. Я его видел сегодня у наших.

— Мужики, — сказал Андрюха, — я ведь не с вами разговаривал...

— Не с на-а-ми... А ты ждал, он прямо сам к тебе посреди ночи подкатит, да?

— А второй? — спросил, оглядываясь, длинный.

— Он здесь живет, — сказал Андрюха. — Все нормально.

— Нормально? Тогда потопали, если нормально.

В тамбуре подъезда я спохватился, что мы забыли сумку, и вернулся на улицу. Коротышка пошел следом, а затем снова пропустил меня вперед. От таких маневров я даже повеселел.

— В чем дело? — шепнул я, поравнявшись с Андрюхой на лестнице. — Кто эти люди? Твои друзья-уголовники?

Но при обыкновенном, мягком освещении они уже не выглядели смешно. Бульдोजья комплекция коротышки скрадывала недостаток роста; он был постарше нас, с коротко остриженной головой и приплюснутым носом, в спортивной куртке, кроссовках и мешковатых свободных джинсах. Длинный определенного возраста не имел, а стиля придерживался артистического: дорогое полупальто с золотыми пуговицами, разноцветный шелковый шарфик и ботинки на каблуке, с медной полоской на заостренных мысках — по весенней московской каше в таких не слишком-то порываешь; волосы он убирал сзади под резинку, отчего лицо казалось еще более узким и еще более вытянутым. Я подумал, что в качестве боевой единицы длинного вред ли используют.

Андрюха открыл своим ключом, прошел сразу в комнату и выволок на середину ящик, отбросив дырявый шерстяной плед, которым я его драпировал.

— Вот.

— Занавески задерни, — сказал длинный.

Я прислонился к стене в прихожей и наблюдал оттуда, но коротышка встал у двери, а меня подтолкнул — проходи! Длинный уже изучал карабин. Поднес к уху, дважды спустил затвор и хмыкнул без выражения:

— Старый.

Андрюха пожал плечами.

— Какой есть.

Длинный освободил магазин, дунул в него и загнал обратно. Прицелился в своего напарника, сказал: «Пу!» — и коротко заржал. Андрюха отдал ему коробку с патронами.

— Не густо.

Руки у Андрюхи заметно тряслись. Я, похоже, чего-то не догонял: никакого железного привкуса во рту, никакого ощущения опасности.

Двустволка и обрез подробного осмотра не удостоились: щелчок курками, перелом, быстрый взгляд в стволы.

— Капканы не нужны? — спросил Андрюха. — А то забирай до кучи. Бесплатное приложение.

— А что, — заинтересовался коротышка, — я бы взял. Летом бате отвезу. Покажи-ка... У них там в Курской области волчары — человеку по пояс.

Потянувшись за капканом, Андрюха задел крышку, которую почему-то не откинул совсем, а поставил стоймя на тугих петлях, и наклонившийся над ящиком длинный едва успел отпрянуть.

— Удод! — заорал он, отчасти расположив меня в свою пользу оригинальным ругательством. — А если по пальцам? Я бы тебе твои оторвал...

— По телевизору программа была, — сообщил коротышка из прихожей, — в Америке негр один, безрукий, — так он на гитаре ногами, треньбрень. Кладут ее на пол перед ним, носки с него стягивают, а он пальцами шевелит, струны дергает. И отлично у него выходит.

— Ты чего порешь-то? — сказал длинный.

— Я вот, Музыка, на тебя удивляюсь. Скучный ты. Бухнешь — и сидишь, стол рогами бодаешь. Ты бы гитарку свою принес, спел что-нибудь...

Длинный взвешивал на ладони брикет взрывчатки.

— И что же я тебе петь должен? «Мурку»? Или ты больше по Пугачевой?

— Не, — признался коротышка, — я Пугачеву как раз не очень. Это для баб. Ну, Розенбаум — хорошие песни...

— Розенбаум, Вилли Токарев... — Длинный символически плюнул. — Мало я наелся за девять лет в кабаке такого дерьма.

— А ты небось романсы всякие уважаешь?

— Вот что я буду с тобой говорить, а? Ты хоть имена слышал: Колтрейн, Майлс Дэвис?

— Так это, поди, из новых. Хэви-метал.

— Мудило ты, — сочувственно сказал длинный. — Колтрейн умер, ты еще под стол пешком ходил. Великий джазовый музыкант.

— Ну ты даешь! — неподдельно изумился коротышка. — Джазовый! Вроде Утесова, что ли? Была охота... Тоска зеленая.

Длинный набрал воздуха и медленно выдохнул.

— Ладно, все. Кончай базар.

Повернулся к Андрюхе:

— Детонаторы.

Андрюха хлопнул себя по лбу и полез в шкаф. Запалы у него оказались завернуты в мою любимую летнюю футболку. Длинный размотал, посмотрел, завернул опять — и футболка легла в ящик.

— Э... — сказал я.

— Что? — спросил коротышка.

— Нет, ничего.

— Складывай, — распорядился длинный, — и тащи в машину.

— Я один? — растерялся Андрюха. — Я не подниму...

— А вон друган твой тебе подсобит.

— Я капканы-то беру, — напомнил коротышка.

Длинный с ним посоветовался, ткнув ящик носком модного ботинка:

— Войдет?

— Куда он денется!

— А деньги? — Андрюха сглотнул. — Лучше бы здесь...

— Бойтся, кинем в темноте, — определил коротышка и подморгнул мне по-доброму, словно давний приятель. — А на свету, думает, не сумеем.

Длинный медленно опустил пятерню в боковой карман. Но вынул не пистолет — к чему, все еще без каких-либо признаков страха, я почти приготовился, — а небрежный пук зеленых банкнот: десять или пятнадцать. Достоинства со своего места я не различал.

— Проверишь?

Андрюха помусолил углы, сбился, начал заново. Поискал в бумаге волоски.

— Тут не хватает...

— Много?

— Пять долларов.

— Не мелочись, — сказал длинный.

Мы погрузили ящик в кузов пикапа. Водитель грыз яблоко и помыкивал, балдея, в такт французской песенке по радио: «Вояж-вояж...» Фары он так и не выключил, не ослабил. Под радиатором, грациозно укрыв хво-

стом лапы, грелась белая в подпалинах кошка. Гости не попрощались. На выезде машина чиркнула скулой горбатый «Запорожец» без колеса, поставленный на вечный прикол у края площадки, — дверцы у него не запирались, и внутри раздолье было играть детям. Мы следили за ней, пока она не миновала перекресток и не пропала из вида. Стало тихо.

— Все? — спросил Андрюха у тишины.

— Если ты больше никого не пригласил...

— Все.

Подумал. Добавил:

— Уф... Надо бы выпить.

Мне передалось его облегчение — и только теперь пробежал по коже запоздалый холодок.

— Может, и надо, — сказал я. — У кого флаг?

— Ах да...

Под лампой на козырьке подъезда он отделил себе какую-то часть денег и мне вручил остальное.

— Что, вовремя?

— Не то слово. Раньше, чем я надеялся.

— Я же обещал.

Ночное окошко от магазина на Тишинке мы нашли заколоченным — пункт упразднили. На Красной Пресне торговали, но когда Андрюха положил на прилавок десятидолларовую купюру, продавщица молча кивнула в направлении двух патрульных, передававших друг другу литровый пакет кефира около побитого автомата для кофе-эспрессо, — запрещено. Андрюха утверждал, что у нас нет причины отчаиваться. Теперь по всему Арбату частные киоски со всякой всячиной — какой-нибудь будет работать и ночью. Покупать там излишне дорого, мы загоним немного зеленых и вернемся сюда по пути домой.

Явления гостей неожиданных и денег подняли уровень адреналина в крови: об усталости я уже не вспоминал, и ночная прогулка даже радовала меня — тем более, что Андрюха не приставал с разговорами. Я не огорчился, когда выяснилось, что и на Арбат мы пришли зря: прочесали его из конца в конец — палатки, закрытые ставнями, бездействовали. Андрюха выдвинул гипотезу о Смоленском гастрономе: там, не исключено, тоже есть круглосуточная секция. Мы никого не встречали. Кое-где фонари горели через один или не горели совсем; в темном пятне я споткнулся о блок, вынутый из брусчатки, и сильно ушиб колено. Подковылял к близкому ларьку — опереться, пока не уймется боль. И вдруг кто-то спросил у меня спички.

На пластмассовой гиперболической тумбе из кафе, раскачивая ногой приотворенную дверь киоска, сидел губастый парень и щелкал выдохшейся зажигалкой.

Андрюха бросил ему коробок.

— Стережешь? Да ты оставь у себя...

Парень поблагодарил. Маялся бы до утра без курева.

— Паршиво, — кивнул Андрюха.

— И свечка, главное, в палатке потухла...

Нет, доллары его не интересовали. Зато он был не прочь поболтать и убить время. Чтобы удержать нас, предложил по банке пива. И тут же они с Андрюхой втянулись в обсуждение сортов баночного. Я благоразумно помалкивал, ибо из банок, за вычетом тех, что применялись в пивных вместо дефицитных кружек, пивал до сих пор только однажды, еще в Олимпиаду, отечественное «Золотое кольцо».

После «Тьюборга» с вытирающим лысину толстяком на картинке взяли для сравнения голландского, послабее. Андрюха клонил к тому, что все это, спору нет, неплохо, однако далеко не высшая марка. Действительно, отборное пиво в жестянки не разливают, обязательно в стекло. И перечислил названия. Парень полубопытствовал, москвичи ли мы и чем занима-

емся. Я замаялся, почти как Джим Моррисон (известный эпизод, заснятый в Лондонском аэропорту).

— Крутимся, — содержательно ответил Андрюха. — Туда-сюда, с переменным успехом.

В общем, пивом нас не удивишь... Парень скрылся в палатке и вынес полновесную бутылку «Смирновской». Мы опустились на корточки возле тумбы; со свечкой в центре, бликующей на неотменимых пластиковых стаканчиках — теперь голубых, — очень уютно. Он рассказал, что родом из Удмуртии, а в Москве после армии. Ларьком владеют его кавказские товарищи по оружию. Кореша настоящие, и всем, что им принадлежит, он волен пользоваться свободно, как своим. В доказательство выставил армянский коньяк в подарочной упаковке. Пока он искал на полках эту коробку, подсвечивая спичкой, я заметил в киоске множество самых разнохарактерных предметов вплоть до школьного телескопа-рефлектора на штативе.

— Стоп! — предупредил Андрюха. — Просто так не осилим. Был трудный день. Пожевать бы чего-нибудь...

Мигом образовались крабовые консервы — в стране чудес все доступно. Но мне и под царскую закуску пить уже сделалось невмоготу. А встать и распрощаться — неудобно, не хотелось обижать человека. Я шепнул Андрюхе: принимай на себя.

— А домой-то доволочешь?

— Ну, постараюсь.

Парень провозглашал тосты. За нас с вами и хрен с ними. И про козу, купить которую имею возможность, но не имею желания. Потом количественные изменения у него скачкообразно перешли в качественные — тормоза отказали бесповоротно, добрая натура развернула крылья. Он всучил нам по пачке каждого имевшегося в ларьке вида сигарет. Когда я неосторожно спросил, сколько стоит телескоп, вскинулся мне его подарить. Я, разумеется, не взял, о чем и доньне вспоминаю с печалью. Тем не менее он телескоп из палатки вытащил и наводил на редкие горящие окна дальних домов, в надежде известно что подглядеть (удавалось же, в скучном соответствии с законами геометрической оптики, где фрагмент люстры, где ковра, где натюрморта в раме...). Он угощал нас икрой, расфасованной в стеклянные плошки, — и еще нужно было изобрести, как с ней управиться: мы тщетно пробовали набирать черные зерна на лезвие красного Андрюхиного ножа, пока не догадались зачерпывать узкими шоколадными вафлями. Икра, очевидно, перележала, и вкус у нее был затхлый.

Наш гостеприимец отключился, махнув полстакана миндального ликера — хотя Андрюха отговаривал. Через минуту он сполз по стене, повалился на бок и, скрюченный винтом, смежил веки на брусчатке. За руки, за ноги мы втащили его в киоск и сунули ему в карман рубашки две десятки — на случай, если кавказские братья все же предъявят счет. Дверь снаружи подперли тумбой. Андрюха сперва еще крепился, но скоро тоже совершенно поплыл — и не сумел одолеть ступеньки, ведущие в арку и на проспект. Мы сели передохнуть. Он терял очки, промахивался, подбирая их, и важно бубнил что-то бессвязное. Оставшиеся часа три до рассвета нам, судя по всему, предстояло торчать здесь — как раз чтобы Андрюхе худо-бедно прочухаться. И я уже сам задремал, когда он внезапно перестал бормотать и огорошил меня внятным вопросом:

— По-твоему, и мы умрем?

— Прямо сейчас? — удивился я.

Теплый ветер, настроенная тишина, необычная для сердцевины города даже посреди ночи, уснувшая на перилах птица. Большею частью я, должно быть, досочинил подходящий антураж — но за давностью уже не развести: вот — память, вот — фантазия.

— Не сейчас, так завтра. Не завтра, так в старости... — Он делал усилие, чтобы говорить разборчиво, артикулировал, как комедийный инопланетянин. — А какая разница... Все равно не понимаю, что это значит...

Настроенный на пьяные речи, я отшутился: мол, и не стоит, может, слишком задерживаться, а то совсем ничего не сохранится вокруг... Пропустил мимо ушей слова, которых не повторит мне никто и никогда. Повторить нельзя (разве я не пытался!) зазвеневший в них мимолетный резонанс наших существований: творилось с нами одно и чувствовали мы одинаково. Будто неведомо чем, но выкупили себя наперед, и долго теперь не полагается нам слышать ледяное дыхание — ни в затылок, ни где-либо рядом. Конечно, мы ошибались. Срок понадобится ничтожный, чтобы удостовериться в этом. Но именно в нашей ошибке я вижу единственное подтверждение тому, что все, бывшее с нами, было хоть отчасти не даром.

Те времена канули — и я о них не жалею. С тех пор, как мне впервые улыбнулся произошедший от меня младенец, я знаю, что любить можно иное и иначе. Ищу способ уберечься, если по стране — а то и не по ней одной — покатится очередная красная волна.

Говорят, рубеж тысячелетий обещает великие перемены; они уже идут. Новые истины вроде бы и слову не по зубам, слово уступает языку образов, — идеи, которые некогда мой друг азартно и одиноко преследовал даже на белых полях Антарктиды, успели стать общим местом салонных рассуждений. Говорят, тут есть логика катастрофы. Философствую я, словно старая дама, то и дело что-нибудь теряющая и вынужденная разыскивать: очки или связку ключей. Но готов согласиться, что и собственный, выражаясь высокопарно, жизненный путь нахожу куда реже размеченным оформленными мыслями и завершенными действиями, нежели пейзажами, картинами и мизансценами... Я начинал это повествование как цепочку забавных историй. Не подозревал, что, разрастаясь, оно превратится в мое прощание с молодостью.

В середине мая, когда, по всем подсчетам, возвращение хозяина с подругой, настоящей полярной бородой и чучелом пингвина под мышкой ожидалось со дня на день, я получал первые гонорары за свои компьютерные труды, хотя на «ты» с техникой будущего еще не стал: мне нужны были советы, и я теребил одного за другим прежних знакомых, с этими делами связанных. Звали в гости — не кочевряжился. Жил теперь открыто, насколько это было возможно при том, что минимум три раза в неделю я строго отправлялся на работу: туда — часов в девять вечера, оттуда — где-то к обеду, чтобы рассосалась утренняя толчея в транспорте.

Уже определилось — и весьма удачно, — куда мне предстоит переехать. Каждую весну я навещал на даче в близкой подмосковной Немчиновке свою пожилую родственницу. Она проводила там круглый год, поскольку серьезным ничем не хворала и дом был теплый, а московскую квартиру оставила тоже давно не молодой бессемейной дочери. Собравшись в Немчиновку на майские праздники, я решил справиться у дочери, нет ли каких перемен и что еще помимо торта и цветов необходимо привезти, — и узнал, что старушка зимой еще переселилась обратно в Москву, здоровье больше не позволяло удаляться от аптек и ведомственной поликлиники. Меня пригласили на домашние пироги. Мне понравилось у них — лампы под абажуром, старые весомые книги и фарфор с внутренним светом. Наконец-то я вел разговор, который никого ни к чему не обязывал, — так беседуют с хорошими попутчиками в поезде — людьми милыми и случайными. Рассказывал о себе. Объяснял, что компьютер — не робот-убийца, а похож скорее на телевизор. Я только вскользь упомянул, что должен сейчас срочно подыскивать себе жилье. И тут они стали обсуждать друг с другом: ведь я мог бы занять опустевшую дачу. Они опасались надолго бросать ее без присмотра. Пока что весь дом в моем распоряжении; если же летом они все-таки отважатся пустить дачников — какую-нибудь интеллигентную семью с детишками, — мне придется следить за

порядком из просторного мезонина с отдельным входом. Само собой, я ответил — да. И мне бы не медлить с переездом, но я все тянул, все еще будто надеялся не трогаясь с места дожидаться — бог знает чего...

Однажды позвонила прикатившая из Риги двоюродная сестра хозяина. Была удивлена, услышав о путешествии брата: не то чтобы она вовсе не общалась с родней, а вот за пять месяцев ее эти новости так и не достигли. Я предложил ей, если ее не смущает моя компания, остановиться здесь, как она это делала и раньше. Мы подружились год назад: она работала редактором архивного отдела рижского радио и ее командировали в Москву. Днем она копалась в архивных пленках, по вечерам мы что-нибудь посещали втроем: шумные театральные постановки или в Музее кино смотрели «Нибелунгов» и «Доктора Мабузе» под живого тапера, или просто садились на прогулочный водомет и плавали по реке. В череду культурных мероприятий я вклинил скромный день рождения. Кроме нее с братом заманил попить-поесть бывшего сокурсника — накануне мы повстречали его в театре, — не особо компанейского, но интересного уже тем, что из всех моих институтских знакомых он единственный оказался инженером по призванию и продолжал самозабвенно корпеть в НИИ, не соблазнившись ни свободными искусствами, ни дозволенной коммерцией, ни должностями и зарплатой в новых фирмах. Он и рижанка явно положили глаз друг на друга. Но инженер, увалень, — хоть бы свидание ей назначил! А впоследствии оба расспрашивали меня: кто да что... Вообще я равнодушен к чужому счастью. Однако у меня есть вкус к совпадениям. Ее звонок раздался всего за пару часов до того, как мы с инженером должны были пересечься, — он скопировал мне фирменные руководства к издательским программам. Выловить его на службе стоило труда — меня отсылали с номера на номер. В помещении, где он взял трубку, что-то отчаянно и часто пищало — словно раненая мышь.

Я сообщил, кто придет сегодня.

— А мне, — спросил он, — можно?

Я дал адрес.

— Как там у тебя? Притон?

— Почему притон? — оскорбился я. — Вполне прилично. Правда, краны текут. Прокладки менял. Не помогает.

Мне, конечно, было известно, что мой одноклассник — мастеровой от природы. Но я не предполагал, что он примчится с набором инструментов и электрической дрелью, дабы пыточного вида сверлом яростно растачивать вентили в смесителях. Даже слив воды в унитазе он отрегулировал. Прибалтийская муза застала его на коленях с отверткой в руках — возле искрящей розетки.

Нам выпала незабываемая ночь. Мы от души веселились. Инженер, в ударе, представлял пантомимически триггер с мультивибратором и разыгрывал в лицах анекдоты из жизни трех поколений своей чудаковатой фамилии. Мы с ним вспоминали институт, странности преподавателей; она — Тартуский университет, брошенный на втором курсе. Выпивали умеренно. Уже под утро я спохватился, что им пора побыть наедине. Сказал: пройдуся, куплю растворимого кофе к завтраку. Теперь удобно — на привокзальной площади ночных ларьков пооткрывалось не меньше десятка. Я шел дворами, начинало светать. В скверике, по двое, по трое на лавках, подложив под голову обувь и предъясняя миру дырки на носках, спали люди, приехавшие торговать на здешней толкучке: у вокзала, на Тишинке или на окрестных улицах. Во сне они чмокали губами и ощупывали подле свою поклажу: сумки, узлы, мешки.

Я взял в палатке кофе, взял банку югославской ветчины. И себе — чекушку: посидеть еще на кухне, когда мои влюбленные уснут. Заморосил дождь, чуть ли не первый нынешней весной, пригрозил ливнем (так новорожденный ужонок, пугая присунувшихся к нему любопытных мальчи-

шек, кидается во все стороны и страшно разевает пасть, притворяясь гадюкой) — но через пять минут перестал. Я боялся нагрязнить раньше времени и по пути обратно делал лишние крюки. Тяжелая ветчина оттягивала карман и стучала в печень. Я перекурил в песочнице, покачался на детских качелях. К дому попал с тыла и огибал его по асфальтовой дорожке под самыми окнами.

И тут сзади кто-то окликнул меня:

— Эй!

Из углового окна, включенный, в майке, свесился по пояс долларовый сосед.

— Я смотрю, ты круги закладываешь... — Он покрутил пятерней возле уха. — Мысли? Покоя не дают?

— Мешаю чем-нибудь?

— Чем ты можешь мешать? Наоборот. — Он на мгновение пропал, вынырнул опять и показал мне непечатую узкую бутылку «Белого аиста». — Присоединиться не желаешь?

Я пожал плечами.

— С удовольствием. Открывай дверь...

— Не, погоди. У меня там жена спит в комнате. Она нервная. Услышит замок — вскочит.

— Не понял, — сказал я. — Тогда не пойду...

— Трубу видишь?

Кусок чугунной трубы стоял прислоненный в нужном месте к стене. Судя по всему, соседу уже доводилось им сегодня пользоваться. Я хмыкнул, поддернул штанины и полез.

Кухня точно такая же, только почище и холодильник посовременнее. Оклеена обоями под изразцы. На холодильнике двухкассетный магнитофон тихонько воспроизводил «Дип перпл». Сосед отправил в раковину невымытые тарелки. стакан с остатками красного вина опрокинул в горшок, под корень воскового дерева. Потом пошуровал в шкафчиках и вынул для меня пиалу.

— Нет рюмки. Тоже в комнате. Сгодится?

Я выложил ветчину на стол.

— Тебе, — спросил он, орудуя консервным ножом, — квартира не нужна?

— Нужна. То есть в каком смысле?

— Купи мою.

Я засмеялся.

— Ясно, — сказал сосед. — Ну, вздрогнем.

Вздрогнули. Закусили. И он разговорился:

— Вчера утром ответ получили в посольстве. Все, положительное решение... Так-то вот. Значит, не позднее августа — фьють...

— В Америку?

— Ну да! Америка пустит, жди! Сперва попробовали в Германию — бесполезно. Что остается русскому человеку? Палестины...

— Анкета позволяет?

— У жены. У нее родственники в Хайфе. Магазин имеют, канцелярские принадлежности. Сик транзит gloria mundi — буду ластики продавать. Нет, ты вообрази: она достаточно еврейка, чтобы жить в Израиле, и недостаточно — в Германии! Гитлер в гробу ворочается!

Он плеснул себе в стакан воды из чайника.

— Ребенок у нас — аллергик. В школу здешнюю вряд ли вообще сможет ходить. Краску понюхает или там пыли наглотается — уже дышать тяжело. К тому же он «р» не выговаривает. Да его заклюют! Он отпор никому не способен дать — сразу спазм, он пугается, паника, чуть не обморок... Жена говорит: мы обязаны обеспечить ему нормальную среду и медицину... Мы должны знать, что он в безопасности. Говорит, устала ду-

мать, что будет момент — и она не сумеет его защитить... Тебе сколько лет?

Я назвал сколько.

— А мне — почти сорок. У меня был бизнес, когда здесь и слова такого не слыхали. И я ни разу не сел. Нюх, стало быть, на месте. Я тебе вот что скажу... — Вдруг он грузно навалился на стол, выдав, что принял уже и до меня немало, хотя отлично держится. — Я тебе скажу: она права. Вся эта нынешняя мельтешня, демократия, развал системы — сплошное фуфло. С виду только что-то подвинулось. В этой стране слишком многие как не сомневались, так и не сомневаются, что им положено забраться тебе на хребет и погонять-командовать. Никто их не тронул. А тронут — новые народятся, земля рожает. Дай срок — они еще учинят баню.

Я признался, что у меня нет интереса различать политические силы и их противостояния. Естественно, одно — предпочтительнее, другое — недопустимо; я, пожалуй, мог бы даже прилепиться к кому-нибудь — от противоположного. Но цели, которые они заявляют, я не способен считать своими. Потому что не верю в возможность общих решений. И тогда за любыми их словесами — ничего, пустота. По-моему, перед каждым свое пространство, свое время — свое огромное поле, которое следует пересечь, чем-то жертвуя и чем-то не поступаясь. А вот чем — все равно придется всякий раз определять заново. В том-то весь и фокус...

Впрочем, мы в разных категориях. Ему есть о ком заботиться, за кого отвечать. А я — что: меня не зацепишь, нищим пожар не страшен. Если оправдаются его прогнозы — пережду, вывернусь.

— Детский лепет. — Он потянулся за коньяком. — У человека всегда есть что отобрать. Понадобишься для кайла с лопатой. Или под ружье.

Коридор оставался у меня за спиной, и я не заметил, как на кухню вошла женщина в халате с драконами поверх голубой ночной рубашки. Она убавила звук магнитофона до нуля, достала из холодильника тубик с кремом и выдавила себе на ладони. Сказала без раздражения, но твердо:

— Шесть утра. Вали отсюда.

— Через окно?

— Через дверь.

Я встал. Она выглядела моложе мужа, на щеке еще держался рубец от подушки.

Сосед развел руками:

— Сейчас не буду с ней лаяться, ладно? Ты бутылку забирай, если хочешь...

Ключ в замке я поворачивал осторожно, как вор. Но это была напрасная деликатность: инженер с архивисткой проводили время иначе, чем я предполагал. В полутемной комнате, поймав неожиданную на радио трехдольную музыку, они вальсировали — и замороженно улыбались друг другу. Не видели меня. Не видели других глаз, с истомой и восхищением следивших за ними сквозь неплотно сомкнутые занавески. Вытянув цыплячью шею, ухватившись за цинковый подоконник, прижималась с той стороны к стеклу сумасшедшая дочка дворника.



АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ



ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ



Золоченая клумба Московского Кремля напоминает о кладбище:
свежей масляной краской подкрашены зеленые металлические ограды,
в землю любовно вставлены веточки искусственных цветов —
лиловых маков, желтых нарциссов и алых губастых гвоздик.
За густой кроной деревьев Александровского сада
нежно лоснятся топленным молоком церковные купола,
розовым цветом малосольной лососины поблескивают стены построек,
да и сам Кремль стоит непреступной преградой
из только освежеванной коровьей туши,
с которой содрана грубая и корявая шкура:
острые ребра обтянуты кровоточащей тканью и сухожилиями;
можно, конечно, сравнить эту архитектуру и с произведением кондитера,
вылепленные из маргарина купола,
украшенные засахаренными фруктами и желтыми цукатами, —
все зависит от того, насколько ты голоден,
и тарелка с желтой вареной картошкой, посыпанная рубленой зеленью
и сверху политая подсолнечным маслом,
также будет Кремль напоминать,
если соответствует вкусу и материальным возможностям
романтически настроенного певца обыденности.



Беспредметность разговора, набор междометий и пауз,
молча слушать, как дождь стучит по металлической крыше,
в теле чувствуется озноб, наверное, начинающаяся простуда,
и деревья еще не распустились, а только почки набухли,
и бездумное гулянье по улицам и замусоренным переулкам,
взгляд, брошенный искоса на случайных прохожих,
мокрая меховая шапка, съехавшая на лоб, угнетает, положим,

все эти бесконечные проигрывания ситуаций, слов
и неловко положенной книги, машинальных оговорок,
найденных среди бумаг записок, написанных размашистым почерком,
означают всего лишь отсутствие направления мысли, только эмоции,
интересные лишь самому, только наступающее
резкое дрожание пальцев — судорога или нервный тик,
когда вдруг на улице вынужден прислониться к стене дома, чтобы
не упасть,

и этот дождь, перемежающийся редкими хлопьями снега,
серое небо, которому не видно конца, случайно сказанные фразы,
логика которых существует лишь где-то в подсознании.
Я покупаю красную перезревшую розу
и начинаю медленно отрывать ее лепестки, добираясь до середины,
туда, где эта белая набухшая мякоть, вязкая и пахучая,
соединяется с древесным стеблем, крепкими ногтями
расщепляю эту зеленую гадость — ну где она, эта тайна
рождения сладкого аромата и пурпурных подвядших лепестков,
выпускающая свой белый сок, пачкающий мне руки?

* *
*

Теща стремительно выбегает на улицу выносить мусор,
волосы ее треплет холодный ветер,
и остается ощущение не седины, а легкого снега,
падающего на нее и не успевающего растаять;
глаза ее сосредоточены, а движения целеустремленны,
полы байкового халата бьются о ноги в домашних тапочках
и задевают при движении снежные сугробы,
образовавшиеся за ночь возле подъезда;
мне говорят, что я женился не на жене, а на теще,
маленькая и худенькая, в ней было вместе с тем
всегда что-то волевое — то как она отказала своим бывшим мужьям
в их праве на дочь, а потом каждому сказала, что этот
замусоренный ребенок именно его,
то как она во время войны пошла шить одежду,
не держа до того ни разу в руках нитку с иглой, —
страсть к манипуляциям, работе и красоте,
теща, пришедшая из чужих рассказов,
блистающая на званых обедах своей гордостью
и бриллиантами размерами с лесной орех,
потом всегда садящаяся во главе стола —
есть никто не начинал, пока она из своей комнаты не выйдет;
говорят, это болезнь — нервное заболевание, —
сначала стала дергаться у нее голова,
потом руки, она еще пыталась бороться,
врачи приносили ей все новые лекарства,
глаза ее потеряли блеск и энергию,
волосы разом вдруг поседели.
Старуха, легкая, как пушинка, прозрачная почти,

в своем байковом халате, расшитом алыми цветами,
 только и ждет хищно, как мусор накопится,
 и — хватя за ведро, на улицу его тащить;
 помню еще короткий ее вздох,
 когда я вынул ее тело из петли, —
 врачи объяснили, что это воздух при повешенье
 в груди накапливается и потом таким вот
 последним дыханьем, последним выдохом выходит.

* *
 *

Наконец и река оплела деревья, душит их, лелеет, выкорчевывает
 с потрохами,
 отражаясь в ней, уплывают изумрудные зданья, листья винограда,
 конечно,
 город смывает, и черты лица, отражаясь в этой ряби, уплывают тоже;
 так струя воды из-под крана, попавшая на акварельную бумагу,
 смывает с нее в одно мгновение и уносит в канализационные недра
 блеск глаз и черноту волос, легкие завитки под мышками, все то,
 что так волновало, пахло пахуче, как пахнет неряшливая трава
 перед наступлением грозы,
 мучило ночами и определяло смысл безумного твоего существованья.



ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ



И ЗВЕЗДА НИ ГУГУ

В страну Мальборо

«Добро пожаловать в страну Мальборо!»

Реклама.

Мы, произносители
буквы «ы», потребители
алкоголя в количестве
правильный уровень превышающем,
скучных законов всех нарушители,
в шуме привыкшие жить оглушающем,
осознаем: нехорошо прожили
прошлые наши года!
И теперь нам в страну Мальборо,
в страну Мальборо, господа.

Мы, мазохисты, тысячелетние затворники,
анархисты, монархисты,
интеллигентные дворники,
бывшие инженеры, чертежники,
а теперь садоводы, терпежники,
трава сныть для нас желанная снесь,
не хуже святых угодников умеем терпеть,
узнаем из газет, открывая грибной сезон:
нам предлагается
целых семь эrogenных зон!

Предки наши — половцы, бродники,
а мы — огородники,
за рубежом просители,
собиратели слухов,
хоть и морщимся от всяческих рухов,
но послушны, как лучшие дети,
искренне мечтаем о Пиночете
и точно знаем, теперь нам куда:
нам в страну Мальборо, и навсегда!

Захаров Владимир Евгеньевич родился в 1939 году в Казани. Окончил Новосибирский государственный университет, физический факультет. Доктор физико-математических наук с 1971 года. Действительный член Российской академии наук. Лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Директор Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау с 1992 года. Автор двух стихотворных сборников. Публиковался в нашем журнале: 1991, № 7; 1998, № 5.

Мы, книг не прочтя, все знающие,
 собственный дом с восторгом ломающие,
 скорые если не на руку,
 то на крутое словцо,
 охотно плюющие друзьям в лицо,
 вчера был друг, а сегодня — кусок говна,
 потому что я знаю истину,
 а он ни хрена.

Умиранки и умиранцы,
 человеческие протуберанцы,
 сидим на досках рухнувшего потолка,
 улыбаясь блаженной улыбкою дурака.
 Веет холод космический — не беда,
 нам ведь в страну Мальборо,
 и только туда!

Истребители тараканов

Истребители тараканов
 Едут в бронированном свежепокрашенном автомобиле,
 Заходят в квартиры,
 На глазах очки, как у мотоциклистов,
 Противогазы,
 Они опрыскивают углы из баллонов
 Жидкостью благодетельной, но вонючей.

Истребители тараканов
 Прежде всего очень честны.
 Не пытайтесь их подкупить, спасая
 Ваши драгоценные,
 Купленные из-под полы иконы,
 Не предлагайте им закуску и водку.
 Истребители тараканов
 Не пьют — вот так!
 Это — лицо нового времени.

Прекрасные юные девушки,
 Естественно, говорят иногда о мужчинах.
 Но физики, лирики, молодые банкиры —
 Все это в прошлом (не вспоминая об офицерах!).
 Сегодня их мечты занимают
 Исключительно истребители тараканов.

Не нужно грустить. Все не так плохо.
 У нас горят леса,
 Нам не платят зарплаты,
 Чеченцы крадут наших детей,
 Капиталы плывут на Запад,
 Но у нас есть надежда, надежда, надежда...
 У нас есть истребители тараканов,
 Молодые, неподкупные истребители тараканов!

* *
*

М. Синельникову.

Господь велик, ему мы милы —
Лишь погляди по сторонам!
Но в мире есть иные силы,
Враждебные ему и нам.

Живем мы мысли напрягая,
Превозмогая каждый стих,
Но арифметика другая,
Другая алгебра у них.

Они придут и подытожат
Его и нас, тебя и нас
И зло со злом со смехом сложат,
Еще помножат во сто раз.

* *
*

Горящие ступени дня,
Печаль земная,
Они легко ведут меня
В страну без края.

А там лиловые поля
И луг медвяный,
Тележка едет, не пыля,
Через поляны.

Повязан бубенец простой
Коню на шею,
А кто в тележке едет той,
Сказать не смею.

А быстrokрылая Земля
Летит в эфире,
Щебечут с ветром тополя
О вечном мире.

И Время улыбнулось мне,
Как сын спросонок,
Оно не старец в той стране —
Оно ребенок...

Забывые могилы

В. Бойкову.

Поедем, друг, глядеть окрест.
Поля соседние унылы,
А даль заезжий дождик ест,
И многие средь этих мест
Давно в забвении могилы.

Ты прав, что нужно унывать,
Что было, то не будет боле,
Пораньше по утрам вставать,
За тем холмом и лес, и поле,

А дальше — глиняный обрыв,
И мы глядим неудержимо,
Как, нас безудержно забыв,
Живая смерть струится мимо.

А если вымоет она
Из этих берегов случайно
То, что песок допил до дна,
То разве здесь большая тайна?

Давай крепить рассудок свой,
Хранить оставшиеся силы,
Под каждой жухлою травой
Свои забытые могилы.

Ночной десант

Пустоту, вышину, тишину
Разрежь, вглубь масла скользя.
Ни революцию, ни войну
Забывать нельзя.

Раскрыт, разрезан простор,
С двух сторон облака,
Белые щетки гор,
Ниже бурлит река.

Затек синим снежный карниз,
Внизу, допустим, что зло.
Врежь ледобур, пристегнись,
Молись, чтоб повезло.

А не построить ли звездные корабли?
Ведь это нам — пустяк!
И, отлетев от земли,
Оглянувшись, увидеть, как

Спят, застывши в снегу,
Скорченные тела
И звезда ни гугу
Над пепелищем села.

Ветер — и он устает
Резать звездный разлив.
В жизни выиграл тот,
Кто терпелив.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1974 — 1978)

Глава 4

В ПЯТИ РУЧЬЯХ

Хотя уже сорок лет я готовился писать о революции в России, вот в 1976 наступало сорок лет от первого замысла книги, — я только теперь, в Гувере, — в большом объёме, в неожиданной шире — получил, перещупывал, заглатывал материал. Только теперь обильно его узнавал — и, по мере как узнавал, происходил умственный поворот, какого я не ждал.

Помню, профессор Кобозев («Невидимки») часто и настойчиво меня спрашивал: а как вы, всё-таки, точно относитесь к Февральской революции? что вы о ней думаете? Была ли она полезна для России? была ли неизбежна? и неизбежно ли из неё вытекала Октябрьская? — Я всегда отмахивался: во-первых потому, что я ведь шёл к Октябрьской, всё определившей, а что там проходная Февральская? Во-вторых, неизбежность и полезность Февральской общеизвестны. В-третьих: если бы художник мог всё заранее сформулировать — не надо бы и романа писать. А всё откроется само лишь по ходу написания.

И действительно, начало открываться само — и вот только когда! Натуральными обломками предфевральских и февральских дней — мненьями подлинными и мненьями, придуманными для публики, лозунгами, лжами, быстро организовавшейся газетной трескотнёй с её клеймами, несвязанностью столичных событий со страной, ничтожностью, слепотой или обречённой беспомощностью ведущих вождей революции — я был теперь закидан выше головы как хламом, и выбарахтывался из этого хлама с образумлением и отчаянием.

Без нарастающего, громоздящегося живого материала тех лет — разве мог бы я до этого сам додуметь?!

Я был потрясён. Не то чтобы до сих пор я был ревностный приверженец Февральской революции или поклонник идей её, секулярный гуманист, — но всё же сорок лет я тащил на себе всеобщее принятое представление, что в Феврале Россия достигла свободы, желанной поколениями, и вся справедливо ликовала, и нежно колыхала эту свободу, однако, увы, увы — всего восемь месяцев, из-за одних лишь злодеев-большевиков, которые всю свободу потопили в

крови и повернули страну к гибели. А теперь я с ошеломлением и уже омерзением открывал, какой низостью, подлостью, лицемерием, рабским всеединством, подавлением инодумающих были отмечены, иссоставлены первые же, самые «великие» дни этой будто бы светоносной революции, и какими мутными газетными помоями это всё умывалось ежедневно. Неотвратимая потерянная России — зазияла уже в *первые дни марта*. Временное правительство оказалось ещё ничтожнее, чем его изображали большевики. А ещё же, что большевики смазывали: Временное правительство и силы-то не имело ни дня, всё оглядывалось за согласием Исполнительного Комитета — узкого, замкнутого, скрытого за галдящим многотысячным сборищем Совета, — Исполнительного Комитета, ни за что не отвечающего и толкающего всё к разрухе. В те дни не проявилось ни героев, ни великих поступков. С первых же дней всё зашаталось в хляби анархии, и чем дальше — тем раскачистей, тем гибельней, — и образованнейшие люди, до сих пор так непримиримые к произволу, теперь трусливо молчали или лгали. И всё это потом катилось восемь месяцев только вниз, вниз, в разложение и гибель, не состроилось в 1917 даже недели, которую страна могла бы гордиться. Большевикам — нельзя было не прийти: оно всё и катилось в чьи-нибудь этикие руки.

И как же, как же я этого не видел сорок лет? Как же поддался заманчиво розовому облаку февральского тумана? Как же не разглядел, что не в Октябре решалось, а уже в Феврале? А вот — поди разберись: в советской обстановке очень трудно было разглядеть истинный ход и смысл 1917 года, да особенно потому, что нельзя ж было поверить брани большевиков против февралистов: ну конечно же большевики врут...

Если бы в жизни я занят был только писанием своей книги, то это открытие, хоть теперь-то сделанное, за эти два месяца в Гувере, меня бы не обескуражило: так — так так, вот и видно стало, изблизи. И если бы явление нашей Февральской революции никак бы не соотносилось с подобными же западными революциями, течениями и мировоззрениями. Но, пусть тысячекратно худшая, чем на Западе, неудачная, нелепая — а всё же то й она была природы, напоминала и французские 1830 и 1848. И в сегодняшнем СССР если возрождались какие-то свободололюбивые и несоциалистические течения, то и несли то же мировоззрение и имели самые лучшие о Феврале воспоминания — или даже мечты повторить его в будущем. А я все эти годы, в самой резкой схватке с большевицким режимом, и кроме этого ненавистного врага не замечая никого, ничего, — чьим же единодушием был широко поддержан и чьей же волной взнесен, если не этой же, такой же «февральской» публики — и у нас в Союзе, и на Западе? И это — естественно, мы были союзниками, поскольку я «признавал» Февральскую революцию позади — и что-то подобное мерещил впереди.

Но вот теперь я открыл, что этот путь реально был в российском прошлом — мало сказать неблагополучен, — непригляден, он нёс в себе в 1917 анархическое разложение всего российского тела. И что ж — я с такими заодно? (Да оно лезло и раньше изо всех щелей, я просто не осознал, помогла понять — Февральская революция.)

И эти минувшие два года на Западе — то шля поддерживающие или протестующие телеграммы, то речами и интервью гневно разя всё того же, того же советского Дракона, то помогая создать «Континент», сплывавая силы Восточной Европы, — я просто действовал от повышенной политической страсти или катился по той инерции, какая создалась в Союзе? Да находясь в угрожаемой, но оцепеневшей Европе — как же спокойно сидеть, не будить её, не тревожить, не занозить, чтобы очнулась?

Но вот что: в этом опале борьбы против коммунистического режима я, значит, как-то уклонился. Скопился. Как будто так.

И наоборот: в моих последних горьких излияниях о Западе — не прорывалась ли вперёд, сама, интуитивно, — струя того нового понимания, которое я сейчас обретаю над материалами Февраля? Как будто и так.

Но тогда, тогда — до чего же можно договориться? Не мог же я с самого начала не кинуться в жестокую схватку с душащим нас режимом? Получивши голос — не мог я им не воздать за всё, что они с Россией сделали. Как это? После «Ивана Денисовича» — подказёнивать? подлыгать? а самому пока — тихо прижиться к архивам, и открывать пласты истории, и многолетне молча писать? То есть вынырнув из подполья — ещё раз в него уйти? Да уже и не дали бы, виден.

И — с какого это «самого начала»? Моё начало было — не «Иван Денисович», но — сами тюрьмы и лагеря, но — судьба русских военнопленных. Разве с того начала я мог не поднять борьбы? и — не завершить её «Архипелагом»? Это уже была — втяга чувств.

Так значит, *не начинать* — было нельзя. Не накалиться «Архипелагом» — было невозможно. А начавши — нельзя было в отчаянной борьбе не взять в союзники советскую образованщину, затем и западную, — и так незаметно для себя, потом и заметно, уклониться от глубинного пути России? И даже от частного своего интереса — повествователя Революции, растрачивая время и силы.

Вот завязался узел: ни начала другого, ни конца другого — и никакого другого правильного пути. А оказался — на неправильном.

Знать, прошлого уже не распутать и не изменить. Оставалось — над зинувшей мерзостью Февраля — хоть на будущее попытаться исправиться, хоть теперь-то найти путь верный.

А верный путь всегда один: уйти в главную работу. Она и выведет сама. Уйти в работу — это и значит: искать для себя и для читателя: как из нашего прошлого понять наше будущее?

Ах, сколько же, сколько же потерял я сил и времени, нужных для главной работы моей жизни!..

Но и как благоденственно совпало: поворот моего общего понимания произошёл хотя и не в связи, но одновременно с большим жизненным решением о переезде в американскую глушь — свободно обдуманном, не сиюминутно вынужденным, это редко в моей жизни бывало. А этот переезд заодно и ослаблял зависимость от суетливой среды, уменьшал поводы и остроту высказываться, от чего нельзя уйти в тесной Европе. Наговорил сколько мог — было бы хожено да лажено, а там хоть чёрт родись. Теперь переезд в Америку давал мне возможность не действовать, а наблюдать. Уйти в работу — это значит и сократить общественную активность, перестать истрачиваться в непрерывных телеграммах, речах, интервью. Подальше от кузни — меньше копоты. Приучиться ни на какие события не откликаться. (Аля не верила и спорила, что Америка, напротив, словет меня и затреплет по выступлениям.) Да глубь Времени уже не оставляет мне состязаться с современностью. Современность — оставить, пусть течёт, как течёт, я и так уже для неё потрудился более, чем хватит с одной человеческой жизни. Общего хода мне всё равно не изменить, её научат только сами События. А я — мост, перенести память русского прошлого в русское будущее.

Но — но — от окружающего мира так сразу не унырнёшь. Вот и в Гувере, едва я открылся, что — здесь, стал ходить в их Башню, — уже накидывают на меня петли: выступать! Один раз — на гуверском почётном приёме. Ладно, вставляю в речь своё нынешнее: отчего западные исследователи недопонимают Россию, в чём их систематическая ошибка, сдвиг суждений о России (мимоходом привёл как отрицательный пример книгу Ричарда Пайпса о старой России — и надолго приобрёл себе страстного и влиятельного врага); как бессознательно и сознательно искажают русскую историю, не видя в ней значительных следов яркой общественной самостоятельности; и как смешивают понятия «русский» и «советский»*. — Другой раз — привозят мне вручать много-

* Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 1, стр. 298 — 304. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы. — *Ред.*)

чеканную американскую «Медаль Свободы», — опять требуется речь*. Тут я, сам для себя ещё полуслепо, нащупываю западные искажения свободы — то, что я инстинктивно почуял в первые дни на Западе и сказал при «Золотом клише» (и что мне неведано предстоит развернуть в Гарвардской речи). Эти два выступления — уже веки на новом моём пути. А слаще бы — совсем не выступать. (В русской эмигрантской колонии в Сан-Франциско справедливая обида: почему я не выступил? Ну, как разорваться? Всегда этот выбор: или работать, или «оказывать внимание».)

Да ведь это же и для меня самого надо: слишком густой напор моей публицистики скоро перестанет и убеждать. Темп и громкость моего движения уже стали непомерны, надо вернуться в естественные размеры. Испытание славой, которым грозили мне и Ахматова, и Твардовский, — уверенно, по ощущению себя, вижу, что прошёл благополучно, — и вот сам, без затруднения, от неё ухожу. Какое освобождение души: чтоб о тебе перестали писать и говорить, перестали на каждом шагу про тебя узнавать — а пожить в обычной человеческой шкуре. Путь звонкий, но неизбежно короткий, сменить на путь беззвучный и глубокий. Это будет одновременно и долголетие, выигрыш по оси времени. И каждый день же заниматься родным языком — счастье писателя. Да русскую историю не только же знать Двадцатого века, по десятилетиям которого гнал меня бич. Да вот уже старики, последние свидетели революции, шлют воспоминания, надо собирать их, читать, спешить отвечать. Да где-то же есть молодые авторы, которых открывать и помочь? — ну они, положим, в России. Так хоть следить за тем, что появляется на родине, — ведь я же правда не политик, а писатель, и друзья мои ближние — не диссиденты, а русские писатели. Да вот уже сыновья у меня растут, от шести лет до трёх, пора для них время найти, как находят все нормальные люди.

Наш переезд в Вермонт, таким образом, обещал стать первым за жизнь мою шагом к образумлению, к умедлению, к простой норме.

Впрочем, ещё раньше, чем я отвернулся от западного общественного внимания, — стало отворачиваться оно от меня. Когда под Новый 1976 год французский журнал «Пуэн», споря с растущим ветром враждебности ко мне, объявил меня «человеком минувшего года», — это был дерзкий вызов, и они так и печатали на обложке, как в две дюжины мазутных кистей уже замазывают, замазывают мне лицо, — я ещё не принял тогда этой картинки всерьёз.

Да сам-то я от первых западных шагов сделал всё, чтобы западная общественность и печатность от меня отвернулись: и проявил себя врагом социализма, и опубликовал «Письмо вождям» («измена демократии»!), и рычал на прессу. Ещё по инерции антикоммунизма не сразу рассыпалась мне поддержка (да — есть ли в западном обществе широкий антикоммунизм, ещё спросить? его и нет) — но и в эти самые месяцы, когда я совершал свой внутренний поворот, — даже рядом, в сонной Канаде, всегда в опоздании, ведущий комментатор телевидения поучал меня, что я берусь судить о мировом опыте с точки зрения опыта *ограниченного* — подсоветского и лагерного. О, конечно. Жизнь и смерть, неволя и голод, выращивание души вопреки пленению тела — как это ограничено по сравнению с ярким миром политической партийности, вчерашнего курса на бирже, необъятной развлекаемости и экзотического туризма.

В динамичных Штатах дело пошло резче. Недавний калифорнийский губернатор Рональд Рейган, соперник президента Форда на предстоящее выдвижение от республиканской партии, предлагал мне этой весной, через Гувер же, встречу. Я — отклонил: и по общему своему уходу от политики, и особенно считал нетактичным для иностранца влиять на президентскую избирательную кампанию. Тем не менее летом на съезде республиканской партии рейгановская фракция настояла записать в избирательную программу партии, что

* «Публицистика», т. 1, стр. 305 — 308.

«Солженицын — великий пример человеческого мужества и нравственности», и партия обязуется «при принятии внешнеполитических решений никогда не упускать из виду его предупреждений». Форд, боясь потерять влияние в партии (уж и так его кляли год, что он меня не принял в Белом доме), уступил и согласился на эти тезисы. Киссинджер рвал и метал. А через два дня его помощник в Госдепартаменте Уинстон Лорд на семинаре молодых дипломатов назвал меня «почти фашистом» и предупредил, что я — угроза миру. Это — выплыло, попало на трибуну сената («Солженицын стал главной мишенью сторонников разрядки — и в Кремле, и на седьмом этаже Госдепартамента»), — но скорей по раскалённости предвыборной кампании, а Лорд кабинетно выразил обо мне то, что станет скоро общим местом для американской прессы. Окружение другого кандидата, Картера, числило меня «слегка ненормальным русским мистиком, какие бывали в XIX веке»*.

Хотя я собирался, вот, поселиться в этой стране, но нападки такие скользили, не задевая меня: они не могли влиять на суть жизни, которую я теперь начинал. А вот остро воспринял я очередной укус ГБ: оно не забыло меня, как далеко я ни завергся. Моя публикация в «Тайме» в 1974, как они подделывали целую небывшую мою переписку с Ореховым, — оказывается, не отвадила их, — да и не распускать же им превосходно налаженный графологический отдел. Что какая-то «бомба» против меня готовится — до нас доносились, правда, слухи из Москвы раньше. А теперь, числа меня живущим в Швейцарии, КГБ и решило взорвать свою подделку именно в Швейцарии. И вот какой-то швейцарский журналист, Петер Холенштейн, уж не знаю, подставной или нет, пишет мне в Цюрих, что ему доставили документы большого интереса и вот он посылает мне копию одного: прежде чем его опубликовать, он, дескать, по добросовестности журналиста, хотел бы знать о нём моё мнение. (В позднейшей переписке он сообщил мне, будто подбрасывалось целое собрание таких подделок, часть — «через видного функционера ГДР».)

Бумагу Аля переслала мне скорой почтой в Калифорнию. Ну разумеется, все враги собачьими зубами рвут, что я сам о себе открываю. Зудило их, как не использовать такую подсказку: рассказ мой в «Архипелаге», как вербовали меня в стукачи. То б ещё им искать на меня хватку, а я сам подал. И вот состряпали первый письменный «донос», да не по мелочи, а сразу — на подготовку экибастузского мятежа (на движение бури!) в январе 1952. Но как же советской власти самой опубликовать в виде упрёка донос, поданный ей во службу? Самой нельзя. Подсунули этому швейцарскому корреспонденту с таким сюжетом: какой-то будто эмведешник, просматривая старые лагерные архивы, среди тысяч доносов обратил внимание (почему-то, никто ему не поручал) на донос не известного ему «Ветрова», давностью 22 года, извлёк его из папки (служебное преступление?) и передал — но не начальству, а каким-то вольным кругам, у кого лёгкое общение с иностранцами.

Почерк был неплохо подделан — применительно именно к лагерным моим годам. (У моей первой жены сохранились мои фронтные и лагерные письма. В 1974, вслед за высылкой моей, она вышла замуж за Константина Семёнова, видного АПНовца; письма мои оказались все в распоряжении АПН, уже весной 1974 оно торговало ими на Западе. Из одного американского издательства доброхот переслал мне копии. Каково получить с мирового базара — свою безразборную юную горячность...) Почерк-то подделан, хотя на самом видном месте, в подписи, графический ляпсус (что полагается по правилам чистописания, а у меня исчезло ещё со школьного времени). Были заметные переделки и в языке, но главное — в сюжете: «донос» на украинцев (добавочная цель — с украинцами поссорить), вот якобы встречи с ними сегодня, вчера, — а нас-то с украинцами за две недели перед проставленной датой разъединили в разные зоны, — где же чекистам через 20 лет всё усле-

* «Вашингтон пост», Р. Эванс, Р. Новак, 2.9.1976.

дять? (Хотя об этом и в «Архипелаге» написано, ч. V, гл. 2, но они по лени недоглядели.) И чья ж на «доносе» резолюция? — «начальник отдела режима и спецработы». Но в лагпунктах таких *отделов* не бывает, а есть порознь: начальник режима и оперчасть (не знают!). И какая ж резолюция начальства на подготовку побега и восстания? — вместо молниеносного упреждающего удара, арестов, — «доложено в ГУЛаг СССР», — в сам ГУЛаг, в Москву! дале-конько! Ну можно ли нагородить столько профессиональных промахов?

Однако все эти наблюдения я оставил про запас, предполагая впереди публичный спор (не договорил всего до конца, чтоб их потом поймать), а сам немедленно в те же часы передал ксерокопию их фальшивки всем желающим телеграфным агентствам в Калифорнии, и к ней — заявление. [18]* И то и другое было тогда же напечатано в «Лос-Анджелес таймс».

И — ждал. Что начнут настаивать, доказывать, другие подделки совать.

Нет. Так и смолчало ГБ, на спор не отважилось. Вместо бомбы вышла у них хлопущка. (Годом позже всё-таки ещё раз напечатали в Европе, в каком-то социалистическом журнале, — но и там бомба не взялась.)

И вот так — уходи от политики...

По библиотеке, по архивам гуверским — там можно было и ещё полгода сидеть. Но и мои обстоятельства уже подгоняли в Вермонт, к строящемуся дому, да подумал я, что уже и справлюсь, зарядился материалами. Ещё снабжали меня книгами в подарок и калифорнийские эмигранты. Запомнился чудесный старик в Бёрлинггейме под Сан-Франциско, Николай П[авлович?] Рыбалко, вдовый, живший с сестрою. Старая мебель в домике, безнаследная тишина и домиранье, а сам хотя и дряхлый, но сохранял ещё донкихотский вид и рост, не вовсе седой, и таким запомнился, при вечерних настольных лампах, — как широким распахом рук предлагал мне забирать хоть всё с книжных полок подряд. От него достались мне переплетенные «Искры», иллюстрированное приложение к «Русскому слову», за годы всей Первой войны, — прежде, ещё в Москве, я доставал только разрозненные, так необходимые фотографии для описания никогда не виданных мною людей. Теперь это всё было ещё раз вместе. Удивись: такой томину, крупнее крупного церковного Евангелия, — значит, вывозили из России? Ещё один памятный дар от Первой эмиграции: пиши! пиши!

Одну только прогулку позволил себе в Калифорнии: съездили в Лунную долину, в домик Джека Лондона. Не ахти какой он классик, но всё наше советское поколение на нём воспиталось: в 1929 и 1930 давали, за его ли социалистичность, 48 его книжечек приложением ко «Всемирному следопыту», любимому детскому чтению. И так полное собрание Лондона было у меня в детстве в числе немногих, и как все свои книги я перечитывал по несколько раз подряд — так и его. А душевные детские связи сохраняются навсегда. Во взрослом состоянии уже никогда его даже не проглядывал. Теперь в домик его запущенный (государством не охраняемый) вошёл с волнением, как будто сам я тут и жил в детстве.

В Гувере за два месяца уже набралось материалов, книг, писем несколько ящиков. Возвращаться на Восточное побережье задумано было на шевролетегрузовичке, нашей первой машине в Америке, — перещупать, почувствовать континент своими колёсами. К концу моей работы Аля и прилетела, ехать вдвоём.

Путешествовать по Советскому Союзу — лучше бы машины не придумать: всепроходима, высокая посадка, а в крытом кузове можно четверым — шестерым ночевать. В Союзе в этом и проблема: ночевать негде, дороги плохие, а съехать-то можно везде и в любой лесок. Здесь же это — дикость, тут с большой дороги просто не съедешь, и даже на обочине останавливаться не положено, а рядом с дорогой — всё кому-то лично принадлежит, ни в машине не

* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце 5 главы. Предыдущие 17 приложений напечатаны в № 9, 11 «Нового мира» за 1998 г. (Ред.)

поспишь, ни палатки не разобьёшь, появляются владельцы: уезжайте! Для но-чёвок — всюду однообразные мотели, скукота. Чтоб увидеть интересные мес-та континента, надо было бы составить очень уж долгий изломанный маршрут и проехать не 3000 миль, как мы. А мы повидали только западную пустыню, Йеллоустонский заповедник да Гранд-Каньон с его верхнего обрыва в закат (мирозданное зрелище! как Бог сотворял и может строить миры), да могуче красивую природу Огайо, — а шире и подробней с больших дорог не уви-дишь. Иные крупные города не объезжаются стороной — но ведут проезды прямо через них, по взнесенным эстакадам. Ехали и днём, и ночью, сменяясь у руля, а другой спит на сиденьи (Аля только-только права получила, но кати-ла лихо, а ночами несутся башни-грузовики, и на ремонтируемых участках де-сятки миль сужений в фонарных рядах), — уж как мы целы остались, меньше чем за трое суток домчались от Колорадо до реки Гудзон. (А в Канзасе догна-ла и оштрафовала нас полиция — и потом из протокола заочного суда сразу вырвали местные корреспонденты, распечатали по всем газетам США, и даже в журнале «Тайм», что Наталья Солженицына сильно превысила скорость.)

Приехали в Пять Ручьёв, показывал Але участок и стройку. Предстояло ей убедиться (как будто ещё время сомневаться), что можно сюда переезжать с малыми детьми, — и лететь в Цюрих, готовить эвакуацию, да чтоб отъезд се-мьи не был замечен раньше времени, и не устремились бы корреспонденты вослед вынюхивать — где мы, и через газеты трезвонить. А мы должны были прежде завершить стройку.

Именно в эту пору разорения, вдогон из Европы, достигло меня пригла-шение в Израиль от комитета кнессета — эк, куда! Но — не был бы я сейчас способен покинуть свою новую осадку в Вермонте, изломался бы всякий стерт-жень жизни и закипевшей моей работы. И я отклонил. [19] (Отдал конверт отправить Алёше Виноградову, он же по ошибке наклеил марку по американ-ской внутренней таксе, и мой ответ не летел, а плыл в Израиль морем месяца два, а там уже как возмущались!)

Теперь мне предстояла процедура официального въезда в Штаты — не как туриста, а на жительство. Для этого полагалось возвращаться в Цюрих и оттуда снова лететь. Но любезностью американо-консула в Цюрихе все необ-ходимые документы в запечатанном пакете были высланы консулу в Монреале, и теперь я должен был совершить лишь небольшую поездку в автомобиле: получить их сам в Монреале, пересечь границу в назначенном месте, Масси-не, — и тем зарегистрировать право на «зелёную карточку» — удостоверение допущенного к жительству в Штатах, а после пяти лет можно менять его на гражданство. (Ещё доживём ли? А доживём — так ещё будем ли брать?)

И от петли через Канаду снова впечатление: насколько Штаты прибран-ней, крепче, — какая основательная страна.

Ещё я сделал крюк в Буффало и повидал замечательного старика — капи-тана В. Ф. Клементьева, приславшего мне для романа свои яркие военные воспоминания ещё в Москву, «по левой», через Струве. Он был ниже средне-го роста, но очень широк в плечах, видно большой крепыш когда-то. Седая шетина, а голова не поседела. Суждения, память, глаза — беззатменно ясные, а в голосе уже проявляется старческая мягкая прихриплость. Теперь он рас-сказал мне свою жизнь — и я убедил его писать воспоминания. Простонарод-ного происхождения, он дослужился до капитана императорской армии, после октябрьского переворота ездил в Новочеркасск, но вместо Добровольческой армии направлен штабом генерала Алексеева в Москву к Савинкову и состоял в его подпольном «Союзе Защиты Родины и Свободы», два года провёл в Та-ганке и Бутырках под угрозой расстрела, уцелел; потом ушёл в Польшу, там снова сотрудничал с Савинковым. Много лет в Америке работал чернорабо-чим. И через 60 лет после революции, нищий, больной, — сохранял нестига-емый офицерский дух и жил одною Россией.

Когда, изредка, помучается моё настроение, мне достаточно вспомнить одного из таких старых белогвардейцев: вот нам стойкость во времени! вот нам пример.

В Пять Ручьёв я окончательно приехал в грозовой вечер, в канун 200-летия Соединённых Штатов, — страна начинала своё третье столетие, а я?.. — неизвестный период вермонтской жизни. На другой день слушал по радио, как они сами себя хвалят разливисто, в выражениях и чрезмерных. Понову удивился.

А жить у себя я должен был пока скрытно, в отдельном малом домике, одал от стройки — и подальше от стука-шума, и чтобы рабочие знали бы хозяином — одного Алёшу Виноградова. Как все мы в России представляем американцев чемпионами работы, так и я ждал фантастически быстрой и добросовестной постройки. Но по вечерам поднимаясь от своего домика у пруда, в самом низу участка, куда сливались ручьи, — и круто на холм, смотреть на продвижение, — изумлялся: как слабо двигается. (Купленный деревянный дом — летний, и для маленькой семьи — мы вынуждены были расширять, а ещё отдельно строить кирпичный, с просторным подвалом, со многими комнатами, чтобы взяться хранить большие архивы — надёжно и протяжённо. В том доме и для неохватной моей работы расставить несколько длинных столов (где расположатся, для лучшего разбора, сортировки, композиции, — по темам, по событиям, по лицам, потом по главам — все мои выписки, накопленные за годы, к ним сотни и тысячи мелких записей). И всё растущую библиотеку. К сожалению, Алёша Виноградов не имел возможностей договариваться с подрядчиком на аккордную плату, по выполненной работе, — приходилось гнать повременку, в трубу. Да ещё так неудачно, что именно на это же лето ему, нововступленцу в семинарию, о. Александр Шмеман поручил там строить общежитие. И так, Алёша разрывался. Постоянного контроля качества и срока постройки не удавалось организовать — и по округе быстро разнеслось, что новые хозяева — лопухи и можно нас дурить как угодно. Подрядчик ни о качестве, ни о скорости не заботился, а нагонял в день человек до пятнадцати, — больше, чем мог занять делом, — а всем платилась повременная оплата, да какая? — за час, сколько в СССР за неделю не получают. Это — не старая русская артель, где стыдно было отстать в работе! Американские свободные рабочие вели себя, как наши последние подневольные зэки: опаздывали, не сразу начинали, слонялись, то и дело садились пить кофе (этого-то зэк лишён) — да, главное, и работали иные халтурно, а если переделки — мы же снова платим ту же повременку. (Уж не говори: если где в чистом месте насолил — ни за что за собой не уберёт: ведь это — ниже его квалификации.) И вместе же с тем — нависает над прорабом бюрократия: все чертежи должны быть рассмотрены и утверждены магистратом посёлка. И вот все летние месяцы Алёша отказывал мне даже котлован копать под новое здание, пока не утвердят чертежи. И мы начали строить каменный дом под работу и архивы только в сентябре — и в сентябре же ударили ранние морозы, отчего пришлось вокруг кладки устраивать из плёнки чехлы, ставить печи, чтобы раствор не замерзал, — обошлось строительство весьма дорого, в три-четыре раза дороже, чем купить бы два здания готовыми, — да где их такие найдёшь?

Но сколько б я в это дело ни просадил, по неумелости, по невмешательству, — будущий просторный дом вознаградит меня за годы работы. Даже за это лето в прудовом домике я написал весь столыпинско-богровский цикл. На заветное — нет цены. Всегдашняя моя расплата за то, что занят одной только главной линией жизни — и ничем больше.

Прудовый домик внизу под холмом — лёгкий, дощатый, и широким окном — на пруд. До пруда — дюжина шагов, и раннее утро начинается нырком в воду. Пруд накоплен из ручья, каменною плотинкой. Он густо обставлен — высоченными тополями, берёзами, пониже — клёнами, а по круче на наш холм — весь склон в соснах и елях. У пруда — замкнутый овал, и внешнего мира вообще не видно, как нет его, — только ограниченный же овал неба над тобой — столь необширный, что и грозовая туча наплывёт — её не ждёшь, не видишь, как накоплялась и двигалась, и созвездий видишь ночью лишь малую долю. И весь разговор — с деревьями, с небом, с птицами (какая-то крупная,

с сильными крыльями, там же пряталась, по утрам-вечерам грозно перелетала), да с выскакивающими форелями, да с енотом, с дикобразом (ну и гадючки водились). Весь доступный пейзаж — только сменчивая окраска неба, облаков, да порой нехотная малая раскачка богатырских деревьев. А четыре скученных берёзы составляли как бы беседку, и между ними врыл я в землю стол на берёзовых ногах, там и сидел целыми днями. Полтора месяца, до приезда семьи, кроме Алёши и его помощника никто ко мне и не спускался никогда.

Дыши! Пиши!

И я — писал, весь уйдя в начало XX российского века. Да не был бы я самозатворником — если б задача меня не звала, не тянула. Для меня это и была самая естественная жизнь: устранить все помехи, или пренебречь ими, и работать.

Этим летом уже из сан-францисской «Русской жизни» привёз я первую стопу воспоминаний стариков, и ещё бóльшую привезли мне из нью-йоркского «Нового русского слова», — и ещё досылали, только читай! (Морем плыли пакеты из парижской «Русской мысли».)

От них ото всех, от стариков, современников революции, я принимал как бы эстафету их борьбы. И воспоминания каждого впечатляли меня как личная встреча — в *те* годы.

А вот тебе на! — мне о Гражданской войне и читать-то некогда, и отвечать некогда: после гуверских сотрясающих открытий у меня что ни день мысли, — напротив, отступают в глубь времени, там разворачиваются новые просторы и планы «Красного Колеса». Много лет, при ложном представлении о Февральской революции, я и в мыслях не имел заниматься личностью царя да и всем дореволюционным десятилетием — двадцатилетием. Но теперь, при открывшемся истинном смысле Февраля, — не избежать было шагнуть в те десятилетия, в предисторию революции. О Николае II я всё же предполагал написать — короткий полуобзорный этюд. А вот — вшагивал в повествование своей гигантской фигурой Столыпин. (О нём-то зарубка у меня в душе давно была, из-за его убийства, но до сих пор он шёл у меня лишь в прибавку к гучковской главе.) Столыпин — стоял-перед глазами, горел в мозгу. А за Столыпиным — художественно притягивался и Богров, хотя бы одну-то главу о нём? Но тогда? — тогда начинает вытягиваться и вся раскалённая нить российского революционного террора — да за 30 лет?? Ещё новая, совсем неожиданная область изучения.

Боже, сколько же не изученного оставлено за спиной, упущено, сколько не разведанного, не подготовленного материала. Когда ж это всё успеть?

А — как это всё добавочное, всю предисторию, вдвинуть в «Красное Колесо»? Только — в «Август Четырнадцатого». Но его корпус не выдержит, затрещит от вдвигки.

Ещё не знаю — куда, как? — но надо скорей, скорей писать, руки горят!

В тот год глубоким нырком в Февраль, затем и в уединённую вермонтскую жизнь, я немало и пропустил, в том числе и нападок на меня. Весной 1976 в Париже вышла ядовитая статья Суварина в защиту Ленина и против меня — я даже и не знал о ней ничего два года, доселе, — а теперь не поздно ли отвечать? — так никогда с ними не расхлабешься.

Пропустил я нечитанной и брошюру Мити Панина в оспор меня. Как всегда оторванный от всяких практических действий в живой жизни, а в заносе мыслей за краями, и после сокрушительной неудачи своей получить в союзники Папу Римского, он теперь и моё «Письмо вождям» объявил жалким соглашательством: мол, как? вообще *разговаривать* с вождями? когда надо просто испепелить их своим гневом! Нашёл он моё противостояние коммунизму недостаточным! Вроде примирился я с «советами»? (При большевиках они, конечно, только декорация, но это был тогда единственно возможный термин, которым бы выразить необходимость народного самоуправления.) Панин устремлялся к революции (чьими-то там руками и чьей-то там кровью) — я же отшатнулся от неё, и это был главный и верный импульс в моём «Письме».

Два соседних дома, старый жилой и новый рабочий, мы соединили двадцатиметровым подземным переходом из подвала в подвал — для удобства сообщения в непогоду, в ночи, и в долгую снежную зиму, чтоб меньше чистить двор; и чтобы мочь пользоваться трубами от одного колодца и отоплением от одного котла. Так где там: по американским законам магистрат обязан показать все чертежи чуть ли не любому прихожему, кто поинтересуется, «открытое общество»... И сколько ж об этом переходе потом писали, писали, захламлялись газеты — как о тоннеле, чуть ли не бункере.

А какая у нас в Вермонте защита? Только безлюдная непроходная местность, где каждый посторонний всё-таки заметен. Заборчик сквозной сетчатый — только от назойливых прохожих, ну может быть от корреспондентов да от рычащих как бензопилы снегоходов, тут на них всю зиму гоняют. Без межи — не вотчина. Купили постепенно, как чуть не в каждом доме здесь, карабин, охотничье ружьё, пару пистолетов, но даже увидев на загороженном участке незнакомого человека — разве будешь стрелять? а может он с добрыми намерениями?

Да ведь: не охранит Господь града — не сбережёт ни стража, ни ограда.

Кто не состоял с КГБ в постоянной схватке, тому могут быть странны наши предосторожности на свободном Западе, даже как психопатство. Но тот, кто серьёзно имел дело с КГБ, тот знает, что шутить не приходится. Каждая русская семья на Западе помнит похищение генералов Кутепова, Миллера или убийства невозвращенцев. Всякое соотношение сил и опасностей мы привыкли оценивать в привычных полюсах — КГБ и мы. КГБ на Западе — свободно действующая сила (и не зависит, как ЦРУ, от контроля и пригляда западной прессы).

Так и уезжала наша семья из Швейцарии: оторваться от изводящих репортёров, ступающих след в след, но и — обмануть КГБ, не дать ему заметить нашего отъезда прежде времени и закидывать сеть в новое место, впоследствии. А половинка нашего дома в Цюрихе (с доброй, но многоречивой соседкой в другой половине) была тесно обставлена пятью другими домами, всё напрогляд. И предстояло — вывезти все вещи, книги, коробки, отправляемые за океан, и ускользнуть самим с дюжиной чемоданов среди бела дня — так, чтоб это не было никем замечено как отъезд. Верная соседская пара — Гиги и Беата Штехелин, знали о нашем плане, они же взялись на долгое время и принимать почту за нас, чтоб оставалось незаметно. Да знал об отъезде штаттпрезидент Видмер, но частным образом, а не как глава города.

Всё устраивал наш умелый друг В. С. Банкул, и замечательно. Хотя почти всю мебель оставляли в Цюрихе (но плыл за океан мой неуничтожимый петербургский письменный стол, не сожжённый в гражданскую войну, в блокаду, и совершающий со мной шестой переезд, плыл и ещё один необъятный письменный стол, купленный в Цюрихе) — вещей набралось много, 120 тяжёлых ящиков только книг и бумаг. Как вывезти их неподозрительно для тесных вокруг соседей, для прохожих тихой улочки? По знакомству Банкула транспортная фирма подогнала не свою, всем известную на вид, машину, но закрытый грузовик здешней мебельной фирмы, и неразличимые рабочие в синих фартуках (доверенные Банкула) быстро туда всё перенесли, так иногда берут мебель на ремонт, на обмен. Мебельный грузовик ни у кого не вызвал подозрения. Теперь оставалось в утро отъезда, отнюдь не раннее, выйти из дому шести человекам семьи с дюжиной тяжёлых чемоданов (все рукописи везли с собой, не морем). Как это сделать? Опять по знакомству Банкула накануне поздно вечером к задней калитке подъехал пикап с надписью «Цветы», тоже обыденно для Цюриха, — и незаметно подхватил чемоданы, увёз, а дальше переняли Банкулы. Они же в утро отъезда приехали на своей машине и взяли трёх малых детей с собой, как иногда брали их на прогулку. Спустила четверть часа Аля с матерью и Митей, налегке, с малой ручной кладью, сели в машину соседа Гиги — и поехали на аэродром.

Так семья уехала, поневоле ни с кем не попрощавшись, никак не извещаясь, и только радовались мы, что обманули КГБ. Мы не задались вопросом: а

когда откроется — как это будет выглядеть для Швейцарии? Для нас существовали постоянно два напряжённых полюса — КГБ и мы. А и Швейцария — очень существовала, и это сказало дальше.

И въезд семьи в Америку, 30 июля, прошёл совсем незаметно (удивляться надо, не проговорилось иммиграционное бюро, есть же и тут люди!). И так добрались до Пяти Ручьёв. Поселилась семья во флигеле рядом со стройкой — как родственники Алёши Виноградова (трёхлетний Стёпа слышал разговоры, что «едем в Америку, вот мы и в Америке», — и этот первый приют, флигель, так и стал называть «америкой»). А я продолжал работать за надписями «private» в домике у пруда — и так прошло ещё сорок важных дней стройки. И как раз 7 сентября Алёша замкнул кольцо забора, поставил ворота, тоже сетчатые, — а 8 сентября во всей мировой прессе взорвалось как очень важное для них и для всех читателей событие: Солженицыны переехали в Америку! Нам — никогда не понять: почему им так сладко следовать? В газетах печатались карты и стрелки на картах: вот сюда, сюда, тут! — о, ничтожная болтливая пресса, нет у тебя настоящих забот? (А раскрылось — через цюрихский магистрат, этого мы не предусмотрели: поступило заявление об освобождении мною квартиры — и, конечно, чиновники сразу поделились с корреспондентами.)

Действовала на всех внезапность переезда: о людях с известностью не принято так, чтобы никаких сведений, никакой рекламы вперёд, а сразу прыжок. И нахлынули в крошечный Кавендиш больше сотни корреспондентских автомобилей — из Бостона, из Нью-Йорка, расспрашивали всех жителей городка, кто что знает, стояли у ворот, шмыгали вдоль забора, и даже искали вертолёт — пролететь над участком и сфотографировать. А нас и вовсе обезоружило, что 14-летний Митя, очень общительный и уже с беглым английским, как раз накануне уехал в частную школу, в Массачусетс. И ещё же, на грех, по верху нашего лёгкого сетчатого забора — и только вдоль проезжей дороги — провели единственную нитку колючей проволоки, чтоб зацепился зевака, кто будет перелезать. И корреспонденты вздули эту единственную нитку в «забор из колючей проволоки», которою я сам себя — и, разумеется, вкруговую — огородил как в новой тюрьме, «устроить себе новый Гулаг». Затвор у меня и предполагался, только не тюремный, а затвор спокойствия, тот один, который и нужен для творчества в этом безумном круженом мире. Но от жителей подхватили корреспонденты ещё и о пруде — и понесли сказку о «плавательном бассейне», что сразу повернуло наш воображаемый быт с тюрьмы на «буржуазный образ жизни», которому хочет теперь отдаться семья Солженицыных. Ах, шкуры, не о нас, а о самих себе свидетельствуете, чем дышите. Мы выброшены с родины, у нас сердца сжаты, у жены слёзы не уходят из глаз, одной работой спасаемся, — так «буржуазный образ жизни».

Казалось бы: демократия. Прокламируют, что уважают всякие, всяческие права, своеобразие вкусов личности, даже причуды. Почему же такая раздражённая нетерпимость к попытке уединиться?

А ещё, выстаивая перед самозакрывными (от центральной кнопки) воротами, довольно обычным устройством в Штатах, сочинила разгорячённая корреспондентская фантазия, что у нас — электронная сигнализация и защита вкруговую по всему забору, и подано на проволоку высокое напряжение, и значит тем более «он хочет создать себе Гулаг!» Понесло, понесло, прилипло, не отмыть, так по всему миру и пропечатали: «круговая электронная защита». Обидно — но и выгодно, сообразили мы: чего мы не в силах бы соорудить — они соорудили за нас, единственный раз корреспондентские языки помогли не ГБ, а нам. Мы — не опровергали, и так осталось на годы, что к нам не пробраться. (А у нас в глубь леса весенние потоки каждый год во многих местах валили забор, мы и не чинили, прямо перешагивай.)

В первые недели наведывались и с русским языком неизвестные. И в «недоступных» воротах оставили записку: «*Борода-Сука За сколько Продад Россию Жидам и твоя изгородь не поможет от петли.*»

К ходу суждений не упустила присоединиться и дочь Сталина. Утопленная в американском быте, воспитываемая дочерью американкой, упрятанная от советских агентов за хорошей охраной, — услышала сплетню о моём «электронном и колочном заборе» и глубокомысленно присудила в интервью: «Как это по-русски!» (По-древнерусски? а не от ГБ её папаши?) И «Голос Америки» и «Новое русское слово» разносили её весомое заключение: это — *по-русски!*

А между тем в Швейцарии социалистический «Тагес анцайгер» вышел с заголовком чуть не на полстраницы: «Семья Солженицыных бежала из Цюриха». И другие, рисовали карты: «Глубоко в Вермонте, за семью горами». Швейцария обиделась, вся целиком. И на небывалую тайну отъезда (правда, грубо получилось, мы не подумали), да даже и на сам отъезд. Швейцарцы многоблагодарные ощущали так: они приютили, защитили гибнущего изгнанника, они были добрыми хозяевами, а он гостеприимства не оценил, уехал неблагодарно, тайно. Да, не тем были наши головы заняты, упустили мы написать и к моменту газетного взрыва напечатать хоть припоздавшее прощание. Рядовые швейцарцы были ко мне всегда хороши, да. А о том, что швейцарская полиция запретила мне на политику рот раскрывать, — об этом же не было известно; и что я уезжал не только от городской суеты, но и от шныряющих чекистов, тоже не объяснишь. Создавшуюся на меня обиду хорошо разыграла левая и бульварная швейцарская пресса. (Эти два качества часто сливаются, как и в России было перед революцией: «Биржевые ведомости» — «Утро России» — «Московский листок», да длинный ряд.)

А американская публика, и приветливая, и детски жадная до сенсаций, конечно, сразу нахлынула лавиной писем, телеграмм, новых приглашений, поздравлений, самых доброжелательных пожеланий, — однако лавиной, под которой можно было бы погибнуть новичку. Но я, пережив таких взрыва в жизни по крайней мере уже два, был не новичок. А когда лавина и схлынула, продолжал литься поток изрядный: с приглашениями выступить, или кого приветствовать, или кому писать предисловия; с указаниями, по каким вопросам публично выступить, кого я должен немедленно защищать; с запросами от славистов — какие дополнительные сведения я могу дать по поводу такого-то места в такой-то моей книге; от родственников — не знал ли я на Архипелаге такого-то и такого-то; и от больных: как лечиться от рака, где достать и как применять иссык-кульский корень, берёзовый гриб... — этим-то больным я всегда отвечал.

Осложнение угрозилось с другой стороны: со стороны местных жителей. Обведение участка забором, хоть и прозрачным, было здесь необычно и вызывающе. К тому ж он перегородил один из путей для снегоходов, ими здесь увлекаются, носятся по лесам и горам. Губернатор штата Снеллинг, к которому я съездил познакомиться, дал мне хороший совет: выступить и объяснить на ежегодном общем собрании местных граждан. Это было уже в конце февраля, на исходе нашей первой вермонтской зимы, я поехал, посидел, выступил. [20] И в округе сразу обстановка разрядилась, создалось устойчивое дружелюбие.

При поездке в столицу штата я узнавал возможность основать своё бесприбыльное издательство. Едва мы с Банкулом вышли от чиновников — к ним тотчас забежала корреспондентка, они обязаны ей всё отвечать, — и на другой день по всему миру покатилося в чём-то для них опять сенсационное сообщение: что я с переездом в Вермонт открываю своё издательство. (И вскоре ко мне стали поступать запросы, как бы напечататься, а то и прямо рукописи.)

Я, именно с переездом, действительно серьёзно обдумывал создать своё издательство. Это должно было быть дочернее учреждение от Русского Общественного Фонда, издавать книги, нужные в России, и бесплатно посылать туда. Уже первая такая серия и звала меня — Исследования Новейшей Русской Истории (ИНРИ). Столькое в нашей исторической памяти провалено, столько документов уничтожено зломысленно — но хоть что-то, хоть что-то ещё можно выхватить из забвения?? Очень я был уверен, что мы соберём круг сильных

авторов, старых и молодых. Но и сразу же увидел, что нам одним не возмочь: у себя в Кавендише мы сумеем (ещё сумеем ли?) вести только редактуру да в лучшем случае набор, и то не хватает рук и сил, нечем заняться. А где — производственный отдел? распределительный? кто поведёт всю переписку, отправку, рассылку? Как всегда во всяком русском деле: нет людей. Только на американском континенте, говорят, больше миллиона русских эмигрантов, никто не считал, да хоть полмиллиона, а — ни на какое серьёзное дело нет людей. Хороша молодёжь, а к поре никого не найдёшь.

Мысль о своём издательстве родилась у меня и от переезда на новый континент, и от напора замыслов: «Имка» по-прежнему ощущалась мной как разлохмаченное, плохоуправляемое издательство, в нём проявлялись книги самых неожиданных уровней и направлений, — не знаешь, какого курбета ждать ещё завтра. Безднадёжность устойчивой работы с издательством неряшливого стиля становилась уже такова, что о своём русском собрании сочинений я вступал, через того же Н. Струве, в переговоры с французским издательством «Сёй». Затем стало казаться, что Струве всё же возьмётся руководить «Имкой» фактически и открыто, и я обещал ему содействие. В конце 1977 отставку Морозова предложил его близкий друг Б. Ю. Физ, член РСХД, поддержал и о. Александр Шмеман. В конце длительных дебатов в Движении Аля была в Париже весной 1978 и подтвердила от моего имени, что я тоже поддерживаю отставку. Морозов согласился уйти на условиях, что тощее издательство ещё более шести лет будет платить ему полное жалование до пенсии и с сохранением чина «литературного советника»^{*}.

Однако и тут заменил Морозова не Струве, который всё не решался на администрирование («меня тяготит собственная раздробленность», перед ним немало начатых и недоиденных путей творчества), а пост этот, как и добивался, занял третьеемигрант Аллой. Я никогда его не встречал. Но издали глядя — от деятельности его в «Имке» осталось ощущение возбуждённой лихорадочности, темпа как цели.

Теперь, доехав до оседлого места, решились мы с Алей и на выпуск моего 20-томного Собрания сочинений. Разве было у нас когда-нибудь, в нашей подпольной суматошной гонке, время — сверять распархивающие по рукам самиздатские тексты? А для самих себя не упускать регистрировать разницу текста истинного и советских изданий? А в зарубежных публикациях ошибки и опечатки, — когда́ было время сидеть и вылавливать их? Вот — только теперь. И ещё же: к «Архипелагу» мне за границей слали и слали дополнения, многое хотелось внести, — но и, наконец же, на каком-то рубеже остановиться, так и конца не будет. А пьесы мои, сценарии — вообще никогда не появлялись, надо же сразу дать выверенные тексты. Глубокая тишина Пяти Ручьёв давала нам с Алей возможность наконец сосредоточиться и не спешить.

Но: если типография будет где-то вдали, то работа бесконечно замедлится неоднократной почтовой пересылкой гранок. Значит, надо набирать — прямо здесь, в нашем доме. И ясно, что — Але, кому ж ещё? Тем более, что на каждой странице ждёт её редакторская помощь. Да теперь ведь и не прежний линотипный набор, теперь ведь есть какие-то электронные машины наборные? Ещё новый тёмный лес. Начинаем на ощупь письменный розыск, срав-

^{*} Кроме своей полной обеспеченности от «Имки», Морозов сохранял и преподавание в Богословском институте — так что потеря руководства «Имкой» не была для него потерей всякого живого дела; но сказалась, видимо, его многолетняя болезнь — в ноябре того же года он покончил с собой. Это вызвало затяжные волнения в РСХД, ссоры близких, травлю Струве (ограничить его редакторские права), отрицание душевной болезни Морозова, раньше всем известной, РСХД арестовывало тираж очередного «Вестника» с некрологами, словом, душная шмящая эмигрантская история, когда потеряно ощущение родины, и перспективы, и смысл работы.

Получил и я возмущённое письмо от группы членов РСХД. И хотя они совершенно не понимали, что Морозов уже только сбивал издательство, а не направлял его, — но сам я очень раскаиваюсь, что вмешался в эту внутреннюю перетасовку в «Имке» — угрозой больше не печататься в ней при Морозове. (Примеч. 1979.)

нение систем. Много помог Михаил Рошак, карпаторосс, дьякон Свято-Владимирской нью-йоркской семинарии, он по семинарской издательской работе был с этими системами сколько-то знаком. Потом, по наследству от него, кураторство над наборной машиной принял другой тамошний семинарист, Андрей Трегубов, которого, с женой Галей, мы пригласили жить с нами в Вермонте. Трегубов — с ясным техническим смыслом, и довёл дело до покупки и освоения «компоузера» фирмы IBM, совмещающего электронное (с памятью) и механическое устройство. Затяжная была покупка, но всё-таки Двадцатый век нас выручил, без этого не знаю уж как бы. И всё оформление собрания сами сочинили, дома, своей семьёй, благо Трегубовы оба оказались художники.

Аля быстро, во всех деталях овладевает и набором и вёрсткой, повела моё собрание сочинений, том за томом.

А тут — расширяются наши планы: тогда не изготовим ли сами и какие тома Мемуарной серии, где нужна редактура? а что готовней — отдадим набирать в «Имку»?

Этот смежный проект меня отначала мучил — Всероссийская Мемуарная Библиотека (ВМБ). Подобно тому как стекались ко мне ценные воспоминания свидетелей революции — ещё больше могла написать, потому что моложе, Вторая эмиграция: о первых 25 годах подсоветской жизни, о превращениях Второй Мировой войны, о беженском состоянии, о выдачах с Запада, о европейской послевоенной жизни. И я в Кавендише написал отчётливое обращение к тем возможным воспоминателям. Однако уткнулись: какой адрес дать? Если прямо наш, и без проверки на взрывные устройства, — большевики могут мину прислать. (Как посылали и Солоневичу в Болгарию, и, открывая почту, взорвалась жена.) Больше полугодом думали, как быть, — пока поселившаяся у нас к тому времени Ирина Алексеевна Иловайская сумела договориться с бостонским почтовым инспектором И. М. Петерсоном (его личная любезность), что они будут всю почту принимать на себя, проверять на мины, распаковывать — затем пересылать нам. Лишь вот тогда проект стал осуществим, и я дал публикацию в газетах, осенью 1977*. Таковы реальные условия на планете, когда есть КГБ. Таково и шла к нам почта ВМБ года два, потом, когда схлынул главный поток, перенаправили прямо к себе в Кавендиш.

Оформлять это собрание рукописей Мемуарной библиотеки, систему хранения, картотеку и вести переписку с авторами поначалу взялся Андрей Трегубов**. Однако удивление: Вторая эмиграция почти не стала рукописей слать! Вот так большевики напугали её на всю жизнь. Почти все продрожали несколько послевоенных лет от розыска СМЕРШа, от англо-американских выдач Сталину, — они уже ни в какую безопасность не верят, до гробовой доски, даже и переехавши через океан. Иные и до сих пор живут под выдуманными фамилиями, и это трезво, выдачи от американцев продолжались и в последующие годы. А шлёт нам рукописи — снова Первая эмиграция.

Летние и осенние месяцы 1976, пока у нас на холме стучали молотки и рычали трактора, я в своём уединении у пруда работал невылазно. Теперь я остро ощущал недостаток своей конструкции «Колеса»: неполноту охвата до 1914. Я открывал всё новое и новое, что никак невозможно вынуть из ретроспективы: не только всю деятельность Столыпина, и убийство его, и стержень терроризма, и кровавую муть 05-06 годов, но и всё долгое царствование Николая II, особенно примечательное, не истрёпанное банальными спорами, в *первой* своей половине: монарх сумел за *первые* одиннадцать лет, получив государство в могуществе, спустить его в пропасть. (Спасённое Столыпиным в

* «Публицистика», т. 2, стр. 471 — 473.

** Вскоре он окончил семинарию, стал *отец Андрей*, получил приход в недалёкой от нас, 20 миль, церкви, американской православной автокефалии, и на долгие годы стал священником этого постоянного для нашей семьи храма — дети наши во многом возрастали под его сенью. Галя, до отъезда Трегубовых от нас, до рождения своего первого ребёнка, ещё тоже приложилась к нашей наборной работе. (Примеч. 1993.)

1906, за *вторые* одиннадцать лет спустить его так же.) И — философию самих революционеров, отступая во времени всё далее, всё далее — наконец до народовольцев и до трагико-сатирического суда над В. Засулич. И всё это как-то умело спрессовать — да куда же? оставалось только в «Август». И решил: делать «Август» двухтомным. А как мучительна эта переделка уже по сделанному. Сотрясалась сама система Узлов. Если у меня озаглавлено «Август Четырнадцатого» — то по какому разуму это всё тоже втискивается сюда? Но и не начинать же Узлы с 1878 года! Как последнее спасение придумал ввести отступную диагональ «Из Узлов предыдущих» — от сентября 1911 и до 1899 года — самое дальнее расширение пошло через фигуру Николая II, глава о нём разрослась колоссально.

Однако теперь я обнаружил, что в Гувере, в вихревом сборе материалов, собрал далеко не всё нужное. А вот ударила ранняя зима с начала ноября, строительство всё не кончалось, я всё сидел в летнем домике, — тут и кстати было ринуться ещё раз в библиотеку. Эмигранты Алексис Раннит — эстонский поэт и профессор Йеля, и его жена Татьяна Олеговна устроили мне замкнутое пребывание в Йельском университете на каникулярную неделю Дня Благодарения. В номере для гостей профессоры уже настаивали они мне (натащили своими немолодыми руками) толстенные тома стенограмм Государственных Дум, «Красные Архивы», «литературу» народовольческую, Пятого года, — и взаперти и в упоении я прожёгся там неделю, ни разу не выйдя наружу, с сухим пайком. И так — заложил все новые обнаруженные проёмы. Теперь — только гнать-писать!

В ту осень, пока в прудовом домике было холодно, ещё и в Нью-Йорк съездил я, в Колумбийский университет, поработал ещё в архиве Магеровского, взял там тоже очень нужное. А по центральному Нью-Йорку прошёлся поздним вечером — какой чужой город! Слава Богу, я тут не нуждаюсь жить. Скорей к себе в Кавендиш.

Только под самый Новый год, уже в мятельном морозе, достучали молотки кровельщиков над трёхэтажным рабочим-архивным домом. В том же доме с большой любовью достроил нам Алёша и домашнюю церковь. (Образы к царским вратам написала нам позже Мария Александровна Струве, жена Н. А., — сердечный иконописец, дочь известного священника о. Александра Ельчанинова. Освятить церковку, Сергию Радонежскому, приезжал епископ Григорий Аляскинский, с Аляски и антиминс.)

И в свой теперь светлооконный (даже и в крыше бесчердачной есть окна), высокий, просторный, холодный, никогда и не мечтанный такой кабинет — я перетащил четыре письменные стола, для символа 31 декабря, — а 1 января 1977 начал работу.

С шуткою вспоминал пословицу: «Своя избушка — свой простор». Никогда я так не жил и не грезил! Под *этой* сенью — можно писать эпопею!

И положил себе: ну, теперь только работа — и ничего не знаю больше. Это должен быть первый настоящий рабочий год в моей жизни.

На самом деле год оказался растереблен отвлеченьями и расстройтвами. Но и несмотря на то он удался очень успешным — и рекордным по числу написанных страниц, и в нём же я выработал новую для меня методику «Марта Семнадцатого». Вот была наконец передо мной — Революция! С юности я и знал в себе интерес и темперамент описывать именно революцию, и был готов и пристрастен к этой работе. Но не легко поддалась она — слишком непривычна по сравнению со всем, что я до сих делал. Ошеломлён я был ударившим в меня фонтаном февральско-мартовских событий — однако он же вознаграждал многими находками. Вход в Февральскую революцию бешено швырял: вдруг обнаруживались противоречия между источниками — и найди же верный!

А документы — так и впиваются в тебя и требуют отражения. Исторические документы — упоительны, можно бы цитировать и цитировать обильно, но нет: это и развалило бы повествование, и увело бы от наилучшего их ис-

пользования: держа в руках достоверное сообщение, протокол или запись важного телеграфного разговора — сосредоточиться и увидеть: *из чего* документ родился у его составителей? какие тут были скрыты обстоятельства, расчёты? Кто послал телеграмму — что он чувствовал? и что почувствовал, подумал тот, кто принял её? даже особенно в тот момент, когда пропускал телеграфно-буквенную ленту сквозь пальцы — и готовясь тут же ответить? (Подобно тому задышали и стенограммы тогдашних обильных совещаний.) Этот метод был насколько богаче — и психологически, и в политическом движении — и давал наилучшее поле для разработки исторических персонажей. А потом — влекло обнаружить и те последствия, иногда совсем неожиданные, как тут же, через безответственные газеты и через молву, исказились (и закрепились навсегда!) — самый факт, и смысл документа, и даже дата его.

И — совсем новый монтаж: почасовой, а для того и возможная краткость и даже стремительность глав. И даже: движение событий по часам, а где и по минутам. И охват по местностям и по общественным группировкам понадобился куда шире, чем я задумывал прежде. Но и никогда же с такой методичностью и полносчётностью я не прочёсывал исторических материалов: прежде вечно спешил и вечно не было комплекта.

Теперь всё, что я не спал, — всё работал, не отвлекаясь ничем, что не Февральская революция. Даже странно становилось вспомнить: ещё совсем недавно — два года назад и год назад, я там, кажется, пытался спланировать Восточную Европу на освободительное движение, Западную Европу и Америку — на самозащиту? Теперь хотелось — чтоб ничего со мной не случилось, никаких внешних событий, нечего бы отметить в личном календаре, — это и есть признак счастливой жизни! Вот так бы поработать три-четыре годика, что-то бы и вышло. Работать — до тех пор, пока исчерпается опыт всей прожитой жизни, и уже надо будет двигаться за обновлением его.

А куда двигаться? Да только — в Россию. Будущую, полубудущую, или хоть немного благоприятную. Только тогда откроется во мне и способность писать маленькие рассказы — уже о современности. Только тогда, в обновляемой России, захочется и действовать, и кинуться в общественную жизнь, попытаться повлиять, чтоб не пошла она опять по февральскому гибельному пути. Новый напор жизни, и читатели наконец русские, без перевода, — это и будет ещё одним рождением, ещё одной юностью, при седой бороде. (И хотя рассудок не видит, как бы это могло стать, — но всем предчувствием верю, что возврат произойдёт ещё при моей жизни.)

А здесь, на Западе, к чему мне и те позиции, где я крепко стою и где как будто слушают меня? Всё это — без истинной пользы, и душа к тому не склонна. Всё больше вижу я, что государственный Запад — и газетный Запад, да и, конечно, бизнесменский — нам и не союзник, или слишком небезопасный союзник для преобразования России.

Да уже и проквозил мой новый поворот, и уже его на Западе различили. Оглядываясь, теперь можно удивиться, что та слитная поддержка, которая так подносила меня в бою с Драконом, — поддержка западной прессы, западного общества, да и в СССР, — то невероятное и неоправданное усиление, которое я тогда получил, — создано по взаимному недопониманию. А на самом деле всевершающему мнению западной интеллектуально-политической верхушки я так же мало угоден, как и советским правителям, да и советской образованщине.

Тут ведь ещё: какая сомнительная двойственность позиции, когда нападаешь на советский режим не изнутри, а извне: в ком ищу союзника? В тех, кто противник и сильной России, и уж особенно национального возрождения у нас. А — *на кого* жалуюсь? Как будто только на советское правительство, но если правительство как спрут оплело и шею и тело твоей родины — то где разделительная отслойка? Не рубить же и тело матери вместе со спрутом. Например, в американских речах 1975 я призывал — не давать СССР электронной техники, сложного оборудования, но не сказал же такого о поставках зер-

на. Не сказал, однако получилось ли так в расширительном смысле, или говорили другие, а это наслаивалось в общественном впечатлении, — приехал в Нью-Йорк ценный мною Олег Ефремов, главный режиссёр МХАТа, с Мишей Рошиным, драматургом, и говорили Веронике Штейн: «Зачем же Исаич к войне призывает и говорит: не давать зерна? А люди будут голодные сидеть?» Боже, да я именно *не* призывал к войне, это переврала американская пресса, — но именно в *таком* виде докатилось до наших соотечественников, поди, вот! И о *зерне* — ни о каком я ни слова не говорил, а поди теперь докричись. Правда: как же выступать? и чего хотеть?

А ведь я живу — только для будущей России. Но вот безоглядным проклинанием всего порядка в стране — я и России, может, не помогаю? и себя отсекаю от родины навек. Как бы — полегче?..

Всё, всё так совпадало, что лучше бы мне надолго замолкнуть, не выступать. И со временем какой-то плодотворный исход наметится сам собою.

Но преодолешь наянливость западной медиа — так не продремлешь от советской лапы. Как можно заключить перемирие с Дьяволом? Он-то всё равно не будет его соблюдать.

Хотя б вот я и замолчал, но наш Русский Общественный Фонд на территории СССР продолжал работать, вызывая у власти воистину бешенство: никогда ещё за 60 лет не была организована с Запада помощь преследуемым в СССР — и так, чтоб они не боялись брать (не «от империалистов!»). Брели — потому что я был заведомо свой зэк, и деньги — честные, архипелажные. Какими затайными путями мы (Аля и кто ей помогал) умели пересылать помощь сквозь Железный Занавес — удивляло многих, а власти бесило. Пока они грабили только 35% денежных переводов — мы много слали официальными переводами. (Алик Гинзбург для этого нашёл с десятков «получающих», не боящихся, и потом передающих другим.) Другая успешная форма была: отъезжающие эмигранты оставляют Фонду в Союзе советские деньги, а на Западе Фонд им платит долларами по реальному курсу — доллар за 3, потом за 4 рубля. А когда большевики ввели грабёж переводов уже в 65% — посылать деньги официально потеряло смысл. Но тут мы нашли изворотистую тайную форму. Хотя Советы объявляют дутый официальный курс, значительно выше доллара, сами меняют иностранцам по-другому, — но наказывают подданных за всякий обмен рубля, иметь валюту может только государство. Советские же граждане, попадая на Запад, с радостью меняют советские ассигнации, сколько могут. И вот доброхотный неоценимый наш друг, затем и член правления Фонда В. С. Банкул, швейцарский гражданин, для начала прибегнув к помощи своего друга, русского армянина, живущего в Женеве, Сергея Нерсесовича Крикоряна, а затем сам наладив дело в Цюрихе, стал производить обмен обратный: за франки выкупая наши родные советские рубли — но исключительно отбирая трёпаные, затёртые бумажки, а они среди хрустящих натекали не слишком быстро, и это одно задерживало размах нашего обмена: нельзя же посылать в СССР свеженькие, цельно-серийные. (Называлось это всё у нас — «операция Ы».) Следующий труд был — перевезти эти деньги через границу в чемодане в Париж к Струве, это всегда делала Мария Александровна Банкул. А Струве всегда знал наших тайных связных по каналам в СССР — он и сам иногда поставлял на французскую дипломатическую службу в Москве своих бывших французских студентов, учившихся на русском факультете. Эти героические помощники все названы в «Невидимках». Итак, в Москву тайно привозились многозначные, многотысячные пачки советских трёпанных денег — и через посредников передавались распорядителю Фонда — им был Алик Гинзбург, до его ареста в начале 1977. (Вот это «посредническое» звено — чаще всего Ева, потом и Боря Михайлов — было остро опасным: советский подданный, «накрытый» в момент, когда взял от иностранца огромную сумму денег и ещё не раздал её, — мгновенно получил бы тяжёлую статью; а у Бори Михайлова пятеро детей...)

Нелёгко путь — но немало сложностей и опасностей доставалось и дальше, распорядителям. Большими и неожиданными порциями получая эти тысячи, они должны были тотчас их рассредоточивать и хранить: или в безопасных домах, где не ожидается обыск, или на неподозреваемых сберегательных книжках. Перенос денежных пачек к местам хранения, а потом назад, к местам распределения, каждый раз представляет опасность для всех участников. А ещё сложность задачи: почти безо всяких записей (всякие списки опасны, нелзя держать) помнить множество фамилий, имён, адресов, составов семей, возрастов детей, нужд их, — а также самих арестантов, их сроки, состояние, место пребывания, — и в согласии с этим всем распределять помощь, да встречать при том не только благодарные слёзы, но выдерживать атаки обид, жалоб, подозрений (подогреваемых гебистами через их агентуру в зэках и бывших зэках). Во всех подробностях расскажут когда-нибудь сами деятели и даже отчёты опубликуют, если сумеют их сохранить.

Чтоб эту систему впервые создать и наладить — нужен был человек исключительных организационных качеств и сердечно-умственной направленности. Алик Гинзбург и был таким: его два предыдущих лагерных сидения нахлопнулись и спрессовались в нём как вечная преданность узникам Архипелага и память (феноменальная) обо многих из них. И первые три трудных года Фонда — необычайность, дерзость! да разве стерпят власти? — обложенный слежкой, запретами, изматывающим преследованием гебистов, из своей злополучной глухой Тарусы — он сумел наладить всеоюзную независимую милосердную организацию, которая из года в год на деньги «Архипелага» помогала сотням узников и семей их, и уже имела, помимо Европейской России, свои отделения на Украине (особенно активное), в Литве, в Сибири, у баптистов.

И, может быть, до сих пор бы терпели опешенные власти — если б Гинзбург не сделал крупной ошибки: кроме своего распорядительства вступил в «хельсинкскую группу». Отначала было ясно: многое уже стерпел — ещё такой группы, кто будет «проверять», как советское правительство выполняет внешнеполитические соглашения, — оно не потерпит. Руководство благотворительным Фондом обязывает не включаться в политическую борьбу, не подписывать никаких заявлений, кроме как по нуждам Фонда.

И в феврале 1977, едва успев дать важную пресс-конференцию о работе Фонда, Гинзбург был арестован.

И — как же мне «помолчать»? Как мне выполнить самозадуманное перемирие? Разве возможно оно с этой глотающей Пастью?

Тотчас я и делал заявление об его аресте — но, конечно, не в затасканной форме «это неприемлемо, я негодую и решительно протестую», а остро напрокол советской власти: что подавление внутреннего сопротивления — это звено в тотальной подготовке советского тыла, и Западу надо подумать о себе. (Оглядчивый на свои власти «Голос Америки» опустил, не передал решающую последнюю фразу — всё они мечтали дружить с Советами...)*

А тут вослед надо было слать и подбодрение наследникам Гинзбурга, перенявшим Фонд, в ответ на их письмо ко мне. Уж это я написал как мог примирительно, подчёркивая одно лишь дело милосердия, умягчая, — чтоб *этих* не схватывали следом. Письмо послали «по левой», оно сперва появилось в Самиздате, лишь потом опубликовали его на Западе**.

Аля энергично начинала долгую, шумную, изнурительную кампанию в защиту Гинзбурга и Фонда. Я, в этот же заветный год «молчания», посылал ещё и телеграмму римским Сахаровским слушаниям***, затем не избежать было телеграммы коалиции демократического большинства Сената****, а там — лиши-

* «Публицистика», т. 2, стр. 469.

** Там же, стр. 470.

*** Там же, стр. 478.

**** Там же, стр. 479.

ли гражданства Ростроповича и Вишневу — из-за кого ж, как не из-за меня? и как же мне смолчать?»

И какое ж возможно перемирие с большевиками?

Но и то — прошёл год без крупного от меня выступления, и моё молчание конечно не осталось незамеченным и неосуждённым, среди Третьей эмиграции и в западной образованщине. Когда я непрерывно выступал — брюзжали: «Что его гонит? Его съедает честолюбие». Вот я замкнулся — озлоречили: «Он отдался гордыне, воображает себя сверхчеловеком». Годами я страстно вмешивался в политику — кривились: «Это не уровень для писателя, он уже исписался». Вот я стараюсь не касаться политики, сосредоточился только писать — присудили: «Он изменил всем принципам и покинул соратников в беде». Достаточно было дочери Сталина с какого-то налёту прервать свою многолетнюю бытовую немоту и послать телеграмму персидскому шаху, чтоб он не выдавал Советам перелетевшего советского лётчика, — и сразу эмиграция гудела, и даже нью-йоркская газета печатала: «Аллилуева выступила, а почему Солженицын молчит?»

Кампания за Гинзбурга потребовала огромных сил, каких как будто не было у нас, и настойчивой изобретательности — в чужой стране, где мы никого не знаем, ни с кем не связаны. Всё это взяла на себя моя жена, у меня никак не нашлось бы столько сил и порыва, у меня — слишком велик весь фронт, и вглубь истории и по Земле. Но Аля считала: ни за что нельзя спускать Советам арест распорядителя Фонда, тогда погибли и все следующие, и сам Фонд, — должны знать большевицкие власти, что мы будем биться до последнего. И пришла удавшаяся идея: просить виднейшего вашингтонского адвоката Эдварда Беннета Вильямса — «защищать» Гинзбурга (советские власти несомненно были смущены). Я написал ему письмо [21] с такой необычной просьбой — и Э. Б. Вильямс взялся, из соображений высоких, и от гонора отказался. Ксеромашина наша делала много сотен копий — самиздатских материалов о Фонде, о Гинзбурге, о ходе следственного дела, о преследованиях всякой милосердной деятельности в СССР, — и всё это рассылалось из нашего дома сенаторам-конгрессменам, то разным американским организациям, особенно христианским.

Сколько писем — и не только по-английски, сколько телефонных звонков! Всё это взяла на себя Ирина Алексеевна Иловайская, тут место сказать о ней. Она была из второго поколения Первой эмиграции, образование получила в русской гимназии в Белграде до Второй войны. Мы познакомились с ней ещё в начале 1976 в Цюрихе, перед отъездом в Америку, и уже тогда сговорили её быть у нас тут секретарём, помощником, переводчицей, — многообразно. Вдова итальянского дипломата, она покинула свою римскую квартиру, двух взрослых детей, и осенью 1976 переехала к нам в Пять Ручьёв. Ей доставалось быть и «пресс-секретарём», отвечать на неотступные запросы печати, и вести дела с американской администрацией разных отраслей и уровней, и вести нашу западную переписку (она свободно владела семью языками). А уж от сердца — находила время вдобавок нашим с Алей урокам давать детям и свои (при возрастах 4, 5 и 7 лет многое приходилось вести в отдельности), очень привязалась к ним и они к ней тоже. Её же собственный поглощающий, настойчивый интерес — дело христианского просвещения”.

Дальше в борьбе за Алика Гинзбурга посоветовали нам: по-американски надо создавать «Комитет защиты». И создали комитет защиты, собрали крупные имена. (Этот комитет был отступлением от моего принципа никогда не

* «Публицистика», т. 2, стр. 480.

** Прожив с нами в Вермонте два с половиной года, И. А. уехала весной 1979 в Париж, где стала, после З. А. Шаховской, главным редактором «Русской мысли». Православная по рождению и воспитанию, она, однако, нашла себя в католичестве. В середине 80-х организовала христианское радио «Благовест», вещавшее на русском языке из Европы в СССР, а в середине 90-х — устроила «Христианский Церковно-общественный радиоканал» в Москве. (Примеч. 1997.)

подписывать коллективные заявления, не участвовать в комитетах, — вот, пришлось.) Публиковали крупное объявление о Комитете в «Вашингтон пост», с портретом Гинзбурга, со дня на день ожидался суд над ним. Аля ездила продвигать кампанию в Нью-Йорк, Вашингтон, потом и в Париж и в Лондон, давала интервью, не скупясь на удары по советскому режиму, встречалась с влиятельными людьми, с Маргарет Тэтчер, — кампания удивительным образом закружилась громко и внушительно. (Советы ещё прежде оценили мою жену: в октябре 1976 отдельным указом лишили гражданства и её.) И ещё я дал интервью телевизионной компании Эй-би-си к годовщине ареста Гинзбурга — они же его проглотили, не передали. А по отношению ко всем содействователям возникают встречные обязательства благодарности, ещё новых встреч и писем, ожидали моих выступлений где-то. И ещё тотчас после Гарвардской речи, на кампусе, где много было прессы, я тоже сделал заявление — именно и только о Гинзбурге*. (Прогрессивная гарвардская студентка подошла туда с плакатом: «Не поддерживайте фашистов!» — вот так они понимают...)**

Но нам, внутри, это обошлось черезкрайним напряжением Али: и воспитания детей не прервёшь («деток родить — не веток ломить»), а первый год мы решили не отдавать их в американскую школу: до того как нырнут в англоязычный океан, уже бы хорошо читали по-русски). И очередной том собрания сочинений — набирать ей же. И первичную обработку стариковских мемуаров, и своевременные ответы им, и поощрения к новым писаниям, уточняющие вопросы, — да иные старики и умирали, не дождавшись отзыва. За всё приходится платить кусками сердца. Уж не говоря, что наши архивы и до сих пор не распечатаны после Цюриха, и живая переписка ещё не разложена систематически, бывает невозможно найти прежние письма для справки и ответа.

И в эти же месяцы случилась беда с русским «бахметевским» архивом, Л. Ф. Магеровский прислал мне вопленное письмо, умоляя вмешаться, заступиться.

История архива такова: с 20-х годов русская эмиграция собирала в Праге богатый архив воспоминаний и документов — ведь целая мыслящая Россия выехала, это был большой кусок живой России, клад для истории. Но в 1945 Советы оккупировали Прагу — и проглотили архив, увезли в Москву. С тех пор его концы наружу не подавались: очевидно он — «спецхран», спецдопуск, или вовсе закрыт. Можно рассчитывать только, что большевики его не уничтожили и не успеют потом, и сохранится архив для нашей истории дальней, но не ближней***. Однако русская эмиграция, в основном перевалившая в ту войну за океан, — нашла в себе энергию начать в Нью-Йорке собирать новый архив, второго эшелона, а главное: нашла людей, память и факты для новых воспоминаний, доказав свою глубину и жизненность. Душой и хранителем стал профессор Лев Флорианович Магеровский, один из сотрудников прежнего пражского архива, главные организаторы кроме него — Б. А. Бахметев, последний посол Временного правительства в Штатах, и американец Филипп А. Мозли, друг России. Бахметев распоряжался и оставшимися русскими деньгами («бахметевский фонд»), так что некоторые средства были, — а как с помещением, статусом? В это время ректором Колумбийского университета был генерал Эйзенхауэр, в последний год перед своим президентством, — и предложил архиву приют в университете. Никакого делового письменного соглашения при этом заключено не было (но и что ж Бахметев смотрел?), а — по-джентльменски. Так и пошло, с 1951 года. Дали вентилируемый подвал без окон, и в тесноте да не в обиде Магеровский четверть века собирал и собирал воспоминания — большого охвата, от давнего революционного движения, и более всего Белого, находил возможных авторов, уговаривал их, пока живы, писать, сдавать на хранение, лично на себя принимал условия: от некоторых — секретности, от других — непременно возврата по требованию. Бился он всё сам, без штатов, за малое вознаграждение из бахметевского

* «Публицистика», т. 2, стр. 481.

** После 17-месячного следствия присудили Гинзбургу 8 лет в лагерях особого режима (это уже третий его срок). И невозможно было представить победу — а вырвали! — чего не бывает. Говорят, в Госдепартаменте, при подборе кандидатов, кого требовать в обмен на выпускаемых советских шпионов, учли размер поднятой кампании. (Примеч. 1982.)

*** Да! сохранился (уж там насколько полно). И теперь, кто добьётся (у нас и все архивы в прикрытости) — читает. (Примеч. 1996.)

фонда, да помогал ему сын, кончавший тот же университет. Не было ни людей, ни средств, ни места для научной обработки, каталогизации, аннотирования. Магеровский, выходящий изящный старичок, всё держал в памяти, среди тесных полок и по несколько архивных дел в одной коробке, — всё находил прелюбопытно, быстро, а ещё был властен не допускать коммунистически-подозрительных лиц — и не допускал. Архив скромно действовал — для эмиграции, для честных учёных. Таким я его застал летом 1975.

С тех пор, однако, произошла дурная история, и вполне в американском юридическом духе: Эйзенхауэра, Бахметева и Мозли давно нет в живых, никакого письменного соглашения с Колумбийским университетом не осталось, а джентльменское — держи карман! Здесь — признают только юридически закреплённые соглашения, от которых не отвертеться. В мае 1977 года бесконечно преданный делу и знающий Магеровский приказом по Колумбийскому университету был внезапно отстранён от архива (самым физическим образом устранён, без допуска) — архив перевезен в другое помещение и безраздельно передан университетской библиотеке. Поразительно! — университетские функционеры проглотили, присвоили русское духовное наследство — не собрав представителей эмиграции, пренебрежа завещаниями умерших вкладчиков, правами оставшихся живых, а ведь были надписи «секретно» или «вернуть по требованию».

А от кого ждал Магеровский помощи? От Романа Гуля, от «Нового Русского Слова» (Седых) да от меня. Так как в 1976 он водил меня к вице-ректору Колумбийского университета и директору «Русского института» при университете, и те тогда рассыпались, — я написал теперь требуемое письмо. На него получил от колумбийских джентльменов холодно отклоняющий ответ. И — всё.

Да, конечно, наше кровное русское дело, но разве сил на это постыжет? Сверх могуты и конь не скачет.

Не прошло и полугодя от ареста Гинзбурга — тут же по Фонду грянул второй удар, с неожиданной стороны — из Швейцарии. Ещё выстаивалась там обида от нашего скрытного отъезда — а тут появился на французском и немецком «Ленин в Цюрихе», и левая пресса стала разжигать, приписывая мне ленинское презрение к Швейцарии и его прямые высказывания (взятые мною из его текстов), вроде «республики лакеев». Взнялись на меня: «„Республика лакеев“ — как Солженицын после своего поспешного отъезда обругал издалика Швейцарию, давшую ему гостеприимство». Ах, советовали мне прежде Видмеры, чтоб я опубликовал «прощальное письмо» к Швейцарии, но я упустил, упустил... А вот теперь пришлось давать опровержение в «Нойе Цюрхер цайтунг». [22] Не знаю, много ли подействовало. Ленина они терпели, и все его подрывы простили ему. А вот мне — не прощают и литературы.

А тут — подвернулся новый громкий повод. Деньги за «Архипелаг» все годы изо всех стран поступали прямо на счета Фонда, не на мой, но никто не обратил внимания на неточность оформления гонорара из Штатов: «Харпер энд Роу» тоже переводил правильно, на счёт Фонда, но при этом на сопроводительном распоряжении секретарша или бухгалтерша подписывала — «Солженицыну» (вместо — «Фонду»). Теперь, спустя год, по обычному взаимоосведомлению, американские налоговые власти сообщили швейцарским, сколько было уплачено «Солженицыну» («Архипелаг» же, целиком отданный мною Фонду, приносил вчетверо больше гонораров, чем все вместе остальные мои книги). В цюрихском налоговом управлении ахнули — от негодования, сколько ж этот Солженицын не доплатил! В Швейцарии принято, чтобы государственные руководители не имели влияния на налоговое ведомство, чистота демократии. Но именно поэтому младшие чиновники приобретают большое самостоятельное значение. Когда пришла из Штатов эта ошибочная бумага — ещё и начальник налогового ведомства был в отпуску, а заменявший его чиновник Исаак Мейер поспешил дать делу быстрый — и нервный — ход. Какой? В их практике было посылать запросную бумагу: почему по такой-то сумме не уплачен налог, и дожидаться объяснения; и лишь при ответе неудовлетворительном — действовать. Однако чиновник двинул обвинение безо всякого запроса, без осуждения со мной.

Немедленно со мной поступили как с уголовным жуликом: прежде всего арестовали мой швейцарский счёт, затем объявили фантастическую цифру не-

доплаченных налогов, ещё и умножив её штрафом — до 4 миллионов швейцарских франков! Когда я эту цифру прочёл в пришедшем мне извещении — нарочито грязной копии и с крючком неразборчивой подписи, мне померещилось уже даже что-то смешное, как, бывало, смешны казались нам в момент объявления приговоров сроки в 15 и 25 лет, — а смешного ни там, ни здесь не было.

Вот когда ударил промах Хееба, его неквалифицированность, неготовность к крупным делам. От приезда в Швейцарию учредивши Фонд, вскоре утверждённый швейцарскими властями, я передал ему все гонорары от «Архипелага», отныне и навсегда вперёд. По моему поручению Хееб указал всем издательствам — и гонорары потекли, минуя меня, в Фонд, год за годом. Однако Хееб не надоумился и не сказал мне, что этого недостаточно, что для такой передачи гонораров надо ещё изготовить отдельный необратимый дарственный акт. Одна страничка — вот и всё, и тогда никакая ошибка никакой бухгалтерши нам бы не повредила. Но это всё мне объяснили потом, а в тот миг я ещё ничего не понимал, а только — обескураженность: как же так? ведь я ещё из Москвы объявил, что все средства от «Архипелага» отдаю на помощь заключённым, и так и сделал, и счёт Фонда отдельный, туда шлют прямо, не через меня, и Фонд всю работу, сотни семей получают из него помощь, — какое ж тут сомнение, и какое ещё нужно доказательство?! Нет, без дарственного акта 1974 года все деньги за «Архипелаг», перечисленные в Фонд, рассматриваются как мой личный доход и обкладываются налогом.

Это был июль 1977. Вязкое чувство, состояние растерянности: как же жить на Западе? Жернов КГБ никогда не уставал меня молотить, я привык, а тут вплотную к нему подблизился и стал подмалывать (и уже не первый раз) жернов западный. Как же жить? Во всех деловых, финансовых, организационных отношениях я на Западе то и дело попадаю впросак, в потери, неразбериху, так что минутами просто отчаяние берёт: я как будто утратил всякий рассудок, разучился действовать, поступаю только, что ни раз, неправильно. Насколько зорко ориентировался я на Востоке — настолько слепо на Западе. Как разобратся в этой сети правил и законов? (Не так же ли беспомощен и западный человек, впервые попадая в СССР?)

У меня сохранилась запись погорячу тех дней, когда это разразилось. Сейчас — настроение уже стёрлось, не восстановить, а вот — из той записи.

«...Унизительное, контуженное состояние — что я все эти годы был рохля и осёл, вопреки всем моим навыкам жестокого советского общества. И как же я так уверенно жил прежде, владея лишь копейками и рублями? То были не сотни тысяч, другие навыки, и всё помещалось в маленьком карманном кошельке. В череде разнообразных испытаний, которые посылала мне жизнь, вот пришло и ещё одно: испытание финансовой западной системой. И надо признаться, я выдерживаю его плохо: зачем-то это послано, но переживается трудно. Да шут бы с ним, как переживается, если б я мог освободить мысли и душу для работы. Вот это и унижает, что топит лужа, а не бурное море (впрочем, как и полагается). Да ведь я был твёрд и даже весел бывал в лагере, в тюрьмах, не сломился в раке, перенёс мучительное семейное испытание, переносил годы страхов, что провалится конспирация, — и всегда легко жил в нищете, привык к ней, приспособлен только к ней, а в условиях безбедственного достатка меня раздражает, что никто ничего не жалеет, разбрасывает, бессмысленно тратит, допускает портиться. Но с другой стороны достаток, освобождение на много лет от заработков для большой семьи, дали мне возможность удалиться от треклятых городов в тишину и чистоту, высвободить простор и время для главной работы. Откуда теперь брать 4 миллиона франков? Вспоминая: а мой бедный дедушка как мог пережить и что испытывал свои последние 12 лет после революции, когда не просто отняли кровно нажитое, но и само осмысленное дело жизни?»

Что ж, посылается мне ещё новое жизненное обучение. (Да каковы правила: с налогов более списывается деятельность коммерческая, а не творческая.

В Штатах мне посоветовали заявить, что моя текущая работа направлена не к написанию будущих книг, а к продаже старых, — тогда намного выгоднее, льготная шкала для налогов. Я отверг. Или: с налогов списывается «зарплата, уплаченная собственным детям», — то есть поощряется, чтобы дети помогали родителям не бескорыстно, а за деньги.) Пока я разлетался по вершинным проблемам — а швейцарские бюрократы преследуют меня как мелкого жулика.

Но мало того: документ с обвинительными цифрами против меня был скопирован кем-то из сотрудников и подан в цюрихскую социалистическую газету «Тагес анцайгер», которая с радостью и напечатала сенсацию: каков же вор Солженицын! Лучшей находки нельзя было придумать для всей левой европейской прессы (все кинулись перепечатывать сенсационно) — а уж в КГБ-то сколько радости! Вот уж — первая крупная мина против меня, которую не они подвели. (Но поддержали рьяно, нажали западные свои кнопки.) И поднялась новая свистопляска в швейцарской печати (опять вспоминали «республику лакеев» и моё «бегство»), но теперь и во всей немецкоязычной, да в датской, скандинавской, французской, итальянской. Теперь стало понятно — и почему Солженицын «поддерживал испанских фашистов», и почему нельзя верить «Архипелагу», и почему он не моральный авторитет, а в Швейцарии и сам Фонд вызвал вопросы: что за односторонние жертвы, всё советским преследуемым? а почему ничего не пожертвовано, например, нуждающимся швейцарским художникам и артистам? Туполобие ярилось, ему недоступно было поверить в этическую солидарность, в жертвенную помощь дальним соотечественникам.

Этот западный свист, видимо через «Немецкую волну», достиг и ушей в СССР — и бедные наши там поняли так, что арестован и подавлен на Западе Фонд, — знать, так далеко протянулась рука КГБ! Да как иначе это можно понять изнутри Советского Союза? кто ж у нас там вообразит такую лютую бессердечность западного юрицизма? И спешили наши загнанные, затиснутые преследуемые — и вообще-то еле живые — делать защитное заявление, что Фонд продолжает действовать, вот и в последнем году помог 707 семьям.

Вся картина будет ещё не полна, если не сопоставить, что эти швейцарские расследования и западное улюлюканье вокруг Фонда были в разгаре как раз к годовщине ареста Гинзбурга: уже год в СССР КГБ вело следствие по Фонду и набирало лжесвидетелей против него.

Славно, отлично мололи совместно Восточный и Западный жернова!

Жестокая эта суматоха растянулась в бурной стадии — на полгода, в кропотливой — дотянет ещё на полтора наверно. У меня же был первый год работы над «Мартом», напряжённый поиск формы его, определялась судьба всей книги — сперва, как я думал, двухтомной, потом — нет, трёхтомной, потом, нет: четырёх! И дать же всему зданию расти на моих плечах.

А верней — это я на нём рос, «Март» — возносил всё моё внимание и всю душевную отдачу.

На таких больших событийных пространствах, какие ожидалось в «Марте», — череда равномерно повествовательных глав может утомить читателя. Никак не возможно писать одним лишь старинным методом рассказа от автора — рельеф текста должен быть разнообразен, с поворотами, с неожиданностями.

Долго я искал: как правильно понять возможности каждого из вступающих, сами по себе, в «Колесо» жанров и как же осуществить их. Они рождались день ото дня в работе, в находках.

Киноэкраны, на которые я было размахнулся в первых волнениях февральских толп, оказались очень неэкономны в объёме, хоть покинь их вовсе. Так и намерился. Но наталкивался дальше на сцены, которые никак иначе не хотели изображаться, кроме как на экране, зримо в каждом движении: разгром «Астории», колотёё государственных гербов, убийство адмирала Непенина.

Трудоёмче всего была разработка глав фрагментных — с их неисчерпаемым богатством реальных случаев, с их возможностями строить цепочку сюжета, не выделив ни одного персонажа, — и на них же я учился закону новой сжатости.

Но ещё не больше ли открывалось в главах газетных — не только по незаменимости их прямой информации, а ещё ярче в передаче Воздуха Эпохи — как именно понимали или заблуждались современники, как им дышалось (и распадаясь на направления: интеллигентское, обывательское, крестьянское; буржуазное, социалистическое, большевицкое). И скольким, скольким поразительно не было ничего видно вперёд, даже на один день, — можно прийти в отчаянье. В главах повременных долгой передвижкой отдельных сообщений, через цепочку их, смежность, развитие или контраст, — открывался совсем не хаос, но тоже свой сюжет, мелодия, струящаяся меж газетных клочков.

А ещё: после мучительно грязного ощущения от газетного потока тех дней — находка: да вот, цветики этой лжи и собрать отдельными главками февральского новоказённого «фольклора», саморождаемой поэмой: «Февральская мифология», «Февральский образ выражения». (Несмыываемо яркие главки получились.) Или искажённые газетные изложения — ставить рядом с главами, как события шли в натуре.

А ещё сколько надо было пробираться между противоречивыми (особенно о датах и часах) показаниями свидетелей, в самых наитрудных случаях само исследование (вместе с читательским домыслием) превращая в главу.

В захват «Колеса» попадала вся Россия сразу — и вся в движении. И писать общей, короче — была бы не Революция, а лишь рецензия на Революцию.

Да, бишь: а со швейцарским скандалом же как?

На Западе известно: любое жизненное осложнение — значит, нужен адвокат. Но уж о Хеебе и речи, конечно, не было: Хееб и завязил меня в болоте. По совету Видмеров пригласил я нового адвоката — энергичного умницу Эриха Гайлера (они вместе когда-то служили в швейцарской армии), — да если б раньше я когда знал, что в Цюрихе есть такие орлы-адвокаты, не то что Хееб! Пригласил — потому что так полагается, не ездить же в Швейцарию самому, но не предполагал я, что слишком много достанется Гайлеру работы по доказательствам: ведь дело такое ясное, ведь совершенно чисто. О нет! О нет! Уж как вцепился налоговый паук — эта вязкая история длится вот уже больше года, и окончательного постановления всё нет. Хееб настолько ничего не оформил в начале, что теперь, чтобы не случились подобные неприятности в будущем, пришлось составить акт дарения от нынешнего числа, но уже не только гонораров, а самого «Архипелага», то есть авторского копирайта. То есть не оставалось выхода, как мне, писателю, лишиться права распоряжаться судьбой, изданиями своего собственного произведения: уже никогда я сам не имею права решить вопрос о печатании «Архипелага»: это может решить только Русский Общественный Фонд! Но и такой выход был лишь на впредь, в Америке или где я там буду жить, а Швейцарию он нисколько не удовлетворял: ведь я для них — «злостный неплательщик», и доказательства — что не я получатель тех гонораров, не я, а Фонд, и что пожертвовать весь доход за «Архипелаг» были мои намерения отначала, — доказательства потребовались столь разветвлённые и тонкие, что привлекли экспертом высшего цюрихского профессора права Мейера-Хайоза.

Доказательства должны были теперь углубиться назад по времени ещё до моей высылки. И хотя ещё в январе 1974 из Москвы, не думая ни о каких швейцарских налогах, я публично отдал все гонорары с «Архипелага» советским политзаключённым — этого недостаточно! И тогдашнее публичное заявление — не доказательство. В тот момент, когда я бился с КГБ насмерть, когда каждый исходящий документ грозил мне отсечением головы, — я должен был уже предусмотреть все будущие юридические сложности. Вот так проди-

рали бока вместе жернов Восточный и жернов Западный! Вот те наши тайные «левые» письма — на клочках, крохотным почерком и в иносказательных выражениях — должны были теперь чётко явить моё юридическое намерение. Запрос Бетте в Австрию, она копирует всю ту переписку и шлёт нам в Штаты, мы всё теперь пересматриваем, ищем, что-либо подходящее и достаточное. И теперь этим швейцарским преблагополучным налоговым чинам — надо терпеливо изъяснять ту нашу обстановку, как опасно было писать и особенно держать копии писем, и как жена должна была дожигать последние не отправленные в ночь моего ареста.

Но уже несколько успел с доказательствами адвокат Гайлер (привлекали к свидетельству и Бетту, всё ещё скрывающую имя своё от публичности), отчасти и пресса уже слишком перегадела, перебрала, — и в феврале 1978 цюрихские финансовые власти признали и дали газетное коммюнике, что со стороны Солженицына не было никакого злого умысла, а лишь могла быть ошибка, размеры которой продолжают выясняться. (Что всё произошло от ляпа своего же швейцарского адвоката — этого их корпорации признать было невмочь. Так они и прикрыли вину Хееба до самого конца, и самая солидная «Нойе Цюрхер цайтунг» — и та вычёркивала строчки, намекающие на Хееба. Гайлер указывал мне, что можно юридически возложить вину на Хееба и это сразу снимет с меня обвинения — но не по-нашенски это, не по-русски, начинать такой судебный процесс. Ведь Хееб не из корысти упустил, а по недомыслию.)

Пролежал у меня этот швейцарский скандал на сердце змеёю целый год, вот и больше. От злого осадка ко всей Швейцарии спасли меня, слава Богу, несколько благородных и трезвых голосов, вновь показывающих, что никакую страну нельзя судить огульно. Известный журналист Ульрих Кэги напечатал: «Прости их, Господи, не ведают, что творят». (Позже он устроил в Цюрихе пресс-конференцию о Фонде.) И ещё несколько газет отозвались сочувственно. Профессор Хильдрик Кёльблинг в «Базлер цайтунг»: «Александр Солженицын сделал для свободы несравненно больше, чем все мы». Доктор медицины Хайнц Каррер писал моему адвокату Гайлеру: «Этими мерами и Цюрих, и вся Швейцария делают себя смешными. Становится стыдно быть швейцарцем». Профессор Мейер-Хайоз из уважения к «Архипелагу» великодушно и демонстративно отказался взять гонорар за свою трудоёмкую тонкую экспертизу*.

А против покражи информации из налогового ведомства было возбуждено расследование, со швейцарской неспешностью длилось полгода. Велено было «Тагес анцайгеру» назвать источник её в налоговом ведомстве — но газета благородно возмутилась этим посягательством на незыблемую свободу прессы, которая выше всякого суда!

Однако как ни сердись, а приходится поклониться Швейцарии с благодарностью: всё же нигде в мире не было б нам так легко создать благотворительный Фонд и открыть поток денег на родину. Нет, Швейцария — ещё благоденствие. Промежуточная наша остановка в ней уже тем и оправдалась, что создали Русский Фонд. Как он уже работает и сколько ещё поработает для России.

А замечаю я, как за эти заграничные годы уже притерпелся, что меня со всех сторон не поддерживают, а лишь ранят и теснят. Если не до самой высылки, то по крайней мере до появления «Августа» в 1971 радостной лёгкостью моей было то, что, кроме государства, у меня как будто не было врагов, ни одного личного врага, все кругом как будто друзья. И я удивлялся: да почему у всех всегда бывали враги, завистники, а я и понятия такого не знаю? А просто — держала меня общественная волна, а кто и возникал враг (кого моё открытое высказывание правды ставило в неловкое положение угодников власти), тот — вынужденно сдерживался.

* Тяжба грозила затянуться ещё и на второй полный год, но Гайлер настаивал на решении — и через 19 месяцев дело кончилось признанием полной моей невиновности и было закрыто. (Примеч. 1982.)

От «Письма вождям» снят был общественный самозапрет ругать меня или искать на мне, и вдруг — зазвучали, зазвучали негодующие голоса. Одни — по убеждённости: как? Солженицын — *изменил демократии*? Да как можно ждать чего-либо другого, кроме *немедленного* перехода к демократии?? (Я писал: *переходный* период авторитарной власти, чтобы не разгрохать всеобщую жизнь разом, — и не услыхали доводов даже, но: «авторитарист»!) Другие — теперь могли дать волю своим накопленным прежним личным зложелательствам, и уже удивительно стало, что совсем недавно они ходили в моих сторонниках. (И уж конечно в эту громкость влились и советские агенты влияния: не упустить пристукнуть недобитого.) От волны враждебных рецензий на «Письмо вождям» множились уже целые сборники (я их и не читал) против наших «Изпод глыб», третьэмигрантские газетные статьи и выпады, а больше — враждебные слухи и низкие сплетни, в центре которых, нельзя не отметить, стоял многоусердный Синявский: он как будто потерял способность говорить с кем-либо о чём-либо, не сводя на гадкого Солженицына, душевно заболел мною. Из разных мест доносился до нас глумливый хохоток эссеиста. (И чего только не несли на меня супруги Синявские! кроме «тоталитариста», «теократа» и «вождя русских фашистов», в последний год ещё: что высылка моя — спектакль, по совместному с ГБ сценарию; и что якобы Гинзбург хотел бросить Фонд и эмигрировать, а я его «заставил остаться и сесть в тюрьму».)

Западная образованщина и по-своему спохватилась, что со мной надо бороться, — а теперь от публицистов Третьей эмиграции перенимала и личные импульсы. И вот уже, куда ни оглянись, со всех сторон лихостились мои противники, а друзья далеки или притихли.

А с крайне правого фланга эмиграции то «Нива» печатала фальшивую фотографию «Солженицын у гроба Сталина» (чей-то коллаж из фотографии моей у гроба Твардовского) — и комментарий всерьёз: а? так ещё в 1953 его допустили до Гроба, ясно, что и с тех пор он — советский агент! И польский писатель эмигрант Ю. Мацкевич пустил легенду, будто советские власти благосклонно разрешили мне беспреступный вывоз архивов (не мог же я в те годы напечатать, как и кто помог тайно вывезти архив!), — а значит я им союзник, и вот моя критика Запада ослабляет его и играет на руку большевикам. Как раз тут подоспела и Ольга Карлайл со своей ядовитой книжкой против меня.

За море, по еловы шишки.

Тем более проявились задетые, как Жорес Медведев, — обиженный и резкими моими письмами ещё из Союза, и как я выступил против него в защиту Сахарова в 1974. При его поводе и при западных льготных к тому обстоятельствах — то и дело склонялось, чтоб он подал на меня в суд. Удержался в 1974 (вероятно, только из-за моей шумной популярности тогда, да ещё и ценя звание моего старого друга, что помогло ему в Англии, а в письмах мне — уже тогда угрожал судом). И вот в июне 1978 прислал в английский «Коллинз», издававший «Архипелаг», и моему представителю Дюрану в Париж зреющее судом письмо. Ж. Медведев объявлял себя издателем и представителем интересов 88-летнего М. П. Якубовича, видного бывшего меньшевика, живущего, после многих лагерных лет, в бесправном инвалидном доме под Карагандой. Этот несчастный старик, вынужденно или по своему позыву, в 1974 выступил против «Архипелага» — написал статью для советского АПН, затем снялся и в специальном телефильме. Никогда не читал я той статьи, не доходил до меня и тот фильм, — не знаю, решилась ли советская власть его где-либо демонстрировать, не у себя же в стране, где об «Архипелаге» и знать не должны. Можно было предполагать, что Якубовича многое не устроило в моём архипелажном разборе социалистов, в идеях книги, но что у него могут быть личные претензии — никак я не думал.

О нём, участнике процесса «Союзного бюро меньшевиков» в 1931, я слышал ещё в моей коктерекской ссылке, от сидевшего с ним в лагере друга моего Н. И. Зубова; яркие черты: пылкость не по возрасту, политическая неугасшая страсть и увлечённый дилетантизм в русской истории. С тем большим интересом я встретился с Якубовичем в конце 50-х годов в Москве на частной квартире тоже бывших эзков. Несколькими часами рассказывал он мне, особенно о своём знаменитом судебном процессе. Как и за всеми своими 227 рассказчиками, я записывал тут же — и позже воспроизвёл в книге.

А ныне, после того как разошёлся на всех языках в миллионах экземпляров первый том «Архипелага», в рецензиях на который и Рой Медведев ничего о Якубовиче не возражал, — писал его братец, что Якубович уже четыре года как поручил братьям Медведевым защитить себя и истину, но братцы воздерживались, шадя эффект «Архипелага». И вот теперь Жорес прислал как бы макет для рассылки издательствам с заголовком «Дело о клевете, конфиденциально»: Якубович считает клеветническим и намеренно ложным моё описание его следствия в 1930 — 31 годах. Что оно противоречит «научному» описанию в книге Р. Медведева (вышедшей после «Архипелага») и собственному реабилитационному заявлению Якубовича, которое ходило в самиздате, и вот, дескать, я извращённо его использовал. (А я никогда не видел его заявления, и партийной книги Роя тоже не читал, я — записал с рассказа Якубовича, что его — не сломали, а поддержка советской власти — был принципиальный взгляд его. Большевиков он поддерживал в своей жизни не раз, и даже сотрудничал в их продовольственных органах в гражданскую войну.)

Ж. Медведев теперь требовал: изменить эти две страницы в последующих изданиях «Архипелага», а пока, поскольку он «считает аморальным зарабатывать на клевете», — уплатить ему не ту огромную компенсацию, которую присудит английский суд, «если дело будет передано в руки профессиональных юристов» и они будут «свободно ставить свои условия», но всего лишь пропорциональную часть от мировых гонимых «Архипелага» за эти две страницы. Что он, Ж. М., «старается найти решение без шума и огласки», если же мы будем сопротивляться и тянуть, то «наступит широкая гласность», а у него, Ж. М., хранятся в сейфе написанные Якубовичем письма в одном экземпляре, «в них обсуждаются гораздо более широкие аспекты „Архипелага“ и его автора, чем этот один отдельный эпизод, но я обещаю их уничтожить... если мы дойдём до соглашения без особых задержек». (Какое ж он право себе давал так распорядиться волей бедного старика! — лишь бы получить деньги?)

Кажется, это было первое впускание юридического когтя — в «Архипелаг», не постеснялись Медведевы. Но чувствовалась и слабость в их шантаже — боязнь публичности. Да может быть Якубович и не знает ничего в своей карагандинской глуши. А уж «публиковать» и тем более нечего, АПН давно Якубовича использовало.

Дюран твёрдо написал Ж. Медведеву, что в «Архипелаге» помещён не официальный документ Якубовича, а его устный рассказ, и это ясно говорится в тексте. Указывал Жоресу его юридически уязвимые промахи в письме; требовал копию полномочия от Якубовича, и доказательства, что Якубович в своих действиях свободен от давления властей. А по поводу денежных требований Жореса кончал великолепной французской фразой: «На Западе существует обычай, в силу которого не смешивают вопросы чести с соображениями такого рода».

И Жорес — пока притих. Суд против «Архипелага» не возник. (Да братцы за эти годы ещё отметились: Жорес в Соединённых Штатах выгораживал практику принудительного психиатрического лечения в СССР — это он-то, недавний узник психушки! — а Рой в СССР марал сидящего под следствием Александра Гинзбурга.)

Ходатайство своё за Якубовича Ж. Медведев объяснял и тем, что стал издателем (и будет издавать также Якубовича). Братцы порывались к тому давно. Когда в конце 60-х годов самиздат сам проложил себе жизненный путь, Р. Медведев вдруг объявил, что ещё несколько лет назад он выпускал журнал «Политический дневник» (никто его никогда в самиздате не видел, может быть выпускали в узкой группе «идейных коммунистов» одну машинописную закладку и тут же прятали по надёжным шкафам), — и вот с опозданием в несколько лет предложил знакомым западным корреспондентам «избранные номера за предыдущие годы». Корреспонденты клюнули всерьёз — и Запад был удачно мистифицирован в «истинно-коммунистическом духе», — среди советских инакомыслящих им особенно дороги социалисты. (Очень высока стала популярность Роя у западных журналистов. «Гардиан» даже открыл «этические реальности Р. Медведева» и противопоставлял их «высокопарности „Из-под глыб“».)

Году в 1975 Рой надумал и взаправду выпускать самиздатский журнал «XX век», но после первого же номера его вызвали в ЦК и запретили. Жалко! Но братцы затеяли новую мистификацию: «XX век» стал выпускать в Лондоне Жорес и утверждать, что этот журнал широко ходит в самиздате, чего никто из Москвы нам не подтверждал.

И вот в № 2, с выходной пометкой «Лондон 1977», напечатана была статья близкого братьям Медведевым В. Лакшина против меня — предлинная, как он всегда пишет, 70 страниц. «Замечательный очерк», предваряет редакция, «одного из лучших литературных критиков русской литературы, блестящего пуб-

лициста и историка литературы». Захвалено высоко, однако по нынешнему безлюдью Лакшин — критик, конечно, заметный, хотя с годами всё более зауряднеет и после «Нового мира» мало чем отличился от казённого приспособленца, стал в фаворе у властей.

Но какая смелость! — до сих пор столь лояльный, Лакшин решил печататься прямо на Западе?*

Не ждал я там дружественного и не нашёл, а прочёл не только с пользой для себя, но даже с каким-то внутренним удовлетворением. Есть равновесность: выйдя из пыла боя, поправиться, где был неправ, не в том кого-то упрекнул, истолковал не так.

Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям. Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношение «первого» и «второго» этажей. Я рад, что он меня поправил. Да наверное об этом выскажутся потом ещё другие свидетели. И конечно он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было ещё сказать о Твардовском: при захваченности моей рукопашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга Первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» — разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. Снимаю и своё предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, — ему было видней. И в эти дни разгона — какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Чтó они могли сделать — не независимые издатели, а государственные служащие? Только — дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редакции это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, — но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А. Т. «кулацким поэтом», — как же мог Твардовский оставаться? Ну да это я и тогда же признал. (А ещё — Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь: в «Телёнке» я упрекнул А. Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он не дал ни малого намёка, в какой я опасности, а моё провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото — ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают. Тут нашу всеобщую подгнётность — о, её помнить надо!)

Однако дальше-больше Лакшин подложничает едва не в каждой фразе. Пишет обо мне: «домогался доверительности А. Т.» (зачем же? такого стиля не было у нас, а — взаимное свободное расположение); «каяться должны все, кроме него» (да кто же публично каялся больше меня?); совсем несуразное обвинение, что я «печатался бы у Косолапова [заменившего А. Т. на редакторстве в «Новом мире»] не с меньшей охотой, чем у Твардовского», — не мог я такого бреда даже обсуждать, хотя бы потому, что я давно ушёл со всех путей советского печатанья, и не искал возврата. А вот если верхушка «Нового мира» покорила разгону лояльно, не проявила бунта, — почему они ждали и

* Выехавший на Запад Б. Г. Закс, бывший ответственный секретарь «Нового мира», в письме ко мне от 30.7.84 передаёт историю этой публикации «со слов Лакшина»: вскоре после выхода «Телёнка» его дважды вызывал секретарь Союза писателей Верченко, дал ему книгу надолго и требовал написать публичный на Западе ответ, а «мы ведь не только в коммунистической печати поместить можем, но и в буржуазной». — Пишет Закс и: Валентина Твардовская свою статью против «Телёнка» согласовала в ЦК, потом отдали в «Униту». (Примеч. 1986.)

требовали бунта от рядовых работников аппарата («уходить» — где ж те работу найдут?), от печатаемых авторов («забирать рукописи» — куда?). Равновеснее будет признать, что все поступили по каторжной связанности советскими условиями — и не могли поступить иначе. Так же и сам Лакшин без промедления пошёл на предложенный ему казённо-литературный пост, который кормит его и даёт положение — достаточно крепкое, чтобы наконец вот бесстрашно выступить против заклеянного «отщепенца и врага народа» Солженицына; и даже, для Запада, будет выглядеть теперь смелым инакомыслящим.

Составлять текст ему надо было так, чтоб и выразить мысль в уровень свободного читателя, и не перейти лояльных советских границ и своего членства в коммунистической партии. Кое-что можно отнести за счёт этого балансирования, как: Солженицын «обречён... очень ошибочно, лишь по отношению к себе и к своим ближайшим обстоятельствам, оценивать общие социальные перспективы», — это пишется после «Архипелага!» Сам «Архипелаг» и называть нельзя, и не назвать же нельзя, торчит. Но оценку дать ему достойно-партийную: «...преувеличения ненависти. Пока история не найдёт более объективных летописцев... пристрастный суд Солженицына останется в силе». Увы, увы, останется. (Да наверное в группе Роя Медведева уже всю ту Историю и переписывают.)

Однако в этой статье у Лакшина проступает и истинный его уровень, и искренние убеждения — и они не веселят. Станный вопрос задаёт критик писателю: какова его цель? — вот и с напечатанием «Архипелага». Восстановить память народа в её ужасных провалах — это, оказывается, не цель литературы, критик требует от меня «позитивной политической программы». А «Новый мир» был «ростком социалистической демократии». «Мы верили в социализм как в благородную идею справедливости». Моё «Раскаяние и самоограничение» его «насмешило» (?). И, напротив, настолько обронил вкус к иронии, что доказывает «неправильность» подзаголовка «Очерки литературной жизни». А уж «„Вехи“ — ущербная книга». Но самое жуткое: «всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике... Виной ли тому „дурная природа“ людей, генетическая незрелость рода [так надо было Марксу раньше голову иметь! — А. С.], неподготовленность нравственного сознания... или скверная изгаженная почва предшествующих социальных традиций». Так! вали на Россию-матушку! «А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически...» И вот коммунизм очищен! — это монархисты во всём виноваты!..

Вот эти «вершинные» суждения Лакшина и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание. (И на мои страницы о нём в «Телёнке» ни словом теперь Лакшин не отзывается. Трудно ответить? Но и вряд ли я тогда ошибся.)

Однако хуже. Лакшин систематически искажает цитаты из «Телёнка» — либо усечением, либо недобросовестным истолкованием. Вот несколько примеров, выделяю курсивом отрезанное Лакшиным*.

О Твардовском: «...какими непостоянными, периодически-слабеющими руками вёлся „Новый мир“... — оборвано: *и с каким вбирающим огромным сердцем*» («Телёнок», стр. 98; Лакшин, стр. 338, 342). Два раза он приводит эту цитату и оба раза обрывает! — уж никак не случайно. «*Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному „Новому миру“ надо относиться с обычной противоначалнической хитростью*» (88; 356). — «*А сдержанней всех и даже по-*

* В 1994 эта статья Лакшина перепечатана в его книге «Берега культуры» (М., «МИРОС»). Для удобства читателей наряду с упоминаемыми страницами «Телёнка» (даваемыми по М., «Согласие», 1996) — страницы из Лакшина здесь даю по его новейшему изданию. Однако возникает ещё трудность: в новой перепечатке Лакшина изменён его исходный текст 1977: из прежнего текста убран большой неприязненный абзац об А. С. Берзер («амбиции её были велики», «она не испытывала брезгливости к двойной игре» и т. д.) и часть перешеденной брани обо мне. (Примеч. 1996.)

чти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, *ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости*» (28; 356), — всё неудобное Лакшин отсекает. У меня: описывается яростное моё выступление в Институте Востоковедения, где я публично обличал КГБ и зал внятно опьянел от свободы, и затем фраза: «Кажется, первый раз, — первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю» (154). У Лакшина — это пример, как я «любуюсь в литературном зеркале»: «я вижу, как делаю историю» (355); без моего контекста фраза становится напыщенной, что Лакшину и надо. У меня — в откровенно потешном стиле описан «бой» на Секретариате, и как против сорока присутствующих я умудряюсь получить слово, и пугая секретарей Союза писателей: «голосом, декламирующим в историю, грянул им» (183). Лакшин повторяет заковыченное без контекста, без обстановки на том совещании, и: «так в литературных мемуарах о себе, кажется, ещё не писали» (355). Я пишу, что «в плохое всегда верю легче, с готовностью», — в смысле худых обстоятельств, худого исхода, — он извращает смысл: легче верю, что люди дурны. Или: Солженицын «просил посодетствовать встретиться с Твардовским», «устроить что-то, что ему было нужно» (357), — и прячется, хотя знает: «что было ему нужно» — это чтобы Твардовский поехал ко мне читать «Архипелаг». А Лакшин лишил его этой возможности, Твардовский так и умер, не прочтя. Я пишу (267), что рак — это следствие обиды, подавления, — Лакшин переиначивает (371): «следствие малодушия». — И нисколько не «жалостным призывом», а вспышкой умной души звучит у меня улыбочная реплика Твардовского: «Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма» (241; 350).

Всю статью Лакшин имитирует скрупулёзность — он указывает номера страниц «Телёнка». Но когда появляется необходимость передёрнуть посильней, он вдруг именно в этом месте «случайно» не указывает страницы. Это — моя 252: «Прощался я от наперсного разговора — а за голенищем-то нож», — и Лакшин цитирует в этих пределах и раздражается судом: «вот так, с ножом за голенищем, оказывается, и разговаривал автор „Ивана Денисовича“ со своим крестным отцом... „двойничествовал“ без видимой причины» (357). А читатель — где будет проверять (редкому москвичу книга попадёт, и то на неполные сутки): что «нож за голенищем» — это разгромное моё обращение к секретариату СП, которое показать Твардовскому никак нельзя, он будет удерживать от борьбы.

Вот с такою честностью ведёт Лакшин дискуссию. Уж тогда тем более легко ему судить (там — цитировать нечего), что Солженицын «умело организовал своё появление» подле гроба А. Т., — в самом деле, умело: просто пришёл в ЦДЛ, барбосы легко могли и не пропустить, не член Союза.

А уж начать мухлевать — так дальше не оглядываться. Выгодно Лакшину обругать мои «Американские речи» — то без усилия повторяет он самые грязные клеветы советской пропаганды, будто призывал я американцев: «никакой продажи зерна», «пусть не будет хлеба, пусть голод и война», «не воюет ли он уже с многомиллионным народом, населяющим эту страну?» — и никаких подтверждающих ссылок, конечно, потому что лжёт, не жмуясь.

«Не дворянское это дело», — манерно присваивает Лакшин былую притказку Твардовского обо всяком непорядочном поступке (а «дворянское» — подделывать цитаты?). Но отписавши полсотни страниц, наш критик спохватывается, что не успеет отделать этого Солженицына по заслугам, и лепит почти уже сплошь: «наивно хвастлив... самоуверен и слеп... надут и смешон... удерживаюсь, чтоб не смеяться над ним... впитал яды сталинизма... бесплодное самоупоение ненавистью и гордыней... Злоба, нетерпимость, самообожание переливают через край... ненасытимая гордыня... фанатическая нетерпимость (к коммунизму, в «Архипелаге»)... жадно ловя мерцающий свет популярности... смешное безумие, амбициозный бред... ощутил себя человекобогом... годами лгал... злой бес разрушения... волчьё одиночество... лагерный микроб... лагерный волк» — и обиняком: «гений зла... дюжинный прохвост... мародёр».

Вряд ли эта работа станет украшением избранного тома статей Лакшина.

Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил ещё пять лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже «Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины *свободных* журналов на русском языке — и, кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, — а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» — а ведь тот был перепутан и разможён цензурным гнѐтом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир» в своих жѐстких рамках, закованный. И сколько национально-народного всё же прорывалось в «Новом мире» — этого в журналах Третьей эмиграции начисто не найдѐшь, в них — бесконечная даль от жизненных русских проблем, и это ещё в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлечѐнный горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, — а это оказалось поверхностный отток, не связанный с глыбинной жизнью страны. Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведениями своей среды, а не общенародными. В те годы, в штурме на власть — нет врагов, кроме коммунистического режима! — мы все казались частицами единого потока, — нерасчленѐнность исторического сознания. Я переоценивал свою близость к «демдвижу»; в этой оценке вилось и наследство дореволюционной «освобожденческой» идеологии, от которой я тогда ещё сильно не был свободен. Да диссиденты вели себя как отважные жертвенные люди, без потайки и корысти. Я от души восхищался ими, особенно, конечно, выходом на Красную площадь в 1968, против оккупации Чехословакии.

А на самом деле — мы были разных корней, выражали разные стремления, лишь совпали по месту и годам действия. Моя линия начиналась куда-куда раньше по времени, чем их линия, и вперѐд протягивалось моѐ упорство против большевиков — не на такой слом и не на такие шуточки, как «выполняйте вашу конституцию!». (Но даже кто и не желая развалить сам коммунизм — диссиденты отлично пошатали его авторитет.) Наше различие вполне проявилось и нам и им, начиная с «Из-под глыб» и «России-суки» Синявского. XX съезд партии они держали своим знаменем, всегда были неотзывчивы к бедам русской деревни, тем более к гонениям православия. С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция — и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило своё существование. Один их идеолог, Чалидзе, так и объяснил, эмигрируя, что «просто устал» защищать права человека. (Потом, за океаном, набрался сил защищать уже всемирные.) Другой, Амальрик, подвѐл теорию: «Эмиграция — тактический ход в борьбе за изменение своей страны», «политическая эмиграция всегда предшествовала революции». И так ещё придумали: «Сейчас быть патриотом — значит уехать». Многим диссидентам только угрожали, что посадят, только лишили привилегированной работы (чѐрной-то не отнимали) — и они потянулись в «изгнание». А другие и вовсе без угрозы. И на Западе величали их всех *изгнанниками*.

Ещё с ранних писем, хлынувших в Цюрих, письма Третьей, современной, эмиграции как-то сразу отличались своим коротким дыханием — от устойчиво-протяжѐнной выдержки Первой и Второй. В Москве я не только не испытывал к отъезжающим никакого недоброжелательства, напротив, из ненависти к коммунистическому режиму, мною, как и многими, побеги Анатолия Кузнецова и Белинкова воспринимались чуть ли не героическими. (Хотя и тогда различали бестактность Белинкова, как он в своих радиорекомендациях из-за границы призвал швырять членские билеты Союза писателей. И Н. А. Струве писал мне ещё в Москву, как поражѐн был встречей с ним: Белинков пытался

ему доказать, что уже Пушкин не любил свободы, настолько рабская Россия. «Новым эмигрантам — России уже не жалко», — с сокрушением писал Н. А.) А на Западе — сразу, с первых этих писем — чётко: э, нет, я не ваш! э, нет, простите, я не эмигрант, и во всяком случае не *третий*. И, отделяя от других эмиграций, завёл для Третьей папку писем отдельную. Ещё я не предвидел ожесточённости их скорых нападков на меня — но инстинктивно отстранялся. Очень меня покорила в марте же 1974 в «Вестнике» статья, подписанная «Х. У.» (потом оказался — Шрагин), предлагавшая православному журналу отказаться от православия, которое «не заслужило доверия интеллигенции», — я немедленно ответил*, сразу почувствовав тут весь корень надменной чужести.

Насколько уважал я Первую эмиграцию — не всю сплошь, конечно, а именно *белую*, ту, которая не бежала, не спасалась, а билась за лучшую долю России и отступила с боями. Насколько я просто и хорошо чувствовал себя со Второй — моим поколением, сёстрами и братьями моих тюремных односельцев, несчастными советскими измученниками, по случайности вырвавшимися на волю задолго до гибели советского режима, всего лишь после четверти века рабства и потом изнывавшими на скудных беглянских путях. Насколько безразличен я был к той массе Третьей эмиграции, кто ускользнул совсем не из-под смерти и не от тюремного срока — но поехал для жизни более устроенной и привлекательной (хотя и позади были у множества привилегированные сытые столицы, полученное высшее образование и нерядовые служебные места). Что ж, они воспользовались естественным правом каждого бы человека — уехать оттуда, где не хочешь жить, да штука в том, что не все, ой не все советские такую избранную возможность имели. Да пусть. В укор им можно было поставить разве то, что для выезда использовали имя государства Израиль, а поехали вовсе не туда. Мне пришлось о них высказаться тогда же**. В их ряду протекли, правда, и посидевшие в лагерях, психушках, но это были считанные, всем известные единицы. Однако в их же ряду проехало и немалое число таких, отборных, кто активно послужил и в аппарате советской лжи (а ложь простиралась куда широко: и на массовые песни, и на кинематографию), потрудились в дружбе с этим аппаратом, — как бы назвать эту эмиграцию? — *пишущей*. Но главное: теперь с Запада, с приволья, они тут же обернулись — судить и просвещать эту покинутую ими, злополучную, бесполезную страну, направлять и отсюда российскую жизнь.

А Запад встречал Третью не так, как первые две: те были приняты как досадное реакционное множество, почему-то не желающее делить светлые идеалы социализма, те приняты были изнехотя, недружелюбно, образованные люди пошли чернорабочими, таксёрами, обслугой, в лучшем случае заводили себе крохотный бизнес. Эту — Запад приветствовал, материально поддерживал и чуть ли не воспевал («отдали свою жизнь ради достойного поведения»), в их отъезде (изнутри СССР видимом как самоспасительное бегство) Запад видел «проявление русского достоинства». Эти — часто с сомнительным (пробольшевичным) гуманитарным образованием — почётно принимались как профессора университетов, допускались на виднейшие места западной прессы, со всех сторон финансировались поддерживающими организациями — и уж тем более свободно захватывали поле эмигрантской прессы, и русскоязычное радио, отталкивая оставшихся там стариков. К сегодняшнему дню напряжённость и неприязнь между ними и их предшественниками необратимо обострена.

Но тут следует и очнуться: таковы ли бывают в эмиграциях стычки и ненависть? да так ли жгло обидами, взаимными обвинениями внутри Первой эмиграции, обнимавшей растерянное множество изгнанников от великих князей, митрополитов, генералов — через всю кадетско-интеллигентскую толпу — и до Керенского, Бурцева и эсеровских террористов? Им-то, сразу после сокрушительного поражения и деля его ошибки, приходилось куда раскалён-

* «Публицистика», т. 2, стр. 75.

** Там же, стр. 99 — 101.

ней и столкновенней (только они всегда выдерживали приличный тон дискуссий, а пишущая Третья сразу позволила себе и ругательно-площадной). А наши сегодняшние разногласия — хоть не в дележе совершённых нами ошибок, а в спорах о русском будущем*.

Особняком стоял непримиримый Владимир Буковский: он боролся отчаянно и был воистину выслан (обмен, без спроса его, на лидера чилийских коммунистов). Он представлялся мне подлинным национальным героем: вот, занят совсем не «правом на эмиграцию», но коренною жизнью страны, бесстрашный, самоотверженный, умный, молодой, — вот из таких борцов вырастут будущие политические кадры России, да может сам он и есть будущий премьер-министр — если выживет? Минутами казалось: его замучат и загнут. И вдруг — он уже в Швейцарии! Мы тотчас с ним связались. Затем, едучи в Штаты, он написал, что непременно хочет увидеться, — и я пригласил его заехать в Вермонт, полтора суток он у нас пробыл. Да, человек чести, с упорным азартом борьбы и подлинным мужеством, политическое быстрое соображение, находчивость в выступлениях. Он сочувствует и готов помогать отдельным схваченным, придавленным. Но всей глубины русской боли, нашего падения, оскудения, жажды народного выздоровления — этого не проявилось мне в нём.

А ведь он в Третьей эмиграции — из лучших, и умнейших.

А тогда — на кого ж мы надеемся? В каких же, ещё следующих, поколениях мы дождёмся тех родных рук? Ещё когда же Россия сможет родить их и выдвинуть? Какие же вожди ждут нас после коммунистов?

Все, все исторические сроки оттягиваются — сравнительно с моей постоянной нетерпеливой погонкой.

И вполне бы тут, на Западе, в отчаяние прийти, если б не своя работа. Горы работы — на годы и годы. Надо сперва самому исполнить — а потом уже требовать от Истории.

А сыновья — подрастают. Тёплые полгода, с апреля по октябрь, живу внизу, в прудовом домике, — и рано утром они, цепочкой, друг за другом, по крутой тропе, сквозь величественный храмовый лес спускаются ко мне молиться. Между порослями становимся коленями на хвойные иглы, они повторяют за мной краткие молитвы и нашу особую, составленную мной: «Приведи нас, Господи, дожить во здравьи, в силе и светлом уме до дня того, когда Ты откроешь нам вернуться в нашу родную Россию и потрудиться, и самих себя положить для её выздоровления и расцвета». А в нескольких шагах позади нас камень-Конь, очень похож, ноги поджал под себя, заколдованный крылатый Конь, ребята мне верят: ночами слегка дышит, а когда Россия воспрянет — он расколдуется, полностью вздохнёт и понесёт нас на себе по воздуху, через Север, прямо в Россию... (Ложась спать, мальчики просят: а ты ночью пойдй проверить — дышит?)

Несколько раз в день прибегает ко мне кто-нибудь из них, топя с горы, приносит от мамы очередных несколько страниц набора с её редакторскими предложениями. Спустя время — другой сын, забрать результат.

А вот, затеваю я с двумя старшими и занятия по математике. (Просмотрел новейшие советские учебники — не приемлет душа, не то, не чутки к детскому восприятию. И учу сыновей — привезла Аля из России — по тем книгам, что и сам учился, и наши отцы.) Есть у нас и доска, прибитая к стенке домика, мел, ежедневные тетради и контрольные работы, всё, что полагается. Вот не думал, что ещё раз в жизни, но это уж последний, придётся преподавать

* Так я думал. Но иные из третьеземigrants с большой откровенностью высказывались, а теперь даже и публикуют: что борьба их на печатных полях Европы и Штатов и в эфирном пространстве шла совсем не об идеях, а о хорошо оплачиваемых, но не слишком многочисленных местах. За них и боролись, выдвигая перед «шефами» идеи и черня соперников. (Примеч. 1982.)

математику. А — сладко. Какая прелесть — и наши традиционные арифметические задачи, развивающие логику вопросов, а дальше грядёт кристальная киселёвская «Геометрия».

После урока сразу — купанье. В пруду, он местами мелок, местами очень глубокий, учу их плавать и страшую. Вода проточная, горная, очень холодная. Старшие рвутся: «Папа, а можно — до водопада?» — плотинка метрах в двадцати.

Впрочем, выше по течению одного ручья есть и подлинный водопад, метров пятнадцати высоты, ребята гуськом пробираются почтительно глазеть на него. Да впечатляет он и взрослых.

Второй год в вермонтском уединении — кажется, только и работай? Я и работаю упоённо — но вон уже сколько тут страниц исписано внешними помехами и досадами. В зиму же на 1978 — вдруг приглашение: выступить с речью на выпускном акте Гарвардского университета. Конечно, можно и тут отклонить, как отклонил уже их приглашение в 1975 и как уже сотни приглашений отклонены. Однако весьма примечательное место, будет хорошо слышно по Америке. А уже два года не выступал — и темперамент мой толкает снова вмешаться. И я — принял приглашение.

Когда же стал весной готовиться, то обнаружил, что кроме стилистического отвращения к вечным повторениям — я вообще уже не способен, не хочу повторять в прежних направлениях и на прежних нотах. Много лет в СССР и вот уже четыре года на Западе я всё полосовал, клевал, бил коммунизм, — а за последние годы увидел и на Западе много тревожно опасного и предпочитал бы *здесь* — говорить о нём. И давая исход новым накопившимся наблюдениям, я строил речь по поводам западным, о слабостях Запада.

Эту речь, в исключение, я готовил в письменном виде, переводить же её на английский досталось И. А. Иловойской. Хорошо зная Запад, она очень огорчалась над речью, уговаривала меня смягчать мысли и выражения, я отказался. После того, переводя и печатая, со слезами говорила Але: «Этого ему не простят!»

О речи моей объявлено было заранее, и от меня ждали прежде всего (писали потом) — благодарности изгнанника великой Атлантической державе Свободы, воспевания её могущества и добродетелей, которых нет в СССР. И ждали, конечно, антикоммунистической речи. Накануне, при процедуре торжественного ужина, я имел честь сидеть с президентом Ботсваны сэром Серенце Хама, утомлённым фиолетовым негром, и экс-президентом Израиля Эфраимом Кациром (Качальским), очень напоминающим добродушного сельского хохла, но с задумкой. А нервно подвижный Ричард Пайпс, столь влиятельный в Гарварде и чуть не направитель всей здешней науки о России, подходил знакомиться, с разведкой: верно ли, что речь моя будет о Камбодже. (А о Камбодже — ещё как бы стоило говорить.)

На другой день на университетском дворе рассаживались под открытым небом выпускники по специальностям, дальше гости, и стоя вокруг, — всего, говорили, двадцать тысяч. Ректор университета поздравлял оканчивающих, затем вручались нам — с президентом Ботсваны, с Кациром, датским антропологом Эриком Эриксоном, замечательное лицо, — докторские степени, и, к моему удивлению, меня приветствовали общим вставанием и долгими аплодисментами, ещё миф обо мне не развеялся тут. Затем по университетскому двору долго маневрировали выпускники Гарварда (начиная со старичка, выпуска 1893 года), вели нас, почётных гостей, под студенческие приветствия, потом опять все рассаживались. Вскоре дошли и до моей речи — а между тем пошёл изрядный дождь. Мы-то, президиум, находились под навесом — но всё соборище под дождём, и я, в речь, изумлялся: кто зонтики достал, а кто и безо всяких — сидят под дождём, не разбегаются! А заняла речь, с переводом, целый час, время удваивалось. Динамики разносили её по всем углам двора.

И ещё я удивлялся, совсем не ждал: как сильно и часто аплодировали, особенно когда я говорил об уходе от материализма, это меня порадовало.

Иногда они свистели, а это у них, оказывается, тоже знак одобрения, но и ещё бывал звук: протяжное «с-с-с», как наш призыв к тишине, — а это, напротив, осуждение. (Потом я узнал: на этом же кампусе в своё время и раздавались самые резкие протесты против вьетнамской войны.)

После речи университет попросил у меня текст*, и тут же размножил, раздал в две тысячи рук, и началось вакханальное распространение в произвольных выдержках и цитатах по Штатам и по всему миру. Из 12 стран университет получил больше пяти тысяч запросов. (Вот, опять этот эффект: чего из других мест не слышали — теперь, из Америки, весь мир услышал, как в первый раз.) А неутомимое телевидение, всё время снимавшее, в тот же вечер передавало речь и дискуссию по ней. Изо всего этого мы с Алей до ночи только успели поймать, что «Голос Америки» передал целиком речь на СССР, моим голосом.

Затем полтора суток у нас была как экскурсия в прошлое: вечером в университетском столовом зале давало нам ужин издательство «Харпер» — и приглашился смотреть на меня гадкий старик Кэз Кэнфильд, который когда-то капризничал над «Кругом» и диктовал унижительные бесправные условия. Старые обиды не вспоминать, но и смотреть на него неприятно. — А на другой день мы поехали в коннектикутский дом Томаса Уитни, и друг его Гаррисон Солсбери был там, — прежние, посвящённые, теперь принявшие не сторону Карлайлов, а мою. К вечеру хозяин собрал избранных гостей, Артур Миллер и его круг, из нью-йоркской элиты.

А ещё на следующий день мы вернулись домой — и начали приноситься, и приносились — два месяца! — возбуждённые газетные отклики на речь, затем и поток прямых писем американцев ко мне. Письма читала и делала их сводку И. А. Иловайская, статьи я многие прочёл сам. И, надо сказать, изумился. Тому, как эта критика соотносилась (*не* соотносилась) с содержанием моей речи.

Название я дал ей «Расколотый мир», с этой мысли и начал речь: что человечество состоит из самобытных устоявшихся отдельных миров, отдельных независимых культур, друг другу часто далёких, а то и малознакомых (перечислил некоторые)**. И надо оставить надменное ослепление: оценивать все эти миры лишь по степени их развития в сторону западного образца. Такая мерка возникает из непонимания сущности всех тех миров. И надо же посмотреть трезво на свою собственную систему.

Западное общество в принципе строится — на *юридическом* уровне, что много ниже истинных нравственных мерок, и к тому же это юридическое мышление имеет способность каменеть. Моральных указателей принципиально не придерживаются в политике, а и в общественной жизни часто. Понятие *свободы* переклонено в необуздание страстей, а значит — в сторону сил зла (чтобы не ограничить же никому «свободу»!). Поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. «Права человека» вознесены настолько, что подавляют права общества и разрушают его. Особенно своевластна *пресса*, никем не избираемая, но приобретающая силу больше законодательной, исполнительной или судебной власти. А в самой *свободной* прессе доминирует не истинная свобода мнений, но диктат политической моды — к неожиданному однообразию мнений (тут-то я более всего их раздражил). Вся эта общественная система не способствует и выдвиганию выдающихся людей на вершину власти. Царящая идеология, что накопление материальных благ, столь ценимое благосостояние превыше всего — приводит к расслаблению человеческого характера на Западе, к массовому падению мужества, воли к за-

* «Публицистика», т. 1, стр. 309 — 328.

** Я самостоятельно ощутил эту мысль. Только в 1984 прочёл Шпенглера, только в 1986 Данилевского, снизившего свой мастерский ботанический, с переносом по аналогии на человечество, анализ навязчивой идеей панславизма, — будто без него Россия не могла бы отважиться на самобытную цивилизацию. (Примеч. 1986.)

щите, как это проявилось во вьетнамской войне или в растерянности перед террором. А все корни такого общественного состояния идут от эпохи Просвещения, от рационалистического гуманизма, от представления, что человек — центр всего существующего, и нет над ним Высшей Силы. И эти корни безрелигиозного гуманизма — общие у нынешнего западного мировоззрения и у коммунизма, и оттого-то западная интеллигенция так долго и упорно симпатизирует коммунизму.

И, к завершению речи: моральная нищета XX века в том, что слишком много отдано политико-социальным преобразованиям, а утеряно Целое и Высшее. У всех у нас нет иного спасения, как пересмотреть шкалу нравственных ценностей, подняться на новую высоту обзора. «Ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх», — закончил я.

Во всей этой речи я *ни разу* не употребил даже слова *разрядка* (международная), повторного осуждения которой больше всего от меня ждали, ни даже призывов к преодолению коммунизма, — и только на третьем плане, глухим фоном, проплывало: «следующая война может похоронить западную цивилизацию окончательно», «идёт — физическая, духовная, космическая! — борьба за нашу планету», «давит мировое Зло»...

И что же в этой речи центровая образованность и пресса услышали — и как ответили?

Не тому изумился я, что газеты меня вкруговую бранили (ведь я же резко задел именно прессу!), но тому, что *полностью* пропустили всё главное (изумительная способность медиа), а изобрели такое, чего в речи вообще не было, — и били туда, били туда, где я ожидался, но вовсе не оказался. Ошалело газеты загалдели так, будто речь моя была именно о разрядке или войне. «Не оказал услуги миру, призывая к священной войне (?)... Концентрируется на крестовом походе против коммунизма... Зовёт американцев в бой... Чтобы западный мир раздавил коммунизм... Упрекал нас, что мы не освобождаем Востока(?)... Показал, что он не христианин и не интеллигент, а циничный поджигатель войны, полный мстительности... Худший недостаток американцев, что принимают и потворствуют стольким эмигрантам из Восточной Европы с их мстительностью... Провокационные и глупые замечания... Его призыв „к мужеству“ может привести нас к другому Вьетнаму или Третьей Мировой войне... Авторитаризм с ностальгией по царским временам, хочет, чтобы Запад не умиротворял советскую систему, но разрушил её. Не способен дать нам совет в нашей политике» (выше политики и не видят). А уж тогда тем более: «Как мы могли продолжать убивать великое множество вьетнамцев, если они предпочли строить свой национальный коммунизм?»

В прессе первых дней неслась горячая брань: «Сторонник холодной войны... Фанатик... Православный мистик... Жестокий догматик... Политический романтик... Консервативный радикал... Реакционная речь... Одержимость... Потеря баланса... Бросил перчатку Западу... Не попал в цель... Звучало как высказывание расколотого разума» (игра слов с названием речи «Расколотый мир»).

И, уже с переходом к «оргвыводам»: «Если вам здесь не нравится — уберите!» (Это — в нескольких газетах, не раз.) «Если жизнь в Соединённых Штатах столь скверна и продажна — почему он выбрал жизнь здесь?.. Мистер Солженицын, когда вы будете выходить — пусть дверь вас сзади не ударит. Вам ничто здесь не нравится — не будет с нашей стороны нелюбезно указать, что не обязательно вам здесь оставаться. Любите нас — или оставьте нас! Пусть пошлют ему расписание самолётов на восток». — Особенно раздражало, что я в речи называл «нашей страной» не Америку, а всё ещё СССР. «Не переносу, когда гость читает лекцию о наших недостатках. КГБ его выбросил, а он осуждает нас, что у нас много свободы, — (это и правда смешно), — а сам живёт в роскошном аскетизме. Америка спасла его родину от гитлеровских орд». (Это ещё кто кого спас.)

До гарвардской речи я наивно полагал, что попал в общество, где можно говорить, что думаешь, а не льстить этому обществу. Оказывается, и демократия ждёт себе лести. Пока я звал «жить не по лжи» в СССР — это пожалуйста, а вот «жить не по лжи» в Соединённых Штатах? — да убирайтесь вы вон!

Ещё отдельно особенно упрекали, что я критикую ту самую западную прессу, которая меня спасла в моём бою. Да, получается вроде неблагодарно. Но я шёл в бой, готовый к смерти, а не рассчитывая, что меня спасут целёхоньким. Я тогда и писал в «Телёнке»: «накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной». А вот они уже и раскаиваются, что мне помогли. Сослали бы большевики меня в 1974 в Сибирь — Запад легко бы простил, особенно узнав «Письмо вождям». Киссинджер и Папа Павел VI ещё и осенью 1973 поняли, что защищать меня не надо.

Почти в тех же часах, что я в Гарварде, выступал в Аннаполисе в военной академии президент Картер и всячески хвалил Америку. «Картер описал американский путь почти в евангельских терминах. А Солженицын обрушился...» Через несколько дней, едва ли не нарушая правила приличия, жена Президента в национальном клубе печати выступила специально с ответом мне: что никакого духовного упадка в Америке нет, но всесторонний расцвет. Широкая волна оправданий Соединённым Штатам прокатилась и по всей печати: «Не хватывает американского духа... У него нет реального понимания свободы, не может разглядеть, как работает демократия... Мы безответственны? Но мы ставим на первое место свободу, а ответственность потом — именно потому, что мы свободный народ...»

Крупные газеты не печатали самой речи, хотя копирайта не было объявлено, а лишь — отрывки, удобные им для разноса. «Очень предубеждённый взгляд на западный мир... Не видит прока в свободе, а в демократии весьма относительный... Не постигает, что в нашей слабости большая сила, даже в наивности и монолитности правительства. Это непостижимо для традиционного русского». И так — сквозь многие отклики: слишком русский, несправимо русский, с русским опытом, ему не понять. «Голос из прошлого. Славянофил XIX века... Испытывает тоску по угнетённой царской России... Он презирает нашу прессу... Все молчаливо ожидали, что после трёх лет американской жизни он должен признать наше превосходство. Мог бы хоть раз поприветствовать общество, в котором всем так доступна свобода. Разве мы не опубликовали его книги? И это — недостаточная причина благодарности?.. Многие американцы съёжались от утверждения о „праве не знать“ (я сказал об „утраченном праве людей не знать, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздною чепухой“). — А. С.), или что коммерческие интересы душат духовную жизнь... По сравнению с этой речью утверждения Шпенглера в „Закате Европы“ кажутся безрассудно оптимистичными... Гигант нас не любит... Он смертельно ошибается, если верит, что ограничения нашей свободы сделают нас сильнее... Очень неопределённо: „возрождение духовной жизни“... Задерживаться на глупости этой концепции было бы смешно. Мы не уступим прирождённое право свободы... Гарвард не нашёл хорошего оратора. Благодарю Бога, что я американец».

Гарризон Солсбери, защищавший меня по телевидению в первый же день: мол, сельский философ из уединения может отлично охватить общую картину, теперь тоже удивлялся: «Хочет ли Солженицын быть оппозиционным правительством и для Штатов, и для СССР? Невероятное бремя для одних плеч».

Но даже и в первом слитном хоре осуждения, а день ото дня всё сильнее, звучала оценка речи не как политической, а то и дело, десятки раз, сравнивали меня с библейским пророком, со старинными американскими пуританами: «Как из ведра вылил угрозы Страшного Суда... Он наш Исая... Иеремия... Савонарола... Возродил традицию апокалиптического пророчества и глубоко затронул сердца многих американцев... Уже давно не слышали мы такого пуританина. Знаменитый Мэзер, президент Гарварда, показался бы нравственно

расслабленным в сравнении с требованиями Солженицына... Прямой преемник проповеднической традиции Новой Англии. Место, где он выступал, было самым подходящим, потому что в Новой Англии призывы такого рода раздавались в течение трёхсот лет... Критика, исходящая из более древней, более суровой и пессимистической духовной традиции, чем Просвещение... Превосходил опыт слушателей. Никто не был подготовлен к восприятию таких идей... Потряс страну землетрясением в 9 баллов, горькая правда...»

А вот уже можно было прочесть и оценку недавних газетных откликов: «Болезненная реакция [прессы]... Лавина непонимания... Речь смутила и рассердила больше, чем просветила... Интеллект большой силы и потенции, Солженицын взбудоражил осиное гнездо. Редко отдельная речь частного гражданина возбуждала так много сердитых возражений, и редко столь превосходящее множество ответов так далеко уклонялись от цели... Банда журналистов концентрированно хочет опорочить Солженицына. Он напал на медиа за её самоуверенность, лицемерие, обман, они этого никогда ему не простят... Солженицын должен понимать, насколько его масштабное видение не подходит демократическому и либеральному обществу... Либералы краснеют при слове „зло“. А Солженицын видел лицо Зла».

И чем чаще стали выдвигаться в газетные колонки просеянные и усеченные редакциями отклики читателей и статьи раздумчивых журналистов, и чем шире вступала в обсуждение провинциальная пресса, тем больше менялся тон в оценке речи: «Крик Солженицына в Гарварде устрашает. Самое лёгкое сделать вид, что это всё ерунда, а мы понимаем лучше. Однако эти слова могут быть правдой, и кто произнёс их — пророком, даже если его не почитают ни в своей стране, ни в приёмной... Нет лучшего дара, какой может принести нам изгнанный иностранец. Если бы он не любил то, чем мы были и могли бы быть, — он не предупреждал бы нас по поводу того, чем мы стали... Нам не хватает своих Солженицыных... Можно было пожелать, чтобы он высказал больше благодарности своей приёмной стране. Но в этом, может быть, дальнейшее проявление мужества — та соль, которая больше нужна нашей стране, нежели тот сахар, который она хотела бы... Дал нам чувство надежды... Какое было облегчение это услышать!.. Поблагодарим, что у него хватило мужества говорить с нашей молодёжью о нравственности... Было мудро прислушаться к нему... Я захвачен мощностью его убеждений. Красота его речи — в том, что она духовна и вызывает размышления. Он хочет отблагодарить за гостеприимство самым искренним путём, давая самое ценное своё имущество — мысли... Искусство и художники имеют обязанность относительно всех остальных: постигать и выдвигать свои постижения без компромисса... Если восхищаемся его прямоотой в одном географическом пункте — надо уважать её и в другом!.. Писал к советским вождям, теперь продемонстрировал сравнимое „письмо к западным руководителям“... Bravo! Справедливые слова в нужное время и нужной публике... Речь необходимая, реакция прессы злобная... Какой писатель в конюшне Белого Дома писал ответные слова для Розалины Картер? Жалкие возражения... Надо учиться у него, а не сердиться... Статьи прессы исказили речь и показали технику, как ставят окаменелый панцырь вокруг голов... Пусть говорит ещё! Жизнь духа — в опасности везде в мире. Перечитать гарвардскую речь не как атаку на нас, а как призыв ко всей человеческой семье...»

И наконец, прорвалась в газету и одна выпускница Гарварда, слушавшая мою речь, Ванда Урбанская: «Перевернул многие наши представления о нас и о мире, которые Гарвард так тщательно вырастил. Почему газетный критик смеет отвечать от лица выпускников? Солженицын бросил нам вызов, растормошил нас и останется с нами».

Теперь уже можно было прочесть и много признаний, выказывающих совсем не ту надменную нью-йоркско-вашингтонскую Америку: «В глубине мы знаем, что он прав... Мы хуже, чем он говорит, если не можем стать лицом к лицу с нашими пороками и попытаться их исправить... Он прав, слишком ужасно прав. Но та самая слабость, в которой он нас обвиняет, и мешает нам

принять лекарство... Выводы Солженицына мучительно близки к цели... Мы боремся за деньги и не понимаем подлинных ценностей жизни... Мы понимаем свободу так, что ищем себе самого лучшего за счёт всех остальных... Запад духовно болен и страдает глубокой потерей воли... Мы лишаемся духовной верности свободе... На место диктаторского правительства мы поставили авторитет групп с особыми интересами. А необходима способность к жертве... Многие американцы разделяют с Солженицыным отсутствие энтузиазма о демократии. На банкнотах мы пишем „In God we trust“, — надо или доказать это, или снять надпись... Америка — не моральный Прометей, и мы — секуляризованная нация, занятая одним заработком... Мы — духовно большое и нравственно плоское общество. Вы [газета] не понимаете Солженицына, потому что он смотрит в корень проблем... Не прислушаться к нему — ошибка. Он пытается придать энергию гражданам своей приёмной страны... Нет страны в здравом разуме, которая приняла бы нашу преступность и наркотики, порнографию, секс как центр разговоров, и ублажение детей. Мы напоминаем Содом и Гоморру... Свобода, предоставленная сама себе, может произвести хаос. Всё, что он сказал, — правда, от нашей трусости до непереносимой музыки... Общество, которое позволяет технологии развиваться в моральном и этическом вакууме, подобно злополучному пациенту, чья жизнь поддерживается искусственными лёгкими и почкой... Блестящая и смелая речь его как двуострый меч разрежала мякоть Америки! Американский народ поддержит Солженицына... „Вашингтон пост“ может посмеиваться над русским акцентом Солженицына, но не может отбросить его универсальное значение... Будем благодарны, пока не поздно... Его речь должна быть выжжена в сердце Америки. Но её не напечатали, а убили... Плоский стиль свободной прессы доказывает правоту Солженицына. Журналисты — высокооставленные разбойники... Газеты разделяют нас как нацию... Может ли пресса быть плюралистической, если она в руках малого числа дельцов?»

Так постепенно разворачивалась передо мной и другая Америка — коренная, низовая, здоровая, которую я и предчувствовал, строя свою речь, к которой, по сути, и обращался. И теперь высвечивалась надежда, что с этой коренной Америкой я могу найти единство, и могу предупредить её нашим опытом, и могу даже повернуть. Но — сколько ж на то лет? и сколько ж это сил?

Да и как вести эту борьбу, поощряя их стоять насмерть против коммунизма — и ни разу не дать направить против России? И ещё в обстановке, когда поворотливые полемисты из Третьей эмиграции не только наносят, натягивают дурманную ложь на Россию, но ещё и с таким неожиданным заворотом: что национальная Россия — наибольшая опасность для Запада сравнительно с благодушным нынешним коммунистическим режимом, который и надо, сдерживая, поддерживать умелыми переговорами.

С гарвардским приглашением впримык пришло и приглашение из Военной академии Вест-Пойнт: генерал предлагал собрать больше 5 тысяч курсантов, полный состав, и лекция — на любую тему. Очень значительная точка приложения для поворота Америки! Вест-Пойнт — это трибуна американских президентов. И сочувственная сильная аудитория, а не гарвардская рефлексирующая. Да кого важней и убеждать? Грозное, решительное место: эти самые курсанты будут военачальниками на полях Третьей Мировой и администраторами привоенных местностей. Через кого, как не их, спешить отвратить американскую ненависть от России? Кому, как не им, первым бы и рассказать о предательствах Первой и Второй мировых войн, им первым бы и разъяснить разницу между СССР и Россией. И по коммунистам будет отличный удар! И я уже очень склонялся ехать, но Аля верно отговорила: как это будет выглядеть на родине у нас? Если от речей профсоюзных мне клеили, что я призываю задушить Россию голодом, то речь в военной академии будет выглядеть совсем как братание с «американскими империалистами». Получится — совсем не то, что я хочу. Верно. Пришлось отказаться.

Гарвардская речь вызвала гулкое эхо, и куда раскатистее, чем я мог предвидеть.

И густота приглашений не падает, и можно носиться молнией между конференциями, конгрессами, университетами, телевидениями — и всё время выступать. В этой суете легко замотаться. И одна политическая активность неизбежно тянет за собой ещё десять и сто. А ещё если б весной 1974 я приехал бы в Штаты, как меня рвали и звали, и тогда несомненно получил бы почётное гражданство, — каким бы бременем оно сейчас на меня легло, когда я сюда переселился! Уж тут бы не отбиться так легко, а — участвовать, отзываться, высказываться. Больше почёта — больше хлопот. А так — живи себе свободно, отрешённо, не обязанный срастаться с этой страной.

Ещё и язык. На восстановление и развитие английского пойдёт больше времени, а безумно жаль его, когда по истории революции томятся десятки тысяч ещё нечитанных страниц, когда столько воспоминаний стариковских ждут, — и всё же время писать. Нет смысла отрывать время от русской работы, да и тексты моих выступлений должны быть взвешены и отточены всё равно по-русски.

Да что! — я даже и пейзаж, вот этот вермонтский, вот эти кусочки леса, и даже перемены погоды, и даже игру солнца, неба, облаков — здесь не воспринимаю с такой остротой и конкретностью, как в России. Тоже — как будто на другом языке, что-то стоит между нами.

Не случайна эта пословица: на чужой стороне и весна не красна.

А дома — верю, возобновится. Для того времени и живу, и пишу.

Ещё когда были мы в Цюрихе, одна старая эмигрантка подарила мне крупный цветной фотоснимок высокого качества с поленовской картины: изгибистая малая русская речушка, к мосткам подчалена одинокая пустая лодка без вёсел, тот берег — в диковатой траве и с песчаной осыпью, чуть видна за ней соломенная избяная крыша — и нигде ни человека, никого живого. Печаль, тоска — и сладкая привязанность к родине. Снимок этот теперь всегда приколплен за моим письменным столом, не наглажуясь.

А вот уже в Вермонт — ещё один эмигрант, из Швеции, прислал, с сертификатом экспертизы, в раме, крупный левитановский эскиз «Дорожки»: заброшенная полевая дорожка, шире тропки, — через прясельный вход по низкому травяному месту, в пасмурный день. И тоже — никого. И тоже — ах, Россия! (Над камином повесили.)

* Год за годом всё продолжают откликаться статьями. «Редко когда голос одного человека побуждает к духовным поискам весь западный мир. [Выступления в Гарварде и у профсоюзных] взбудоражили сознание западного мира сильнее, чем знаменитые речи Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля... Непрерывающиеся разговоры о Гарвардской речи свидетельствуют о силе слов Солженицына и о серьёзности его критики наших фундаментальных ценностей». Теперь оценивают, что: «Его общий анализ западных представлений не так уж легко опровергнуть... Просвещение проявило ничем не обоснованный оптимизм в понимании человеческой природы... Речь Солженицына — произведение более сложное и трудное для понимания, чем обычно думают... Наиболее важный религиозный документ нашего времени... Он рассуждал в чисто плюралистической манере, не прибегая к символам русского православия... Между Солженицыным и его критиками разница более высокого порядка, более тонкая и неуловимая, чем большинство этих критиков думает». Многие из моей критики признали, хотя и поправляют в терминологии. Верно говорят: «Он не Запад критикует, а спрашивает: есть ли выход из современности?» Конечно, Р. Пайпс продолжает настаивать, что критика моя «хаотичная», «погромная» и вся «в русской интеллектуальной традиции», и даже списана у Победоносцева (я его и не читал никогда), — русская жизнь, как известно, «дебильная», ГУЛАГ есть результат славянофильской идеи, американцы же — народ более добродетельный, щедрый и трудолюбивый, чем русские. Но другие голоса уже не считают мои высказывания «неискоренно русскими», а даже относят «к традиции лучших западных умов», находя мне западных предшественников — Свифта, Берка. Это — «центральные идеи христианского Запада», и даже: «в Гарвардской речи больше чьих-то идей, чем собственных». Да ведь им невдомёк, и я не спешу признаться: да я *никого* тех не читал, когда б это в моей жизни было время на их чтение? я шёл — одной интуицией и жизненным опытом. Кто-то и заметил: «Благодаря своей исключительной интуиции приходит к выводам, которые толпа сначала отвергает». (Примеч. 1982.)

А вот ещё кто-то прислал по почте видовую открытку: в солнечном утре малый пролесок, через не видный нам ручей внизу высокие досчатые лавы с одним поручнем — так и зовут: перейди через нас, вот сюда, на лужайку. И тоже — ни фигурки, но, может быть, перейдя, кого-то и встретишь дальше? И сколько же таких чудных местечек в России — где я не бывал, и никогда не буду? Сладкая тоска. (Поставил и эту открытку на столе в кабинете.)

Глава 5

СКВОЗЬ ЧАД*

И вот, кажется, сидеть бы в Вермонте да писать Узлы.

Так нет: перемирия с советским коммунизмом всё равно быть не может. Замолчал я — так не замолчат они. Мои американские речи 1975 года, видимо, здорово вздрючили их: с такой прямоотой, громкостью и, главное, откликом — наверно никто им с 1917 года не врезал. Спохватились: если не убили меня вовремя — так надо ж теперь измарать покрепче.

До сих пор продавали советские агентства по всему миру и на многих языках (но не в СССР) книгу моей первой жены. Грубовато она была сляпана, вряд ли они меня много ею опорочили. И это сообразив, вот скропали ещё одну книгу, официальное советское издание**, значит, впервые решились открыто по СССР двинуть книгу против меня. А мне — ещё долго бы этой книги не увидеть, долго бы на неё не ответить, — да сорвался её номинальный автор Ржезач и по почте прислал мне, с торжествующей надписью. И только я её в руки взял — ожгло: отвечать немедленно! Если уже для соотечественников печатают — отвечать!

Да от самого появления «Архипелага» ждал я, что будут штурмовать в ответ и опровергать прежде всего сам «Архипелаг». Но поразительно: вот и за пять лет они ничего не родили в опровержение, кроме довольно скудных АПНовских брошюр, бесплатно раздаваемых в западных столицах. Миллионный, сытый, адрессированный, натренированный сталинско-брежневский пропагандистский аппарат оказался перед «Архипелагом» в полном параличе: ни в чём не мог его ни поправить, ни оспорить. В его распоряжении тысячи перьев, все архивы, какие не сожжены, и времени протекло больше, чем я один работал над «Архипелагом», — а ответа нет как нет!

Потому что ответить — нечего.

Бросилось ЧКГБ трясти и вынуждать к опровержению уцелевших старых эзков. Однако во всём подвластном Советском Союзе никто не соблазнился, кроме единственного М. П. Якубовича. Но и сейчас, по стерильности марксологического аппарата, нельзя его использовать как официального автора: он не реабилитирован. И бывшего однодельца и бывшего друга моего Виткевича потянули на несколько интервью — сперва американской газете, потом финскому почему-то радио, потом и ещё, ещё кому-то. И, снова сознательный член КПСС, Виткевич говорил всё то, что нужно было партийным хозяевам: «В лагерях совсем не было так плохо», «в книге всё искажено и представлено в превратном виде», «у него был своеобразный способ собирания фактов: он брал только то, что может помочь ему стать великим писателем. А какие факты не подходили — те он отбрасывал», — и другой подобный вздор.

И вот, наконец, выставили Ржезача. И на 215-страничном просторе мы узнаём, что Лубянка справедлива, добра, даже чутка, её следователи — «почтенные люди, интеллигентные манеры». «Разве можно утаить пытку целых тысяч или полное исчезновение десятков тысяч людей? Нет, это невозможно.

* Эта глава была напечатана отдельной книжкой: Солженицын Александр. Сквозь чад. Париж, «ИМКА-пресс», 1979.

** Ржезач Т. Спираль измены Солженицына. М., «Прогресс», 1978.

Нет и никогда не будет такой службы госбезопасности, которая сумела бы заткнуть рот всем».

Увы, большевики всегда справедливо заявляли, что для них нет невозможного.

О рядовом лагерёчке узнаём от Ржезача: «охраны почти никакой. Режим очень мягкий, никто никому ничего не указывает», и даже: «заклѳочѳнные испытывают здесь самое большое блаженство». «В этапах и пересыльных тюрьмах довольно прилично кормят». «Советские лагеря ни в каком смысле не были лагерями смерти», а случалось — производственные бригады кормили даже... бутербродами с чѳрной икрой! (стр. 125).

Но кроме этого светлого соцреалистического очерка хотел бы отважиться авторский коллектив (я думаю: «моѳ» отделение на Лубянке) спорить и лоб в лоб с «Архипелагом». Ведь сидели ж они целым отделом пять лет над тремя его томами, что-то же надо выдать? А вот.

Я пишу: «Штрафные роты стали цементом фундамента сталинградской победы». — Так «может быть, капитан Красной армии Солженицын не знает, что штрафные роты были вооружены лѳгким оружием, а отнюдь не автоматами?» (Вот и проговорка: посылались на безответный убой?) Может быть, он не знает, что под Сталинградом действовали мощные бронетанковые силы и армия Чуйкова?

А всего-то надо уметь читать. Июнь и июль 1942, южная часть нашего фронта откатывалась опять безоглядно, как в 1941. И после сдачи Ростова сталинским приказом № 227 (27 июля) созданы были и стали быстро набираться из бегущих — штрафные роты. И безвыходный страх попасть в эти роты пересилил фронтовую панику. Так штрафные роты стали *цементом фундамента* победы.

«В 1918 году вообще не было НКВД [как Солженицын называет], НКВД был создан только 10 июля 1934 года, и никакой „Вестник НКВД“ в 1918 выходить не мог. И в этом весь Солженицын, он занимается выдумыванием» (стр. 173).

И в этом — весь гебистский коллектив. Ай-ай-ай, какой позор, не знать истории собственных родных Органов, сосцов, которыми питаешься. НКВД преотлично существовал с ноября 1917, и наркомом его был Григорий Иванович Петровский. (Поищите в своих библиотеках лучше — и «Вестник» найдѳте.) Но Феликсу Эдмундовичу такое раздвоение действительно не нравилось, и он подмял НКВД под ЧК: с 16 марта 1919 стал по совместительству также и наркомом внутренних дел. А позже и вовсе этот наркомат проглотил. Да впрочем, это в «Архипелаге» и написано (ч. III, гл. 1), читать надо.

Или ещё напирают: что это за пересказы о смертных пытках с чужих слов? То есть почему воспоминания пишут не те самые, кого запытали насмерть? — Так Александр Долган и сам, едва не с того света, напечатал в Америке. И другие книги недоморенных тоже появляются.

И вот всё, что за 5 лет наскребла Советская Власть в опровержение «Архипелага».

Зато с первых же дней потянули другим путѳм, полегче, — против автора: как бы заляпать, зашлѳпать его самого, тогда и «Архипелаг» заржавеет.

Но и против меня, вот времена: даже находился я в границах полного физического владения КГБ — их сил уже как бы не хватало просто придушить меня, и они звали на помощь — клевету. А теперь, когда я выброшен был из сферы их власти, теперь если когти, то надо было клепать многосуставные. Сперва они надеялись, что я за год обращусь на Западе в ноль, в забытое ничто. Когда ж увидели, что «Архипелаг» читается сверх ожиданий в миллионных тиражах, а я — не стѳрт, не уничтожен, — с новой силой схватились за клевету.

Однако тут испытали они историческое наказание: из-за того что коммунистический аппарат за десятилетия изверг из себя слишком много яда — консистенция его разжижилась, изобретательность скорпионовых мозгов понизилась. А ко мне они уже и применили ведь: и соцпроисхождение, и нац-

происхождение, и небылой плен, и сдачу целой батареи, и служил полицаем, и служил в гестапо, — а за всем тем теперь вот уже ничего не могли придумать позорнейшего, как... сотрудничество с ними самими! помощь — им самим, явным для всех негодьям! (Уже дозрели они до понятия, что в людских глазах сотрудничество с коммунистическим режимом — позорно.)

С другой стороны, в противостоянии художнику этот ядеродный аппарат имеет превосходную позицию (как, впрочем, и всякие недобросовестные враги): художник по природе своей откровенен предельно и даже запредельно.

В «Архипелаге», и не только в нём, я не шадил себя, и все раскаяния, какие прошли через мою душу, — все и на бумаге. Даже — просто об офицерском состоянии, которое во всеобщем быту воспринимается вполне естественно, и я ничем из него не выделился; даже — о гипотетических возможностях: что бы могли сделать в юности из меня и подобных мне. В этом ряду я не колебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи и присвоили кличку, хотя я ни разу этой кличкой не воспользовался и ни одного донесения никогда не подал. Я и нечестным считал об этом бы умолчать, а написать — интересным, имея в виду множественность подобных вербовок, даже и на воле. Из них, может быть, и две трети остаются потом без движения, — но они играют роль гипнотического завораживания массы. Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах показать: что можно из человека сделать. Показать, что линия между Добром и Злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. В свисте и вое перед высылкой, 2 февраля 1974*, я и сказал об этом публично:

«У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств... нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить их угодники. В этом — и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию».

А у ЦК и КГБ не только этого уровня понимания нет и не было, и не будет (и незачем!), но даже нет простого образумления: с чем можно высунуться, не влипнув (как моя «переписка» с Ореховым, или как та грубая их подделка «доноса» 1952 года). У КГБ если что и красное — то пальцы, то руки по локоть, отнюдь не щёки.

Вот, оказывается, и теми неудачами не обескуражились они. Теперь узнаю, что коллектив чиновников и перьев не только не дремал, но занялся, наконец, непримиримым и окончательным моим изничтожением. Такой методической научной работой: подменить этого Александра Солженицына от предков до потомков. Как переклеивают клетки мозаики, сменить все клетки до единой — и взамен выставить искусственного мёртвого змея из составленных чешуек. Переклеивали — не ленились. Сменён мой дед, сменён отец, сменены дядья, сменена мать, лишь затем сменены дни моего детства и юности, и взрослости, подменены все обстоятельства, все мотивировки моих действий, детали поведения — так, чтоб и я был — не я, и жизнь моя никогда не была жита. И уж конечно, подменён смысл и суть моих книг — да из-за книг всё и затеяно, не я им нужен.

И вот, наконец, их исследование появилось отдельной книжкой (на обложке неся, как на лбу, двойное, для верности повторенное, жёлтое тавро). Автором указан Ржезач (иностранец, хорошо!), издательство «Прогресс», ускоренный пролёт через типографию (от сдачи в набор до подписания к печати 10 дней), а тираж — скрыт, может быть, ещё и не решён, как не решена и цель: рискнуть ли продавать советским читателям (и тогда внедрить в их умы заклётое имя)? Пока решили распространять через спецотделы среди столичной публики, которая всё равно уже порчена, имя моё знает. А на Запад — толкать ли только эмигрантам, бесплатным подарком? или рискнуть перевести на языки? Да не подаст ли Солженицын на те издательства в суд?

* «Бодался телёнок с дубом», стр. 666.

В суд — не подам, могу их успокоить. Правоту нет нужды взвешивать с нечистью на юридических весах. Да и кто же судится с советским Драконом? (Да и он нас в лагеря посылал без суда.) Не найденных, не выхваченных или уже пробованных, но не сломленных свидетелей моей жизни — сотни, потому что и жизнь моя реально — была, как ни подменяй все клеточки. Но все эти свидетели — под советской завинченной крышкой, и не могу же я их вытаскивать под расправу.

А когда придёт время говорить безбоязно — так кого-то и в живых уже не будет?

В том и особая успешливость клеветы, когда её ведёт тоталитарное государство: в открытом обществе всякая клевета может встретить возражения, опровержения, встречные воспоминания, публикацию документов, архивов, писем. Под коммунистическим сводом ничто подобное не возможно: возразить негде, и одно движение в пользу оклеветанного грозит гибелью и защитнику.

Не я первый. Все враги большевизма до единого были оклеветаны этой ядоносной властью ещё при её становлении. Затем в СССР был оклеветан каждый осуждённый, сколько-нибудь известный, — от Пальчинского, Шляпникова, профессора Плетнёва до Огурцова и Гинзбурга в наши дни. И над многими мы трудились и трудимся, чтоб очистить их.

Итак — отвечать ли мне теперь? Против меня кто только не писал за эти годы — я никому не отвечал, я работал своё. И то же АПН два сборника клевет про меня распространяло на многих языках бесплатно — я не отвечал. Но представить миллионы наших соотечественников сейчас: в Советском Союзе не достанешь ни «Архипелага», ни «Телёнка», а только издательство «Прогресс». А со смертью моей и ещё многое канет — и тем более присохнет грязь — она насадчива. Ведь — кто клеветает? Самая могучая сила в современном мире.

В борьбе никогда не знаешь, куда тебя враги затянут. 11 лет назад я начал у себя в Рождестве эти очерки современной литературной борьбы. Вот уж не мог предположить, что через 11 лет вынудят меня, уже на другом континенте, перевести страницы этой книги на моё дальнее-предальнее детство и прошлую жизнь, всю вывернутую врагами.

Это — как смрадно-клубливое недогоревшее пожарище, через которое ты идёшь и идёшь, и одежда твоя, и кожа, и волосы всё пропахиваются и пропахиваются, и долго ты просто отмахиваешься как от помешного пустяка. Но в какой-то момент вдруг понимаешь, что неизбежно начать отмываться, оттираться, иначе это въестся, останется на тебе до смерти и даже после смерти, и на сыновьях, и на внуках твоих.

Конечно, говорит пословица: быть — как смола, а небыть — как вода. Так и понадеяться: само отпадёт, не пристанет. Но иной другую пословицу вспомнит, хоть и над «Прогрессом»: что, мол, дыма без огня не бывает. Ведь это сколько лет надо с чекистской породой перепестоваться, чтобы верно знать: у них — дым получают химическим способом, без огня.

Так кто же этот Ржезач? Это — чех и отчасти даже диссидент: в 1967 буд-то присутствовал при чехословацком бунтарском писательском съезде, в 1968 вместе с вольнолюбивыми чехами хлынул в эмиграцию (тогда ли уже имея задание от ГБ или попозже его получив), вместе с ними семь лет негодовал на советскую оккупацию, затем исчез в одну ночь из Швейцарии, а через сутки выступал по чехословацкому радио, понося эту эмиграцию и деятелей её, и все подробности её жизни. По-русски это называется: *перемётная сума*. Собственно, для понимающих людей, рисунок автора уже и закончен.

Да и сам он открывает книгу «глубокой благодарностью Союзу писателей СССР, Союзу журналистов СССР, Агентству печати „Новости“, „Интуристу“, „Совтуристу“ и всем советским гражданам, которые отнеслись с необыкновенным радушием», бестрепетно «любезно принимали» иностранца и охотно

давали интервью под стенографистку или магнитофон. Не упрекните, что Сумá неблагодарно пропустил ГБ: оно — в каждом из этих учреждений сидит, а ещё беседовали с ним и прямо пенсионеры КГБ — даже «в нарушение служебного долга», и — «представители советского правосудия»*.

Однако этот ржец, этот лжец пишет книгу, оказывается, не как посторонний учёный биограф, но (сразу же объявляет нам желтоклеимённый «Прогресс», на первой странице): он «принадлежал к узкому кругу друзей Солженицына, более того, был его сотрудником. Достаточно хорошо узнав писателя...», и сочинив много тетрадей под названием «Беседы с Солженицыным» (есть такая сноска у него, стр. 108), отсюда уже сам себе приводит «цитаты».

Вот, привыкай не привыкай к чекистским ухваткам, а до конца всё равно не привыкнешь! Ну всё-таки, не может же человек придумать знакомство, если его в о все никогда не было? Ну как же вообразить, что этот лжец никогда не сказал со мной ни единого слова, если он по всей книге разбросал, как заливался со мною в беседах, то «сидел рядом за столом», то я его «грубо хватал за пуговицу», то собирался он мне продать холодильник, то «в одну из наших встреч Солженицын сказал мне», то «в первые дни знакомства я был просто очарован», а именно: лауреат в гостях сидел в филигранном кресле Людовика XV (в квартире, «обставленной модерн»), на нём были туфли, напоминающие лапти царских времён, на лице его были чахоточные пятна, он звучно прихлёбывал чай, никому в комнате не позволяя пить расставленные огненно-золотистые вина, никому не разрешая задавать вопросы, сам гортанно выкрикивал с широкими пророческими жестами... А между тем сей автор никогда не был со мной знаком, не пожал руки, не встретился взглядом, не то что бы там — близким сотрудником или приятелем. Даже видел ли он меня издали в толпе — тоже вопрос. Три раза я появлялся в собрании чехов: один раз у супругов Голубов, вскоре после высылки, в марте, — и эту встречу он больше всего и расписывает, хотя там не был, да ещё и, пренебрегая памятью тридцати человек, переносит её с марта на май; второй раз — в чешской картинной галерее (и её переносит с марта на апрель); а третий — на массовом митинге на площади в 6-ю годовщину оккупации Чехословакии, может быть там в темноте он и был. (Я допускаю, что он и Хозяев обманул: он и им ещё из Цюриха соврал, что задание выполнено, познакомился. А так как его местонахождение всегда было Хозяевам известно, и на мартовскую встречу к Голубам и в галерею он по времени не попадал — вот он их и перенёс.)

Но что правда — очень он добивался познакомиться, фрау Голуб уж так за него ходатайствовала: замечательный чешский поэт, и мечта его — перевести на чешский «Прусские ночи»; правда, русский у него не силён, но мы ему подстрочник сделаем. Ну, пусть попробует. Но для этого он должен с вами встретиться и познакомиться, он так жалеет, что не попал на нашу встречу. Нет. Прошло время: он переводит! но должен с вами познакомиться! Не сейчас. Так и отвёл я, в глаза не видел. Вдруг настояния участились, участи-

* Теперь-то, от тогдашнего ростовского майора КГБ Бориса Иванова, мы прямо знаем («Бодался телёнок с дубом», стр. 678), что в Ростов Ржезач приехал в компании с руководителем московской спецгруппы ГБ и с майором чешского ГБ Вацлавом Шилеа. Там Ржезача «знакомили с отобранными руководителем спецгруппы материалами, которые тенденциозно, однобоко преподносились Томашу. Такой сценарий применялся во всех случаях, ибо на этот счёт всегда имела строгая установка центра. В результате... появилась книга Томаша Ржезача...».

От Бориса же Иванова посмертно дошла до меня его собственноручная записка (позже, чем его воспоминания, так что не попала она на своё место в «Телёнке»), где он перечислил участников попытки убить меня в 1971. Приехавший из Москвы руководитель группы — Рогачёв Вячеслав Сергеевич, имел «прикрытие АПН», то есть удостоверение и визитную карточку корреспондента АПН. Убийца-исполнитель — «подполковник Гостев, имя, кажется, Виктор. После операции был направлен резидентом контрразведки в Болгарию» — вон куда после неудачи со мной потянулся след улучшенного «болгарского зонтика», убившего-таки позже в Лондоне Георгия Маркова! Там Гостев «вёл работу среди советских граждан и иностранцев на Золотых Песках, его резиденция находилась в г. Варна». И ещё — «помощник Рогачёва — Гусев Владимир». (Примеч. 1994.)

лись — затем приходит фрау Голуб с большими глазами: «Исчез. Жена в отчаянии, труп ищут в Цюрихском озере». А через день взбурлила вся чешская колония: выступил по пражскому радио! (То-то и торопился познакомиться.)

Но поэту-комбинатору не трудно и сочинить. Наружность мою? — брать с фотографий, их много. Что я ему говорил? — тянуть из моих книг. И во многих случаях он так и подставляет кусками, чуть переиначив, — из «Телёнка», из «Письма вождям», или модулирует «Из-под глыб». Лишь более интимное, глубоко-приятельское придумывает сам: «Поеду в Соединённые Штаты, хочу уничтожить Фулбрайта и [часть] сенаторов». Но чего Сума не вытянул — это быта моего семейного и дома. Ещё когда я где-то ездил, то можно уследить по газетам, и: «в Америке Солженицын посещал учреждения, которые так или иначе подвластны ЦРУ» (именно: Сенат, Библиотеку Конгресса, профсоюзный центр, Колумбийский университет, Дивеевский монастырь и Толстовскую ферму). Но — когда я в Цюрихе и дружески с ним общаюсь? Вот тут, не обесудьте, ничего не мог придумать Сума — ни домашних, ни единой комнаты в моём доме, ни мебели, не наскрёб ни осколка. И сочинить мог только стандартно-детективное: задёрнутые занавески машины, в сопровождении двух чехов-телохранителей (ни занавесок никаких, ни телохранителей никогда) уезжал «каждое утро на дачу», место которой «держалось в строжайшем секрете даже от жены». (Только фотографии наши с ней там печатались в журналах, да под Четвёртым Дополнением «Телёнка» подписано: *Штерненберг*.)

Так мой «сотрудник по Цюриху» чего совсем не берётся рассказать — это о Цюрихе.

Зато обо всей остальной моей жизни — лавину. Правда, извините, не по порядку: что-то «мне не захотелось писать биографию такого низкого человека, как А. Солженицын. И несколько изменив литературную форму... я отказался следовать строгой хронологической последовательности».

О да, конечно. Так — насколько же легче! Ось времён — это непроглотный стержень, его не согнёшь, не угрызёшь, не пропустишь, вечно привязан к этим точным датам, точным местам, пришлось бы описывать совсем ненужные периоды — как этот Солженицын выбивался на фронт из обоза или как умирал в раковом корпусе, ссыльный и одинокий.

И Сума избирает такой приём: поэтический хаос. Одни и те же эпизоды в разодранном виде разбросать по разным частям книги, чтоб их казалось много похожих и не было бы охотников взяться за труд — снова их собрать и сопоставить. И одни и те же заклинания в разных местах повторять и повторять для убедительности. На свободе от хронологии и системы — все построения Сумы. Но упрощая задачу читателю, выделим всё главное, что удалось ему открыть:

1. Дед — грозный тиран округа, таинственно исчезнувший.
2. Отец — белогвардеец, казнённый красными.
3. Дядя — разбойник.
4. Солженицын рос с детства припадочный.
5. С детства же — антисемит.
6. С детства же — патологический честолюбец.
7. Трус. «Самый трусливый человек, которого когда-либо знали».
8. Вор.
9. Развратник.
10. Писатель-предатель.
11. Сел в тюрьму нарочно: хитро подстроил собственный арест в конце войны.
12. Старался засадить в тюрьму друзей и знакомых (но КГБ никого не тронуло из доброты и мудрости).
13. Весь лагерный срок — ретивый стукач.
14. Лицемерно искал одиночества под предлогом писательства.
15. Все книги, особенно «Архипелаг», написаны из злобы и честолюбия.

16. «Для солженицынского литературного метода типична конъюнктурная ложь».

17. Мерзким трюком соблазнил почтенное КГБ захватить свой литературный архив.

18. Подлым приёмом уклонился от поездки за Нобелевской премией.

19. Хитрым манёвром вынудил КГБ захватить спрятанный «Архипелаг» — и так заставил выслать себя из Советского Союза.

20. «Во всём, что говорит и пишет Солженицын, проявляются верные признаки душевной болезни. Представляет интерес лишь для психиатра». (Последний диагноз — был бы очень подходящий, только *до* высылки.)

Далеко-далеко ещё не все результаты исследования, но главные — тут.

Теперь — метод доказательств. Он напоминает дореволюционный юмористический спектакль «Вампука». Например, там показывалось бесконечное гордое оперное шествие воинов таким образом: всего была их полудюжина, они величаво прошагивали по сцене, а потом за кулисами, согнувшись, но видимо для зрителя, быстро трусили в затылок заднему.

Так и у Сумы. Собрать бы всех свидетелей жизни Солженицына — это необозримо, из сердца выбьешься, сколько лишних имён, не всех и найдёшь, а кого стал бы спрашивать — ещё подходящее ли покажут? Ещё не побрезгуют ли с тобой разговаривать? Как бы для осторожности обойтись полудюжиной, зато надёжных? И вот среди особенностей фантастически-зловредного Солженицына открыл Сума такую: всю жизнь его сопровождали только школьные друзья: Кирилл Симонян, Кока Виткевич, Шура Каган да жена Наташа Решетовская. А за этим кругом не было у Солженицына ни студенческих однокурсников, ни профессоров, никто с ним не воевал в одной части, не знали его ни десятки офицеров, ни солдаты. Не знали его ни однокамерники, ни однолагерники, ни односылники, ни учителя, ни ученики по школам, где преподавал, ни знакомые литературных лет (только разве Лёва Копелев). Нет, правда, одну сокурсницу Сума всё-таки нашёл: запомнил её редкое имя Мария, а отчества, простите, не запомнил, а что у людей ещё бывает и фамилия, Сума вообще не знал, так тем более не спросил, даже и не извиняется (стр. 111). Зато эта Мария поведала чрезвычайно ценный эпизод из юности Солженицына: как *она ему* рассказала сказку о крокодиле и скорпионе (скорпион — разумеется, Солженицын). Вот и всё. Зато уж те, школьные, друзья — пойдут теперь через всю книгу. Они — проверены, обо всех заранее известно, что согласны, что сотрудничают (Виткевич давал несколько интервью, Симонян — собственную брошюру против Солженицына написал, Решетовская — книгу, а сейчас благодарит её Сума за любезное разрешение строить на той книге и новое повествование).

Но опорочить человека только с детства и только по смерти — этого тоже недостаточно. С тех пор, как марксистское мышление стало господствующим в нашей стране, техника опорочения всегда начинается с родителей и прародителей. Этому рецепту следует и Сума. Однако по материнской линии не так привяжется, фамилия не та, и потому Сума минует деда по матери, Захара Фёдоровича Щербака, действительно богатого человека (впрочем, пастуха из Таврии, разбогатевшего на дешёвых арендных землях северо-кавказской степи) и которого, действительно, на Кубани в округе многие знали со стороны щедрой и доброй (после революции 12 лет бывшие рабочие его кормили). А всё имущество его — 2 тысячи десятин земли и 20 тысяч овец, приписывает деду по отцу, Семёну Ефимовичу Солженицыну, рядовому крестьянину села Саблинского, где таких богатств и не слышали никогда, и приписывает ему же 50 батраков (ни единого не было, с хозяйством он управлялся сам и четыре сына): «человек, прославившийся своей жестокостью далеко за пределами собственного поместья» (то есть хутора, а жестокостью — к своим детям? к домашним животным?), «крупный землевладелец, который мог позволить себе всё» (и что же именно? оказывается: отдать младшего сына в гимназию, потом отпустить в

университет, — всё та же дремучая легенда, что в России учиться могли только дети богачей, а в России учились многие тысячи «медногрощёвых» и многие — на казённое пособие). Но — что бы ещё о нём солгать? — ведь всё-таки дед по отцовской линии — это славное будет пятно. Но — что солгать о старом крестьянине, не выезжавшем из своего села? И сочиняет гебистский коллектив: «После Октябрьской революции он долго скрывался и затем исчез бесследно».

Ври на мёртвого! Семён Солженицын как жил в своём доме, так и умер в нём — в начале 1919 года. В Саблю Сума не ездил (туда дорога очень тряская), не узнавал: менее чем за год семью Солженицыных тогда посетило четыре смерти (беда по беде как по нитке идёт) — они начались со смерти моего отца 15 июня 1918 года, и в этой быстрой косящей полосе выхватили другого сына, Василия, и дочь Анастасию, и старика-отца.

В семью Солженицыных настолько Сума не вникал, что даже не знает ни имён братьев отца, тем более сестёр, ни — сколько их было. Но о каком-то брате, «мне к сожалению не удалось установить ни даты его рождения, ни даже его имени», пишет: «он был бандитом. Выходил на большую дорогу, чтобы грабить путников и повозки. Никто никогда не узнает, как он кончил». Впрочем: «это лишь неподтверждённое предположение» (стр. 24).

Ай, Сума, но зачем же неподтверждённое предположение в такой научной книге? Ведь оно не украшает. Два оставшихся брата Солженицыных, Константин и Илья, продолжали крестьянствовать в Сабле до самого прихода разбойников-коллективизаторов. Один, к счастью для него, умер перед самым раскулачиванием, а всю его семью и другого брата сослали в Сибирь в том потоке.

Тем не менее удар кисти состоялся, и какой эффектный: Александр Солженицын просто из рода разбойников! И это составит «ещё один глубокий шрам: Солженицын не может, как другие молодые люди, гордиться своими родными... Страх разрастается до гигантских масштабов».

Это скрывать! Не богатого деда, не отца-офицера, — скрывать дядю-бандита! Лепечущий напев для тех, кто не знает, что бандиты были любимыми членами большевизской партии до революции («экссы») и успешливыми сотрудниками ЧК после неё — сколько же их повалило в ЧК! Бандиты — шаловливые герои советской литературы в эпоху её расцвета. Уголовники всегда были для советской власти «социально близкими».

Но чернедь — не чернедь, если она не промазана через отца. Главное — отец. Какую же ложь выдвинуть о нём? Хронология очень бы мешала Суме, а без неё он может делать лёгкий передёрг: будто отец мой умер не за 6 месяцев до моего рождения, а через 3 месяца после (без даты, конечно), и это «известно достоверно» — и этим сюжетным ходом он вдвигает папину смерть в разгар гражданской войны — на март 1919. Время смерти само подталкивает: должен стать лютым белогвардейцем и быть убит красным мечом. И всё же гебистский коллектив не споровился бы лучшим образом, если б на помощь не поспешил Кирилл Симонян. Сперва в своей брошюре, затем и в долгих дружеских беседах с Сумой он распахнулся издушевно: «Таисия Захаровна (моя мама. — А.С.) ему одному [Симоняну] поведала, что Исай Семёнович Солженицын во время гражданской войны был приговорён к смертной казни».

Вот даже как: не в бою честном убит, но — казнён. И вот как: сыну родному мать не сказала, и никому на земле, но чужому мальчику, чтобы тот донёс до потомства.

...Ах, Кирилл, Кирилл! Как же язык твой извернулся оболгать мою покойную маму, покойного отца — и за что? В одной ли уверенности, что твоя жизнь уже никогда не пересечётся с ними?..

Я с волнением переносишь на 50 лет назад в ту эпоху, конца НЭПа, первой пятилетки, — кто не дышал переливами её жестокого воздуха, тот не знает. Вот и ещё пишет чекистский перебежчик: что у мальчика висел над столом портрет отца, царского офицера, и он ему поклонялся. Да виси тогда такой портрет, то лишь до первого захожего — и разгромлена была бы эта квартира и быть может арестована мать. Царский, не царский, — слово «офицер» было

леденящим сгустком ненависти, его нельзя было вслух произнести среди людей, это была уже — контрреволюция. Незадолго перед тем офицеров уничтожали десятками тысяч подряд, не разбираясь, топили баржами. Фотографии моего отца мама сохраняла только студенческие (и то были допросы: что это за форма?), а три военных ордена его за германскую войну у нас были закопаны в земле. Ведь Россия была в беспамятстве, да что я! — само слово «Россия» без прилагательных «старая, царская, проклятая» тоже было контрреволюцией, только в 1934 это слово нам вернули.

И я мальчиком — умел хранить тайны. В четыре года я уже видел чекистов, в остроголовых будёновках прошагивающих через богослужение в алтарь. В шесть лет я уже твёрдо знал, что и дедушка и вся семья — преследуются, переезжают с места на место, еженощно ждут обыска и ареста. В девять лет я шагал в школу, уже зная, что там меня могут ждать допросы и притеснения. И в десять лет, при гоготе, пионеры срывали с моей шеи крестик. И в одиннадцать, и в двенадцать меня истязали на собраниях, почему я не поступаю в пионеры. И чекисты на моих глазах уводили дедушку (Шербака) на смерть из нашей перекошенной щелястой хибарки в 9 квадратных метров. Я — умел хранить тайны! И знал о закопанных папиных орденах. И мама не имела оснований скрыть бы от меня подлинную смерть отца — и даже до моих 23 лет, как уходил на фронт, а открыть — однокласснику.

Но самое характерное во всех этих лжах — не подхватистость Сумы, не бессовестность Симоняна, — но безмерное надмение Победителей, Оккупантов, надмение ЧКГБ: что настолько уже огнём и мечом они прошли по России, настолько изничтожили все государственные архивы и все частные, что нигде на русском пространстве не могла уцелеть ни одна нежеланная им бумага. А уж Солженицына трепали, тягали — уж у него-то наверняка ничего нет. А у меня, стараньем покойной тётки Маруси, как раз-то и дохранилось! Хотите, господа чекисты или цекисты, — метрика Ставропольской духовной консистории (летите, выскребайте запись, рвите лист!): о рождении отца моего и крестьянском звании Солженицыных, как Семёна Ефимовича, так и Пелагеи Панкратовны? Хотите — обыкновенное гражданское свидетельство, удостоверение причтом Вознесенского собора города Георгиевска, Владикавказской епархии, Терской области, о смерти отца моего от раны 15 июня 1918 и погребении его 16 июня на городском кладбище? Как понимаете, ваши ревтрибуналы, расстреливая у ям, не посылали за священником, дьяконом и псаломщиком.

После несчастного нелепого своего ранения на охоте папа семь дней умирал в обычной городской больнице Георгиевска, и умер-то по небрежности и неумению врача справиться с медленным заражением крови от вогнанного в грудь кроме дроби ещё и пыжа. И похоронен он был в центре города (ещё и фотография выноса гроба из церкви долго хранилась у нас), и я сам хорошо помню, как посещали мы его могилу до моих 12 лет, и где она находилась относительно церкви, пока не закатали то место тракторы под стадион. А когда после всех лагерей я приехал в Георгиевск в 1956 — сохранившиеся родственники, ближние и дальние, снова рассказывали мне о том несчастном ранении, да вот и свидетельства дали в руки.

Мне самому — нисколько не горда такая история, скорее смутительна. Когда я взялся описывать отца в те годы — студента, изрядно левых настроений, как все тогда, но на войну пошедшего добровольно, но с георгиевским крестом за растаскивание горящих снарядных ящиков, но потом председателя батареинного солдатского комитета, но досидевшего на фронте до февраля 1918, когда уже Ленин с Троцким предали и тот фронт, и тех последних солдат, и четверть России, — как силится я угадать, понять: с каким же настроением возвратился мой отец на Северный Кавказ? В начинавшейся борьбе — где были его симпатии? и поднял ли бы он оружие, и против кого именно? И как бы дальше-дальше-дальше протягивалась бы его судьба? как это мне теперь угадать? Я знаю, как неопытно, как искажённо бывает наше понимание

вещей, я и сам потом отдал молодые симпатии чудовищному ленинизму — а по сегодняшнему своему чувству, конечно, горд бы я был, если б отец мой во-евал против захватчиков, — в Белом ли движении, или ещё лучше — в крестьянском, которое четыре года трясло их коминтерновскую империю по всем раздолом, никак не давая поджечь мировую революцию через Будапешт, Варшаву и Берлин. И в той борьбе если б и убили отца — это был бы подвиг его и зов ко мне. Но нет: он умер от несчастного случая на охоте, ещё прежде, чем определились фронты гражданской войны.

Моей покойной матери бесстыжее перо Сумы коснётся потом ещё раз: «Прибыв на короткий срок из воинской части по вызову умирающей матери, он предпочёл провести ночь у возлюбленной. Мать скончалась, так и не дождавшись сына».

Но — не было такого вызова, лгун. (Да «по вызову умирающей матери» и не отпускает советский фронт.) О смерти её, 17 января 1944 в Георгиевске, я даже и не знал, письмо от тётей пришло ко мне с большим опозданием. Тяжко виновен я перед матерью, но не в том, что не приехал, а в том, что свой офицерский аттестат (он мог быть выписан лишь на одно лицо, не на два) я выписал не на мать, а на излелеянную молодую жену Наташу Решетовскую (маме только переводы) — и тем доставил военкоматское покровительство жене в казахстанской эвакуации, а не больной в Георгиевске матери. И потому мама числилась не матерью офицера, а просто гражданской женщиной. И две тётки не имели, на чём отвезти покойницу, и неоплатна была копка могилы в каменноморозной земле, и опустили её в свежую могилу её брата, умершего двумя неделями раньше, да кажется туда ж — и несколько умерших в госпитале красноармейцев.

А поездка моя на «короткий срок» была двумя месяцами позже, в марте 1944, и «ночь провёл» я не у возлюбленной, но, действительно, в очень странном месте: в высочайшем закрытом правительственном санатории Барвиха. Что за чудо, как? Сейчас, страницами позже.

Наконец от родителей повествование переходит ко мне, да к детству, да именно к старому шраму тех лет. Сперва, думаю, мысль о нём профессионально родилась у детективов КГБ при кабинетном рассматривании моих фотографий: заметный, прямо на лбу, ведь какая находка при слежке, при опознавании, а может быть и уголовную историю можно бы пристроить? Да больше того: из этого шрама можно, при умении, сделать открывающий ключ ко всей жизни преступника. Если правильно этот шрам повернуть, его можно назвать даже «духовным рождением». И вот, *единою волей*, этот шрам занял самое увертливое место — и книги Решетовской, и брошюры Симоняна, и теперь научно-углублённого труда Сумы, который, впрочем, более чем наполовину повторяет версии Решетовской: та очертила некоторые стандартные блоки, на которых затем и будет строиться вся стандартная клевета.

Никак не предполагал я отзываться на книгу женщины, перед которою виноват. Но сейчас, когда она органически вплелась в слишком серьёзный ряд, приходится нечто и сказать. Задачи «живого свидетельства» в ней понята странно: большая доля посвящена событиям, которым Решетовская никогда не была свидетелем. Она берётся описывать лубянскую камеру, быт на шарашке, вообще лагеря, прототип Шухова искать в батарейном поваре (никогда им не был). Описывает мою трёхлетнюю ссыльную жизнь, будто была её соучастницей, будто не именно там покинула меня, душимого раком и в непрорываемом одиночестве. И даже историю моей болезни берётся излагать, о самом смертном моменте, декабрь 1953: «состояние приличное». Напротив, шесть последних лет, после 1964, нашей совместной интенсивно-мучительной, раздирающей жизни перед разводом — обойдены вовсе, тут книга обрывается.

Даже трудно поверить, что писал человек, бывший мне близким. Так отдалённо-отстранённо упоминает смерть моей матери, как будто совсем не имела на ту судьбу влияния. Никогда не заметила никакой внутренней линии моей жизни, ни страсти к поиску исторической правды, ни любви к России, всё это заменено единственным движущим мотивом — «быть наверху». (А легче всего мне было, после хрущёвской ласки,

остаться «наверху» и помогать казённым перьям.) Книги мои цитирует недобросовестно, с натяжкой обращая цитаты против меня.

Но обо мне — пусть и всё это, и хуже. Однако в какой чёрный момент не остановилась она перед нашим братским могильником, откуда уже никто не простонет, — и публично назвала «Архипелаг» сборником лагерного фольклора, разукрашенных рассказов неизвестных людей, произвольно нанизанных мною. (Именно в те годы, когда я собирал показания, она отвращена была от моей работы, отталкивалась от неё, не знала тех расспрошенных эзков и ни при одном рассказе не присутствовала.)

С тем большей лёгкостью рисует она трогательную заботу КГБ, защищающую честь невинных*.

Итак, отчего ж этот шрам? О, это леденящая загадка. Оказывается, Наташа Решетовская, с этим тёмным человеком состоявши в браке, с перерывом на другое замужество, 25 лет, а проживя вместе 15, никогда (по деликатности, по нерешительности?) не осмелилась спросить у мужа: от чего этот шрам? (Разумеется, узнала в первых же студенческих переболтках. Сама ли пишет, пером ли водят, задумались бы: что пишут? Какое ж это замужество, если у мужа стыдно спросить о шраме на лбу?)

Итак, по сюжете, загадка о шраме продолжала и продолжала мучить Наташу — и вот, рассказывает она в своей книге, через многие годы, уже после развода, осмелилась спросить о том друга нашей общей юности Кирилла Симоняна. А Кирилл — возьми да и знай. А Кирилл — к тому же и врач, да не просто хирург, но универсальный профессор медицины, который знает всю её и вокруг неё и особенно психологию, патопсихологию, фрейдовский психоанализ и всё, что может пригодиться. И он с лёгкостью даёт объяснение мучительной загадке: Солженицын в детстве был очень впечатлителен, не переносил, когда кто-нибудь получал оценку выше его (впрочем, таких и случаев не было), — становился белым как мел и мог упасть в обморок. Но как-то учитель Бершадский начал читать ему нотацию, и от этого Солженицын упал — таки в обморок и рассек лоб о парту.

Вот и прекрасный старт для безмерного честолюбия насквозь всю жизнь. Вот что может дать один только детский шрам!

Может, но при условии дружной согласованности всех служебных шупальцев КГБ. А это, увы, как раз и не случилось. Через три года появился (может быть, по другому пропагандистскому отделу, может быть, не ЧК, а ЦК) собственный опус доктора Кирилла Симоняна — и о том же самом шраме тот же самый доктор рассказал совсем другую историю: «Поссорившись с Шуркой Каганом, Саня обозвал его „жидом“, тот ответил ударом. Падая, Саня рассек лоб о дверную ручку». (Внимание! выдвигаем монархо-фашиста.)

Вероятно, сами очнулись. И так как книгу Решетовской коммунистические коммивояжёры уже протолкнули по всему свету, то эссе Симоняна не выпустили дальше глухой Дании. Служебное упущение, кого-нибудь и наказали. Но Кирилла Симоняна, заступимся, нельзя упрекнуть: дело в том, что об этом школьном случае он действительно никогда достоверно не знал: случай произошёл 9 сентября 1930 в классе 5 «а», в самом начале учебного года, а Кирилл только в этих днях впервые перевёлся из другой школы, да в класс 5 «б», был ещё робким новичком, он и не видел и слышать толком не мог. Так что для ЧК или ЦК он мог бы дать ещё третью или четвёртую версию. Но вопрос в том — какая всего полезнее? Полезнее теперь эти две разошедшиеся увязать — и кто же это сделает лучше самого Симоняна?

И доктор Симонян, диагност и эрудит, легко даёт теперь Суме профессорское решение: сперва Солженицын побледнел от уязвлённого самолюбия («страшно было смотреть»), а затем уже проорал антисемитский выкрик. А тогда Каган его толкнул — и так он разбился лбом о парту. (Если толкнул — очевидно, всё-таки, спереди? — то можно разбить только затылок?)

* Теперь опубликован ряд официальных документов касательно книги Н. А. Решетовской, например [23]. (Примеч. 1995.)

Ну да Сума имеет же возможность ещё поехать в Ростов-на-Дону и с помощью ГБ разыскать действительного второго участника того случая — Шурика Кагана. И из допроса его решительно выводит: всё подтвердилось! И даже выносит из этого интервью новые украшения: за несколько дней до события четыре верных друга — Каган, Солженицын, Симонян и Виткевич, надрезают свои пальцы старым скальпелем, смешивают кровь и клянутся в братстве. И вот теперь тот же Бершадский из-за антисемита Солженицына навсегда исключает Кагана из школы «имени Малевича». (Никогда такой школы не было. Сума полагает, наверно, что это — художник, а то был уже уволенный за политическую неблагонадёжность прежний директор школы, а была школа — имени пса Зиновьева, но тоже разжалована.)

Иван Иванович фан-дер-Флит
Женат на тётке Воронцова.
Из них который-то убит
В отряде славного Слепцова*.

Однако клятвы тех четырёх мальчиков не то что в те дни, но ни в том году, ни в следующем быть не могло по той нескладице, что Виткевич эти годы учился в Дагестане, а Симонян сроду в мальчишечьи игры не играл.

Но был действительно отряд.
Да только вовсе не Слепцова:

со многими мальчишками, вооружённые деревянными мечами, мы захватывающе играли в разбойников по заброшенным подземным складским помещениям, каких немало в ростовских дворах, и среди тех мальчишек действительно был Шурка Каган. И он предлагал: украсть на Дону лодку и бежать в Америку.

А 9 сентября он принёс в школу финский нож без футляра (вот откуда у Сумы и выплыл «старый скальпель») — и мы с ним, именно мы вдвоём, стали с этой финкой неосторожно играть, отнимая друг у друга, — и при этом он, не нарочно, уколол меня её остриём в основание пальца (так понимаю, что попал в нерв). Я испытал сильнейшую боль, совсем не известную мне по характеру: вдруг стало звенеть в голове и темнеть в глазах, и мир куда-то отливать (та самая «страшная бледность», в которой меня уличили). Потом-то я узнал: надо было лечь, голову вниз, но тогда — я побрёл, чтоб умыть лицо холодной водой, — и очнулся, уже лёжа лицом в большой луже крови, не понимая, где я, что случилось. А случилось то, что я как палка рухнул — и с размаху попал лбом об острое ребро каменного дверного уступа. Разве о парту так расшибёшься? — не только кровь лила, но оказалась вмята навсегда лобовая кость. Перепуганный тот же Каган и другие, не сказавшись учителям, повели меня под руки под кран, обмывать рану сырой водой, потом — за квартал в амбулаторию, и там наложили мне без дезинфекции грубые швы (советская бесплатная медицинская помощь), — а через день началось нагноение, температура выше сорока и поболел я 40 дней.

А как же — антисемитский выкрик и увещания Бершадского (у Сумы сцена написана так, будто допрос происходил ещё при льющей со лба крови)? А это было — полтора годами позже, и выкрикнул совсем другой мальчик — Валька Никольский, и совсем третьему, Митьке Штительману, они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о «кацапской харе», а я сидел поодаль, но не выказал осуждения, мол, «говорить каждый имеет право», — и вот это было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той следующей истории был совсем ни при чём. И Александр Со-

* Цитируется стихотворение А. Апухтина «Кумушкам». (Ред.)

ломонович Бершадский действительно со мной беседовал и своею властью (завуча, а не классного руководителя, как плетёт Сума) и своим пониманием пригасил дело, сколько мог.

А как же — исключение Кагана из школы за толчок меня к парте? А это было *через два года*, в сентябре 1932, и исключали из школы (тот же Бершадский) нас троих — именно: меня, Кагана и ещё Мотьку Гена, а исключали нас за систематический срыв сдвоенных уроков математики, с которых мы убежали играть в футбол. Я же — ещё и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз, и закинул за старый шкаф. (Неукоснительно отказывая мне в чём-либо человеческом, а только змеиное прилепляя, — даже и тут изльгает Сума, что я на футбол не бегал, а оставался на уроках. А вспомнить этот наш футбол! — ведь в ограде закрытой недоразрушенной тогда церкви Казанской Божьей Матери, на площадке у бокового притвора, ударяя мячом то в решётчатое оконце, то в надгробные камни священнических могил. И это — я, ещё два года перед тем ходивший с мамою в последний незакрытый собор, и всё это — соединяется в легконосимой мальчишеской груди — ау! корнер! пенальти! — свищет над Русью ветер запустения, из-под которого, кажется, она никогда не встанет.) Грозно объявил Александр Соломонович наше исключение (как раз в те дни только и появился первый указ о праве исключать, в предыдущие годы и исключать не имели права, Сума опять не сверился со святыми) — и мы с Каганом и Геном, убитые, ничего не говоря дома, дня три приходили под школу сидеть на камешках, пока девчёночья «общественность» не составила петицию, что класс «берёт нас на поруки», — и Бершадский дал себя уговорить.

И справками, в конце концов,
Одна лишь истина добыта:
Иван Иваныч Воронцов
Женат на тётке фан-дер-Флита.

И за всё это, пишет Сума, я «отомстил» Кагану через 30 лет: такую фамилию (редкую, как Иванов) дал стукачу в «Круге первом».

Но чем ближе к литературным занятиям этого треклятого Солженицына, тем неизбежнее должен открыть Сума и движущие его мотивы, источники фальшивого вдохновения (сожигающее честолюбие) и принцип выбора тем (что-нибудь, «что наиболее модно в данной ситуации»), да и — наставников его первых шагов. А наставники, оказывается: прежде всего Кирилл Симонян, потом Кока Виткевич и Шурик Каган, хоть он уже в другой школе, потом и мы по разным институтам (неважно, это нужно для вмпукского шествия воинов). И долгие годы они собираются исключительно всегда на неметеных ступеньках проходной железной лестницы в многолюдном дворе Симоняна — и именно только им и только туда приносит Солженицын на суд свои творения и именно здесь он всегда получает достойный суровый приговор, который ещё мог бы его спасти от губительных литературных увлечений. И именно здесь, над первыми главами самсоновской катастрофы (значит, уже им по 19-20 лет, студенты, но всё на той же дворовой лестнице), «они совершенно независимо один от другого откровенно и прямо сказали Солженицыну: „Слушай, Саня, брось! Пустая трата времени. Сумбурно как-то. Не хватает у тебя таланта”».

И вот это — и был момент рождения писателя-предателя (сперва — друзей, потом — родины, потом всего человечества)! «Это смертельно ранит Солженицына. Он вознамерится отомстить друзьям», что и станет ведущим импульсом всю его остальную жизнь. «С того момента, как Кирилл произнёс свой окончательный приговор литературным способностям Солженицына, Александр питал к нему бессильную злобу и почти животный страх. Страх! Он по-настоящему стал бояться открытого и пронизательного взгляда Кирилла Симоняна... Как ему спрятаться от мудрого взгляда по-южному тёмных и горящих глаз Кирилла Семёновича Симоняна? Они всегда будут напоминать ему о его собственном ничтожестве» (стр. 41). «Солженицын испытывал непреодо-

лимый страх перед силой иронии и ума этого известного хирурга и высокоинтеллигентного человека». «Вероятно, он и поныне готов пожертвовать половиной Нобелевской премии, чтоб услышать положительный отзыв понимающего толк в литературе Кирилла Семёновича. Однако профессор Симонян и в зрелые годы не изменил своего мнения: Солженицын — не художник и никогда им не будет». «Как художнику — ему нечего сказать», поэтому он и бросился на «ту вонючую кучу, каковой является „Архипелаг ГУЛаг“».

Да Сума всё более склонен передать все объяснения профессору Симоняну, которого и представляет читателю щедро: «Мечтательная глубина его тёмных глаз с годами обретает жизненную мудрость. Он армянин, но вопреки всем анекдотам об армянской изворотливости — он бесхитростен, ничего не утаивает и добивается победы. Для него ставка в игре — не только его научная карьера, но прежде всего он сам. В отличие от Солженицына он — *личность*».

И вот постепенно, в ряде дружеских встреч, начиная с осени 1975 (как задали эту книжку), профессор Симонян растолковывает схватчивому Суме все главные события жизни Солженицына и вообще — что такое он есть. «По авторитетному мнению профессора Симоняна бледность и обморок — это приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий... Я смотрю на Солженицына глазами врача. Его судьбу предопределил его генетический код. Солженицын наделён комплексом неполноценности, который выливается в агрессивность, а та в свою очередь порождает манию величия и честолюбие». (Не попеняем на неполную оригинальность этой фрейдистской азбуки. Но заключение о моей душевной болезни — выше, пункт 20-й, — тоже Симоняна, хорошо, что он — не в институте Сербского.)

Подходит время узнать, как я вёл себя на войне? Так опять же это лучше всего объяснит нам профессор Симонян, потому что: «Симоняна профессия хирурга естественно привела в медсанбат. Особенно в первый период войны это была жизнь далеко не безопасная. Кириллу Семёновичу иногда приходилось откладывать скальпель и брать в руки автомат, чтобы разить врага вместо того, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым».

Что ж, картина для 41-го года верная. Но, увы, маленькая поправка: первый период войны, как впрочем и второй и третий, Кирилл на фронте не был. Весь 1941 год он ещё учился в Ростовском мединституте. По его окончании с каким-то медицинским полномочием отправился в Среднюю Азию, прожил там 1942 и часть 1943. Лишь в 1943 попал в некий госпиталь, о котором рассказывает Суме, что там они вместе с Лидией Ежерец получали мои безрассудно-неосторожные письма. Да что ж это за госпиталь такой фронтовой, где постоянно находилась и гражданская Лида, московская литературная аспирантка? А... гм... вот это и был правительственный санаторий Барвиха. Отец Лиды, доктор Ежерец, в то время был его главным врачом. И взял к себе из среднеазиатской эвакуации своего предполагаемого будущего зятя Кирилла. Тут Кирилл и прослужил до осени 1944 года, когда и на самом деле отправился на фронт. Таким образом, стаж для военных суждений у Симоняна получается несколько коротковат.

Ну что ж, тогда Сума возьмёт их на себя. Кто-то ему рассказал из уставов, и он трактует мою службу так: «Артиллерийский разведывательный дивизион находился в резерве Верховного командования. Это означало: только Генеральный штаб и Верховный главнокомандующий (как близок в это время по службе Солженицын к Сталину!) были правомочны принимать решение о месте и времени его использования. Он был строго засекречен. Узнай о нём враг... (далее — перечень ужасов)... Командир батареи звуковой разведки обязан отступать при малейшем колебании переднего края: нельзя рисковать чрезвычайно дорогой техникой».

Не знаю по-чешски, а по-русски: читает как сом по Библии. «Резерв главного командования» — это общее название всей артиллерии, старше чем дивизионная. Во множестве распределена она по всем фронтам, практически распоряжаются ею армии и корпуса. Так и нашим разведдивизионом; звукоба-

тарей оперативно подчиняют тяжёлому артиллерийскому полку, и она делит с ним удачи и невзгоды, обстрелы, бомбёжки, движение через минные поля, переправы, а на плацдармы, по своей лёгкости, высовывается без пушек, вперёд. Конечно, при всех случаях, это не пехота. Но и распоряжения такого идиотского — отступать при малейшем колебании переднего края, никогда не бывало, а очень даже сидели на месте и только раненых отвозили. Наша техника СЧЗМ-36, станция 1936 года, отлично была немцу известна, он в 1941 её штабелями набрал, но не нуждался он её ни копировать, ни использовать, потому что и у самого равноценные были. И таких звукобатарей не одна была, и не под самой дланью Сталина, а более 150, так что на каждые 10 километров фронта была своя звукобатарея, и её захват ничего бы решительно не объяснил немцам из нашей стратегии.

Вот с таким знанием предмета и на таком уровне понимания и составлена вся эта гебистская книжка.

Однако пылкий Сума уже имеет все материалы для суждения: в конце 1942 Солженицын становится командиром батареи звуковой разведки (стр. 61), в 1943 Солженицын «ещё чувствовал себя в привычной роли курсанта» (? — стр. 62, очевидно, сказывается коллективное сочинительство), «в 1943 для Солженицына выгоднее быть исполнителем и верным офицером Красной Армии. Никогда его жизнь не находилась под непосредственной угрозой». «В 1943 — 44 Солженицыну в армии нравится» (стр. 65). «Вдалеке от непосредственной опасности, окружённый четырьмя (!) услужливыми адъютантами (это при 60 человеках всего в батарее), Солженицын живёт как истинный внук богатого землевладельца». Даже: «ни разу не участвовал в боях» (стр. 72). (Ну, там ещё, может, какие ордена, но это — не те клетки.)

Боже, как скучно. Боже, как память у них скудна. До чего ж непробиваемы и неуловимы их бараньи лбы! Когда пустили первую сплетню о моём плене и гестапо, то в комитете по ленинским премиям знаток литературы, генеральный секретарь комсомола, высунулся с этой фигой — и поднялся Твардовский в свой внушительный рост и в полный свой голос прочёл из моего реабилитационного свидетельства (Верховный суд СССР, определение № 4н — 083/57 от 6 февраля 1957):

«Из боевой характеристики видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, то есть до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям».

Слышали — и всё забыли! И — опять сначала, с другого конца. (Есть, конечно, и такой выход: разогнать свой Верховный суд.)

Да и Сума: не слишком ли много дал хронологии? куда она заведёт? И так, в 1944 Солженицыну в армии нравится, полная безопасность, даже ни одного боя. А дальше — наступление на Восточную Пруссию, и «во время одной из контратак его батарея попадает в окружение».

— Интересно бы: когда именно?

— Ну, какое это имеет значение?

Я всё же помогу: в ночь с 26 на 27 января 1945 между деревнями Адлиг Швенкиттен и Дитрихсдорф.

Но откуда же этот прохода знает об эпизоде и даже название Адлиг Швенкиттен? А — из «Архипелага» (ч. I, гл. 6), я ж это всё и описал. (Только Дитрихсдорфа не назвал — вот и у Сумы нет.)

И вот: «Капитан Солженицын бросает людей, дорогостоящую технику и спасается бегством. Им овладевают чувства паники и животного страха. Он не должен погибнуть! Он — нет... Солженицын бежит в безопасное место. Это — риск быть расстрелянным. Но ему везёт. Есть верный сержант Илья Соломин. Он выведет из окружения технику и людей, и Солженицыну всё сойдёт с рук».

Те-те-те... так тут групповым расстрелом пахнет? Если командир батареи бежал — то ведь ещё остаются два боевых офицера (иногда и третий — звуко-техник), ещё старшина, — и где ж они все, тоже сбежали? — если всю батарею выводит помкомвзвода Соломин?

И — откуда же Сума мог это всё взять? Чтобы такое сочинил Соломин — никак не видно из книги, даже, видать, и не разговаривал (нет ему благодарности от Сумы). Ни вообще единый человек из батареи или дивизиона, ни из офицеров, ни солдат. (Большинства он не нашёл, а к кому, может, приста-вал — те побрезговали грязной Сумой.)

И остаётся допустить чистое видение, духовное прозрение в ту ночь десятилетнего пражского мальчика. Интересно, как объяснили бы это Фрейд и доктор Симонян?

А ночь была — незабываемая, она и сейчас стоит как живая. И сколько раз я порывался её описать: сперва, ещё в лагере, четырёхстопным хореем, продолжением «Прусских ночей», и уже написал кое-что, но не сохранил, и из памяти стёрлось. И потом — в ссылке начинал, в прозе, но другие сюжеты выдвигались важнее, так никогда и не собрался. А всё особое чувство, какое к Восточной Пруссии возникло, — улилось в «Август». И осталась та ночь только в прорезанной памяти.

Тёплый пасмурный вечер, в который мы передвигались к боевому порядку, растянулся в ярко-лунную ночь. Совершенно пустой от жителей — да и от наших солдат — Дитрихсдорф, и в нём — помещичий дом как дворец, за весь прусский ход мы такого не видели, а теперь зимняя луна заливала его колонны и широкую лестницу, и внутри освещала залы, пока не зажгли мы свечи и аккумуляторные лампочки. Конечно, тут мы и развернули центральную станцию, и с изумлением бродили по этим залам. За две недели движения братва уже насытилась прусским изобилием, никто особенно не трофейничал, да не до этого и было, тревожно. Такой порывистый наш мах к Балтийскому морю, край отрезанных немцев загнулся, исчез, и наступила пустотная тишина. (По беспечности оголенного наступления вся наша 68-я пушечная артбригада в ночь с 26 на 27 января была брошена в вакуум; без каких-либо сведений о реальной обстановке, без пехотного прикрытия и как раз под направление прорывного удара окружённых в Пруссии немцев.) Нашей пехоты нигде не оказалось, передний край противника был не известен никому и ни светом, ни звуком себя нигде не выдавал. Но приказано было мне именно на этом рубеже к одиннадцати часам вечера развернуть звукопосты — за всю войну впервые лицом на восток! а то всегда бывало на запад. И звукопосты потянули кабель в свой обычный веер — но куда же Предупредитель (передовой наблюдательный)? Прямо на восток от нас простиралось большое заснеженное озеро. Лейтенант Овсянников, командир линейного взвода, взял автоматчика и пошёл посмотреть, что делается на том берегу в отдельном домике. Хотя луна продолжала светить, иногда застилаясь проходящими облаками (как это пересвечивало по колоннам!), но вдаль не хватало света, и ушедшие постепенно растворились там.

А тут, в нашем неожиданном дворце, нашлись неисчислимые (на советский взгляд) запасы продуктов в погребах, более всего домашние консервы всех видов; разогрев в воде банку, оттянув резиновую прокладку, можно было вывалить на тарелку почти шипящие, будто только что сжаренные котлеты. Грели, открывали, бродили лунатиками по необычным залам, за инкрустированными столиками серые шинели поглощали заморскую снедь, — что там будет через полчаса? (Эти впечатления влились и в «Пир победителей», хотя там — другая ночь, в штабе дивизиона, где, действительно, ужинали на зеркале.)

Овсянников с автоматчиком долго не шли. Потом они показали — точкою, затем удлинённую странной формой, и уже близко подошли — этой группы нельзя было понять. А — это были четверо военнопленных, только что освобождённых Овсянниковым, французы, даже при луне отличался синева-

тый цвет их формы. А медленно и плотно шли они так потому, что несли на плечах убитого нашего Шмакова — старательного солдата, контуженного под Орлом, с тех пор ни разу не раненного, — чтобы смерть найти вот теперь, у одинокого прусского домика. Там были немцы, отстреливались, убежали, — но, говорили французы, они повсюду тут, и сами французы ещё не верили, что освободились. Эти французы — у всех у нас были первые в жизни, один — с аристократическим закидом головы и манерою говорить. А для них — какая эта ночь? Призрачно-лунное освобождение из плена, если тотчас и не подстрелят. Луна и облачные тени всё проходили по колоннам, пока опять затынуло сплошь (к счастью). А наш мёртвый уже лёг в кузов ЗИСа.

С этой их похоронной группы на лунно-ледяном озере начались все события ночи: беззвучное нападение большой массы на наш левый звукопост — Ермолаеву, Янченке усекли черепа лопатами. Попытался Овсянников выручить этот пост — и уже не мог продвинуться, обнаружил там целую колонну. Прометились пятна беззвучных пожаров — то слева, то справа от нас, клещами, а тишина — всё та же редкостная повсюду, и в Дитрихсдорф никто не шёл. Тут из тыла на коне примчался старшина Корнев: по дороге в лесу его молча старались перехватить — он прорвался. Пока была связь, притянутая огневицами из Адлига Швенкиттена, километра два позади, — я по телефону докладывал обо всём, но и в штабе огневого дивизиона и в штабе нашего разведдивизиона не придали значения: без стрельбы, без рёва техники — так не наступают, мерещится. Но именно так в ту ночь и пытались окружённые найти выход в Германию через наш узкий клин: без артиллерийской стрельбы, сперва большими пехотными массами. Скоро связь моя с огневицами прервалась. Стало ясно: никакой звуковой разведки вести тут не предстояло, и я, уже без связи, взял отход батареи на себя.

А от нас до Адлига Швенкиттена было две дороги, разделённые километром: севернее и южнее, обе через лес. Пока так выходило, что северная опасней, там и старшину задержали, — и я послал на больших санях, запряженных немецкими битюгами, станцию, звукоприёмники и самое ценное — южной дорогой, с другим лейтенантом, Ботневым (вот там и Соломин был). Доберясь до Адлига, они должны были прислать связного, что всё спасено. А мы тем временем сворачивали все развёрнутые линии и грузились на две машины.

Долго не было известий от наших саней, наконец прибежали северной дорогой: доехали до Адлига, хотя по пути сани разваливались в лесу, и просто плотничали, сколачивали. В Адлиге, на стоящих там вплотную двух наших огневых батареях, восемь 152-мм пушек-гаубиц, тревожно. А мы уже стянулись — и тронулись, с передним, задним и боковыми походными охранениями — северной же дорогой, лесной, не такой заснеженной, а машины буксуют всё равно, и ребята выталкивают их гурьбою, как мы привыкли, привыкли — ещё с болот Северо-Западного. От этого — получались остановки. Овсянников вёл колонну с машинами, а я с двумя солдатами замыкал, шагов на триста позади, — и идти нам приходилось так медленно, останавливаться, как будто мы гуляли ласковой ночью в светло-белесой пелене неба и поля, — а во всякую минуту выскочить могли с любой стороны и изрешетить. И вот это и было, навсегда запомнилось, — главное ощущение той ночи: своего пребывания на земле, а совсем не привязанности к ней, лёгкое тело, одолженное нам лишь временно, и осветлённая прогулка по призрачным местам, куда нас заносит случай, а всякую минуту вот мы готовы и отлететь.

Но беззадержно прошли мы до Адлига, только уже на последней поляне перед ним завязла полуторка с кухней, никак не вытолкнуть. Бросили её, пошли до Адлига. Теперь я говорил со своим штабом разведдивизиона по телефону — и по-прежнему не разрешили мне уходить из Дитрихсдорфа. Но уж и не в Адлиге теперь оставаться в обозном состоянии: отправил я ещё на полтора километра назад, за реку Пассарге, к штабу дивизиона, всю звукотехнику, ЗИС и почти всех людей, а сам с тремя остался выручать полуторку. Просил у огневицков трактор — нельзя: боевая готовность требует, чтобы трактора были

при пушках. Тут позвонил им со своего наблюдательного их лихой командир дивизиона майор Боев: «Меня окружают!» — и связь прервалась. (Убит там.) Тем более — трактора не дают. Но за это время пришёл со мной разбираться комиссар нашего дивизиона Пашкин: почему я отступаю? Сразу всё понял, под свою ответственность взял трактор — и попёрли мы за этой проклятой полоторкой, метров 400 вперёд, на виду наших пушек. Едва доехали до неё, тракторист развернулся цеплять — из белой мглы, не видно откуда, по обшивке трактора затрещали пули. Тракторист — сразу полный ход, один, как был, — и к пушкам. Но не успели мы сообразить, что дальше, и куда ж он, — слева от нас, с той южной дороги, где немцы, значит, и копились, на поляне раздалось громкое «hitta!», как наше «ура», — и десятки поднялись в маскхалатах со снега, а на пушки уже летели и огненно взрывались гранаты, так и не дав им стрелять. (Погибли семь пушек, им подорвали стволы, и только восьмую угнал наш трактор, единственный на ходу.) А нам уже не было пути в Адлиг, и малая кучка наша побежала снежною целиною под крутой укат, через какие-то ямы, загородки, где почти скатываясь кувырком, — а стреляли нам вослед сверху почему-то только трассирующими пулями, ассортимента у немцев не было, — и то, что мы видели огненно-красные чёточки ещё от вылета, — нам облегчило. (Комиссар был в полушубке, мешает, скинул — его ординарец Салиев подхватил полушубок и тащил всю дорогу.) Так, по целине, крючком километра два, мы проваливались (у меня на боку в полевой сумке «Резолюция № 1») — но опять было то же ощущение: одолженного, временного, не обязательного тела, и острота чувств, которая не страх, но та нерядовая острота, когда глотаешь опасность — а в мыслях проносятся, проносятся разные картины прожитой жизни. Но успели и через Пассарге.

За спасение батареи и техники я, вместе с ещё несколькими офицерами 68-й бригады, был в ближайшие за тем дни представлен к ордену Красного Знамени. Они и получили его вскоре, а меня в те же дни зачеркнул арест, пришедший из Москвы.

Однако вернёмся же к детективному замыслу. Итак, в 1944 году Солженицын был вполне доволен своим пребыванием в армии и абсолютной безопасностью в ней. Теперь, 27 января 1945, «история с окружением преподнесла Солженицыну урок. Солженицын обнаружил потрясающую для себя вещь: ведь он может погибнуть... Его могут убить». Такая потрясающая мысль до сих пор никак не могла взбрести в голову человеку на войне. «Солженицын не может этого допустить. Ни в коем случае! Особенно теперь, когда до конца войны, это видит каждый, остаются, может быть, недели. В такое время умирать не хочется... Но Солженицын — виртуозный интриган. Поэтому в его голове рождается вероятно самый совершенный и самый подлый план, который когда-либо был выдуман, план спасения собственной жизни».

И какой же? *Самоарестоваться!* — объясняет Суме Симонян: «Это было для Солженицына лучшим выходом из положения». Чем рисковать собою эти последние ужасные недели войны — избрать такой путь спасения: положить свою голову в чекистскую пасть. И когда ж этот сатанинский план изобретен? Очевидно, в тот же день 27-го января, ну, может быть, не позже 29-го, потому что 30 января он уже приведен в исполнение: в далёкой Москве заместитель генерального прокурора РСФСР генерал-майор Вавилов послушно замыслу ставит санкцию на арест Солженицына.

И ведь сколько же их сидит в этом гебистском отделе, и сколько наблюдающих, проверяющих просматривало эту книжёнку перед выходом, — и одни настолько ленивы, а другие настолько потеряли голову от ненависти, что не заметили этой хронологической ловушки: всё задумано и оформлено — в 3 дня!

Но — как же всё-таки Солженицыну удался этот фокус, каким способом? А: он стал писать письма, в которых открыто выражал свою ненависть к Сталину и к советскому государственному строю, чтобы цензура прочла и выхватила его. «Правда, он знал, что за подобную антисоветскую пропаганду

любого ждёт трибунал и расстрел» (стр. 81). Но и расстрел — это спасение от возможной фронтовой смерти!

И — как же вся эта операция удалась за 3 дня? Не эффективнее ли было бы просто пойти в ближайший СМЕРШ и объявиться врагом? Может быть — это ему не пришло в голову. Да-а-а... Может быть... пожалуй... Да по другим страницам Сумы (однако тогда уже не согласованным с окружением под Адлигом) получается, что эти самоубийственные письма Солженицын стал писать гораздо раньше — может быть, в 1944, может быть, в 1943. То есть именно в те годы, когда он «был доволен своим пребыванием в армии, абсолютной безопасностью», и ему не приходила в голову мысль о возможности смерти, — именно тогда-то советский гражданин придумывает такой безопаснейший выход из без того безопасного положения: *открыто объявить себя личным врагом Сталина и врагом советской государственной системы!*

Вот до какого бреда дописались лучшие чекистские головы 1977 года.

Но ведь если просто объявить себя врагом Сталина и государства — то пожалуй ещё и не арестуют, поскольку ты всего лишь одиночка? Поэтому «Солженицын намерен вовлечь в свои интриги как можно больше людей, чтобы создать впечатление некоего заговора», — уж тогда ГБ не пренебрежёт.

Именно так подкашивает Суме доктор Симонян. Он прочёл «Архипелаг» — и стало ему окончательно понятно, что вело этого безумца, предателя, патологического труса, племянника бесстрашного бандита: завидный пример группы Александра Ульянова, когда через неосторожное письмо им удалось быть повешенными.

Кирилл!..

Кирочка!.. Что ты наделал?! Как ты оказался *с ними*? Чем понуждаемый — ты всё это диктовал и диктовал подхватчивому чекисту? Шурка Каган тут не пример — он был посторонний мальчик, да после 7-го класса я его и не видел. Что он там сказал — неизвестно, но даже по Суме он не вымалвливал такого, что ты.

Ведь мы с тобой были — какими друзьями, Кирочка! В то враждебное время я жил в Ростове-на-Дону как на чужбине. И как же дорого было найти мягкую, нежную, отзывчивую твою душу. И моя мама так любила тебя, а твоя — любила меня, насколько я понимал. На моей памяти она всегда лежала в постели, в ужасных отёках. Вы жили со страшной тайной: твой отец, богатый купец, спасаясь от ГПУ, вынужден был бросить вас, пешком перейти персидскую границу. Это сейчас поносная Сума может врать, что то ничем не грозило, не мешало тебе, — но ты-то знаешь (и каждый, кто знает советскую жизнь), что, стиснув зубы, ты это скрывал 40 лет. (И когда на Лубянке меня о тебе допрашивали — то уж эту твою тайну я спрятал глубже всего.)

Действительно, двор ваш на Дмитриевской улице был ужасен, нищенский, с этими навесными железными галереями этажей и железной лестницей, — только откуда эта фантазия, что мы там на ступеньках читали друг другу наши романы и стихи? Да ни разу. Мы читали — в чудесном городском саду неподалёку от вас, а ещё чаще — в благоустроенной квартире Лидочки Ежерец, то было единственное место нашего комфорта, да именно с ней все трое мы горели одною литературой, ничем другим, а твоя мечта о писательстве была и жарче нашей и уверенней. А чем особенным запечатлелась комната твоя (квартиры-то не было, все трое вы с мамой и сестрой в одной комнате) — это спиритическими сеансами, которым ты нас с Кокой и научил и устроил всё. В те два-три вечера почему-то не было твоей мамы, а сестрёнку ты выставлял, объяснял нам, что надо непременно открыть форточку, сидеть молча и сильно верить, а электрический свет не мешает, иначе как бы мы читали показания буквенного круга? Положили лёгкие пальцы на опрокинутое блюдце, Кока был поначалу наиболее недоверчив, чтобы другие не двинули, — но поведение блюдца превзошло фантазию любого из нас: некоторые вызванные иностранцы не могли справиться с русской азбукой (нам в голову не пришло пригото-

вить и латинскую), иные русские выбирали буквы неграмотно (и потом мы догадывались, что они были в жизни неграмотны), Суворов гонял блюдечко с кавалерийской быстротой, Зиновьев — жалко ползал и оправдывался, «мы были с Лениным друзья», а кто-то на вопрос, будет ли война, уверенно ответил нам «1940», а «кто победит?» — и стрелка блюдца три раза подряд уверенно разогналась на «С», а один раз на «Р»: СССР!

Но и не удайся эти сеансы, именно с тобою мы никогда не смеялись над мистикой и именно мне ты поведывал свои жуткие сны, систематический какой-то сон: некто странный и властный раз от разу снился тебе в одинаковой позе: сидя в кресле против тебя (и руки старческие жёлтые всякий раз на одних и тех же — в каждом сне — кресельных ручках, а лицо его было всегда затемнено, ты не видел), он посвящал тебя в поэзию, он говорил тебе всегда о твоём блистательном поэтическом будущем и иногда достаивал открыть строчки из твоих будущих произведений — и ты во сне дрожал от счастья и восторга от их красоты, а когда просыпался — не мог вспомнить, или удерживал, записывал, как это бывает в насмешливых сказках, какой-то отгрызок:

Любовь сильнее яда,
Ведь в ней все муки ада.

С тобою и с Ёськой Резниковым (как ещё на него ты не напустил Суму?) мы издавали в школе литературный журнал. С тобою и с Лидкой мы катали «роман трёх сумасшедших»: писали по очереди по главе, и не было никакого уговора о судьбе героев, а следующий пусть выпутывается, как хочет. К юности уже много было написано у каждого из нас, тетрадки, тетрадки, — и наконец мы стали посылать свои произведения светилам — а светила чаще не отвечали, а когда Леонид Тимофеев прислал разгром и моих стихов и твоих — для нас это был мрачный удар, ты помнишь? Но тем не менее мы ещё ходили робко к областному поэту Кацу, не напечатает ли он, а из «Молота» Левин поощрял нас очень. А ещё ты завлёл меня в литературный кружок при Доме медработника, какой-то грубый партиец из «Молота» формовал там наши вкусы, — и всё равно нам, кружковцам, казалось, что музы порхают в той крохотной синей комнатке. И та же страсть в конце концов увлекла нас ездить в Москву на заочный курс литературного факультета ИФЛИ. Да там-то, в общезжитии, на партах, мы втроём, с Кокой, и праздновали мою сталинскую стипендию.

Но раньше, раньше! Какая школьная пьеса (Чехов, Ростан, Лавренёв) обошлась без нашего с тобой участия? И ещё даже в дальние драмкружки мы записывались, куда-нибудь в читальню Карла Маркса, ставить катаевскую «Квадратуру круга». И на уроках литературы — какое чтение пьесы обходилось без наших ролей? И в областной драмтеатр и даже в роскошный клуб ВАСОТР (кажется: Всесоюзная Ассоциация Советских и Торговых Работников) — когда мы пропускали пойти, если билеты были со скидкой? Но ты ещё кроме того — играл на рояле, и много, так и вижу тебя с трубкою нот у музыкальной библиотеки на Николаевском (у тебя были отчасти девичьи ужимки, постоянный носовой платок в одной руке, мы звали тебя «Кирилла», но не в насмешку, а нежно, мы берегли тебя). В мир музыки ввёл меня только ты, и я благодарен тебе навек. Оперы в Ростове бывали редко и дороги, но — бесплатные симфонические концерты каждый летний вечер в городском саду — это ты приохотил меня, и объяснял мне, и сколько же мы там слушали! А в предвечернем ожидании концертов, пока ещё светло, мы с книжками сидели где-нибудь на скамейке, иногда это оказывалось близ тамошнего ресторана — и тогда доносилась ещё музыка дешёвенькая, но почему-то обидно растрavляющая, а главное — запахи недоступной еды, а мы всегда были голодны, и отвлекались нашим чтением, если это не был «Голод» Гамсуна. Да вместе же, с Кокой, мы простояли в очереди ночь и купили велосипеды, это диво тогда! Учились кататься вместе, только в походы ты с нами не ходил. А помнишь, как ты купил «Органику» Чи-

чибабина — и по каждому пункту «затыкал» учительницу? Ну, а уж математику и физику списывал у меня. Да, наконец, на курсы переводчиков с английского языка — кто ж меня увлёт, если опять не ты? А как, уже из разных институтов, мы сходились на латинский кружок Ивана Васильевича Котлярова? — нельзя же нам было и латынь пропустить? Когда, на экзамене в театральное училище, Завадский заподозрил, что с голосом у меня неладно, он задал мне: «Вон, далеко-далеко идёт ваш друг. А ну-ка, позовите его изо всей силы». И я не задумываясь, не выбирая, крикнул: «Кири-илл!!» (И сорвался.)

А когда умерла твоя мама, то после похорон её на другой день, в твой страшный день, чтоб не быть тебе дома, не быть одному (сестра у кого-то), — мы пошли с тобой с утра и до заката в степь, за Темерник. Был чудесный день южного апреля — солнце, но ещё не жаркое, таких дней в весне три-четыре, а потом зной. Трава ещё больше прошлогодняя, бьёт по ногам, но и первая зелёная пробилась, а небо голубое — и жаворонки. И так мы бродили, бродили без дорог весь полный день, говорили обо всём, вполне слитые душами, и чувствовали усопшую — и право же, ты к вечеру намного поживел, вернулся на землю.

Да ты и в политике был умнее, чем я или Кока, ты не захвачен был этой заразой мировой революции, и марксизм если и прилип к тебе — то не крепкою чешуёй и не надолго. О 37-м годе и пытках его — ты один из нас чётко знал, и мне втолковывал, а я плохо воспринимал. Началась война — я зашёл к тебе прощаться на медпункт почтамта, где ты работал. Я горел: как могу не успеть защитить ленинизм, и он рухнет, — а ты говорил мне, молодец: народное недовольство — как туча, а горцы Северного Кавказа рвутся в восстание, — и ведь верно!

И с тем расстались мы на два с половиной года, — а в марте 1944 я пришёл пешком из Одинцова к недоступному замку Барвихи — и вахта приняла меня, а там выбежали вы с Лидкой и повели зачуханного старшего лейтенанта ни много ни мало в тот трёхкомнатный номер, который передо мною занимал мой командующий фронтом маршал Рокоссовский. За обедом, с непривычки, я еле сдерживался, чтобы каждое второе слово не вставлял матерное, как мы привыкли на фронте. А потом с тобой — 24 часа непрерывных разговоров, и взаимного согласия во всём. И уже тупой Усач давно-давно ни для кого из нас не был лицом уважаемым. И кипение общих послевоенных литературных планов. Это тоже был день — из вершин нашей дружбы.

А уж потом мы расстались, потом... Я всё это смею сейчас вспоминать, потому что... ты уже больше — не под *ними*. И на Земле — нам уже больше не повидаться.

Вот эти последние страницы я ведь не сейчас написал, не сейчас, когда дошла до меня мерзкая книжка чекистов, — я написал их пять месяцев назад, в апреле, близ твоего 60-летия. Как раз в те дни я вспоминал о тебе — и как раз в те дни мне принесли письмо, как гром поразившее: ты — умер, Кирочка. Не в переносном смысле, ты умер этой зимой, не дожив до своих шестидесяти (и не дожив до сигнального экземпляра чекистской книги — а ведь ты её, наверно, очень ждал?).

Это — в те дни я всё и написал. Я — поражён был твоей смертью: какая же короткая непрочная наша прогулка здесь! — ты даже за минуту, за единую минуту не знал о смерти и не мог приготовиться к ней. Ничем не болел, ни на что не жаловался — вдруг, дома у себя, в секунду рухнул, как от невидимого удара.

Я — в тоске тогда записывал и записывал, что только вспоминал о тебе, не всё, конечно, сюда вместилось. Я знал, что ты выпустил брошюру против меня, не читал, да что уж такого свирепого могло быть в той брошюре? Разрабатывалось, разрабатывалось внутри, вставали картины, картины, и я записал: вот, потерял близкого человека, с которым столько связано. И помириться не успели. И как жаль его!

А теперь я вместо тебя держу в руках эту желтоклеймёную зловонную книжку, теперь я понимаю — и что в той непрочтённой брошюре, и я хочу

спросить тебя не за себя, я — прощаю тебя, жгло тебя многое в неудачной, расстроеной, обречённо-безбрачной жизни. Но — за маму мою: она — так тебя любила, зачем же ты посмертно её оболгал?

Да впрочем, может быть, ты уже имел случай ответить ей сам.

И что я сейчас пишу и чувствую — ты тоже это видишь теперь, так что я мог бы и не писать.

Но что ты наделал, Кирилл? Ведь ты не меня облепил этой небылью — но гиблую правду нашей страны, которую враги человечества шесть десятков лет резали, жгли, топтали, топили, — и вот черезильно мы достаём её со дна — а ты помогаешь заляпывать опять. Помогал. Ради дара русской истории, поднимаемого из потопления, — я и вынужден, тобою и этими рогатыми, изневольнo, изнеужно, длинно восстанавливать каждую клеточку прежде собственной своей жизни.

Да, Кирочка, конечно, твои письма, а тем более девченок, не шли в сравнение с моими и кокиными: мы-то с ним совсем были распоясаны. Нет, мы не писали прямо «Сталин» и «Ленин», но — «Пахан» и «Вовка» в каждом письме. И — совсем не военные проблемы обсуждали мы, это сейчас он так для советского приличия прикашивает, сам же он и подал мне ещё в 1941 эту несчастную для нас мысль: что военная цензура проверяет только военные вопросы, а в общефилософских рассуждениях нам никто не помеха, — мы и пустились, пока дошли до «Резолюции № 1»: груди наши горели страстью политической. Потому и следствию не осталось труда: фотокопии всех писем за годы лежали на гебистских столах, готовенькие, слишком ясные. Наша с Виткевичем судьба была документированно решена ещё до нашего с ним ареста. Виткевич, по Суме, якобы удивляется: «Никому никогда не говорил о „Резолюции № 1“», — так и я ж не говорил, а просто взяли в наших с ним полевых сумках. И очень много игры, что у Коки «срок был тяжелей»: десять лет лагерей, да, отпустили ему по трибунальскому стандарту, но по тому же стандарту не дали пункта «организации», и так не знал он Особлагов, не было ссылки, имел зачёты, освободился ранее девяти лет. А мне «организация» дала после восьми лет вечную ссылку, и, не произошли государственных изменений, я б через одиннадцать лет не освободился, а и по сегодня б там сидел.

Но и твои письма, Кирилл, на следовательском столе выглядели странно; двусмысленно, в той обстановке зывали к объяснению. Если я писал: «После войны поедем в Москву и начнём активную работу», то ты отвечал: «Нет, Морж, мы лучше замкнёмся в тесном кругу и будем выработать внутри». И следователь давил: как это объяснить? Или: какие несдержанные письма ни писал я вам — никто из вас никогда ни словом не возразил, не отклонил, не смягчил, не остановил. Итак, припирало меня следствие вопросами: как это объяснить? Если вот так пишется в письмах, то что происходит при встречах и разговорах?

Я уже писал в «Архипелаге»: я отнюдь не горжусь своим следствием. Я к нему вовсе не был готов, я понятия не имел, что это такое. Это — не 70-е годы, когда молодёжь уже со студенческой скамьи прорабатывает самиздатские правила, как вести себя на следствии, во всеобщем распространении — бронированная этика, прошедшая закалку ГУЛАГа, и даже из тюрьмы бывает связь с волей, а то и с мировой печатью. В 30-е — 40-е годы каждый из попадавших был ошарашенной одиночкой, даже слухом не знавшим ни о каком «процессуальном кодексе», о своих правах, — и каждый по своему разумению торил глухую неизведанную беспомощную тропу. (А ещё лежала на мне тяжесть захваченных «Военных дневников», записанных фронтовых имён — ещё тех моих однополчан прежде всего надо было спасти, оградить.)

После года-двух лагерей, наслушавшись рассказов, я-то понял: самое правильное было — послать следователя на Что захватили — то ваше, а что необъяснимо — то пусть вам леший объясняет. Но по моему тогдашнему жизненному опыту и тогдашнему разумению я рассудил так: сколько я знал и помнил, самое страшное — это соцпроисхождение. Десять и пятнадцать лет советской власти его *одного* было достаточно для уничтожения любого человека

и целых масс. (И по сегодня из ленинских и других томов не изъяты прямые распоряжения подобного рода.) И этого троим из нас надо было бояться более всего: мне — из-за богатого деда, тебе — из-за богатого отца (да ещё живого и за границей, а ну, как это звучало тогда?), Наташе — из-за отца, казачьего офицера, ушедшего с белыми. И если в поисках недостающих объяснений начнётся расследование — то опасность, что они нападут на эти следы. И вот я рассудил — пусть неверно, но совсем не глупо (думаю и сегодня): я поведу их по ложному пути, попытаюсь объяснить правдоподобно. Да, я признаю, что некоторое недовольство у всех у нас было. (На языке МГБ это записывается следователем, ведь протокол ведёт он: «гнусные антисоветские измышления».) «В чём же оно? От чего оно произошло?» — «Оно появилось от введения платы за обучение в ВУЗах в 1940 году и невысокого размера студенческих стипендий». И — всё! И я скрыл все наши огненные политические беседы, свёл их к мещанскому брюзжанию, к животу. Все опасные письма — уже твои, не наши, конечно, с Кокой, — спустил на мещанских тормозах, только чтоб не искали происхождения и домашнего воспитания. Я не оставил следствию ничего существенного, за что б уцепиться. (Какие-то «конспиративные пятёрки как в белогвардейской организации НТС» Чума с незадвинутым следователем Езеповым сочинили только сейчас.)

И что ж? Мне это совсем не плохо удалось, как ни вари, а масло наверху: никого из вас не только не арестовали, но даже *ни разу не допросили!* По нашему делу никто невинный арестован не был, чему не порадуешься в миллионах дел ГУЛАГа. А ведь годы были лютые. (Через три года Решетовская прошла даже процедуру засекречивания.) И когда я потом об этом результате узнал, что была за радость: перехитрил я капитана Езепова! (Теперь — почтенного пенсионера, как сообщает Сума.)

И — тебя не тронули, не коснулись. (Могло ли б это быть, если б что-нибудь из истинных твоих слов — о пытках 37-го, о кавказских горцах — промелькнуло бы на следствии? Не за такое хватали.) Не трогали тебя — 7 лет. А к 1952 ты, Кирилл, влип во что-то совсем другое, в Москве (я этого не знаю, может, когда узнается). В апреле 1952 в экибастузском лагере следователь предъявил мне бумажку от районного (кажется, Щербаковского, но не ручаюсь) отделения ГБ Москвы — о том, что в связи со следствием, начатым против Кирилла Симоняна, поручается допросить меня — что мне известно об его антисоветских настроениях и подтверждаю ли я свои показания 1945 года? И тогда уже, бронированный лагерник, я и послал их на ... Я сказал, что всякие показания 1945 года являются вынужденной ложью, а всю жизнь я тебя знал только как отменного советского патриота.

И вот тут начинается басня о тетрадке из «52 пронумерованных страниц неподражаемо-мелкого почерка» — якобы моего почерка и якобы тебе предъявленных тогда в ГБ. Не знаю, что тут состряпано ими и что добавлено тобою. Но вот чудо: после 52 страниц — очевидно густых, по мелкости почерка, и уничтожающих обвинений, как ты пишешь, — следователь, возмущаясь гнусным оговором, ласково отпускает тебя гулять и дальше, да в каком году! — в последнем сталинском 52-м! (Может быть, и цифра страниц оттуда соскочила?)

Кирочка! Ну конечно ты не мог знать, что в эти месяцы в Экибастузе пылала в зоне земля, что у нас был мятеж, перемещения тысяч, что было никому из нас до писания тетрадок из «52 пронумерованных страниц», что я ещё, кроме того, в эти самые месяцы перенёс операцию раковой опухоли. Допустим, не мог ты догадаться, что в ГБ таких тетрадок и писать не дают, а каждая фраза должна быть вывернута самим следователем. Допустим, ты и предположить не мог, что почерки подделываются. Но знал ты отлично, что сажают по малому клочку, — и не удивился, что тебя по пятидесяти двум страницам не посадили? Да и было ли там 50, они бы сами не стали надрываться больше страничек трёх. А может: только похлопали по стопочке издаля? перед носом помахали? — приём известный.

Но Кирилл! Неужели сердце твоё, душа не подсказали — что такой донос от твоего школьного друга просто невозможен? Высота души — предохраняет, защищает нас и от фальшивых людей, по их глазам, и от таких чекистских подделок, по их грязной хватке, которую наверно там было легко обнаружить, — вот как сейчас вопиёт грязная хватка изо всей этой книги Кумы.

В те дни твоя судьба, видимо, началась на весах, да. И получиши от меня ноль, гебисты (того истинного протокола тебе не показали, конечно?), очевидно, хотели взять тебя блефом — а ты легко глотнул ядовитый крючок, и в грудь свою ввёл его навсегда, до самой даже смерти.

Значит — тебе не хватило высоты души. Это её же не хватило тебе, чтобы устоять против очарования проходимца Сумы.

А когда в 1956 я вернулся после лагеря, после ссылки, после рака, — и от Лиды узнал, что ты на меня в претензии: как это так, утопая, я обрызгал тебя на берегу (я думал — речь идёт о 1945 годе)? — я тоже рассердился: я ведь действительно утопал, и я ведь действительно умирал. В тот момент — моя вина, может быть, всё могло разъясниться при встрече. Но мы не увиделись.

А через полтора года было твоё 40-летие, и растеплилось сердце, и мы с Наташей послали тебе тёплую телеграмму (из Рязани, Кирочка, из Рязани, а не из каких-то подмётных городов, как плетёте вы с Сумой. А кстати: это он или ты пристраиваешь реального москвича Бершадера, завхоза в нашем лагере на Калужской заставе, понимать как нашего ростовского доброго учителя Бершадского?). Ты — не ответил тогда.

А потом годы текли, сердца ещё прорастали — весной, может быть, 68-го ты вдруг написал примирительное письмо — что надо встретиться, помириться. Я ответил сразу с радостью. В короткой переписке уговорились о дне, часе, когда я приеду к тебе на Серебряные Пруды. Приехал. Звоню — а тебя нет, никто не открывает. Ладно. Пошёл сидеть на скамейке перед парадным, чтобы не пропустить. Час прошёл — не идёшь. Поднялся, позвонил — нету. Опять спустился, ещё полчася просидел — нету. Написал записку: подробно, как ехать ко мне в Рождество, в любой день, приезжай. Снова поднялся, позвонил — нет ответа. Тогда отклонил заслонку дверной почтовой щели, бросил письмо там на пол — но ещё не успел отпустить заслонку: как прямо вниз, у двери, увидел ноги твои в пижамных брюках. Ты стоял, затаясь. Я опустил заслонку, не стал окликать. Если тебе так легче... Если тебе...

Так вот. Не объяснились, не помирились, не повспоминали...

Потом — ты изобрёл мои обмороки от самолюбия, потом — брошюра. Потом — беседы, беседы с Сумой и ожидание сигнального экземпляра.

Господи! Да будет земля на могиле твоей — пухом. Твоей прожитой жизни — не позавидуешь*.

* Через 12 лет после написанного здесь, зимой 1990 — 91, достигли меня же письма неизвестного мне московского врача-психиатра Д. А. Черняховского. Он писал, что «в соответствии с волей Кирилла Семёновича Симоняна» уже рассказывал некоторым лицам и теперь сообщает мне предсмертный рассказ К. С., которого он знал по совместной работе. Это было осенью 1977.

«К. С. заявил, что хотел бы доверить мне „постыдные факты своей жизни“. „Расценивайте это как исповедь человека, который скоро умрёт, — сказал он, — и хотел бы, чтобы его покаяние в конце концов достигло друга, которого он предал... Передайте ему всё, что сейчас расскажу. С деталями, со слезами, которые видите, с сердечной болью, о которой можете догадаться“. Во время беседы К. С. часто глотал валидол. „После моей смерти не делайте из сказанного тайны. Долго ждать не придётся...“ Об этой дружбе (со мной. — А. С.) говорил с волнением, считал, что она во многом повлияла на его жизнь... утверждал, что имел литературные способности едва ли не большие, чем Солженицын. Впоследствии, ощущая себя носителем нерезализованного литературного таланта, переживал это как явную несправедливость, что и „сыграло пагубную роль“... И ещё другое. С детства у К. С. стали проявляться некоторые психобиологические особенности, связанные с половым выбором. Уже будучи врачом, он пережил в связи с этим неприятности, угрожавшие его карьере. (Вот, наверно, это и было в 1952. — А. С.) Когда к К. С. пришли „вежливые люди“ (это уже, надо понять, — в 1975 — 76. — А. С.), он в первый момент испытал леденящий ужас, но потом с облегчением понял, что хотя они могут мгновенно сломать жизнь, превратив из доктора наук „в никому не нужное дерьмо“, их цель иная: „опять Солженицын“. Они были

Но вперёд, вперёд, наша история! Неправдоподобными признал Сума даже обстоятельства моего ареста (хотя там десять человек стояло). Один раз отваживается применить хронологию, чтоб меня поймать, но поймал сам себя: насчитал моего следствия 9 дней вместо трёх с половиной месяцев — проговораясь, что по-чекистски искренно считает *следствием* только пребывание в застенке, в одиночном боксе, а камера из 4-х человек, откуда ночью дёргают, э-это уже не следствие. Затем сообщает Сума, что я «расположил к себе трибунал» (которого вообще не было, приговор мой по ОСО). Теперь подошла тема: как я вёл себя в лагере? Однако, это целых 8 лет и много разбросанных мест, и с тех пор прошло 30 лет, — как бы Сума повествовал мои тюремные годы, не знает, но к счастью я сам уже в «Архипелаге» и подал им вербовку в лагерные стукачи. Ну что может быть блистательнее! ну как раз к цветку! — вот это и будет сюжет. Отпирается, что не писал доносов? — так для ГБ легко это разоблачить! Работа немалая, но и автор «Архипелага» враг немалый, — свистнуть всем оперуполномоченным и архивариусам лагерей, где Солженицын сидел: просматривать все доносы за те годы, и как только найдутся за подписью Ветрова — так вынимать, соединять — и издать отдельной книгой. (Даже всей книги Сумы тогда не надо.)

Увы, увы, Сума и не лепит, что хоть один нашли. Вот это-то самое трудное и есть — как эти доноски изготовить. И — нет пострадавших, и нет обиженных. Однако доказательства могут быть косвенные, лирические.

Например, в том лагере, где его вербовали, прожил Солженицын несколько месяцев — и вдруг взят в систему шарашек. Ну разве это не доказательство? И чьё бы тут привести наиболее веское суждение? А — Якубовича. Сам он технической специальности не имеет, на шарашках никогда не бывал и косвенно их не касался — вот «он и будет главным свидетелем обвинения» по этому вопросу. Итак, товарищ Якубович, как вы объясняете, что на шарашку, куда берут только специалистов, взяли Солженицына с его университетским образованием? Ведь это невероятно? И Якубович по сценарию отвечает: «В высшей степени неправдоподобно». И Сума: «Солженицын направлен в марфинский институт как секретный информатор, это непреложный факт».

Но это замечательно! Ведь теперь легко проследить за его предательской трёхлетней работой в маленьком Марфине! Уж тут свидетелей и пострадавших десятки, и все образованные люди, и все в Москве живут, да вот, пишет Сума, беседовал с Лёвой Копелевым, — и что ж не спросил у него? Да Марфино — центральная спецтюрьма КГБ, уж архивы наверняка все тут рядышком, на Лубянке, — а ну-ка потроши сюда доноски, а ну-ка вытягивай это советское пособничество на советское честное солнышко!

Увы, и здесь почему-то не наскреблось. Да и новая загадка: Солженицына с шарашки усылают — и в Особый каторжный лагерь. Ну, тут совершенно понятно: очередная награда ему за удачную информацию и новое ответственное задание: запутать щупальцами Особый лагерь.

Но тут понадобятся новые свидетели, откуда ж бы их наскрести? Послать в Экибастуз доктора Симоняна? Нет, расстроятся другие части сюжета. Ба! Да этапировать туда Виткевича! Правда, он как раз остался на шарашке (но об этом Сума молчит, ибо что ж тогда? — тайный информатор?), а в Особлаге никогда не был (и быть не мог, имея лишь статью 58-10), — неважно, этапировать, пусть перенесёт эти неудобства. И теперь — кто же расскажет нам о том, что это был за лагерь? Да именно и только он! (стр. 117, «Стенограмма беседы с Н. Д. Виткевичем, личный архив Ржезача»). Заодно он же охотно и подтвердит ещё раз, что «Архипелаг» — лагерный фольклор.

Однако Солженицын там, кажется, будет лежать в больнице, так что без доктора всё равно не обойтись. Где ж бы нам найти доктора, если Симоняна всё равно неудобно? Да выход один всегда: листать книги Солженицына. В «Архипелаге» упомянут доктор Николай Иванович Зубов, отлично! Вот мы его в Экибастуз и посадим. Но он никогда в жизни там не сидел! Неважно, ему 83 года, он совершенно глухой и в месте живёт глухом — опровергнуть не доберётся.

осведомлены, говорили какие-то правдоподобные вещи. Неожиданно для себя К. С. почувствовал какой-то подъём и благодарность, — „да, благодарность за подаренную жизнь врача“. Странички „фальшивого доноса Ветрова“ были с готовностью восприняты как подлинные, хотя даже тогда „резанули две-три детали, чуждые Солженицыну“. Написал „какую-то пакость для распространения за рубежом“. Писал в каком-то странном подъёме, „в дурмане“... Рассказал, как в больницу приезжал Ржезач — „мразь, кагебешник, говно. Играл с ним в постыдные игры“, — именно так выразился К. С. Потом „дурман рассеялся, спохватился и хоть в петлю“. Мы долго говорили с К. С. Его покаяние было искренним и глубоким... К. С. сказал, что Вы не могли не знать о его „ахиллесовой пяте“: „Если б он захотел, то мог бы так приложить по больному месту, что второй [бы] раз не понадобилось. Он этого не сделал“... Я как врач-психиатр должен заметить, что во время беседы он был утнетён, но это не была та депрессия, во время которой возможен самоговор... 18 ноября 1977 К. С. скоростижно скончался». (Примеч. 1993.)

Листаем Солженицына дальше. Кавторанг Бурковский. Очень советский человек, допросим его. (Ценнейшее показание: когда в 1954 в Особом лагере ввели самоуправление, то Солженицын — уехавший в ссылку в феврале 1953, — «на одном из собраний повёл себя как типичный провокатор», стр. 124.) Ещё листаем. Солженицын описывает, как в темноте вели его в БУР на обыск и он выбросил записанный стих, а потом в тревоге искал его. Выбросил, чтоб не попало к вертухаям, и искал? Ну ясно, что — донос!

Так железное кольцо вокруг Солженицына смыкается. Теперь бы ещё изобрести старого лагерного волка, но честного советского направления, пусть его фамилия будет Доронин (молодой человек из «Круга»). Такого Доронина среди знакомых Солженицына сроду не было, так и показания дадим ему самые общие: Солженицын восхваляет американский образ жизни, Солженицын читает все советские центральные газеты (и как его не вырвет?). Да нет, ещё лучше: пусть Солженицын никакой не каменщик, а пусть он экибастузский лагерный библиотекарь. Он живёт в каторжном лагере «почти как на свободе». И даже в столовую с Иваном Денисовичем никогда не ходит, а в какую-то совсем другую и на особые деньги от начальника лагеря, а начальник лагеря (ОЛП, 5 тысяч человек) — старший лейтенант Рябов (стр. 116). Нужды нет, что старший лейтенант таким лагерем заведовать не мог, а был майор Максименко. (О таких подробностях и Кума не обязан знать, потому что ведомство МВД — не его, а параллельное.)

Наконец, я не выдерживаю: можно дать маху один раз, пять раз, десять раз — но чтобы непрерывно пересаживаться задним местом из лужи в лужу, — министр госбезопасности! за что вы платите зарплаты этому идиотскому отделу?! Потом, слушайте, коллектив, известный же рецепт: чтобы вам верили, надо же иногда для правдоподобия добавлять и кусочки правды. Что же вы, как ошалелые, лепите всё чучело из одной бреховины?*

А, вот что ещё приволок Сума: «Самый существенный факт, который подтверждают все, кто знал Солженицына в заключении» (Симонян? Виткевич? Каган? Якубович? Зубов? увы, никто из них — да и не был там никто, ни даже мифический Доронин), «не заметил его только Д. М. Панин: за день до лагерного бунта Солженицын исчез — его неожиданно перевели в тюремный госпиталь».

Ах, проклятая хронология, ведь опять без неё, всё это протекает когда-то вообще, а дни вот какие: стрельба охраны по безоружному лагерю и избитие беззащитных — 22 января 1952 года (по старому стилю — 9 января, «красное воскресенье»). 23 января — частичное начало забастовки, тех баракков, где есть убитые. 24-25-26 января — три дня голодовки-забастовки всего лагпункта. 27-го — мнится победа, администрация заявляет, что требования будут выполнены. 28-го — опрос требований и собрание бригадиров, где я выступаю. 29-го я ухожу в больницу на операцию раковой опухоли, которую мне и делают 12 февраля. Д. Панин потому и «не заметил» моего исчезновения перед мятежом, что всю голодовку мы провели с ним в одном бараке, где ещё 26-го он отважно призывал заключённых не сдаваться.

И тут Сума из двух блистательных объяснений выбирает не лучшее: да может быть, ни в какую ни больницу? да может, никакого рака не было? «Ведь могли его „упрятать“ как стукача и в карцер, вместе с другими!»

Сума, Сума! Ау! Ату! В духе теории профессора Симоняна и в художественной целостности этого виртуозного интригана, спирального изменника Солженицына: рак — это был «приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий». Ату его! Какая возможность пропущена!..

Ну, впрочем, и вечная ссылка, оборванная XX съездом, пропущена тоже, она Суме не подходит. Но ошибётся, кто подумает, что с окончанием тюрьмы окончились неугомонные интриги этого многоликого двурушника Солженицына. Нет, они только начались! И развивалось дело так: из лагеря он вывез «горы исписанных бумаг» (стр. 120). Сума не ссылается на свидетелей, но ведь каждый ребёнок знает, что из любого советского концлагеря вывози своих рукописей сколько хочешь. А дальше? «Сразу же по выходе стал затевать хитроумные политические и иные интриги и козни, активно готовиться к антисоветским выступлениям». То есть так понять, что для этого, после ссылки, он ринулся в самые кипучие московские круги? О нет, гораздо хитрей: «Александр Исаевич поселился не в крупном городе, а в захудалом уголке Владимирской области... Как? И он согласен жить вдали от издательств и редакций?.. Неужели он не хочет видеть огни больших городов, людей, улицы, магазины, трамваи?» (тут очень искренно звучит

* Но зря я тут риторически воззвал к министру госбезопасности: Андропов как раз был очень доволен книгой Ржезача и тотчас по выходе её выразил желание наградить ещё и сотрудников чешского МВД, помогавших автору, само собой и советских гебистов [24]. (Примеч. 1995.)

у Сумы, ему действительно трудно представить). Но даже на этом загадки лишь начинаются. Сатанински хитрый Солженицын теперь изобретает видимость «подпольного писательства», совершенно ненужного и фальшивого. Ведь «почти всё, что Солженицын тогда написал, было опубликовано» (стр. 139; правда, гораздо позже, и на Западе). Ну, какую опасность для Солженицына могли представлять изложенные тогда из памяти на бумагу или написанные вновь: «Пир победителей», лагерные поэмы и стихи, «Прусские ночи», «Пленники», сценарий о лагерном восстании и «Круг первый» в его истинном варианте (похищение атомной бомбы)? «Солженицынская версия о мотивах его подпольной литературной деятельности просто непонятна».

Ба! была бы непонятна вся эта конспирация — если бы не пронизательный Сума! «Солженицын всю жизнь боялся, что придёт Некто и расскажет, как всё было в действительности». И вот — пришёл Некто из Чехии и теперь всё начисто объясняет: да не от Госбезопасности Солженицын прятался, кто ж от неё в СССР прятается, зачем бы? А вы забыли, что Солженицын погубил мятеж бандеровцев (да мятеж-то был как раз не бандеровцев, а на «российском» лагунке)? так вот от них он и прячется все годы, а делает вид, что прячется от КГБ. Да тут может Кума оценить: «Его меры конспирации бесполезны против профессиональной государственной организации». Уж это той-то организации возможности наш Чума знает превосходно.

Но — и ещё гораздо, гораздо хитрей: Солженицын так хотел устроить, чтобы КГБ же и стерегло его от бандеровцев! Так тогда, старому доносчику, — пойти и прямо просить защиты у КГБ? Э-э, нет, это было бы слишком прямолинейно. Нет, гораздо хитрей! «При плотно зашторенных окнах и замкнутых дверях он строчил пасквили. С его стороны это был вызов: он хотел таким образом привлечь внимание сотрудников КГБ: „Вот он я, опасный антисоветчик, стерегите меня!“ Но КГБ не реагировал. Надзор, о котором мечтал Солженицын, был равен нулю» (стр. 143).

Ах, что делает ненависть и досада от упущенного! Совсем закружился коллектив КГБ, и змея уже кусает свой собственный хвост и даже от досады перебирает зубами ещё дальше по хвосту: КГБ-то вёл себя благородно, надзор был равен нулю. И ещё можно было бы простить Солженицыну все его мерзости до сих пор. Но он, негодяй, стал выбрасывать чекистам приманки на крючках, чтоб это благородное учреждение клюнуло.

Начал с того, что чемодан с частью своих пасквилей забросил к некоему Теушу. «Этот Теуш был одиозной фигурой. Говорили [? — в КГБ?], что он — теософ, связанный с сионистами». Поэтому и за ним надзор КГБ был равен нулю. Но «в один прекрасный день в аэропорту при обычном таможенном досмотре был задержан иностранец, который вёз на Запад сочинения математика Теуша». СССР — ведь это не концентрационный лагерь! из него нельзя так свободно вывозить рукописи, как из лагеря. (Но — и опять всё ложь: ни иностранец не назван, ни дата, ни рукопись. А просто: через стенку Теуша в квартире на Мытной улице давно было просверлено подслушивание и просматривание.) И вот только из-за этой математической рукописи «сотрудники КГБ получили ордер на обыск в квартире Теуша. Однако никто там не искал сочинений Солженицына. Уже уходя, офицер КГБ вдруг заметил в прихожей [в единственной жилой комнате] маленький чемоданчик» (метр на 75 см, а весом с пуд). Вот это-то и был отравленный крючок, который доверчивое КГБ проглотило — и стало жертвой всех последующих литературных скандалов. Да даже сегодня, уже через столькие годы, в гебистском отделе стучат по груди, и обидно подумать: ну хорошо, ну отобрали у тебя чемодан рукописей, ну пойдешь по-хорошему попроси, извинись — хочешь в КГБ, хочешь в прокуратуру, да хоть просто в партийные органы. Что за нужда была прятать какой-то «Пир победителей» — «чудовищный по своему содержанию, с грубой клеветой на социалистический строй, с издёвками над подвигами победителей» (стр. 153)? «Он знал, что с ним ничего не случится» (стр. 152). «Всё именно так и было задумано Солженицыным: чтобы органы КГБ нашли рукописи, а он, не подвергшись наказанию, получил бы повод устроить скандал». Конечно, «пришлось познакомить советского читателя с содержанием этой пьесы». (Если по книжным магазинам говорить, то незаметно. А было — закрытое заседание при ЦК, и с партийных трибун говорили: за такую пьесу — расстрелять.) И так: это ничем ему не грозило, но он понял, что провалился. И тогда он затеял письмо съезду писателей (которое имело такие нехорошие последствия на родине Сумы, да сам же Сума на чехословацком съезде в этот кипятюк и попал).

Переведу на мгновение дух. В «Телёнке» я описывал, как в своём подпольи, под мозжащим растопом КГБ, я спасал рукописи, маневрировал, искал новых убежищ, где хранить, где дописывать неоконченное. И когда те вихри прожигали мне голову, мог ли я думать, что через 13 лет придётся почитать отчёт самого Голиафа КГБ — что они думали с другой стороны, как растравно они подосадают, что не раздавили меня, когда это был бы беззвучный хруст: кто там заметил в 1965 году конфискацию моего архива? долго ли помнил бы Запад исчезновение автора «политической прохрущёвской» повести?

В истерической раздёрзанности (нарочито, для скрыва и подделки), пируэтами ассоциаций, то возвращаясь, то забегая, то повторяя, легко смешивая разные годы, перевирая любые приметы и обстоятельства, накидывает Сума обо мне ещё много всякой дребедени, повсюду прыская пакостью.

Да ещё ж история с Нобелевской премией. Известно, как её обычно получают (если не ворует чужих романов): громко протестовать! и протестовать! и протестовать! (Как видит мир по всем примерам, в Советском Союзе это особенно безопасно.) «Протестовать, ничем не рискуя. Исключён из Союза писателей? — не беда!.. В Советском Союзе он — как у Христа за пазухой» (так и написано, стр. 155). Просто — разгульная безопасность.

И разумеется — получает Нобелевскую.

Ну, чёрт с тобой, получил — так уезжай, по крайней мере! Так нет, «Солженицын вновь прибег *хотя и не к наказуемому* [!!!], *но одному из самых грязных трюков своей жизни*: он вообще не подал никакого заявления относительно оформления паспорта и визы» (стр. 156, буквально, только курсив мой. — А. С.). Вот этим трюком я более всего и ранил измученное сердце КГБ.

Но и на этом не остановился наглец: теперь он решил публиковать «Архипелаг». «И незачем кивать на цензуру, бюрократов, на ограничения» — книгу «Архипелаг» ему удалось издать. Но каким опять подлейшим трюком! Уж ЧК ли, ГПУ, КГБ не знает трюков? Уж кто тогда и знает! Но Солженицын опять умудрился подкинуть заманчивый крючок: чтоб КГБ же и двинуло «Архипелаг» в печать! И как же этот крючок закинут? А очевидно, что КГБ *получило анонимный донос на хранение «Архипелага» — от самого Солженицына!!*

Среди читателей могут оказаться детективно-тупоумные и начнут задавать наивные вопросы:

— что ж за странный путь печатать «Архипелаг», отдав его в КГБ?

— а если отдавать, то не проще ли самому, своими ногами и отнести его?

— и с какой же целью Солженицын, уже и так удушенный КГБ, ещё отдаёт против себя «Архипелаг»?

Да он же знал, что советское правительство, по своему бесконечному добролюбию, за такую лёгкую книжицу не станет его ни в тюрьму сажать, ни убивать. (Сегодня в СССР сажают тех, кто её только читает.) Сума даже приводит мой прогноз из «Телёнка»*, подсудно перевирая его в нескольких местах. Например, у меня написано: «Убийство — Пока закрыто». Он подделывает: «убийство? — исключено». (Коммунисты не убивают!)

Что могли — всё сделали. Всесоюзным приказом сожгли «Ивана Денисовича» с «Матрёной». И одежду мою, отплёвываясь, сожгли в лефортовской печи. И вырыгнули уже которую книжёнку мне в анафему.

Но как в пещеру к Воронянской неотвратно вкрались они душить — так и в их охоронённые палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк «Архипелаг», без рукавиц, в обуви ЧТЗ.

И — заметались.

Как говорится, от тюрьмы да от Сумы не отказывайся.

Поплатись за правду, поплатись и за неправду.

Хорошо, что я успеваю сам ответить. А сколько жертвы ЧКГБ безнадежно обогланы при жизни и после смерти, и уже никогда не могли очиститься — и сможет ли кто за них?

О потомки, будьте осторожны в суде над теми, кто жил на Руси в эти страшные советские 60 лет.

Осень 1978

* «Бодался телёнок с дубом», стр. 348.

ПРИЛОЖЕНИЯ

[18]

СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ НЕЧЕМ
ОТВЕТИТЬ НА «АРХИПЕЛАГ»*Стэнфорд, Калифорния
18 мая 1976

За 14 лет моих публикаций весь бездарный пропагандный аппарат СССР и все его наёмные историки не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами: потому что ни мыслей, ни фактов у них нет, всегда одна ложь. Теперь КГБ по своей жульнической ухватке приготовил фальшивку, помеченную 1952 годом, — будто я тогда доносил чекистам о революционном лагерном движении. Эту фальшивку начали подбрасывать иностранным корреспондентам, один из них переслал мне такую ксерокопию.

Хотя КГБ уже был однажды пойман на подделке моего почерка — никогда не бывшей моей переписки с эмигрантом В. Ореховым (журнал «Тайм» в мае 1974 привёл по строчке сравнения моего истинного почерка и успешно подделанного, а у меня на руках — полные письма, подделанные КГБ, по несколько страниц), они снова, не боясь позора, пошли по тому же пути. Для этого при содействии моей бывшей жены использовали комплект моих писем к ней лагерного периода (этими письмами КГБ уже тайно торговал на Западе, копии в моих руках) и, насколько могли, старательно подделали мой почерк того времени. Но, оставаясь на своём уровне, спущенном от людей к обезьянам, они не смогли подделать образа выражений и самого меня. Это различит всякий человек, кто читал «Ивана Денисовича» или «Круг», или положит «Архипелаг» рядом с их жалкой клеветой. Сочинители фальшивки допустили просчёты и в лагерных реалиях. Третий том «Архипелага» передаёт огненный дух тех дней экибастузского мятежа, к которым осмелилось теперь приурочить свою подделку КГБ. Будет время — обретут свободный голос и мои солагерники того времени, украинцы, — высмеют они эту затею и расскажут о нашей истинной дружбе. Ложь КГБ так и составлена, чтобы внести раздор в единомыслие Восточной Европы: объединения наших сил больше всего и боятся коммунисты.

За 60 лет коммунистическая власть в нашей стране пристрастилась лпать всех, кого травила: что они — агенты охраны или сигуранцы, или гестапо, или польской, французской, английской, японской, американской разведки. Этим дурацким колпаком покрывали решительно всех. Но ещё никогда власти нашей страны не проявляли такой смехотворной слабости, отсутствия опоры, чтоб обвинить своего врага в сотрудничестве... с ними самими! с советским строем и кровоорожденной его ЧК—ГБ! При всей советской военной и полицейской мощи — какое откровенное проявление умственной растерянности.

А. Солженицын.

[19]

ПАРЛАМЕНТСКОМУ КОМИТЕТУ ИЗРАИЛЬСКОГО КНЕССЕТА

Парламентскому Комитету Израильского Кнессета
Члену Кнессета Геуле Коген

18 июня 1976

Многоуважаемые господа!

С признательностью благодарю Вас за приглашение.

Тот взгляд, что построение общественных отношений высокой ценности невозможно без религиозной основы, объединяет всё большие группы людей в на-

* Опубликовано в «Лос-Анджелес таймс» 24.5.1976.

шем угрожаемом мире и сближает идеалы разных наций перед великими общими испытаниями, всё более надвигнутыми на нас. В этих испытаниях во многом виноваты ложные философии, ведшие человечество последние триста — четыреста лет. Но горькие плоды их, увы, неизбежны теперь для всех нас. И в той мере, в какой выход ещё зависит от самих людей, он лежит в критическом пересмотре своего прошлого и в добровольных взаимно-дружественных движениях будущего.

Так я понял смысл Вашего приглашения, и, может быть, осуществление его могло бы быть как-то полезным в названном направлении.

Однако Ваше приглашение застаёт меня далеко на другой стороне Земли и в архивных поисках о несчастных революциях в моей стране, о которых современники не успели дать полных объяснений. Я вижу свой давний и уже во времени упускаемый долг в том, чтобы эти объяснения искать, — и потому, к сожалению, в обозримый срок никак не могу оторваться от этой работы.

С уважением

А. Солженицын.

[20]

СЛОВО НА ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ЖИТЕЛЕЙ КАВЕНДИША

28 февраля 1977

Граждане Кавендиша! Дорогие соседи! Я пришёл сюда для того, чтобы поздороваться с вами и поприветствовать вас. Мне скоро уже 60 лет, но за всю жизнь у меня никогда не было не только своего дома, но даже и определённого постоянного места, где бы я жил. Не зная советских условий, вы даже представить себе не можете... Я не имел возможности жить там, где было нужно для моей работы, а иногда мне не давали жить и с моей семьёй. В конце концов советские власти уже не терпели меня совсем и выслали из страны.

Но определил Бог каждому человеку жить в той стране и среди того народа, где он родился. Как взрослое дерево при пересадке болеет, а иногда и умирает на новом месте, не приживаясь, так и человек не всегда может перенести изгнание и форменно болеет от него. Я хочу надеяться, что никому из вас не придётся испытать этого горького жребия — жить в чужой стране поневоле. На чужбине всё кажется не таким, не своим: человек испытывает постоянную тоску в тех обстоятельствах, когда другие живут нормально; и тебя все рассматривают как чужака.

Но вот получилось, что первый свой дом и своё первое постоянное жительство мне удалось избрать лишь тут у вас, в Кавендише, в Вермонте. Я очень не люблю больших городов с их суетой и с их образом жизни. Мне нравится уклад жизни здесь, ваш простой уклад, похожий на жизнь наших русских крестьян, только, конечно, они живут гораздо беднее, чем вы. Мне нравится ваша местность и очень нравится ваш климат с долгой снежной зимой, такой же, как в России.

Мне нравится Вермонт, но я хотел бы, чтобы моё пребывание здесь не оказалось неприятным для вас. Я прочёл в газетах, что некоторые из вас не довольны или даже оскорблены, что я обвёл свой участок забором. Я хотел бы объяснить это сейчас. Жизнь моя состоит из работы, и работа эта требует, чтобы её не прерывали, иначе сильно портится результат. Я приехал к вам из Швейцарии, где жил сперва после высылки из Советского Союза. Там я жил в таком месте, которое было легко доступно для любого приезда. И вот ко мне непрерывно ехали сотни людей, совершенно мне не известные, разных национальностей, из разных стран. Никогда не спрашивая моего согласия или приглашения, но сами решив, что им желательно со мной повидаться и поговорить. Не говоря уж о том, что меня часто навещают корреспонденты, также никогда не приглашённые. Они полагают, что моя жизнь есть достояние общее, а они имеют право и обязанность сообщать в печати всякую мелочь моей жизни или добиваться от меня новых и новых фотографий. Но сверх того ещё меня посещают иногда советские агенты, то есть по-

сланные враждебными советскими властями люди с враждебными намерениями. Такие были уже у меня и здесь в Кавендише, они уже присылали письма по почте или даже подкладывали записки под ворота с угрозами убить меня и мою семью. Я, конечно, понимаю, что мой забор не от советских агентов (от них таким забором не защитишься), но от корреспондентов и от людей досужих, бездельных — от них этот забор даёт мне необходимую защиту и покой для работы. Некоторые из визитёров косвенным образом уже мешали и моим соседям, и вы можете судить о том, каково встречаться со всеми желающими. Я хотел бы принести извинения тем из моих соседей, кому эти непрошеные посетители уже досаждали и мешали. Ещё более хотел бы я просить извинения у сноумобилистов и у охотников, которым поневоле мой забор оказался преградой на их привычных путях. Я надеюсь, что теперь вы поймёте меня: это необходимое условие моей работы, а значит и жизни. Я не мог сделать иначе.

Пользуясь сегодняшней нашей встречей, я хотел бы сказать и ещё два слова: просить вас никогда не поддаваться неправильно истолкованию, этой путанице слов «русский» и «советский». Вам сообщают, что в Прагу вошли русские танки и что русские ракеты с угрозой наставлены на Соединённые Штаты. На самом деле, это советские танки вошли в Прагу и советские ракеты угрожают Соединённым Штатам. Слова «русский» и «советский» сопоставлены так, как сопоставлены человек и его болезнь. Мы человека, больного раком, не называем «рак», и человека, больного чумой, не называем «чума», — мы понимаем, что болезнь — не вина, что это тяжёлое испытание для них. Коммунистическая система есть болезнь, зараза, которая уже много лет распространяется по земле... Мой народ, русский, страдает этим уже 60 лет и мечтает излечиться. И наступит когда-нибудь день — излечится он от этой болезни. И в тот день я поблагодарю вас за ваше дружеское соседство, за ваше дружелюбие — и поеду к себе на родину!

[21]

ПИСЬМО ЭДВАРДУ БЕННЕТТУ ВИЛЬЯМСУ*

Кавендиш, 26 февраля 1977

Дорогой доктор Вильямс!

Обращаюсь к Вам с просьбой принять к защите дело Александра Ильича Гинзбурга, 1936 г. р., СССР.

Александр Гинзбург с 1974 года является главным распорядителем Русского Общественного Фонда, основанного мною и утверждённого швейцарскими властями. Он осуществлял помощь многим сотням заключённых в лагерях и тюрьмах и их измученным семьям. В условиях постоянного противодействия властей эта работа была очень трудна и требовала от Александра Гинзбурга высших человеческих качеств.

В 1976 году он участвовал также в работе группы «Хельсинки».

В 1977 году Гинзбурга арестовали.

Поскольку советские власти не могут судить его прямо за дело милосердия, они несомненно прибегнут к обвинениям ложным. Это предположение вытекает не только из моего знания советской следственно-судебной системы, но главным образом — из действий властей. На обыске в январе 1977 года офицеры КГБ подложили валюту в квартиру Гинзбурга. Я ответственно заявляю, что он не имел никаких дел с валютой. В советской прессе появились обвинения Гинзбурга в уголовных преступлениях, носящие абсолютно вздорный характер, — однако советская практика учит, что обвинения с газетных полос всегда перекочёвывают в судебный зал.

Я думаю, что, несмотря на Ваш огромный опыт и мировую известность, — Вы приобретёте ещё новые познания, проследив дело Гинзбурга.

* Опубликовано в «Вашингтон пост», 1.3.1977.

Если Вы любезно согласитесь принять это дело, я обязуюсь информировать Вас немедленно и подробно о каждом факте, относящемся к положению Александра Гинзбурга.

С уважением

А. Солженицын.

[22]

ПИСЬМО В «НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ»

4 августа 1977

Разрешите через Вашу уважаемую газету обратиться к швейцарской общественности со следующим заявлением:

Я обратил внимание на статью, опубликованную в цюрихской газете «Блик». Видимым поводом для этой статьи было появление немецкого перевода моей книги «Ленин в Цюрихе» — но статья совершенно произвольно, неосновательно и безответственно выдаёт мнения и суждения, высказанные Лениным о Швейцарии, за авторские.

В книге эти суждения ясно и однозначно приведены как *его* мысли, они взяты из его произведений и процитированы дословно. Это — суждения человека, который хотел взорвать и перевернуть Швейцарию. Я указал в книге использованные мною источники, так что требовалось лишь немного серьёзного интереса и внимания, чтобы проверить и установить, что употреблены цитаты.

Что же касается моего собственного восприятия Швейцарии, то было бы естественнее искать их в описании главной швейцарской фигуры в книге, Фрица Платтена.

Александр Солженицын.

[23]

ЗАПИСКА ПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ НОВОСТИ ОБ ИЗДАНИИ РУКОПИСИ Н. РЕШЕТОВСКОЙ «В СПОРЕ СО ВРЕМЕНЕМ»

17 апреля 1974 г.

Секретно

ЦК КПСС

Агентство печати Новости вносит предложение об издании через зарубежные издательства на коммерческой основе рукописи Н. Решетовской «В споре со временем» (объем — до 15 печатных листов).

Написанная в форме воспоминаний, книга бывшей жены Солженицына содержит письма, дневники, заявления бывших друзей и другие документы, свидетельствующие о том, что в «Архипелаге Гулаг» использованы лагерные легенды и домыслы. Кроме того, приводится ряд фактов неблагоприятного, аморального поведения Солженицына. В рукописи Н. Решетовской можно проследить эволюцию взглядов Солженицына от троцкизма до монархизма.

В 1973 — 1974 годах через АПН были переданы интервью Н. Решетовской. Они были опубликованы в газетах «Нью-Йорк таймс» (США), «Фигаро» (Франция) и других органах. В своих интервью Решетовская заявила о намерении опубликовать свои воспоминания для разоблачения различных версий буржуазной печати по биографии Солженицына и его отношений к Н. Решетовской.

Крупные буржуазные издательства «Нью-Йорк таймс», «Пресс де ля Сиде» (Франция), «Аллен Даво» (Швейцария) обратились в АПН с просьбой предоставить им права на издание воспоминаний Н. Решетовской.

Рукопись воспоминаний Н. Решетовской подготовлена к печати издательством АПН совместно с КГБ при СМ СССР.

Представляется, что выход на Западе воспоминаний Н. Решетовской может послужить определенной контрмерой, направленной против антисоветской шумихи вокруг Солженицына.

Просим согласия.

Приложение: Упомянутое на 288 листах (несекретно).

Председатель Правления
Агентства печати Новости

И. Удальцов.

Резолюция: Согласиться. М. Суслов.

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 22. Д. 1774. Л. 1. Подлинник.

[24]

Секретно
Экз. № 2

5 июля 1977 года
№ 1432-Ц ЦК КПСС

Об издании на русском языке книги о СОЛЖЕНИЦЫНЕ

17 января 1977 года Комитет госбезопасности докладывал (№ 87-Ц) о мероприятиях по изданию за рубежом книги чехословацкого журналиста Т. РЖЕЗАЧА под названием «Спираль измены», в которой содержатся материалы, дискредитирующие личность и пасквили СОЛЖЕНИЦЫНА.

В июне с. г. сокращенный вариант указанной книги опубликован на итальянском языке в Милане издательством «Тети и К». Некоторые сокращения в книге произведены с целью адаптации материала для зарубежного читателя. Предприняты меры к продвижению книги в издательствах других стран.

Комитет государственной безопасности считает целесообразным для дальнейшей дискредитации СОЛЖЕНИЦЫНА перед советской общественностью издать полный вариант книги Т. РЖЕЗАЧА на русском языке через возможности Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли для ограниченного пользования. С Госкомиздатом (т. ЧХИКВИШВИЛИ И. И.) согласовано.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть.

Председатель Комитета Госбезопасности

Андропов.

Секретно
Экз. № 2

Министру внутренних дел Чехословацкой
Социалистической Республики
товарищу Яромиру Обзине, г. Прага

10 августа 1978 года

Уважаемый товарищ Обзина!

В СССР на русском языке вышла книга чехословацкого журналиста Томаша Ржезача под названием «Спираль измены Солженицына», сокращенный вариант которой ранее был опубликован в Италии издательством «Тети».

Книга написана с использованием большого фактического материала, имеет остропублицистический характер, с позиций пролетарского интернационализма вскрывает классовые корни ненависти Солженицына к социализму, разоблачает активное использование реакционными кругами Запада подобных отщепенцев в идеологической диверсии против стран социалистического содружества.

Выход в свет данного издания явился результатом добросовестного труда автора и настойчивой совместной работы с ним сотрудников 10 Управления МВД ЧССР и 5 Управления КГБ СССР.

Выражая глубокое удовлетворение по поводу успешного завершения этого мероприятия, Комитет государственной безопасности СССР считал бы целесообразным, если с Вашей стороны не будет возражений, наградить Начальника 10 Управления МВД ЧССР генерал-майора В. Старека и одного сотрудника чехословацкой разведки знаками «Почетный сотрудник госбезопасности — и ценными подарками — пятерых оперработников Министерства внутренних дел ЧССР, принимавших наиболее активное участие в проведении указанного мероприятия.

В случае Вашего согласия с нашим предложением просим сообщить фамилии сотрудников органов госбезопасности ЧССР.

С коммунистическим приветом и наилучшими пожеланиями

Председатель Комитета Госбезопасности СССР

Андропов.



ЮРИЙ СИМОНОВ



ЛИБЕРАЛИЗМ И ХРИСТИАНСТВО

Размышления ученого на пороге XXI века

1

Западные страны переживают сейчас весьма благоприятный период своего развития. Олицетворяемая ими цивилизация выросла из гуманистических принципов, которые в свою очередь имели христианское основание, были своего рода «ересь», возникшей на христианских дрожжах.

В каком соотношении находятся на самом деле идеи и практика либерализма и христианства, каковы перспективы их взаимодействия и развития, может ли устойчиво существовать безрелигиозный либерализм?

...Эта статья вынашивалась под впечатлением поездок в свободные западные страны. Мы, долгие годы находившиеся под коммунистическим колпаком, ожидали увидеть там не только экономическое процветание, но и высокий нравственный порядок. Соприкосновение с реальностью вызвало, нет, не полное разочарование — но скорее сомнения и опасения. В наибольшей степени это касается нравственного релятивизма и неуважения к собственным корням.

Как посетовал мой германский коллега, профессор-либерал: «Вы — человек верующий и в науке тоже ищите какую-то одну истину, а это не всегда бывает. Один думает одно, а другой — другое». Он законченный релятивист и агностик, и именно такое мироощущение распространено на Западе повсеместно.

Вот в США на ежегодной конференции американского физического общества на большом приеме нобелевский лауреат при общем одобрении зала издевается над Папой Римским и строгими нормами морали. Во многих городах трудно купить рождественские открытки — только «season greetings», сезонные поздравления. Имя Христа кому-то мешает?

На американском ТВ, особенно на каналах ABC и CBS, практически каждый день передачи с нападками на церковь. Например, несколько монахинь из Калифорнии стали добровольно испытывать новую вакцину против СПИДа, и по этому поводу телеведущий буквально устроил разнос католическому священнику за то, что якобы церковь таким образом рекламирует христианство. Один либерал в разговоре со мной категорически заявил: «Мы уже победили, и христианство не вписывается в нашу картину мира». В телепрограмме американской компании CBS во время очередного шоу молодой ведущий сравнивал распятого Христа с балериной. И этого ему показалось мало, и он вновь и вновь пародировал распятие. Христа хотят сделать земным, жалким, а главное — смешным. Ведь смешным богам не поклоняются, правда?

Это уже что-то новое. Раньше в основном критиковали церковь, теперь сосредоточились на самом Господе Боге.

Однако и сколько же гуманистов: ученых, врачей, журналистов и просто добровольцев — готовы исследовать каждую язву общества, каждое бедствие; они стараются помочь, порою ценою жизни, тем, кто уже отчаялся. Эти люди часто трудятся рядом с миссионерами-христианами, и в самых нищих и глухих уголках нашей Земли можно встретить и тех, и других. Мне кажется, что мы — либералы и христиане — должны не враждовать, а постараться понять друг друга и сообща работать над улучшением жизни.

2

Как замечает Пьер Мане, либерализм — это сложный феномен: его принципы восходят к религиозным истокам, а ход развития и непосредственные цели свидетельствуют о его антирелигиозности. Либерализм как течение неоднороден: есть либералы агрессивно-идеологические, они ставят себе определенные цели по перевоспитанию общества, достижения им некоторой запланированной социально-экономической структуры и — что самое главное — имеют хорошо разработанную систему информационного обеспечения. Мы будем называть их либералами-экстремистами, или — псевдолибералами. Но есть, и их большинство, либералы-гуманисты, их внутреннее стремление — служить человечеству вне каких-либо идеологических рамок. Это незаменимые работники всевозможных служб помощи, борцы за чистоту окружающей среды и т. п.

Здесь уместно будет напомнить о корнях и главных принципах либерализма.

Во-первых, это идея прогресса: человеческая история имеет восходящее развитие, и если движению общества не помешают катастрофы (естественные или войны), то мы придем к обществу благоденствия, которого не знала вся предыдущая история человечества.

Во-вторых, принципы демократии: безграничное развитие науки и производства; социальная защищенность; полная свобода развития индивидуума.

В-третьих, рационализм. Предполагается, что развитие как науки, так и общества происходит по рациональным принципам и в обществе нет места существованию Божественных, сверхъестественных постулатов.

Здесь хочется напомнить, что некоторые из названных принципов органично присутствуют в христианстве. Так, идея о восходящем развитии человечества сопутствует в христианстве идее Боговоплощения, а конечной целью прогресса является соединение человека с Богом. Однако вместе с нарастанием сил добра происходит и возрастание сил зла. Победа над ними потребует от человека правильного выбора и больших нравственных свершений и усилий. В своем оптимистическом настрое на самосовершенствование человека гуманистический либерализм смыкается с христианством, и тут нам, христианам, нетрудно и естественно активно работать вместе с либералами-гуманистами.

Свобода и демократия как основополагающие принципы также глубоко укоренены в христианстве — они проистекают из представления о человеке как образе и подобии Божьему, что придает человеку неотъемлемое достоинство, и потому все люди становятся полноправными членами общества. Свобода есть краеугольный камень христианства, каждый человек имеет свободу выбора, ибо без свободы не может быть любви. Мы — своевольные и трудные дети Божьи. Однако понятие свободы воспринимается по-разному либералами и христианами. В христианстве свобода есть, как мы говорили, свобода личного выбора, но также, что очень важно, свобода от греха, заблуждений, которые затрудняют человеку понимание смысла жизни. Свободный выбор от греха или свободный выбор греха есть важнейшие понятия в христианстве.

Не так у либералов, для которых сама свобода выбора и выражения своего мнения постулируется как априорная ценность и является своего рода самоцелью вне нравственного результата.

Теперь о роли науки в обществе и о принципе рационализма. Напомним, что христианство никогда не отказывалось от важнейшей роли разума. Со-

зданный существом разумным, человек должен использовать свой разум повсюду, где только возможно, чтобы облегчить свою жизнь и свое саморазвитие. Важность использования разума, в том числе и в вопросах веры, подчеркивал святой Фома Аквинский. «Все испытывайте, хорошего держитесь», — говорил апостол Павел¹. Поэтому христиане с открытыми глазами подходят к рубежу XXI века.

Но насколько самодостаточен логически-рациональный разум? Здесь хочется напомнить о важных событиях нашего века, в корне изменивших наше отношение к науке и к рациональному познанию действительности. Чтобы оценить это изменение, вернемся к началу века минувшего. Гордый ответ Лапласа на вопрос Наполеона о Боге («Я не нуждаюсь в этой гипотезе») знаменовал уверенность чисто рациональной науки. Вроде бы что может быть логичнее и рациональней механики и астрономии Солнечной системы? Тогда казалось, что все во Вселенной, включая человека, будет познано рационально и логически и не нуждается в иррациональных догадках. XIX век прошел при безграничном господстве позитивизма, подвергавшего сомнению не только религиозную веру, но даже абстрактное мышление. А затем, в первой трети XX века, в науке произошли важные события, которые потрясли наше представление о мире.

Во-первых, родилась квантовая механика и взорвала всю классическую рациональную физику. Ее никто не предвидел, и ее нельзя логически, рационально вывести из физики прежней, классической. Ее открытие — это прыжок через логическую пропасть, сделанный Бором, Гейзенбергом и Шрёдингером с помощью интуиции, *скачка в сознании*.

Появление квантовой механики, а позже и квантовой теории поля изменило всю фундаментальную физику, а также и смежные с ней науки. Сейчас на рационально-логический вывод теории элементарных частиц ученые уже не надеются — все логические пути испробованы, и эту скучную рутинную работу оставляют студентам и компьютерам. Что же остается нам вместо рациональной логики? «Теория должна быть красивой», — сказал великий Дирак². «Ваша теория недостаточно безумная, чтобы быть правильной», — любил говорить патриарх квантовой теории Нильс Бор³. Но красота, интуиция — что может быть иррациональней? Кто измерит бездонность этих понятий, соединяющих нас с опытом предков, но, возможно, и с каким-то другим, неизвестным пока опытом?

Почти одновременно удар по рационализму пришел оттуда, где его меньше всего ожидали, — из логики и арифметики. Две теоремы Гёделя доказали, что сформулировать непротиворечивую систему (аксиом) логики вообще невозможно, точнее, любая система будет принципиально неполна. Математика и фундаментальная физика оказались в очень странном положении. Вместо монолитной глыбы, скрепленной воедино рационально-логическими умозаключениями, мы имеем сейчас дело с конгломератом «каменной» разной формы и величины, между которыми зияют трещины и провалы.

Конечно, опытные данные и рациональное их осмысление помогают навести порядок и построить «висячие мосты между камнями», но единого стройного здания пока не возведено. Как говорил Эйнштейн: «Никто из тех, кто действительно углублялся в предмет, не станет отрицать, что теоретическая система практически однозначно определяется миром наблюдений, хотя никакой логический путь не ведет от наблюдений к основным принципам теории»⁴. Вместе с тем принципы красоты и интуиции в науке действительно

¹ 1 Фес. 5: 21.

² Букв.: «Physical Law should have mathematical beauty» — надпись на доске, сделанная Дираком на лекции в МГУ, воспроизводится по кн.: Дирак П.-А.-М. Лекции по квантовой теории поля. М., «Мир», 1971.

³ Бор Нильс. Жизнь и творчество. М., «Наука», 1967, стр. 102.

⁴ Эйнштейн А. Собр. научных трудов. Т. 4. М., «Наука», 1967, стр. 41.

создают впечатление чего-то единого и прекрасного, чей смысл еще не открыт вполне. «Картина мира, которая разворачивается сейчас перед человеком, обнаруживает неисчерпаемую сложность и заставляет задумываться о Творце куда больше, чем двадцать пять веков назад» (прот. А. Мень)⁵.

Эта сложность прежде всего отражается в появлении все более абстрактных понятий, необходимых для объяснения структуры мира, а также все бóльшей дистанцией между опытом и теорией. Последнее особенно наглядно видно в физике элементарных частиц, где результаты как теории, так и эксперимента должны пройти длительную многоэтапную численную обработку на мощнейших компьютерах, прежде чем их можно начать сравнивать.

Иногда прямое обращение к опыту пока просто невозможно, как это происходит в тех областях теории элементарных частиц, где физики «работают» на сверхмалых расстояниях. Последним соответствуют сверхбольшие массы объектов, предсказываемые в теоретических моделях, а не на практике. Другим примером является космология ранней Вселенной, далеко не все выводы которой можно проверить.

Словом, налицо важная современная тенденция науки — к пониманию мира (и себя самой) на все более высоком уровне, когда исследуется самая сущность понятия и предмета.

Вот эта глобальная абстрактизация фундаментальной науки, ее «все бóльшая возвышенность» приводят к необходимости искать некий синтез духа и материи, некоторое новое видение мира, которое известный французский философ Жан Гиттон назвал *метареализмом*.

Оговоримся: само по себе усложнение науки, ее абстрактизация еще никакого ее «одухотворения» не означают. От сложного ремесла до искусства путь идет через качественный скачок. Изошренность и абстрактность современной науки суть только условия и предпосылки «одухотворения», но предпосылки значительные.

Еще один удар по формально-логическому рационализму, а точнее, по рационалистической концепции психики был нанесен З. Фрейдом и К.-Г. Юнгом. Фрейд открыл мир подсознания и указал на его важную роль в устойчивости сознательной жизни человека⁶. Юнг детально исследовал структуру *подсознательного*, инстинкты, им управляющие, и опыт поколений, содержащийся в комплексах, названных им «коллективным бессознательным». Великие психологи показали, что как отдельный человек, так и группы и народы могут жить устойчивой психической жизнью только при условии гармонического баланса между сознательной и бессознательной частями человеческого «я», между которыми происходит постоянный обмен. На бессознательном уровне важную упорядочивающую роль играют инстинкты, из которых мы упомянем здесь три: религиозный инстинкт, половой инстинкт и иерархический (последний хорошо известен этологам, но его роль в рамках человеческого общества пока еще обсуждается недостаточно).

Поэтому нет никакой надежды на полную рационализацию личности. Такая попытка приводит, как правило, к извержению в сознание лавы бессознательного, что может вызвать неврозы и психозы. Сознание постоянно занято переработкой материалов, доставляемых из мира бессознательного, то есть осознанием. Мы ходим по тонкому льду цивилизованного разума, то и дело проваливаясь в темную глубину инстинктов и коллективных психозов.

Сказанное выше косвенно подтверждает мысль, что наука о человеческом обществе не может быть построена чисто рационалистически, ибо законы поведения людей связаны с законами бессознательного, с инстинктами, а последние не могут быть объяснены только рационально, что, конечно, не

⁵ Мень А. Дорогие мои. Л., 1991, стр. 9.

⁶ Роль Фрейда часто преувеличивалась, либералы особенно ценили в нем антирелигиозную направленность и доведенное до абсурда утверждение роли сексуального начала.

исключает необходимости изучать явления подсознательного максимально научным и логическим образом.

...И вот в результате развития науки вместо рационально устроенного общества и логически обоснованной цивилизации мы вдруг обнаруживаем, что в нем незримо присутствуют три непрошенных гости: *красота, интуиция, совесть*, — которые незаметно и неотвратимо направляют нашу жизнь.

Сказанное выше не есть, разумеется, попытка дискредитации науки и разума и (или) «протаскивание религии под видом науки», а тем более нового доказательства бытия Божьего. Дело в том, что для человека верующего Бог присутствует в любых рациональных умозаключениях, а физические законы и математические уравнения есть законы Создателя и свидетельствуют о Нем. Ведь та же небесная механика, от которой «возгордился» Лаплас, для ее создателя, великого Ньютона, была источником и религиозного вдохновения — он был монахом в миру и человеком глубоко религиозным. Пастер хорошо сформулировал: «Малая ученость удаляет от Бога, а большая ученость приближает к Нему». (Не в этом ли причина того, что некоторые современные физики ведут себя как агрессивные либералы?)

Выше мы просто хотели проиллюстрировать, что плоско-рационалистический взгляд на природу и человека терпит крах при любом более глубоком проникновении в предмет, а истинная картина представляется очень объемной и многокрасочной, содержащей обязательно интуитивные, то есть иррациональные, а лучше — надрациональные элементы.

В науке будущего о Природе и Человеке эта надрациональность неизбежна; она же есть предвестник будущих великих откровений, которые мы сейчас, возможно, только интуитивно ощущаем.

В социологическом аспекте подобные нерациональные элементы делают практически *каждую идеологическую доктрину* не логической схемой, а объектом веры. Поэтому можно говорить о религии либерализма и сравнивать глубину и разработанность этой «религии» с другими, давно существующими, например с христианством. (С этой точки зрения атеизм также является верой, ибо доказательство небытия Бога дано быть не может — как и нет логического доказательства бытия Божьего.)

Как же эти две религии — либеральная и христианская — относятся к науке и какое возможное развитие общества они прогнозируют?

Наука о человеке подчеркивает важную роль, которую играют в жизни индивидуума и общества инстинкты и связанные с ними традиции и опыт поколений. Христианство всегда рассматривало инстинкты как дары, данные нам Создателем, которые человек может и должен использовать для гармонического развития в соответствии с замыслами Бога. Поэтому в христианстве ясно выражено и отношение к половому и религиозному инстинктам.

О религиозном инстинкте свидетельствуют многочисленные научные факты, в том числе данные археологических раскопок. Человек инстинктивно стремится открыть чистый источник, в котором присутствует Бог, часто с большими муками для себя. Об этом вдохновенно писал Блаженный Августин, обращаясь к Творцу: «Ты сделал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»⁷. Однако мы являемся свидетелями и извращений религиозного инстинкта, когда он используется для идолопоклонства, «обожествления» спортсменов, диктаторов и поп-звезд. Это низменное использование религиозного инстинкта, направленное не на поиск Высшей Реальности, а на обожествление случайных элементов, лиц и даже дьявола, приводит в конечном счете к саморазрушению отдельных людей и деградации целых сообществ.

Более сложным, но и очень характерным является отношение христианства к иерархическому инстинкту. С одной стороны, в человеке есть стремление занять свою нишу в социальной иерархии и не опуститься на более низ-

⁷ Бл. Августин. Исповедь. М., «Гендальф», 1992, стр. 27.

кое социальное место, что соответствует устойчивости и процветанию человеческого общества в его организационном и материальном плане. Христианство не выступает против человеческой иерархии вообще (вспомним, что говорил апостол Павел в Послании к римлянам), но подчеркивает, что это — земные законы, они принадлежат царствам мира сего. И вот вместо земной иерархии Иисус Христос открывает свою, «небесную», иерархию: «...кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий»⁸; «Большой из вас да будет вам слуга»⁹. Эта новая христианская иерархия опрокидывает старую, но не затем, чтобы установить новую, земную, а чтобы отменить иерархии всерьез и навсегда — в духовном смысле. То есть духовный человек не есть птица из стаи, слепо подчиняющаяся этологическому закону иерархии, он намного сложнее, у него много разных иерархий по разным признакам, а по существу — ни одной: в главном, духовном смысле все мы — дети Божьи.

Вспомним попытку Иакова и Иоанна установить какую-то иерархию «святости» среди апостолов, решительно остановленную Господом. В делах небесных не бывает протекции и выслуги лет, и спасение дается благодатью. Любопытно, что этот момент является камнем преткновения для многих искренних либералов, пытающихся найти для веры рациональный фундамент.

Наконец, скажем кратко о взаимоотношении христианства и науки вообще. Христиан часто упрекали, и иногда справедливо, за пренебрежение наукой и даже случавшееся в прошлом противостояние выводам науки. Особенно ярко это проявилось во время знаменитого процесса Галилея в XVII веке, которому церковный суд повелел отказаться от его воззрений на гелиоцентричность планетной системы. Недавно специальная папская комиссия заново пересмотрела «дело Галилея», и о ее выводах Папа Иоанн Павел II говорил на специальном заседании¹⁰. Между верой и разумом не может быть противоречий, так как они рассматривают каждый предмет и процесс с различных (и непересекающихся) сторон. Еще Блаженный Августин очень ясно сказал: «Если случается, что авторитет Священного Писания поставлен в противоречие яному и четкому рассуждению, то это должно означать, что то лицо, которое *интерпретирует* Писание, неправильно его понимает. Это не смысл Писания противопоставляется истине, но истолкование, которое это лицо ему придает»¹¹.

В «деле» Галилея цитата из Книги Иисуса Навина была ошибочно использована судом как доказательство вращения Солнца вокруг Земли.

Современное христианство принимает все факты, добытые наукой, однако оставляет за собой право на собственное их этическое истолкование и серьезное предупреждение, если направление развития науки становится опасным для будущего человечества. В частности, опасение вызывают бесконтрольное использование генной инженерии, например, клонирование животных и человека. Слишком часто в прошлом человечество страдало от выходивших из-под контроля новинок науки (вспомните о всевозможных видах оружия, бомб, мин), и воспитанное на опыте многих поколений христианство, уважающее традиции и принцип естественности, не может безоглядно принимать все новинки. Не откроют ли новые биотехнологии новую шкатулку Пандоры? Надо взвесить все *за* и *против*, прежде чем подвергать опасности наш уникальный мир.

Не секрет, что научное и технологическое развитие в обществе постоянно опережает нравственное развитие, это видно хотя бы из того, что научно-технические изобретения прежде всего используются в военных целях. Было бы неплохо, если бы XXI век стал переломным в этом отношении.

⁸ Лука, 22: 26.

⁹ Матфей, 23: 11.

¹⁰ «L'Osservatore Romano», № 44 (1264), 1992, 4 November.

¹¹ Там же, Saint Augustine. Epistula 143, № 7, PL33, col. 588.

А что предлагает либерализм? Каково его отношение к науке и будущему человеческому обществу? Признавая науку, знание основой прогресса, либерализм слишком мало уделяет внимания зависимости прогресса от морали, стоя исключительно на принципе не ограниченного в своей спонтанности общественного развития.

Между тем тревожные признаки налицо. Мы поговорим о них дальше, а сейчас только напомним один, хотя и несколько гротескный, возможный путь развития, изложенный в провидческом романе Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир». Это общество будущего, в котором все научные критерии реализованы и используются как бы только на благо стабильности и процветания. Клонирование людей (вот она — мечта леволибералов) позволяет создавать целые коллективы (до ста человек) совершенно идентичных работников, еще до рождения из пробирки принадлежащих к определенной иерархической ступени (альфа, бета, гамма и т. д.) и тем удовлетворенных. Интеллектуалы — альфа — относятся к элите. Занятие сексом начинается в детском возрасте (прямо как этого хотят сейчас либеральные организации), а воспитание проходит методом повторения во сне — эквивалент современного телевидения. Религиозный инстинкт есть и удовлетворяется обожествлением Великого Форда и небольшой группы Великих контролеров. Это общество крайне элитарно и крайне научно. Легко представить себе, как мы войдем в это страшное будущее — без милосердия и благодати, — если примем агрессивный либерализм за истинный путь. Свободолюбие либерализма оборачивается утопическим деспотизмом.

3

Хотя многие либеральные принципы вовсе не чужды христианству, подчеркнем те моменты в либерализме, которые для него неприемлемы.

Либералы утверждают, что совокупность либеральных взглядов есть естественный результат прогресса человеческого общества, основанного на самых последних научных достижениях, и потому наиболее полно отражают потребности общества в целом и каждого человека в отдельности. Более того, некоторые либералы пытаются создать впечатление, что им вполне ясны все пути развития человечества и его цели. К сожалению, по моему мнению, все это весьма далеко от действительности.

Во-первых, если взглянуть на чисто человеческие стороны жизни, то позволительно спросить, какого человека созидает современное либеральное общество? Очень хорошо об этом говорит культуролог Рената Гальцева: «Тип человека, который внедряется в наше сознание современной культурой, оказывается абсолютно недостойным потребителем плодов и эксплуататором достижений разумного, гуманного и тонкого общественного устройства, ибо человек этот неразумен, жесток и brutalен. И глядя на подобное несоответствие между богатством, изяществом и предупредительностью западной социально-технической цивилизации и, с другой стороны, образом ее насельника (на экране, на сцене и в литературе), так и кажется, что мы находимся на земле, оставленной высокоорганизованным людским племенем и занятой одичалыми пришельцами невесть откуда»¹². Гармоническое человеческое общество не может быть создано людьми этого типа, начисто лишенными трансцендентного начала, которое дает религия.

Во-вторых, если действительно существует последовательная и научно обоснованная программа развития либерального общества, то можно было бы ожидать существования хотя бы приблизительного плана развития. Но, например, разразившийся в конце 1997 года финансовый кризис в Юго-Восточной Азии (очень развитой и трудолюбивой) оказался почему-то нежи-

¹² Гальцева Р. Дехристианизация культуры и задачи церкви. — «Новая Европа», [1992], № 1, стр. 32.

данным и для лучших финансистов, подорвав доверие к чрезмерной «свободе действий» рынка даже у некоторых либералов.

Финансист Джордж Сорос последовательно критикует мировую финансовую систему: «Недостатки глобальной капиталистической системы можно сгруппировать в пять основных категорий: неравномерное распределение благ; нестабильность финансовой системы; надвигающаяся угроза глобальных монополий и олигархий; неоднозначная роль государства, а также проблема ценностей и социального согласия». В условиях глобализации и стихийных рынков не может быть и речи о надежных планах даже на короткий период времени, ибо «по своей природе финансовые рынки нестабильны, в особенности международные финансовые рынки»¹³.

...Непредсказуемыми оказываются и результаты научного прогресса. Вспомним, например, историю эпидемии коровьего бешенства в либеральной Великобритании, которая возникла из-за «научно обоснованного» применения костной муки от овец в рационе травоядных коров. Таких примеров можно привести много, но вывод уже ясен: наука сама по себе не может быть гарантом прогресса человеческого общества, она может быть равно как источником благоденствия, так и источником самых серьезных несчастий и даже фатального конца. Все дело в том, в чьих руках наука и в каких целях она используется.

Нет сомнения, что наука сделала колоссальный шаг вперед за последние два века и принесла большую пользу людям как в либеральном обществе, так и вне его, но нет уверенности, что либералы-экстремисты собираются использовать науку только на благо людям, а не в своих собственных коммерческих или каких-то других интересах. Недавние обсуждения запрета клонирования человека и эвтаназии — яркий тому пример.

В-третьих, и, возможно, это самое важное, взглянем более пристально на свободу личности и демократию в либеральном обществе. Здесь уровень достижений высок как никогда. Коммунистическое правление в России было последним наглядным примером, когда отсутствие свободы привело и к экономической, и к моральной деградации. Каковы же перспективы либерального общества в этой области? Ведь в последние десятилетия в мире произошла революция, значение которой еще не полностью осознано. Речь идет о СМИ (и в первую очередь о телевидении) и развитии компьютерной сети.

Не станем подробно останавливаться на этом вопросе, отметим только один момент: провозглашаемая свобода СМИ на самом деле дает колоссальную власть над умами людей немногим соотечественникам и практически не контролируется обществом.

Другая важная черта современности — консолидация финансового капитала, сосредоточенная в руках немногих. Это дало огромную силу финансовой олигархии. Дело может привести к тому, что теперь она сумеет в своих интересах создавать финансовые кризисы, разделяясь уже не с отдельными соперниками, а с целыми странами и регионами. Возникает глобальная рыночная экономика, но готово ли общество защищать себя? Снова Дж. Сорос: «Можно говорить о рыночной экономике, но нельзя говорить о рыночном обществе. В дополнение к рынкам общество нуждается в институтах, которые будут служить таким социальным целям, как политическая свобода и социальная справедливость. Такие институты существуют в отдельных странах, но не в глобальном обществе. Развитие глобального общества отстает от роста глобальной экономики. Если этот разрыв не будет преодолен, глобальная капиталистическая система не сможет выжить»¹⁴.

¹³ Сорос Дж. Будущее капиталистической системы зависит от упрочения глобального открытого общества. — «Финансовые известия», 1998, 15 января.

¹⁴ Там же.

Скажем еще об одной возможной опасности либерального общества. Для некоторых стран Запада сейчас характерно возникновение элитарных групп, которые фактически и управляют экономикой, финансами и СМИ, а значит, и страной в целом. Эти группы в основном самовоспроизводящиеся, и в них трудно проникнуть со стороны. Характерно большое число закрытых клубов и организаций со своими правилами и символикой, иногда почти культового характера. Элитарность требует идеологического обеспечения, подспудного внедрения в сознание масс мыслей, выгодных именно «элитариям».

Противостояние между либерализмом и христианством может возникнуть и в случае, если либерализм будет развиваться в сторону эгоизма и культа силы и богатства. Как известно, в современных либеральных странах Запада существует хорошо развитая система социальной защиты для престарелых, для одиноких матерей, брошенных детей, мигрантов и т. д. В значительной своей части она есть христианское наследие: приюты для бедных основывал еще Винсен де Поль во Франции в XVII веке (и до сих пор активно работают религиозные общества его имени); в России, как и на Западе, богадельни устраиваются при монастырях. Современные дома для престарелых в Германии и Нидерландах поражают своим комфортом и хорошей оснащенностью. Помощь инвалидам на Западе и стремление облегчить им жизнь и передвижение входят в щедро финансируемые государственные программы, и это прекрасно.

Итак, традиции и современное законодательство пока находятся в относительной гармонии, особенно в Европе, однако некоторые новые веяния последних летстораживают. Например, пропаганда сокращения рождаемости и уменьшения социальных льгот. Дело в том, что в нравственной системе либерализма (если о таковой вообще можно говорить) принцип доброты и милосердия заменен принципом разумности и соцсправедливости. В таком случае объяснить налогоплательщику, что он обязан платить дополнительный налог на неимущих, беженцев и тяжелобольных, требующих дорогого лечения, порой весьма трудно — с его точки зрения, это несправедливо. А ведь эти проблемы будут углубляться из года в год, так как население стареет. Поэтому самодостаточная либеральная доктрина может прийти и к отрицанию милосердия, к уменьшению заботы о слабых и убогих, потому что у них нет мощных защитников в виде профсоюзов, политических партий и проч., нет защитников, кроме христиан и верующих других религий.

Еще одна опасность для безрелигиозного общества — это идолопоклонство и нарциссизм. Ведь религиозный инстинкт продолжает действовать и тогда, когда человек отвергает Бога и, не имея веры или глубоких идеалов, сам делает себя предметом настоящего идолопоклонничества. Есть и еще более страшные формы извращения религиозного инстинкта: колдовство, сатанизм и проч. Как показывает новейшая история, несмотря на прокламируемую победу разума, в либеральных обществах фанатическое поклонение идолам, суеверия и увлечение эзотерическими сектами не уменьшаются, а скорее растут. Единственное средство избежать этого — поиск идеалов, истинная глубокая вера, когда бессознательный инстинкт и сознательное поклонение Творцу находятся в естественной гармонии. Именно этой гармонии и будет всегда не хватать безрелигиозному, пусть и просвещенному обществу.

Итак, мы приходим к выводу, что в случае неблагоприятного развития либерального общества в нем могут возникнуть такие противостояния с христианскими ценностями, как:

элитарность против демократии христиан;

«справедливость» против милосердия;

вседозволенность против личной ответственности и христианской нравственности;

поклонение идолам и суеверие взамен развитой и глубокой религиозности.

Здесь не место, да автору и не по силам оценить роль христиан в мировой истории. Нелепо было бы «списывать» на христианство все дурное, что делалось в «христианских» странах в силу причин объективных и посторонних. Однако показательно, что два режима XX века, явно антихристианских, — *фашизм* и *коммунизм*, привели к самым большим жертвам в истории человечества.

На поверхности — особенно в глазах либеральной критики — заметны только изъяны и грехи христиан, а не их достоинства и работа. Несмотря на многие несовершенства, два тысячелетия явно и исподволь шла непрерывная работа Духа — через достойных и недостойных, святых и грешников. Слово проникало в человеческую жизнь и формировало сознание людей.

Наибольшую опасность для христианства представляли не внешние враги, стремившиеся его уничтожить, а враги внутренние, то есть сами люди, называвшие себя христианами и творившие зло от имени Церкви. Это приводило к враждебному отношению к христианству, к недоверию и борьбе с ним. Поэтому всякий раз, когда мы сталкиваемся с попытками унижить или «разоблачить» христианство и Христа, надо помнить о прошлой истории, когда христианство насаждалось силой, а попытки инакомыслия подавлялись, иногда очень жестоко, вплоть до пыток и казней. Сейчас нам, христианам, в либеральном обществе такие опасности не грозят. Поэтому мы все должны присоединиться к покаянию Папы Иоанна Павла II и постараться понять наших противников.

Многое изменилось в христианской психологии к концу XX века. Конечно, не изменилась вера, но опыт веков показал те недостатки и опасные тенденции, которые привели к ослаблению позиции Церкви. Как сказал прот. Александр Мень: «В результате трудных испытаний Церкви с неба был дан великий дар — и вы не улыбайтесь, дар этот — *атеизм*. Воинствующий атеизм и все антихристианские движения. Случилось бы самое страшное для Церкви, если бы этих движений не было, если бы не было атеизма. Боюсь, тогда действительно христианский мир задушили бы атеисты, имеющие облик христиан. Я имею в виду всяких „великих инквизиторов“... Значит, атеизм — дар Божий... И поэтому я считаю, что одна из главных установок сегодняшних христиан есть не борьба с атеизмом. С атеизмом боролись много... Но это внешняя борьба. Внешняя. А нам нужно гораздо больше бороться с лжехристианством внутри каждого из нас, это важнее. Потому что атеизм приходит как продукт нашего недостойнства. Сегодня Церковь должна услышать призыв, обращенный к себе: „Врачу, исцелися сам“. Я понимаю, гораздо легче говорить: мы хорошие, мы — носители истины; они — носители лжи, они — гонители, а мы — гонимые и т. д. ... Мне бы хотелось, чтобы мы решили прежде всего свои внутренние проблемы, чтобы мы могли быть готовы к свидетельству перед миром»¹⁵.

Свидетельство — это наши дела, это мы сами, это наше поведение в мире. Нам нужно научиться так работать в современном либеральном обществе, чтобы все понимали, что мы несем самое важное и необходимое для его существования, что его моральное и духовное благосостояние возрастает от нашего присутствия.

Эпохи Возрождения, Просвещения и технические революции не прошли даром для христиан; они поняли, что материальный мир есть тоже творение Божие и им нельзя пренебрегать во имя своего личного, духовного спасения. Вот как об этом говорил Блаженный Хосемария Эскрива, обращаясь к студентам: «Мир — не плох, он вышел из рук Божиих. Бог его создал и посмот-

¹⁵ Мень А. Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и беседы. М., «Нижегородская ярмарка», 1995, стр. 602.

рел на него и остался доволен. Это мы, люди, портим и уродуем его грехом и неверностью. Если вы, живущие в мире, уклонились от честных будничных дел, то нарушите волю Божию, это уж точно. Поймите, Бог призывает вас служить Ему в обычных, повседневных делах, как бы *из них, изнутри*. Он ждет от нас этого все время, везде — в лаборатории, в операционной, в казарме, на кафедре, на заводе, в мастерской, в поле, дома. Самые обычные дела и работы *чем-то* священны, и каждый из вас может *это* найти... Я хотел бы, чтобы [вы] избежали соблазна двойной жизни: по одну сторону жизнь внутренняя, связь с Богом, по другую, совсем отдельно — профессиональная, социальная, семейная, где толпятся и кишат мелкие земные дела. Нет, дети мои! Мы так жить не можем! Мы — христиане, а не шизофреники. Жизнь — одна, ее мы и должны освятить, наполнить Богом и плотью, и дух... Или мы научимся находить Бога в повседневной жизни, или вообще Его не найдем. Поэтому я и говорю вам, что теперь, в наши дни, надо вернуть высокое значение материи. Надо одухотворить самые мелкие и неприметные аспекты человеческой жизни, поставить на службу Царству Божию, сделать средством, которое поможет нам постоянно быть с Иисусом Христом. Истинное христианство верит в телесное воскресение, а потому, вполне логично, всегда отвергало *развоплощение*, ничуть не боясь, что его обвинят в материализме. Мы вправе говорить о *материализме христианском*, который смело противостоит материализму, не видящему духа»¹⁶.

Вот точное свидетельство того, что современное христианство повернулось лицом к миру, к жизни, что оно вникает во все жизненные детали и готово помочь отверженным, когда все другие уже от них отвернулись. Впрочем, это есть продолжение старой христианской традиции; новое же заключается в том, что христиане открыты всему обществу, всем людям, любым научным и культурным достижениям, готовы вступить в активный диалог и, не ограничивая чужой свободы, разъяснять свою позицию.

Это можно было бы назвать «открытым христианством», христианством без шор и оков, но нигде не изменяющим своей вере и своим традициям.

В православии о таком христианстве говорили Владимир Соловьев и прот. Александр Мень.

В католичестве позиция открытого христианства зрела уже давно, и первым его ярким выражением стал Второй Ватиканский собор, сформулировавший ясный и действенный образ отношения церкви и христиан к миру (главным поборником открытого христианства является нынешний Папа Иоанн Павел II). Открытому христианству присущи два новых момента: философский и социальный. С философской точки зрения это христианский материализм, о котором говорил Блаженный Эскрива, то есть одухотворение материи, встреча духа и материи. Интересно, что эта встреча происходит как бы в двух планах: как мы говорили выше, наука развивается, отправляясь от материальных аспектов, и на современном, уже сложном уровне развития становится все абстрактнее и возвышеннее, то есть в нем есть тенденция «одухотворения». С другой стороны, современное христианство, отправляясь от духовных аспектов веры, обращается к материи и освящает ее. Эта двойная встреча духа и материи мне кажется очень важной тенденцией, которая может стать определяющей в будущем веке.

Второй момент — социальный. У современной христианской церкви есть четко выраженное социальное учение, которое дает христианам надежную основу для общественной активности. В наиболее ясной форме социальное учение было сформулировано в католической церкви, и потому мы процитируем ниже профессора права Александра Хавара, разъясняющего:

«В силу своего служения и назначения Церковь никоим образом не смешивается с политическим обществом и не связывается ни с какой политиче-

¹⁶ Colloqui con Monsignor Escriva. Milano. 1994. p. 113.

ской системой. Свобода Церкви есть основной принцип в отношениях между Церковью и гражданскими властями и всяким гражданским строем. Это священная свобода, которую Христос наделил Церковь и которую Он завоевал Своей Кровью.

Независимость Церкви — не привилегия и не только право. Это обязанность, наложенная на нас Самим Христом: „Отдайте кесарево кесарю, а Боже Богу”.

Секуляризм — это поглощение Церкви государством. Клерикализм — это поглощение государства Церковью. Обе тенденции несовместимы с принципом здравого сотрудничества»¹⁷.

Примером доброго сотрудничества может служить Германия, где в разных землях церковные праздники объявлены государственными, но могут различаться в зависимости от преобладания среди населения католиков или протестантов.

А может ли Церковь делать политические заявления? Да, отвечает Второй Ватиканский собор в своем постановлении «Радость и Надежда»: «Церковь является знаменем и защитой трансцендентности человеческой личности. Она должна выносить свое нравственное суждение также о вещах, относящихся к политическому порядку, когда того требуют основные права личности или спасение душ»¹⁸. Активную просветительскую и катехизаторскую работу ведут сейчас многие приходы в России.

Христиане были весьма социально активны в веке нынешнем и минувшем. Достаточно вспомнить св. Джованни Боско, основавшего орден для работы с беспризорными детьми, а также христианское профсоюзное рабочее движение в Европе.

Христиане призваны в XXI веке бороться за права всех людей и за достоинство каждого человека. Никто лучше нас, христиан, не может защитить демократию против элитарности, ибо равное достоинство всех людей лежит в основе нашей веры и для нас священно. Именно активная позиция и постоянная борьба за достоинство человека в современном обществе должны стать образом действия христиан.

Христианский гуманизм есть тот питательный источник, который бок о бок с гуманизмом либеральным, придавая ему глубину и постоянство, способен преобразить нашу планету.

Вглядываясь в неясные проступающие черты будущего века, обещающего нам экологические катастрофы и политические кризисы, все больше убеждаешься, что только Разум и Вера способны объединить и спасти людей. В то время как либеральное общество в жадном стремлении к власти и наслаждениям бездумно пожирает ресурсы планеты, христианство выдвигает свои вечные принципы свободы, любви и ответственности, которые поведут человечество по стезе спасения. И, вероятно, прав Андре Мальро, сказавший еще в середине этого века, что XXI век будет *одухотворенным*. Или его вообще не будет.

¹⁷ А. Хавар, «Основы Христианского социального мышления», рукопись.

¹⁸ Сб. «Второй Ватиканский собор». Брюссель, «Жизнь с Богом», 1992, стр. 408.



МИР НАУКИ

НИКОЛАЙ КУРЕК

*

РАЗРУШЕНИЕ ПСИХОТЕХНИКИ

Психотехника — «прикладная психология в применении к проблемам хозяйственной жизни» — так определил эту науку один из ее адептов в СССР И. Н. Шпильрейн. Основателями психотехники были немецкие психологи В. Штерн и Г. Мюнстерберг. Последний считал, что «психотехника есть наука о практическом применении психологии к задачам культуры». Расцвет психотехники в мире пришелся на период между Первой и Второй мировой войнами — в это время наибольшее развитие получили индустриальная и военная психотехника.

В 1920 году А. К. Гастев организовал в Москве Центральный институт труда (ЦИТ). В нем И. Н. Шпильрейн создал первую психотехническую лабораторию, а в 1923-м — секцию психотехники в Институте психологии при 1-м МГУ; тогда же возникли психотехнические лаборатории и при других институтах. В двадцатые — тридцатые годы существовала индустриальная, сельскохозяйственная, военная и детская психотехника.

Базировалась психотехника на *дифференциальной психологии* — учении об устойчивых особенностях психики, позволяющих выделять типы людей. Важнейшей индивидуально-типологической характеристикой считался уровень интеллекта — интегральная характеристика уровня познавательных процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, психомоторики.

Советские психотехники строили свои исследования на основе дифференциальной психологии и признавали биологическую обусловленность способностей.

Профессиональный отбор являлся основной практической задачей советской психотехники.

В двадцатые годы практика профконсультирования и тестологического профотбора на производстве, в армии и школе стала массовой. Психотехники в экспертных заключениях, основанных на тестировании, должны были давать комплексную характеристику психического, физического и социального развития советских граждан. Правда, некоторые из них считали, что главным в психотехнике является не профотбор и профконсультация, а изучение и оптимизация трудового процесса. Так, директор Центрального института труда А. К. Гастев исходил из представления о человеке как живой машине и основным предметом исследований считал движение в трудовом процессе. Он разработал теорию «трудовых установок». Установка понималась прямо: подготовка рабочего места, принятие рабочей позы — и переносно: «установка воли», «сенсорная установка». По его мнению, установка определяет движение человека. Исследование трудового движения в ЦИТе начиналось с его полного описания, затем анализировалась механика и психология движения. Экспериментальное исследование утомления у педагогов, финансистов, статистиков провел А. П. Нечаев. Его результаты были обобщены в монографии «Психическое утомление» (1929).

Курек Николай Сергеевич (род. в 1949) — кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института наркологии, автор книги «Дефицит психической активности: пассивность личности и болезнь». М., Изд-во Института психологии РАН, 1996. В «Новом мире» печатается впервые.

Психотехники И. Н. Шпильрейн, Д. И. Рейтынбарг, Г. О. Нецкий в книге «Язык красноармейца» (1928) сообщали, что солдаты отличались крайне скудным словарным запасом; в устной и письменной речи преобладали наиболее простые слова и короткие отрывочные предложения; в письменной речи на 145 слов в среднем была 31 ошибка. Мышление красноармейцев носило конкретно-ситуативный характер. Вот пример типичного решения ими силлогизма. Все члены клуба — подписчики библиотеки, Иванов — член клуба, значит — он подписчик библиотеки. Красноармейцы возражали: «А может, он не успел еще записаться». В 1929 году Шпильрейн, выступая в Коммунистической академии, отметил, что красноармейцы «легко запоминают, например, рисунок окна или животного, а треугольник или шестиугольник — этого они не знают, для них это абстракция. Круг — еще туда-сюда. Его красноармейцы называют колесо, колесо-то красноармеец запоминает, треугольник, шестиугольник он не запоминает. Такая абстрактная форма теста для крестьянской молодежи не годится».

У представителей центральноазиатских республик уровень интеллекта оказался еще ниже. В 1928 году А. Штилерман опубликовал результаты исследования интеллекта 164 школьников-узбеков 8 — 15 лет в сравнении со стандартами русских и украинских ребят. Тексты и картинки были сделаны близкими и понятными узбекам. Изучались внимание, восприятие, память, осмысление, комбинирование, сметливость, воображение, наблюдательность. Штилерман обнаружил среди узбекских детей по уровню интеллекта: нормально одаренных — 16,8 процента, легкоотсталых — 63,4 процента, глубокоотсталых — 19,8 процента (в нормальной популяции лишь 2 — 3 процента являются умственно отсталыми). При этом стандарты одаренности русских мальчиков оказались выше узбекских в 2 — 5 раз. К тому же в 12 — 14 лет умственная одаренность узбекских детей снижалась. Сравнение интеллекта узбекских и украинских школьников привело Штилермана к аналогичному заключению: нормально одаренных украинских школьников было в два раза больше — 31 процент, легкоотсталых — 55,6 процента, глубокоотсталых — 13,3 процента. (Однако поражает и огромное количество умственно отсталых украинских детей.) Причину примитивности, интеллектуальной отсталости узбекских детей он видел в особенностях физиологического развития, социально-бытовых условий. Штилерман полагал, что на развитие интеллекта негативно влияет узбекская люлька-бешик, в которой ребенок, привязанный бинтами за руки и ноги, лежал неподвижно с первых дней жизни до двух лет: «Неподвижное лежание в бешике, помимо общей задержки роста и деформации скелета, тормозит всю психическую деятельность ребенка в раннем возрасте».

Исследования Штилермана вызвали сильнейшую идеологическую реакцию. Секретарь Среднеазиатского республиканского бюро ЦК Зелинский назвал статьи Штилермана глубоко шовинистическими. С негативной оценкой работ Штилермана выступил руководитель советской психотехники И. Н. Шпильрейн.

А. А. Невский (1929) обследовал в 1926 — 1929 годах ежегодно по 200 — 260 детей русских рабочих и пришел к заключению: «В то время, как показатели роста дают заметное нарастание, окружность груди и масса тела (вес) резко отстают в своем развитии, в результате чего массовый ребенок приобретает все более и более выраженный астеноидный характер».

О. Попова (1930) исследовала 120 крестьянских русских детей 12 — 18 лет и выявила 77 процентов из них со слабым физическим развитием и ослабленностью. По мнению проф. Д. Г. Рохлина, инфантилизм и задержка развития костей являлись характерной чертой молодежи Ленинграда: 87 процентов юношей в 19 лет находились в состоянии полузрелости, а 6,5 процента — даже в предпубертатном периоде (пубертат — возраст полового созревания). Чрезвычайно высок был процент психопатов, истериков и т. п.

Психотехники отмечали и психические дефекты взрослого населения СССР. Так, немецкий психотехник доктор Ф. Баумгартен (1924) считала характерной чертой русских отсутствие сознания ценности времени, что связывала с преобладанием крестьянского труда, любовью к групповому времяпровождению, недостатком политических прав и свобод, приниженностью личности в России. Последнее, по мнению Баумгартен, может компенсаторно привести к реакции оппозиции в форме нарушения всех временных сроков: «Прихожу, когда хочется, делаю, что мне вздумается». Это препятствует научной организации труда, его эффективности.

Для преодоления вышеуказанного национального дефекта и борьбы за экономию времени в СССР в двадцатые годы была создана «Лига времени». В ее руководство входили один из лидеров Коммунистической партии — Л. Троцкий и ведущий психотехник И. Н. Шпильрейн. Издавался журнал «Время». Однако кампания борьбы за экономию времени приняла дисциплинарно-административный характер. Ведь нельзя ценить время из-под палки.

В целом психотехнические исследования несли критическую информацию о нравственном, психическом, физическом здоровье населения СССР и отражали определенную практику тестологического отбора. Именно эта критическая информация и диагностика большого числа советских людей как негодных к учебе и труду была одной из причин запрета педологии и психотехники. В 1938 году в статье ленинградского психиатра, профессора В. П. Осипова «Вопросы нормы и патологии» сообщалось: «Недавно было опубликовано постановление ЦК партии о педологических извращениях в системе наркомпропов. Откуда это произошло? Это произошло именно от незнания педологами границ между нормой и патологией, в связи с чем они сваливали все случаи в одну общую группу... Мы должны бороться с подобными рода извращениями. На них обращает внимание ЦК партии, обращает внимание и наркомат. И мы, в свою очередь, под руководством в своей научной деятельности Коммунистической партии и нашего великого вождя Сталина, мы в нашей советской республике, в нашей единственной стране победившего социализма должны, согласно совету общего нашего вождя и учителя, уделять максимальное внимание, возможно больше внимания здоровой советской личности». В полной мере относились эти слова и к советской психотехнике.

Коммунисты хотели построить общество, в котором будут устранены не только социальное неравенство, но и психофизические групповые различия между мужчинами и женщинами, работниками умственного и физического труда, людьми разных национальностей.

Генетик и евгеник Н. К. Кольцов еще в 1922 году предлагал услуги биологии: «Для дальнейшей эволюции человеческого типа может быть поставлен идеал такого приспособления к социальному устройству, которое осуществлено у муравьев или термитов. При этом уже существующее разнообразие генетических типов должно упрочиться. Должны быть развиты до совершенства типы физических работников, ученых, деятелей искусства и т. д., и все они в равной степени должны обладать социальным инстинктом, заставляющим их свои способности применять для общей пользы всего социального организма. Вероятно, найдутся такие общественные группы и партии, которые именно этот идеал евгеники признают наиболее желательным. Но найдутся и другие, которые будут возражать против него и требовать, чтобы все особи в будущем человеческом типе рождались по возможности в равной степени одаренными. Таким образом, мы встречаем здесь обычную коллизия между социалистическим и индивидуалистическим идеалом. Биологическая наука ни при чем в разрешении этого спора. Для биологии осуществим как тот, так и другой идеал».

Евгеник Э. С. Енчмен считал, что понятия логики, разума, познания возникли с делением общества на классы и служили для эксплуатации правящими классами пролетариата. Для уничтожения классовых отличий он предлагал восставшему рабочему классу освободиться от «цепей разума» и возвратиться к «безумию», доэксплуататорской «единой системе органических движений».

Для достижения полного равенства людей в СССР, по его мнению, необходимо ослабить, а затем и ликвидировать философские, психологические, социологические, естественнонаучные понятия и теории.

Левые педагоги и педологи предлагали программу уничтожения «отмирания» школы, очевидно, во многом с той же целью устранения неравенства взрослых и детей, учителей и школьников. В конце двадцатых годов подобные взгляды были подвергнуты критике, их авторы были обвинены в левом уклоне и перегибе. Большевики не любили чистое безумие, не замаскированное государственной терминологией, — им была больше по душе его бюрократическая форма. Они стали примерять на себя маску здравого смысла. Однако многие государственные мероприятия Коммунистической партии и в тридцатые годы вполне соответствовали безумной логике крайне левых.

В ходе индустриализации предполагалось стереть различия между умственным и физическим трудом, рабочими и интеллигенцией. Рабочие, получившие образование, овладевшие высококвалифицированными профессиями, должны были сравняться в интеллекте с работниками умственного труда. Более того, рабочие-ударники, стахановцы даже должны были, как класс-гегемон, подавать положительный пример интеллигентам, зараженным либерализмом и индивидуализмом.

Стирание половых различий, по мнению большевиков, должно было осуществиться с помощью включения женщин в производство. Психотехники В. Коган, В. Маршева, И. Окунева в 1931 году утверждали: «Социалистическая реконструкция хозяйства, задачи выполнения пятилетнего плана вызвали в СССР бурный рост вовлечения женщин в производство. Согласно плану на 1931 год, будет внедрено в хозяйство 1 млн. 600 тыс. женщин, причем в ценовую промышленность будет вовлечено около 800 тыс. женщин, т. е. количество, равное всему числу занятых в производстве женщин до 1931 г.». Женский труд предлагалось использовать на самых тяжелых работах, так как, по мнению коммунистов, женщины ничем не отличались от мужчин. Подавление сексуальности в СССР было лишь производным от стремления стереть половые различия.

Социалистическая реконструкция СССР должна была устранить и различия между людьми разных национальностей. Педолог Л. С. Выготский писал (1929): «Хозяйственный пятилетний план предусматривает быстрый экономический и культурный подъем нацменьшинств, стоящих на низкой ступени хозяйственного и культурного развития. В связи с этим многим национальностям предстоит в ближайшее время совершить грандиозный скачок по лестнице своего культурного развития, перепрыгнуть через целый ряд исторических ступеней».

Тенденция к нивелировке половых, социальных и национальных психофизических отличий при формировании «нового социалистического человека» отразилась в советском новоязе. Слово «товарищ» скрывало различия между мужчинами и женщинами, «трудящийся» — между представителями различных социальных слоев, а «советский человек» и «советский народ» — между людьми разных национальностей.

Советские психотехники должны были, с одной стороны, способствовать росту производительности труда путем отбора наиболее пригодных работников и организации наиболее оптимальных условий производства.

А с другой стороны — им была поставлена задача бороться с «буржуазными представлениями» об устойчивых классовых, национальных, половых психофизических различиях. Здоровые производственные условия или гулаговская перековка могли — в теории — из самого заядлого кулака сделать советского человека, из женщины — силача и героя.

Первая задача привела к небывалому развитию психотехники в СССР. Психологическому обследованию предполагалось подвергнуть миллионы людей, психотехники активно работали в сельском хозяйстве страны, на фабриках и заводах.

Однако в психотехнических исследованиях в двадцатые годы, как говорилось выше, были получены данные о низком уровне психофизического развития населения СССР, резких социальных, национальных и половых отличиях в нем. В тридцатые годы подобные результаты воспринимались как проявление великодержавного шовинизма, расизма, фашизма, троцкизма и т. п.

Прежде всего результаты исследований, проведенных в двадцатые годы, критиковали в начале тридцатых сами психотехники, понимая, что иначе их науке не выжить. Начинаясь конъюнктурная подстройка под ситуацию.

В 1930 году И. Н. Шпильрейн трансформировал дифференциальную психологию в классовый подход к психотехнике.

В докладе «К вопросу о теории психотехники» на 7-й Международной психотехнической конференции, состоявшейся в 1931 году в Москве, Шпильрейн утверждал: «На одном из практических примеров покажу разницу между буржуазным и советским истолкованием одних и тех же результатов. В Баку, столице Азербайджанской республики, психотехнически было испытано некоторое количество кандидатов в вагоновожатые этого города. Разбив их по национальностям, испытывавшая лаборатория установила, что наименьшую пригодность обнаружили представители коренного населения — турки; армяне и русские оказались более пригодными. Этот вывод с точки зрения колонизаторской политики был бы вполне очевидным и не вызвал бы никакой критики, но в наших условиях такое истолкование результатов, противоречащее политике равноправия национальностей, проводимой Коммунистической партией и советским правительством, вызвало критику. Критики заинтересовались, каковы же были специальные причины установленных различий между национальностями. Оказалось, что испытанные турки были крестьянами близлежащих деревень, тогда как русские и армяне были горожанами и поэтому для них была более привычной и сама обстановка испытаний, и те специфические познания, которые необходимы для работы в качестве вагоновожатого. Не обращая внимания на этот специальный момент, автор работы объективно извратил действительность, игнорируя социогенные факторы, преувеличивая значение биологического именно так, как извращают действительность в этом направлении западноевропейские и американские исследователи, выполняющие социальный заказ буржуазии. Умолчание о социогенном в национальности в этом и подобных случаях равносильно поддержке национального угнетения».

Психотехник Т. Л. Коган в докладе «Экспериментальное исследование эстетических восприятий в свете идеологической направленности» сообщила о результатах исследования восприятия 15 картин у 50 рабочих и 50 интеллигентов. Она установила, что рабочие склонны к утилитарному восприятию картин, меняют легко свои оценки в зависимости от их идеологической направленности. Главным при восприятии для интеллигентов была форма, а для рабочих — конкретное содержание картины. Однако автор вместо вывода о конкретно-ситуативном, утилитарном восприятии картин рабочими делает иное заключение: «Пролетариат обладает высокой способностью эстетических восприятий, что целиком опровергает построение буржуазных эстетов-психологов о неспособности пролетариата к восприятию высокохудожественных форм».

Психотехники В. Коган, В. Маршева, И. Окунева в докладе «Женский труд» (1931) на той же психотехнической конференции подвергли острой критике немецкого психотехника О. Липмана за биологизацию проблемы семьи, пригодности женщины к профессиональной и общественной деятельности. Особенно возмутило их высказывание Липмана: «Мир женщины — это дом, дом мужчины — это мир». Авторы доклада привели данные о том, что в ходе строительства социализма с 1928 по 1931 год технический интеллект у женщин вырос с 47 до 56,6 и практически стал равным показателю технического интеллекта у мужчин — 59. Правда, в докладе не сообщалось о количестве и образовании испытуемых, методиках их исследования. Очевидно, так легче было манипулировать данными для того, чтобы доказать, что в ходе строительства

социализма не только вырос технический интеллект у женщин, но и нивелировались различия между полами. Авторы доклада пришли к выводу: «...различия в техническом интеллекте за последние три года бурного роста индустриализации страны, подъема трудового энтузиазма и мероприятий по профтехническому образованию женщины значительно нивелировались, и тем самым подтверждается и правильность нашей теоретической, основанной на базе марксистско-ленинской методологии предпосылки об обусловленности тех или иных психологических функций общественно-производственными условиями». Они рекомендовали использовать женщин на ручной переноске тяжестей и рассказали, что женщины, которые трудятся на добыче торфа, стали за счет рационализаторских предложений переносить тяжести на 20 процентов больше.

В 1931 году психотехники отказались от биологической концепции детерминации психики и выдвинули тезис о ведущей роли социального воспитания. Переход от биогенетической концепции к социогенетической в психотехнике отразился даже на названии психотехнического журнала. В 1932 году журнал «Психофизиология труда и психотехника» был переименован в «Советскую психотехнику».

Советские психотехники стали критиковать тесты как средство профотбора и научных исследований.

До 1929 года в СССР доминировало положительное отношение к тестам и тестологической практике и исследованию. На 1-й Всесоюзной конференции по психофизиологии и профподбору в Москве (июнь 1927 года) тесты рассматривались как основной метод исследования и практики, важнейшее средство поиска одаренных, рационализации учебного и производственного процесса. Но уже тогда в докладе Юровской из Института труда в Харькове прозвучала мысль, что «организация практического использования тестов в советских республиках должна определяться: а) специфическими задачами советского государства; б) специфическими условиями культуры и просвещения в советском государстве». При этом «из тех же точек зрения исходя следует считать недопустимым использование тестов „одаренности“ в качестве экзаменационного средства».

Один из ведущих специалистов в тестологии А. М. Мандрыка считал, что тесты для профотбора не должны использоваться, так как «дети угнетенных классов и национальностей оказываются в свете этих якобы научных интерпретаций отстающими по тестам интеллекта не потому, что они находятся в более неблагоприятных условиях... а потому, что их родители от „природы менее одарены“ и потому от рождения этой самой природой предназначены к занятию подчиненного положения в обществе».

Хотя и теорию и исследования советские психотехники и педологи в начале тридцатых годов согласовывали с марксизмом и загоняли в прокрустово ложе идеологического жаргона, уши, как говорится, торчали и ересь выплывала наружу то тут, то там.

Например, в «Социалистической перделке человека» (1930) Л. С. Выготский утверждал, что обусловленность сознания бытием проступает прежде всего у примитива в примитивном обществе, а в развитом обществе у развитого человека эта зависимость опосредована рядом моментов материального и духовного характера. Выготский «подставился», и П. Размыслов в 1934 году набросился на него «с кулаками»: «Эта лженаучная, реакционная антимарксистская теория на практике приводит к выводу, что политику в Советском Союзе осуществляют люди и классы примитивно мыслящие, неспособные к какому бы то ни было абстрактному мышлению». Педологическая школа Выготского, его культурно-историческая концепция были запрещены в СССР в 1936 году. Приспособить тестологические исследования групповых психических отличий к марксистской идеологии невозможно.

Напомним, что основной практической задачей психотехники вплоть до 1936 года оставался тестологический профотбор. В 1932 году через систему профконсультации при НКТ должны были пройти свыше двух с половиной миллионов человек. Только над проблемами психотехники работало в СССР 12 лабораторий. Планировалось создать специальный орган психотехники при Народном комиссариате земледелия Советского Союза. Это напрямую грозило развенчанию основных коммунистических мифов.

В 1931 году Сталин во время беседы с бюро партийной ячейки Института красной профессуры призвал к борьбе на два фронта с извращениями марксизма в общественных науках — идеализмом и механицизмом. После этой встречи резко изменился характер публикаций по психофизиологии труда; место науки заняла идеологическая болтовня, критика и самокритика кающихся ученых.

Психотехника критиковалась за «меньшевистствующий идеализм», который выражался: «а) в созерцательном отношении к научно-исследовательской работе без применения ее результатов в практике соцстроительства; б) в оперировании абстрактными схемами и категориями без ознакомления с подлежащим изучению конкретным материалом».

В докладе «К вопросу о теории психотехники» кающийся профессор Шпильрейн признавался: «Мы и сейчас имеем в отдельных случаях влияние реакционнейших теорий метода „единого процесса“, метафизической веры во всемогущество теста...» В статье «О повороте в психотехнике» (1931) Шпильрейн сообщил, что эта теория принадлежит А. П. Нечаеву: «...проф. Нечаев мог без критики в 1922 году выступить со своим методом „единого процесса“. „Единый процесс“ — это одинаковые для всех классов и возрастов испытания на память и внимание. О характере этих испытаний лучше всего свидетельствуют контрольные вопросы, которые предлагает Нечаев своим испытуемым: „Предмет № 5 (лампадка). Вопрос 1-й: какого цвета лампадка, 2-й — какой рисунок, 3-й — какого цвета кружка на лампадке и т. д. Предмет № 10 (пашаляное яйцо): 1) какого цвета яйцо; 2) что изображено на яйце; 3) какого цвета лента; 4) как лежит свеча... Предмет № 15 (изображение ангела, поражающего дьявола: 1) какого цвета одежда ангела; 2) что держит ангел в руках; 3) через какое плечо перекинута перевязь; 4) с какой стороны видны звезды на небе. Предмет № 20 (молитвенник, свеча и кусок парчи): 1) какого цвета крест; 2) какой формы крест; 4) в какую сторону отвращен фитиль свечи”».

Впоследствии Нечаев исправился и стал наполнять тесты марксистским содержанием. Но Шпильрейн продолжал держать его под прицелом: «Так, например, я ничего не сказал о методах, при которых Нечаев судит о моральности как способности к суждению у испытываемых им лиц. Делается это, например, на основании вопроса: „Кто является великим, счастливым, лучшим человеком?“, причем шофер, ответивший: „Ленин, потому что он вождь мирового пролетариата“, получает высокую оценку, а ответивший примерно так: „Ленин, потому что при нем рабочим стало легче жить“, получает низкую моральную оценку, как выявивший узколичные интересы».

Однако положение руководителя советской психотехники И. Н. Шпильрейна, входившего вместе с Троцким в руководство «Лиги времени», становилось все тяжелее. Шпильрейн поддерживал идею Троцкого о перманентной мировой революции и считал, что психотехника является одним из ее средств. А в 1928 году в книге «Язык красноармейца» Шпильрейн отмечал, что коэффициент осведомленности о Сталине колеблется от 75 до 25. Впоследствии это вполне могло быть расценено как троцкистский выпад против Сталина.

Особой критике в начале тридцатых годов подвергся психотехнический метод *коллизий*. Поясню, что он означает. Предъявлялись несколько ситуаций, в которых происходит столкновение противоположных установок, например религиозных. Испытуемый должен ответить, как он поступил бы, и мотивировать свой выбор. Так, в работе «Религиозность и антирелигиозность в детской среде» С. М. Ривеса (Институт методов школьной работы) приводился следу-

ющий пример. Зоя, Ира и Настя — сестры. Они все — неверующие, а когда пришла Пасха, каждая из них поступила по-разному. Вечером под Пасху мать говорит: «Ну, ребята, идем в церковь, а потом будем разговляться». Зоя говорит: «В церковь не пойду, разговляться не буду, а пойду я в клуб на антирелигиозный спектакль. И ты, мама, туда иди». Ира говорит: «В церковь не пойду, а разговляться буду, потому что люблю пасху и кулич». Настя говорит: «Мама, они обе нехорошие. Я тоже в Бога не верую, но не буду тебя огорчать. Я и разговляться буду, и в церковь пойду». Инструкция требовала ответить: «Как бы поступил ты? Почему ты поступил бы именно так, а не иначе?»

В 1931 году Ривес в письме в редакцию журнала «Педология» бичевал себя за метод коллизий:

«„Метод коллизий“, представляющий исследуемому возможность выбора той или иной идеологической позиции (при письменном заполнении коллизии, а после того на диспутах), является не чем иным, как конкретной реализацией (пусть в исследовательской работе) того же „свободного воспитания“ в виде „принципа развязки дискуссий“, действующего на руку всем алчущим „свободы печати“, „свободы выбора идей“.

Таким образом, применяя „метод коллизий“, мы в прямом противоречии с поставленной нами задачей преодолеть „узкие места“ нашей воспитательной работы скатились на позиции буржуазной демократии”...»

Следующий этап разгрома психотехники начался в 1934 году, когда состоялся XVII съезд ВКП(б). Психотехнические приемы повышения производительности труда заменяются репрессивными, принудительными мерами, труд заключенных включается в пятилетний план. В 1934 году прекращает существование журнал «Советская психотехника», в Государственном институте психологии, педологии и психотехники Российской ассоциации научных институтов марксистской педагогики (РАНИМП) ликвидируются секции психотехники и педологии, выполнявшие координирующую теоретическую и методологическую работу. Институт переименовывается в Государственный институт психологии.

После победы в Германии нацизма у нас одна за другой появляются статьи, обличающие и усматривающие фашизм повсюду — этот ярлык, как бубновый туз, приклеивался ко всему неуголному.

Так, ученый И. Зильберфарб в докладе «Расовая психология и „расово-политическое воспитание“ германского фашизма» (1935) предложил вести борьбу против явного и замаскированного расизма на психологическом и просветительском фронте «не только за рубежом нашей социалистической родины, в странах капитала, но и в пределах страны Советов». А руководитель Государственного института психологии Колбановский рассуждал так: «Вопрос о методике психологических тестов — также политический вопрос. Методика прорастает из соответствующих теорий. Фашистские психологи давно уже шли по пути к своим теперешним откровениям, прибегая к самой подлой научной фальсификации для якобы научного обоснования своих положений».

...Особенно негативно на судьбе психотехники отразилось движение ударников.

Напомню историю стахановского почина: накануне Международного дня молодежи 29 августа 1935 года парторг шахты Дюканов призвал А. Стаханова поставить рекорд по добыче угля, так как в середине мая С. Орджоникидзе на пленуме Наркомата тяжелой промышленности высказал мысль, что техническое нормирование сдерживает развитие отрасли и следует использовать для преодоления его тормозящего влияния пример ударников.

Именно психотехники занимались нормированием труда, пытались установить средние нормы производительности, которые использовались также в качестве критерия оценки при профотборе. Нормирование труда не только помогало отобрать наиболее пригодных для профессии, но и позволяло оптимизировать и рационализировать трудовые процессы. (Еще в начале века Тэй-

лор провел эксперименты с трудом землекопа: установил наиболее пригодную величину лопаты, целесообразную скорость копания, благоприятное распределение пауз, и после введения нового метода 140 человек могли справиться с работой, которую выполняли раньше 500 человек).

В СССР организацией труда и техническим нормированием в тяжелой промышленности занимался Центральный институт труда, возглавляемый А. К. Гастевым. Психотехники не только измеряли и устанавливали нормы в различных видах труда, но и пытались на основе изучения утомления и пресыщения от деятельности определить оптимум рабочей нагрузки.

До Стаханова забойщики рубили уголь два-три часа, а потом три часа крепили забой. Стаханов же, когда ставил рекорд, рубил уголь в два раза дольше — 5 часов 45 минут, а бригада крепильщиков работала отдельно. Естественно, это механически повысило количество добытого угля: с 11 — 14 до 30 — 32 тонн, но ведь и работал Стаханов в два раза больше, да и не один. Однако после этой замаскированной фальсификации высокой производительности началась неприкрытая фантастическая ложь. Через некоторое время сообщили, что парторг Дюканов добыл уже за день 115 тонн угля.

В декабре ЦК одобряет «инициативу трудящихся». Нормы в промышленности повышаются на 15 — 50 процентов. В советской печати разворачивается злобная кампания против «псевдоспециалистов», которые мешают стахановскому движению. Карикатуристы рисуют гигантских рабочих, сметающих ползающих у их ног «специалистов». Рабочие, для которых очевидна фальсификация «рекордов», подготовляемых целыми бригадами, и очевидна цель — повышение норм, отвечают избиениями, даже убийствами «стахановцев». Эти действия рассматриваются и преследуются как террористические акты.

Стахановское движение во многом предопределило печальную судьбу Центрального института труда: его закрыли в 1940 году, а А. К. Гастева — репрессировали.

Психотехника же была ликвидирована в СССР в 1936 году на основе Постановления ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов».

Это был непревзойденный документ по количеству и характеру обвинений в адрес педологии, знаменовавший новый этап «охоты за ведьмами» в СССР. Уже не только отдельные люди, но целые науки и профессиональные научные и практические учреждения объявлялись вредителями, представлялись как враги народа, диверсанты, ведущие подрывную деятельность против партии и населения. В постановлении слова «вред», «вредный» при оценке педологии употреблялись семь раз.

А как же «вредили» педологи?

«Ребенку 6 — 7 лет задавались стандартные казуистические вопросы, после чего определялся его так называемый „педологический“ возраст и степень его умственной одаренности. Все это вело к тому, что все большее и большее количество детей зачислялось в категории умственно отсталых, дефективных и трудных».

Психотехнике были предъявлены те же обвинения, что и педологии: заимствование буржуазных теорий, согласно которым более одаренными являются представители высших классов и народов; использование основанных на них тестов, которые были построены с таким расчетом, чтобы на командные посты выдвигались не пролетарии, а представители господствующих классов. Дескать, советские психотехники с помощью таких тестов при отборе браковали вполне пригодных для труда рабочих и крестьян — будущих стахановцев и представителей угнетенных народов — азербайджанцев в Баку и казахов при строительстве Турксиба, чем нанесли вред строительству социализма в СССР. Естественно, что и психотехнику ликвидировали как врага народа.

Осенью 1936 года МГК ВКП(б) принял решение о ликвидации психотехнического профотбора и профконсультации для подростков.

Согласно приказу Наркомпроса РСФСР «О ликвидации в школах профконсультации и профотбора» предписывалось:

«1) Директорам неполных средних школ не разрешать различным организациям вести в школе работу по профконсультации и профотбору.

2) Зав. районными (городскими) отделами народного образования установить постоянный контроль и наблюдать за тем, чтобы в школы не допускались лица, ведущие подобную вредную работу».

Психотехнические учреждения ликвидировались. Руководители психотехники были репрессированы.

И. Н. Шпильрейн был арестован 26 января 1935 года и расстрелян 26 декабря 1937 года. В 1938 году был арестован А. К. Гастев, погиб в 1941-м.

Психология, правда, после постановления ликвидирована не была. Власти СССР вполне устраивала *марксистская* психология, базирующаяся на марксистско-ленинской демагогии, без тестов как способов научного исследования и тестологической практики отбора. На психологию, как и на педагогику, возлагалась задача по реализации сталинских директив. Осенью 1936 года было проведено при редакции журнала «Под знаменем марксизма» совещание психологов, в котором участвовали Корнилов, Колбановский, Леонтьев, Гальперин, Лурия и другие. На совещании психологи сначала были подвергнуты критике: Рубинштейн — за учебник психологии; Выготский, Леонтьев, Лурия — за культурно-историческую концепцию; Корнилов — за реактологию (наука, рассматривающая психику как совокупность реакций на окружающую среду). Затем перед психологами была поставлена основная задача — борьба с тестами и работами, подобными книге психотехников Е. В. Гурьянова, А. А. Смирнова, М. В. Соколова, П. А. Шеварева «Скала Бинэ-Термена для измерения умственного развития детей». (В ней авторы в результате тестологического исследования пришли к выводу, что средний советский школьник отстает по умственному развитию от американского школьника, хотя и в разной степени: дети служащих менее, чем дети рабочих, а дети рабочих менее, чем дети крестьян.) Предлагалось критиковать исследования с такими результатами и следить, чтобы больше аналогичных работ не появилось. С тех пор стандартными стали утверждения о методологической несостоятельности тестов, власть предпочитала иметь дело с вымышленным, а не реальным народом.

Симптоматично, что в те же годы, что и в СССР, психотехника подвергалась проработкам и критике и у себя на родине — в нацистской Германии. Как и психоанализ, она была объявлена «еврейской наукой». Идеолог В. Штребе поносил тестологическую проверку интеллекта, утверждая, что подобными хитроумными методами отбираются душевные акробаты с низкими инстинктами. Вместо нее он предлагал проводить проверку личности. Бекер считал тесты интеллекта благоприятствующими еврейским формам мышления; Г. Шлибе утверждал, что в авиации и железнодорожном транспорте отбор не должен производиться «старой еврейской психотехникой». Идеологическая критика психотехники привела к тому, что психологи в нацистской Германии практически перестали использовать термин «психотехника». Чаще всего военную и индустриальную психотехнику называли военной и индустриальной психологией. Психотехнические учреждения были подчинены, с одной стороны, государству, а с другой стороны — национал-социалистической партии. «Моя борьба» Гитлера изучалась на психологических семинарах. Сила воли, самообладание, готовность к борьбе, мужество были объявлены — в соответствии с этим программным документом — основными психологическими характеристиками, необходимыми для успешной деятельности. В отличие от СССР, в Германии психотехника все-таки уцелела.

При национал-социализме отбор (селекция) считался основным механизмом прогресса. Задачам отбора и сегрегации было придано особое значение.

В качестве теоретической базы психотехнической практики использовалась концепция выражения: основными проявлениями душевных переживаний и характера считались мимика, пантомимика, почерк и голос.

Основным представителем психологии выражения был Людвиг Клагес — автор книг «Выразительное движение и сила гештальта» (1923), «Почерк и характер» (1932). Он полагал, что направленность, сила и длительность выразительного телесного движения определяются побуждающим психическим переживанием. А оно, в свою очередь, является результатом взаимодействия сил душевного побуждения и сопротивления. В зависимости от их соотношения человек выражает себя по-разному. Крупный почерк свидетельствует о воодушевлении; мелкий — о его недостатке; кривой почерк — о преобладании коммуникативных чувств или опрометчивости, безрассудности, неосмотрительности; прямой почерк — о холодности и т. д.

Другой видный представитель психологии выражения, П. Лерш, автор книги «Лицо и характер» (1932), рассматривал восприятие как проявление выражения определенных психических переживаний и свойств характера. Глаза — орган восприятия мира нашим сознанием: по тому, как человек открывает глаза, направляет взор, осуществляет движения глаз, можно судить о личности. Например, закрытые или прикрытые глаза свидетельствуют о тенденции к принижению, дискредитации собеседника.

Дж.-Б. Риффери различал в голосе две стороны: мелос и ритм. Мелос — повышение или понижение высоты тона. Ритм — членение процесса произношения, распределение пауз. На основании этих двух основных характеристик можно судить о душевном состоянии и качествах личности. Например, человек с выраженным мелосом, быстрым темпом и мягкостью голоса склонен к установлению эмоционального контакта, а индивид с преобладанием в речи ритмической стороны (напряженным ритмом, жесткостью голоса) в коммуникации придерживается дистанции, отличается волей к власти.

В Германии развивались и социальные техники повышения производительности: было организовано движение новаторов и рационализаторов, о рабочих-передовиках говорили по радио, писали в газетах, их показывали в кино.

После начала Второй мировой войны Германия депортировала миллионы иностранных рабочих, миллионами исчислялись и взятые в плен солдаты. Перед нацистскими психотехниками была поставлена задача организации их эффективной работы (было протестировано 400 тысяч депортированных рабочих). Они также проводили селекцию польских детей, которых предполагалось воспитать в истинно арийском духе в немецких семьях. Широкое распространение получила психотехника в вермахте.

Военные психотехники осуществляли селекцию следующим образом. Проводился опрос солдат: «Почему воюем против Англии?», «Какие страны граничат с Германией?», «Назовите их столицы?», «Что такое Мурманск?». В ходе беседы с кандидатом на военную службу регистрировались *телесные проявления характера*. Ослабленная, изогнутая спина, рыхлая или вялая мускулатура шеи и затылка, расслабленные руки считались признаком слабой воли. Человек с сильной волей должен был обладать высоким тономусом мускулатуры, уметь отдавать громко команды, напрягая тело и голос. При этом большое значение придавалось первому впечатлению от кандидата.

Психологическая проверка офицеров была более тщательной. Она длилась два с половиной дня. К немецкому офицеру в нацистской Германии предъявлялись следующие требования. Он должен был обладать силой воли, целенаправленностью и целеустремленностью, твердостью характера, способностью к самоанализу, развитым логическим и практическим мышлением, тактичностью и теплотой чувств, пониманием других людей, способностью руководствоваться идеальными ценностями, готовностью к самоотверженному поведению. Психотехническое исследование начиналось с анализа жизни. Далее по почерку, мимике, голосу изучался характер. Для проверки воли, например, испытуемый натягивал наэлектризованный эспандер так, чтобы прикрепленное к нему зеркало повернулось и можно было прочитать газету, висящую на противоположной стене. Для проверки практического интеллекта предлагалось несколько ситуаций, в которых будущие офицеры должны были найти ответы.

Для экспертизы были разработаны многочисленные функционально-психологические пробы, например, для отбора летчиков использовался вращающийся стул с ориентировкой.

Но несмотря на весьма эффективную работу, немецкая военная психотехника в 1938 году была подвергнута критике идеологической службой, возглавляемой Розенбергом: психотехника обвинялась в игнорировании расовой селекции, в том, что она ставит индивида выше народа и государства. Разработанные в США во время Первой мировой войны армейские тесты были объявлены еврейскими, благоприятствующими дезинтегрированному типу личности. Предлагалось в основу психотехнической селекции положить «Диагностический атлас рас» и антропометрические измерения. Однако, несмотря на идеологическую критику, тесты продолжали применять в практике военного отбора.

Но в апреле 1942 года военная психотехника в Германии была — достаточно неожиданно — ликвидирована. Психотехнический отбор и проверка способностей были упразднены сначала в военно-воздушных, а потом и сухопутных войсках, запрещено использование тестов в вермахте. В военно-морских силах, правда, психотехника запрещена не была, но тестологическая диагностика и отбор больше не производились. При этом ликвидацией военной психотехники занимались руководители армии и партии. Почему? Одна из возможных гипотез — низкие оценки при проверке детей высшего руководства вермахта: например, племянник Геринга был признан психотехниками лишь условно годным к профессии летчика. Один генерал пожаловался Герингу, что его сына во время психотехнического обследования расспрашивали о содержании сновидений отца. Но говорят, что Гитлер сам ликвидировал военную психотехнику, считая, что она действует разлагающе. У. Гейтер считает одной из причин ликвидации военной психотехники разногласия между вермахтом и национал-социалистической партией.

Ликвидация военной психотехники и запрет применения тестов в ней отразились на дальнейшем развитии психологии, особенно в ГДР. Один из ведущих нацистских психологов К. Готтштадт стал после войны руководителем Берлинского института психологии. В ГДР на тесты и психотехнику было наложено двойное табу: одно советское, связанное с запретом педологии и психотехники в СССР, второе — национал-социалистическое, связанное с ликвидацией военной психотехники в нацистской Германии.

Итак, развитие психотехники в нацистской Германии очень напоминало развитие психотехники в СССР. Сначала идеологическая перестройка: в СССР — марксистская, в Германии — национал-социалистическая, в обоих государствах делалась попытка согласовать науку с господствующим мировоззрением, поставить ее на службу идеологическим и практическим целям государства и правящей партии. Адаптацию психотехников к режимам и в том и в другом случае идеологи посчитали недостаточной. Тогда последовали идеологические атаки на теорию и методы психотехники. И коммунисты и нацисты пришли к выводу, что отбор по интеллектуальным характеристикам и психологическим признакам противоречит политической селекции, основанной на преданности партии, государству, принадлежности к классу или расе. Вредительским объявлялось все, что мешало монолитности идеологии и политического режима.

Когда научная работа вступала в противоречие с мифологиями режима, на нее накладывалось табу, вне зависимости от степени конформизма ученых...

В заключение несколько слов о дальнейшей судьбе психотехники. Очевидно, из-за того, что она была ликвидирована в СССР и Германии — странах-лидерах в этой отрасли знания и практики, — понятие психотехники потеряло прежнее значение. В настоящее время оно отождествляется с прикладной психологией или применяется как специфическое обозначение психологии труда, профессии, народного хозяйства.

В хрущевскую «оттепель» психотехника у нас была частично восстановлена в форме инженерной и военной психологии, эргономики (комплексное изучение человека в производственной деятельности) и психологии труда. Однако ни одна из этих дисциплин в СССР не занималась массовым тестологическим отбором, а тем более тестологическими исследованиями групповых отличий в психике. Тесты интеллекта были запрещены вплоть до 1991 года. То, что это так, каждый знает по себе: никаких тестологических проверок при приеме на службу, учебу или в армию не было.

После 1991 года положение несколько изменилось. Запрет с тестов негласно был снят. Появились многочисленные книги с «лучшими психологическими тестами». Но они оказались искаженными, неадаптированными, невалидными версиями западных устаревших тестов. Началась «дикая» практика использования тестов для профотбора, особенно в банках и новых частных производствах, которая несомненно привела к большому количеству ошибок. В то же время из-за экономического кризиса в девяностых годах в государственном секторе практически перестала существовать эргономика, инженерная и военная психология. Вредные последствия этого несомненны. Отсутствие тестологического отбора на службу в армию является одной из причин ее низкой боеготовности, таких явлений, как «дедовщина».

...В Германии в настоящее время существует много технологий моделирования типичных профессиональных ситуаций на основе виртуальной реальности, с помощью которых производится как профотбор, так и тренинг необходимых навыков. Россия существенно отстает от Германии в тестологическом компьютерном профотборе, что, на наш взгляд, мешает ей выйти из затяжного экономического кризиса. Высокие технологии XXI века потребуют квалифицированных и духовно уравновешенных работников, существование которых непредставимо без психотехники, помогающей совершенствованию цивилизации.

Психотехника, так же как психиатрия и психология в целом, — наука, ведущая свои исследования в областях пограничных между физическим и духовным, между рационально познаваемым и ускользающим от натуралистических объяснений. В XX веке фрейдизм, как и марксизм, к примеру, превратился из психиатрической науки в идеологию, претендующую на универсальное объяснение всего: религии, культуры, исторических и социальных явлений. Но при тоталитаризме может существовать только одна идеология, вот почему фрейдизм был изгнан как из марксистского, так и из национал-социалистического государств.

То же и психотехника: необходимая отрасль знания, она полуневольно претендовала на большее — всеобъемлющее объяснение каждого человека.

Повальное тестирование населения, например, безусловно давало картину отличную от пропагандистской и потому не могло быть терпимо при режиме, державшемся кроме силы еще и на идейном зомбировании. Но, разумеется, тест как таковой не является единственным универсальным ключом к человеку, в личности которого способно проявиться совершенно неожиданное начало, уходящее корнями в онтологическую глубину ее сущности. Судить о личности, о народе только по результатам психотехнических исследований — все равно что судить о картине по качеству художественного материала, а не таланту творца-художника.

Есть в психотехнике нечто, чреватое идеологией общества, описанного в замятинском «Мы», поддерживающее рационалистические утопии.

И потому, желая ей, как и всякой настоящей науке, здоровья и процветания, осторожемся судить о человеке только на основании ее выводов и достижений.

Юрий Кублановский.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999

ИРИНА СУРАТ



«ДА ПРИСТУПЛЮ КО СМЕРТИ СМЕЛО...»

О гибели Пушкина

Гибель Пушкина, несомненно, — самое значимое событие его биографии. «Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили», — писала Марина Цветаева¹. В свете этого знания воспринимается пушкинская жизнь, его слово и то, что называется судьба — предопределенная свыше доля. Смерть всякого человека бросает свет на пройденный им путь, а Пушкина это касается в особой мере. Мощный трагический финал обнаруживает истинный вес его «легкого» имени. Но смысл этого финала остается от нас сокрыт. Почему это случилось так, а не иначе? почему в этот момент, а не в другой? Легкомыслие красавицы жены, козни голландского посланника и его приемного сына, материальные трудности, положение при дворе — все это многократно описано и досконально изучено, но к этому не может сводиться проблема гибели Пушкина. Анализ этих известных обстоятельств оставляет ощущение их несоизмеримости с происшедшим. Все это — только внешняя сторона жизненного круга, событийная оболочка великой трагедии великого художника, имеющей свою глубинную логику и свою провиденциальную телеологию. Колосс духа, гений в расцвете сил и таланта — неужели он ушел потому, что оказался в зависимости от двора, а жена его кокетничала с кавалергардом? Клубок обстоятельств, опутавших Пушкина в последние годы, нельзя, конечно, сбрасывать со счетов, но на первый план пора вынести другие вопросы: каков был его внутренний путь к смерти, с чем подошел он к последней черте и в чем, наконец, промыслительность такого ухода? Нельзя сказать, что никто не касался этих вопросов, — их поднимали Вл. Соловьев, С. Булгаков, А. Битов, — и все же что-то самое существенное остается во мраке.

Об этом почти невозможно писать. «Нас этим выстрелом всех в живот ранили»², эмоции перехлестывают и мешают анализу, но дело не только в этом. Уже непосредственные свидетели трагедии ощутили ее головокружительную метафизическую глубину, перед которой теряется разум. В пушкинской кончине заключена тайна высшего порядка, которая и пребудет тайной, и мы можем только очертить заповедный круг связанных с нею проблем.

Но если и не пытаться приблизиться к этой тайне, если расценивать гибель Пушкина как «нелепую»³, то есть лишенную всякого смысла, то и весь

Сурат Ирина Захаровна — литературовед, пушкинист. В 1981 году окончила филологический факультет МГУ; кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор более пятидесяти работ, в том числе книг «Жил на свете рыцарь бедный...» (1990), «Пушкинист Владислав Ходасевич» (1994), книги статей о Пушкине «Жизнь и лира» (1995), значительная часть которых публиковалась на страницах «Нового мира». Наш постоянный автор.

¹ Цветаева М. И. Мой Пушкин. Изд. 3-е, доп. М., 1981, стр. 34.

² Там же.

³ Фомичев С. А. Пушкин и древнерусская литература. — «Русская литература», 1987, № 1, стр. 33.

его путь оказывается для нас недочитанной, недопонятой книгой, сюжет которой не имеет развязки.

Полтора столетия в целом не много прибавили к тем версиям случившегося, которые оформились в сознании современников. Наиболее распространенная из них была с исключительной силой выражена Лермонтовым в «Смерти поэта» — это обвинение обществу, и конкретно придворному обществу, загнавшему и удушившему Пушкина. Оспаривать гнусную роль в этом деле петербургского света не приходится — она и сегодня всем очевидна. К этим внешним злым силам, вынудившим поэта выйти на смертельную дуэль, причисляют по вкусу кто его жену, кто масонов, кто императора Николая I. Но хочется вместе с С. Булгаковым возразить: «Пушкин достоин того, чтобы за ним признана была и личная ответственность за свою судьбу»⁴.

Признающие личную ответственность Пушкина за постигшую его участь разделяют, как правило, один из двух взглядов на дуэль. Первый: Пушкин по собственной воле шел на смерть потому, что в силу тех или иных причин не хотел больше жить. Среди современников это утверждал не только Геккерн, имевший на то понятные резоны, но и такие не чужие Пушкину люди, как Вл. Соллогуб, избранный им в секунданты в ноябрьской дуэльной истории, или Е. Вревская, с которой он был откровенен в январские преддуэльные дни. Сторонники этого мнения пренебрегают многими фактами, из коих самый красноречивый состоит в том, что смертельно раненный Пушкин, упавший в снег, истекающий кровью, собрал все силы, чтобы сделать свой выстрел и убить противника, а узнав, что тот только ранен, сказал: «Странно, я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем»⁵. С версией самоубийства это никак не сходится: «...отчего человек, решивший прощаться с жизнью, обязательно хочет утащить на тот свет своего противника?»⁶

Еще один взгляд сводится к тому, что Пушкин, грубо говоря, сам во многом виноват, что он своими предсудительными поступками невольно приблизил собственную смерть. Пришедший к такому выводу Вл. Соловьев счел возможным передать его стихами Жуковского⁷:

Жизнь его не враг отъял, —
Он своею силой пал,
Жертва гибельного гнева, —

или не гнева, а неправильного выбора жены и вообще жизненных путей. «Пушкин был великий „светильник духа“, и только великая вина могла погасить его. Только эта вина сделала его уязвимым», — писал символистский критик П. П. Перцов в статье «„Судьба“ Пушкина»⁸. Суд над поэтом, начатый еще при его жизни в том числе и близкими друзьями (В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, А. И. Тургеневым), продолжается со всею страстностью и теперь. Недавний пример такого рода — очерк Ю. Арабова, в основу которого положена идея расплаты Пушкина за грехи, содеянные в юности. Он соблазнил чужих жен, играл в дуэли, верил не в Бога, а в приметы и предсказания — и все это «вдруг обратилось против него в зрелости в увеличенном, безобразно-гротескном виде»⁹. Пушкин был открыт для черта, и тот вмешался и решил его судьбу на Черной речке. Эта схема «преступление — наказание» построена

⁴ Булгаков С. Жребий Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике». М., 1990, стр. 273.

⁵ Письмо П. А. Вяземского великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля 1836 г. — Цит. по кн.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, стр. 226.

⁶ Арабов Ю. Механика судеб и механика замысла. — «Киносценарии», 1996, № 4, стр. 118.

⁷ Соловьев Вл. Судьба Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 18.

⁸ Перцов П. П. Первый сборник. СПб., 1902, стр. 140.

⁹ Арабов Ю. Указ. соч. — «Киносценарии», 1996, № 4, стр. 118.

как бы с позиций христианской этики, но правды в ней нет. Тут упущено главное: грешил и расплачивался все-таки гениальный поэт, и арифметика грехов и ошибок мало что проясняет в его особой судьбе.

Довольно убедительная и стройная концепция была разработана Я. Гординым, признающим личную ответственность Пушкина за то положение, в котором он оказался в последние годы. Поэт, по его мнению, сам сделал свой выбор тогда, когда захотел стать историком и государственным деятелем. Такой выбор пути привязал его к Петербургу, поставил в пагубную зависимость от двора и в конечном итоге привел к гибели¹⁰. В этой концепции, как и в ряде других, есть своя правда, но при таком ракурсе остается за кадром и собственно духовное развитие Пушкина, и провиденциальная линия его жизни.

Причинно-следственная логика вообще как-то не работает в этой истории. Чувствуется, что события развивались по другим рельсам и что их зависимость от поступков Пушкина и окружавших его людей была очень сложной и при этом весьма относительной. В судьбах великих людей Провидение действует зримо, явно, и особенно явно — для них самих. Пушкин с середины 1820-х годов все больше склонялся к провиденциализму, что же касается последних лет и последних даже дней его жизни, то тут важное свидетельство оставил нам П. А. Плетнев, описавший свою прогулку с Пушкиным «за несколько дней» до его смерти: «У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах *Промысла...* (курсив Плетнева. — *И. С.*)»¹¹. В этом ракурсе история гибели Пушкина предстает не как причинно-следственный сюжет, лежащий в плоскости социальных или семейных отношений, а как вертикальный сюжет взаимодействия гениального человека со своей судьбой, как он ее чувствовал и понимал, с Провидением, действовавшим через людей и обстоятельства. Было ли поведение Пушкина «взрывочным возмущением против судьбы», как считал В. А. Соллогуб¹², или, напротив, он шел навстречу тому, что считал для себя неизбежным, — может быть, разбор именно этого вопроса поможет что-то по-новому понять в истории пушкинского ухода.

У Пушкина всегда была память о смерти, то самое *memento mori*. В ранних лицевых стихах эта память — не более чем примета элегического стиля. Чуть позже Пушкин начинает легко играть с этой темой, усвоив себе из книг эпикурейское к ней отношение:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
.....
Смертный миг наш будет светел;
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.

(«Кривоцову», 1817)

В воинственных стихотворениях 1820 — 1821 годов, навеянных испанской революцией и греческим восстанием, показное безразличие сменяется молодецкой бравадой («И смерти мысль мила душе моей»), но в кризисных стихах 1822 — 1823 годов, мысли о смерти оборачиваются для него пугающими «грозящими вопросами» о том, что происходит там, за чертою земной жизни.

Впоследствии эти неразрешенные вопросы потеряли — до поры — актуальность для Пушкина. В его зрелой философской лирике смерть принимается спокойно и просто — как естественное прекращение жизни тела. Между

¹⁰ См.: Гордин Я. А. Гибель Пушкина (1973). — В его кн.: «Три повести». Л., 1983, стр. 120 — 288.

¹¹ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2. М., 1985, стр. 295.

¹² Там же, стр. 352.

жизнью и смертью как будто нет никакой болезненной преграды, речь идет главным образом о том, где и когда:

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараюсь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладельный прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать...

(«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 1829)

«Бесчувственному телу» действительно «равно», а засмертная судьба души Пушкина пока не волнует. Да и смерть своих героев он обычно изображает с той же внешней стороны — как событие, происходящее с их телом, не с душой. «Свершилась казнь», покатила голова Кочубея, а то, что он готовился к смерти, ждал причастия и не дождался, — это остается в тени сюжета, не вырастает в проблему для автора. Также и смерть Ленского: его сердце «замолкло навсегда», как дом, покинутый «хозяйкой», но что это значит и где «хозяйка» — к этим «тайнам гроба» Пушкин не подходит, за завесу не заглядывает.

Для понимания пушкинских отношений со смертью важно помнить, что у него с юности сложилось героическое сознание, не изменившееся по сути до конца дней. Усвоенная им модель героической судьбы предполагала высокую смерть в бою, достойную не сострадания, но восхищения. Поэты для него — те же герои, состоящие в родстве со смертью и всегда готовые к ней. Истинный поэт погибает, как Андрей Шенье из одноименного стихотворения, восходящий на эшафот с высоко поднятой головой. Гибель Байрона от лихорадки в лагере греческих повстанцев вызывает у него поэтический восторг: «...тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии» (письмо П. А. Вяземскому 24 — 25 июня 1824 года). И уже незадолго до собственной гибели он писал о Грибоедове: «Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна» («Путешествие в Арзрум»). В контексте этих высказываний становится понятен смысл итальянского эпитафия к шестой главе «Евгения Онегина», в которой рассказано о гибели Ленского: «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому не больно умирать». Немного сократив стихи Петрарки, Пушкин переадресовал их поэтам — это им умирать «не больно». Знал он, конечно, и стихи Горация об этом «племени»:

Что нам поэтов свободы лишать — погибать как угодно!
Против воли поэта спасти — все равно, что убийство!
С ним же ведь это не в первый уж раз! И поверь — человеком
Все он не будет, все мысль не оставит о славной кончине!

(«Наука поэзии», перевод М. Дмитриева)

Но свой взгляд на смерть поэта Пушкин не заимствовал ни у кого, даже у любимого Горация, — такой взгляд был органичной частью его собственной личности и его мироощущения как поэта. Отсюда — тяга к бою как в юности, так и в зрелости и к дуэли как виду открытого, честного боя. Заслуживает внимания свидетельство И. П. Липранди: «Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. <...> Дуэль Киселева с Мордвиновым очень занимала его; в продолжение нескольких и многих

дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других: что на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п.?»¹³ Показательно, что для Липранди нет различия между «военными эпизодами» и дуэлью — так оно было и для Пушкина. Эти воспоминания относятся к молодому Пушкину (дуэль Киселева с Мордвиновым произошла в 1823 году), но и в тридцать лет, прибыв без разрешения в армию Паскевича, он безудержно рвался в бой с турками, так что друзьям с трудом удавалось вывести его с передовой. Пушкин был бесстрашен и всегда готов был погибнуть в бою. Конечно, в январе 1837 года на дуэль вышел не тот Пушкин, который когда-то по любому поводу подставлял свой лоб под дуло пистолета, но всегдашняя готовность к прямому, честному и, возможно, смертельному бою лежала глубоко в основе его личности и не была утрачена вместе с молодостью. Это качество сыграло свою роль в его последней дуэли.

И еще одно важно: в его представление о героической смерти входила и способность самому оборвать свою жизнь, коль скоро она обречена. В 1825 году он начинает, а в 1835-м заканчивает перевод «Из А. Шенье» («Покров, упитанный язвительною кровью...»), лирическая природа которого очевидна¹⁴. Герой его, «ярый мученик», уже отравленный и обреченный погибнуть Алкид (Геракл) делает шаг навстречу смерти — он сам готовит себе костер и всходит на него, и самосожжение оказывается в стихах апофеозом его героизма: «...пламя, воя, / Уносит к небесам бессмертный дух героя». Понятно, что между этим героем и Пушкиным лежит и античный миф, и романтический Шенье, но без сочувствия такому уходу героя перевод не состоялся бы и не получил бы такой лирической силы.

Резкий поворот в отношениях Пушкина со смертью отражен в лирике весны — лета 1835 года, и в первую очередь — в «Страннике». Аллегорический сюжет книги Дж. Беньяна «Путешествие Пилигрима» позволил Пушкину сконцентрировать в этом стихотворении личные духовные проблемы, вдруг вставшие перед ним с болезненной остротой¹⁵. Центральный мотив «Странника» — внезапно пришедшее к герою знание о близкой смерти, поразившее его как удар молнии. И впервые в лирике Пушкина это знание вызывает страх, ужас, впервые вопрос о смерти и о готовности к ней поворачивается религиозной своей стороной:

Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит.

Странник поражен этим настолько сильно, что решает бесповоротно изменить свою жизнь, что со стороны кажется безумным, — бежит из дома,

Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Тут уж нет места эпикурейскому и вообще философическому спокойствию — тут остро стоит личный вопрос о судьбе души, о пути ее спасения. Эта тема лежит и в основе сюжета стихотворения «На Испанию родную...»¹⁶, написанного в апреле 1835 года. Его герой король Родрик тоже совершает резкий поступок, в корне меняющий жизнь, — он бежит от людей, чтобы готовить свою душу к смерти. В примыкающем к этому стихотворению отрывке «Чудный сон мне Бог послал...» герой, как и в «Страннике», получает предве-

¹³ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 1, стр. 344 — 345.

¹⁴ Об этом см.: Благой Д. Д. Душа в заветной лире. Изд. 2-е. М., 1979, стр. 466 — 467.

¹⁵ Анализ лирической проблематики «Странника» см.: Благой Д. Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой. — В сб.: «Пушкин. Исследования и материалы». Т. IV. М.—Л., 1962, стр. 55 — 59; СураТ И. З. Два сюжета поздней лирики Пушкина. — В сб.: «Московский пушкинист». IV. М., 1997, стр. 75 — 85.

¹⁶ Подробнее об этом см.: СураТ И. «Родрик» — житие великого грешника. — «Новый мир», 1997, № 3, стр. 187 — 199.

шание о близкой смерти, и тоже это известие оборачивается для него вопросом о судьбе души:

Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.

Похоже, в какой-то момент Пушкин вдруг «сильно был поражен мыслью о смерти» (выражаясь словами его героя Петрония из «Повести из римской жизни»), отчетливо расслышал ее шаги, получил предчувствие, переходящее уже в з н а н и е, и это знание застало его, как Странника, врасплох и впервые поставило перед ним христианский вопрос о спасении. С этого времени мотивы внезапной смерти все больше сгушаются в его лирике и письмах.

Но отчего с такой готовностью воспринял Пушкин это предчувствие? Вероятно, не в последнюю очередь из-за предсказания гадалки о ранней насильственной гибели, которое он услышал в юности и которое произвело на него огромное впечатление. Мемуаристы подчеркивают, что Пушкин не только всегда помнил о том гадании, но и верил в него и ждал исполнения. А. А. Фукс передает слова Пушкина, сказанные ей в 1833 году: «Теперь надо сбыться <...> предсказанию, и я в этом совершенно уверен»¹⁷. А. Н. Вульф рассказывает: «Столь скорое осуществление одного предсказания ворожеи так подействовало на Пушкина, что тот еще осенью 1835 года, едучи со мной из Петербурга в деревню, вспоминал об этом эпизоде своей молодости и говорил, что ждет и над собой исполнения пророчества колдуньи»¹⁸. Верой в предсказание Пушкин несомненно воздействовал на свою судьбу, вызывая такую смерть из ряда других возможностей, приближал, выражаясь его же словами о Радищеве, «конец, им давно предвиденный и который он сам себе напороочил» («Александр Радищев», 1836). Еще больше он напороочил стихами, и очень конкретно — от дуэли на январском снегу до часовых у гроба. Слово поэта не уходит в пустоту — оно формирует судьбу и становится ею.

Пушкинское отношение к судьбе менялось по мере его созревания, по мере осмысления дара. В юношеских гордых стихах он провозглашал превосходство над нею: «Судьбы всемогущее поэт» («Послание к Юдину», 1815), позже признал над собой силу судьбы, но как силу враждебную, дикую, бессмысленную: «Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто», — писал он Вяземскому в мае 1826 года. В «Предчувствии» (1828) он настраивал себя на стоическое противостояние судьбе:

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Но в то же время, начиная с михайловского уединения, созревало и все более укреплялось в нем ощущение, что в поворотах судьбы есть высший, хоть и не всегда доступный разумению смысл: на месте дикой обезьяны постепенно проступало для него Провидение, к которому он все больше прислушивался. Один из примеров тому — отказ от задуманной поездки из Михайловского в Петербург в декабре 1825 года под воздействием якобы зайца, перебежавшего ему дорогу. Пресловутая пушкинская вера в приметы в этом и в других случаях не столько предрассудок, сколько доверие к Провидению, «постоянное припадание „чутким ухом“ к пульсу судьбы»¹⁹. Впоследствии и

¹⁷ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 258.

¹⁸ Там же, т. 1, стр. 446.

¹⁹ Битов А. Г. Статьи из романа. М., 1986, стр. 228.

все михайловское сидение, томительное для Пушкина, было им осмыслено как спасительное и провиденциальное:

Но здесь меня таинственным шитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

(«Вновь я посетил...», 1835, черновик)

«Святое провиденье» в этих стихах сливается с поэтическим даром, зову которого Пушкин всегда следовал и который, собственно, и был его судьбой, дарованной Небесами.

И вот, уловив безошибочным внутренним слухом приближение конца, Пушкин сначала поверил в это, а потом и принял смерть, согласился с нею. «Но Твоя да будет воля, / Не моя...» — так, словами гефсиманской Христовой молитвы, встречает весть о своей близкой кончине герой отрывка «Чудный сон мне Бог послал...». О том же — пушкинские слова, сказанные им на смертном одре и дошедшие до нас в передаче В. И. Даля: «...мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо»²⁰.

Это приятие смерти отразилось в стихотворениях «Когда за городом, задумчив, я брожу...» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», написанных соответственно 14 и 21 августа 1836 года и хронологически завершающих каменноостровский лирический цикл. Тема смерти звучит в них совсем не так, как в ключевых стихах 1835 года, мысль о ней уже не поражает, не вызывает тревоги или страха или желания резко изменить жизнь — она просто присутствует во всем как что-то прочно вошедшее в сознание и само собою разумеющееся. Вообще лирика 1836 года — это уже совсем другая, новая для Пушкина лирика²¹. В ней меньше личной духовной проблематики, а больше традиционной христианской тематики и символики («Мирская власть», «Подражание итальянскому», «Отцы пустынники и жены непорочны...»), духовная жажда сменяется в ней успокоением; исключение составляет, быть может, только отрывок «Напрасно я бегу к Сионским высотам...». В целом же каменноостровский цикл несет в себе покой тайнознания, покой духовной полноты — именно это потом увидел Жуковский на лице умершего Пушкина. Чувствуется, что за короткий срок он прошел неисследимый внутренний путь, что какой-то глубинный духовный процесс завершился в нем и подвел вплотную то ли к смерти, то ли к совершенно новому витку жизни.

Если ж говорить конкретно о «Когда за городом...» и «Памятнике», то это уже какие-то за смертные стихи, написанные как будто оттуда. Два связанных со смертью вопроса, в разное время в разной мере волновавшие Пушкина, — о судьбе души и о судьбе тела — предстают в них решенными. Вопрос о судьбе души облечен в «Памятнике» в итоговую формулу, догматически сомнительную, но для поэта несомненную: «Душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит...» Душа спасется через лиру — таков итог сoterиологической темы в лирике Пушкина. Посмертная судьба тела определена в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...», где сделан выбор в пользу родового деревенского кладбища, тихий и торжественный пейзаж которого рисуется с прямо выраженной любовью: «Но как же люблю мне...» Если это не любовь к смерти, то уж во всяком случае согласие с ней и готовность упокоиться на этом «кладбище родовом». Так завершается жизненный сюжет в лирике Пушкина; кажется, что он послушно переводит стрелки своей жизни на смерть. Предчувствие, вошедшее в лирику, становится судьбой.

²⁰ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 267.

²¹ Исследователи, как правило, не учитывают этого, так, Е. А. Тоддес считает даже возможным говорить о едином «духовном цикле» 1835 — 1836 годов и включать «Странника» в каменноостровский цикл — см.: Тоддес Е. А. К вопросу о каменноостровском цикле. — В сб.: «Проблемы пушкиноведения». Рига, 1983, стр. 26 — 44.

О судьбе тела Пушкина хочется сказать особо. Известно, что он облюбовал себе «кладбище родовое», когда провожал тело матери, умершей 29 марта 1836 года. Похоронив ее в ограде Святогорского монастыря рядом с могилами деду и бабуки, он внес вклад в монастырскую кассу на собственную могилу. В. А. Нащокина вспоминала, как, вернувшись тогда из Михайловского, Пушкин «с восторгом говорил Павлу Воиновичу: „Знаешь, брат, ты вот все болеешь, может, скоро умрешь, так я подыскал тебе в Михайловском могилку сухую, песчаную, чтобы тебе было не сыро лежать, чтобы тебе и мертвому было хорошо, а когда умру я, меня положат рядом с тобой”²². Но эта мечта лежать рядом с другом в сухой могилке обернулась такими мытарствами тела, которые он вряд ли мог бы вообразить.

Похороны Пушкина, может, и не уникальны в нашей дикой истории, но для великого художника, для национального гения все-таки невероятны. В начале его истерзанное раной и неумелым лечением тело выставили в доме таким образом, что многие пришедшие тогда проститься с Пушкиным вспоминали потом об этом кто с неловкостью, кто с возмущением: «...посторонних посетителей пускали через какой-то подземный ход и черную лестницу»; «...входили и выходили в швейцарскую дверь, узенькую, вышиною в полтора аршина; на этой дверке было написано углем: Пушкин»²³. Что было потом — всем известно: вместо назначенного для отпевания Исаакиевского собора, в приходе которого жил Пушкин, его тело ночью тайно перенесли в Конюшенную церковь — «без факелов, почти без проводников»²⁴, но и здесь в покое не оставили — после отпевания «вынесли гроб в подвал на другой двор»²⁵. Там, в подвале, он и стоял двое суток до отправки из Петербурга. Но все это были цветочки по сравнению с тем погребением, которое было уготовано Пушкину.

Сопровождать тело в Святые Горы высочайшим повелением назначили А. И. Тургенева, вывозили снова ночью, под прикрытием жандармов. О том, как везли Пушкина к месту похорон, мы можем судить по записи в дневнике А. В. Никитенко:

«Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. <...>.

— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.

— А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи — как собаку»²⁶.

По дороге Тургенев заезжал то к псковскому губернатору на вечеринку, то к П. А. Осиповой в Тригорское — и оставлял тело Пушкина на станциях. Записи в дневнике Тургенева отдают гротеском: «За нами прискакал и гроб...»; «Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь»²⁷. Какова картина! — гроб с телом Пушкина болтается без сопровождения по заснеженным дорогам псковщины. Хорошо еще, что с ним поехал верный слуга Пушкина Никита Козлов — это был единственный близкий человек, неотлучно находившийся при теле вплоть до погребения²⁸.

Но собственно погребение — как оно состоялось? В дневнике и письме А. И. Нефедьевой Тургенев рассказал об этом не очень отчетливо²⁹. Между

²² «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 238.

²³ Цит. по кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 1984, стр. 611 — 613.

²⁴ Письмо В. А. Жуковского А. Х. Бенкендорфу от 25 февраля — 8 марта 1837 г. — В сб.: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 420.

²⁵ Письмо А. И. Тургенева А. И. Нефедьевой от 1 февраля 1837 г. — Цит. по кн.: «Последний год жизни Пушкина». М., 1988, стр. 573.

²⁶ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 288.

²⁷ Там же, стр. 218.

²⁸ См. воспоминания жандармского полковника Ракеева. — В кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 627 — 628.

²⁹ См.: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 218; «Последний год жизни Пушкина», стр. 592.

тем по воспоминаниям Е. И. Фок совершенно ясно, что из-за сильного мороза предать тело Пушкина земле не удалось: «...ее (могилу. — И. С.) копать не пришлось: земля вся промерзла, — ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом <...> Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий (настоятель монастыря. — И. С.) вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно³⁰. Вот вам и «могилка сухая, песчаная»... Хоронили поэта Тургенев, Никита Козлов, мужики из Тригорского и две девочки, дочери П. А. Осиповой Катя и Маша, которых послала мама, «чтобы <...> присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких»³¹.

Что-то есть таинственно-нарочитое в скоплении обстоятельств, не позволивших похоронить Пушкина не только с почестями, но хотя бы просто по-человечески. «Ближе к милому пределу» или дальше от него, в Царском Селе или в Святых Горах, в сухом песочке или на ледяном ложе — не суть, «равно повсюду истлеть...». По большому счету важно только одно — само таинство смерти, освобождение души от земных уз.

Итак, не только сложные жизненные обстоятельства заставили Пушкина выйти на смертельную дуэль 27 января 1837 года. Этот шаг навстречу судьбе был предопределен его внутренним развитием, его отношениями не столько с окружающими его людьми, сколько с самим собою, со смертью, с Провидением. Но тут возникает мучительный вопрос, может быть, самый мучительный в этой истории. Можно ли говорить о духовном развитии, если Пушкин определенно хотел убить человека, старательно метился и стрелял в него? Как это согласуется, скажем, с тем «высокорелигиозным настроением» Пушкина накануне дуэли, о котором свидетельствовал П. А. Плетнев?

Согласно христианским установлениям, участие в дуэли в любом случае преступно, а смерть на дуэли приравнивается к самоубийству. Известно, что по этой причине митрополит Петербургский Серафим, когда к нему обратился устроитель похорон граф Г. А. Строганов, отказался отпевать Пушкина, более того — он вообще не хотел разрешать церковные похороны, но на это его с трудом уломали. Характерный эпизод того же рода пересказал Андрей Карамзин в письме из Италии родным в Петербург: священник, которому он сообщил, что Пушкин убит на дуэли, воскликнул: «Как же это можно-с, ведь дуэли запрещены-с!!!»³² Андрей Карамзин назвал этот ответ «наивно-глупым». Но не так уж далеко от такой оценки (а также от приговора военного суда, согласно которому Пушкина надо было повесить, если б он остался жив³³) ушел и философ Вл. Соловьев, вынесший свой приговор поэту: «Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна»³⁴.

Одно дело — подвергнуть пушкинский поступок какой-либо внешней оценке, юридической или моральной, другое дело — попробовать понять его нравственный смысл изнутри. Пушкин был человеком своей эпохи и человеком дворянской крови, и дуэль была для него не преступлением, а честным способом борьбы за правду. В его сознании дуэль была противоположна убийству: убийство — подлость, выход на дуэль — благородный поступок честного дворянина. В мае 1836 года чиновник Павлов убил кинжалом соблазнителя своей сестры Апрелева. Узнав о том, что Павлов раньше вызывал Апрелева на дуэль, а тот отказался, Пушкин писал жене: «То, что ты пишешь о Павлове, помирило меня с ним. Я рад, что он вызывал Апрелева. — У нас убийство мо-

³⁰ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 1, стр. 468.

³¹ Там же.

³² «Пушкин в письмах Карамзиных 1836 — 1837 годов». М.—Л., 1960, стр. 401.

³³ «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном». СПб., 1900, стр. 107. Такой приговор, формально выносившийся участникам дуэли по законам еще петровских времен, в реальности никогда не исполнялся и заменялся разжалованием, лишением прав, заключением или высылкой.

³⁴ Соловьев Вл. Судьба Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской кри- тике», стр. 36.

жет быть гнусным расчетом: оно избавляет от дуэля и подвергается одному наказанию — а не смертной казни» (письмо от 18 мая 1836 года). Можно называть такое отношение к дуэли «дворянским предрассудком», далеким от христианских заповедей, но другого отношения у Пушкина быть не могло³⁵.

Более того, дуэль считалась не только правом дворянина, но в соответствующих ситуациях — и его обязанностью; уклонение от дуэли почиталось за последнюю низость, для честного человека совершенно невозможную. В пушкинском прозаическом наброске «Мы проводили вечер на даче...» (1835) герой рассуждает: «...первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие». Показательно и поведение барона Геккерна, который готов был любой ценой избежать дуэли, но просто уклониться от нее не мог. После ноябрьского вызова Пушкина он нашел выход в поспешной женитьбе Дантеса на пушкинской свояченице, но, получив 26 января оскорбительное письмо Пушкина, он и хотел бы уклониться, однако это даже для него было уже невозможно; «Геккерен бросился за советом к графу Строганову, и <...> граф, прочитав письмо, дал совет Геккерену, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом»³⁶. Таковы были понятия той эпохи и того круга, и они были столь сильны, что объединяли Пушкина и Данзаса с Геккерном, Дантесом, графом Строгановым. Кстати о Данзасе: многие его обвиняли в том, что он способствовал гибели Пушкина. Но профессиональный военный, подполковник Данзас не мог отказать другу в таком деле. В рапорте военно-судной комиссии он писал: «Я не мог не почитать избравшего меня в свидетели тяжко оскорбленным в том, что человек ценит дороже всего в мире: в чести жены и собственной; оставить его в сем положении показалось мне невозможным, я решился принять на себя обязанность секунданта»³⁷. Потом Данзас тяжело переживал случившееся, но неписанный кодекс того времени он понимал так же, как и Пушкин, и по этому кодексу дуэль была неизбежна.

Но спрашивается, не мог ли Пушкин и в дуэли вести себя иначе? Насколько нам было бы проще, если бы он, подвергнув риску свою жизнь, не покушался бы на жизнь своего противника, стрелял бы в воздух! Но не мог Пушкин стрелять в воздух. Он вышел на смертный бой и вел себя по законам боя³⁸. «Attendez! je me sens assez de force pour tuer mon coup» — «Подождите! У меня достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел» — это возглас смертельно раненного бойца, для которого победа важнее жизни.

Характер дуэли на Черной речке определялся не только личным героическим складом Пушкина, но и теми представлениями о смысле дуэли, которые сложились в России и были у Пушкина в крови. Как показал в своем замечательном исследовании Я. Гордин, в России, в отличие от европейских стран, дуэль воспринималась как «судебный поединок, а не как ритуальное снятие бесчестия»³⁹ — поэтому русская дуэль была кровавой. В ноябре 1836 года, поручая В. А. Соллогубу переговоры с секундантом Дантеса Д'Аршиаком об условиях дуэли, Пушкин просил: «Чем кровавее, тем лучше»⁴⁰. А самому Д'Аршиаку он тогда говорил: «Вы, французы, — вы очень любезны.

³⁵ Детальное историческое исследование темы «русской дуэли» в связи с гибелью Пушкина см. в книге: Гордин Я. А. Право на поединок. Л., 1989.

³⁶ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 369 — 370.

³⁷ «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном», стр. 79.

³⁸ Об этом см.: Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Изд. 2-е, доп. М., 1987, стр. 169 — 170.

³⁹ Гордин Я. А. Право на поединок, стр. 443.

⁴⁰ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 341.

Вы все знаете латинский язык, но когда вы деретесь, вы становитесь за тридцать шагов и стреляете. Мы, русские, — чем дуэль... (пропуск в записи. — И. С.), тем жесточе должна она быть»⁴¹. Дуэлянт в России выходил на поединок не столько для того, чтобы смыть с себя оскорбление, сколько для того, чтобы судить противника праведным судом и покарать его, призывая в свидетели Небо. «Правая сторона должна была восторжествовать, потому что она — правая, а Бог за правое дело»⁴². Пушкин вышел на дуэль, чтобы убить противника и утвердить свою правоту. Причины дуэли были для него столь серьезны, что она могла быть только такой — судебной и кровавой (стрелялись на десяти шагах). При этом дуэль была актом доверия Промыслу — окончательный суд отдавался на волю Божью.

Этот смертный бой Пушкин безусловно выиграл — но не ценою чужой жизни, а ценою своей собственной. Бог не попустил ему убить человека — его смерть «окончательно поставила все на свои места»⁴³ и утвердила его правоту со всей несомненностью.

То, что ясно сегодня, далеко не так было ясно современникам Пушкина. В последние месяцы почти никто не понимал его поведения и почти все осуждали. 9 ноября 1836 года, когда уже был послан вызов Дантесу, Жуковский, пытавшийся уладить дело, писал Пушкину: «...ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления»⁴⁴. 27 января, в день дуэли на Черной речке, С. Н. Карамзина, описывая брату вечеринку у Мещерских, на которой были Пушкин с женой и Дантес, заключает свои наблюдения над ними: «В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных»⁴⁵. А на следующий день после смерти Пушкина А. И. Тургенев записывает в дневнике: «Зашел к Пушкину. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтыря: „Правду твою не скрыв в сердце твоём“. Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причины оной к антагонисту — он не скрыв, не угомонился в сердце своим и погиб»⁴⁶. Это лишь несколько примеров глухоты и непонимания, упреков и обвинений, исходивших от близких Пушкину людей, — о людях далеких и говорить не приходится. Общее мнение было таково, что Пушкин спровоцировал дуэль своей безумной, неистовой ревностью⁴⁷. Пресловутая «африканская кровь» упоминается чуть ли не во всех описаниях преддуэльного поведения Пушкина, от писем Вяземского до дипломатических депеш — как будто речь идет о скаковой лошади. На самом деле Пушкин владел ситуацией, и если в какие-то моменты он не сдерживал своих чувств, то потому, что не считал это нужным. При всей своей горячности, Пушкин был всегда трезв в важнейших решениях, и его решение о дуэли было трезвым и обдуманым.

Миф о безудержной ревности Пушкина можно считать развенчанным⁴⁸. Его гнев имел не африканскую природу — это был праведный гнев человека, которого интригами пытались втянуть в ситуацию, для него недопустимую.

⁴¹ Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 501.

⁴² Гордин Я. А. Право на поединок, стр. 293.

⁴³ Непомнящий В. С. Поэзия и судьба, стр. 170 — 171.

⁴⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. М.—Л., 1949, стр. 183.

⁴⁵ «Пушкин в письмах Карамзиных 1836 — 1837 годов», стр. 165.

⁴⁶ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 216.

⁴⁷ Даже Жуковский уже после смерти Пушкина в первой редакции своего письма А. Х. Бенкендорфу говорил: «С его стороны было одно бешенство обезумевшей ревности; с другой стороны, напротив, был и ветреный и злонамеренный разврат»; о ревности как пружине пушкинского поведения писал и Вяземский в письме великому князю Михаилу Павловичу (см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, стр. 207, 223).

⁴⁸ Об этом см., напр.: Эйдельман Н. Я. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826 — 1837. М., 1987, стр. 395 — 396; Герштейн Эмма. К истории смертельной дуэли Пушкина. (Критические заметки). — В сб.: «Лица». Биографический альманах. 6. М. — СПб., 1995, стр. 168 — 169.

Удивительно, но исследователи поэзии Пушкина долгое время не обращали внимания на его последние стихи⁴⁹:

Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь.

Этот куплет вписан Пушкиным в коллективный канон М. И. Глинке и датируется 13 декабря 1836 года — днем дружеского обеда в честь первого представления оперы «Жизнь за царя». Шутливый хвалебный канон, сочиненный М. Ю. Виельгорским, Жуковским и Вяземским, Пушкин завершает четверостишием, которое своими мрачными мотивами никак не соответствует ни конкретному поводу, ни обстоятельствам жизни Глинки, зато в точности соответствует пушкинским обстоятельствам и на фоне полного отсутствия лирики в этот период может считаться уникальным лирическим признанием⁵⁰. В этих стихах о Глинке Пушкин невольно выдал свою насущную заботу в это время: не дать затоптать себя в грязь. На это и было направлено все его поведение. Еще одно невольное признание содержится в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая”», над которой Пушкин работал, по предположению С. Л. Абрамович⁵¹, 21 — 22 января 1837 года и в которой писал, что Мильтон «в злые дни, жертва злых языков <...> сохранил непреклонность души (курсив Пушкина. — И. С.)». Самому Пушкину в эти злые для него дни важно было сохранить не только «непреклонность души», но главное было — сохранить незапятнанным свое имя, которое, он знал, уже принадлежало истории. Исчерпывающее объяснение по этому поводу он дал Соллогу: «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться, говорил Пушкин. Да что делать? J'ai la malheur d'être un homme publique et vous savez que s'est pire que d'être une femme publique» («Я имею несчастье быть общественным человеком, а это хуже, чем быть публичной женщиной»)⁵². О том же он говорил С. Н. Карамзиной накануне дуэли: «Мне не довольно того, что вы, мои друзья, что здешнее общество, так же, как и я, убеждены в невинности и в чистоте моей жены: мне нужно еще, чтобы мое доброе имя и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно» (перевод с французского)⁵³.

Пушкин был обязан разоблачить Геккернов, которые использовали его великодушный отказ от ноябрьского вызова, чтобы смешать его имя с грязью⁵⁴. В статье «Вольтер» (1836) он писал о «клевете, преследующей знаменитость, но всегда уничтожающейся перед лицом истины». Противопоставить клевете истину — в этом была суть всех его разоблачительных замыслов. Не злоба, не ревность и не жажда мести руководили Пушкиным, а необходимость публично утвердить правду о себе и своей семейной жизни.

Именно в этом и состоит смысл его письма Геккерну — того письма, которое все — от Карамзиных и Тургенева до Николая I — в один голос называли «ужасным», «страшным», «оскорбительным сверх всякой меры». Письмо было вчерне написано 21 ноября 1836 года, когда первая дуэльная история, казалось, была улажена, а 25 января 1837 года оно было переписано заново и отослано адресату, после чего дуэль стала неотвратимой. Да, действительно, для XIX века такое письмо беспрецедентно. Это письмо — акт полного осво-

⁴⁹ Во всяком случае — последние датированные стихи; несколько стихотворений, датировка которых расплывчата, почти наверняка были написаны раньше.

⁵⁰ Первым обратил внимание на это четверостишие и проанализировал его А. Сыркин в заметке «Последние стихи А. С. Пушкина („Канон в честь Глинки”)». — В сб.: «Russian Literature and History: in honor of professor Ilya Sernan». Jerusalem, 1989, p. 49 — 52.

⁵¹ Ей же принадлежит наблюдение о личном подтексте пушкинских слов о Мильтоне (Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. СПб., 1994, стр. 260, 264).

⁵² «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 351.

⁵³ Цит. по кн.: Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина, стр. 315, 324.

⁵⁴ Этот эпизод подробно и убедительно разработан в недавней статье Э. Г. Герштейн «К истории смертельной дуэли Пушкина. (Критические заметки)», стр. 135 — 140.

бождения от света, от его приличий и норм, не позволявших говорить правду как она есть. Пушкин назвал все своими именами, не выбирая выражений, и привел ситуацию в соответствие со своим внутренним ощущением. Только мощный выброс правды мог уничтожить те потоки клеветы, которые на него изливались.

Анализируя поведение Пушкина, надо все время помнить, что мы имеем дело с гением. Вокруг другого человека все это вполне могло бы сойти мирно — кокетство жены, анонимки, сплетни, интриги. Многие тогда говорили, что ухаживания Дантеса не выходят за рамки допустимого в свете, а анонимный пасквиль — не повод для дуэли. Но гений по природе своей не может вписаться в социальную норму, а если и может — то до поры до времени. Он взрывает жизненное пространство вокруг себя — и сам погибает в этих разломах. Да, это Пушкин, а не Геккерны, привел дело к дуэли, но только самый повержностный взгляд может объяснять это «африканскою кровью».

Друзья Пушкина находились слишком близко к нему, чтобы понять смысл его поведения и всего происходящего. «Он с нами не советовался, и какая-то судьба постоянно заставляла его действовать в неверном направлении», — недоумевал П. А. Вяземский⁵⁵. Это недоумение и породило легенду, непосредственными творцами которой стали Жуковский и Вяземский и под воздействием которой мы находимся до сих пор, часто того не сознавая. После гибели Пушкина Жуковский и Вяземский почли своим долгом изложить в подробностях предысторию его ухода для современников и потомков. Жуковский написал письма отцу Пушкина Сергею Львовичу и шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, Вяземский — целую серию писем, из которых наиболее содержательны письма А. Я. Булгакову, Д. В. Давыдову и великому князю Михаилу Павловичу. Действовали друзья согласованно, и оба способствовали тому, чтобы их письма широко распространялись в обществе. Особый акцент Жуковский и Вяземский делают на том, что после дуэли, в дни предсмертных мучений, в душе Пушкина произошел перелом, что он просветлел, преобразился на смертном одре и умер христианином. Таким образом, они проводят резкую границу между Пушкиным, стрелявшим в Дантеса, и Пушкиным последних дней, страдавшим от смертельной раны. «В эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа», — пишет Жуковский отцу поэта⁵⁶. «Вся желчь, которая накопчилась в нем целыми месяцами мучений, казалось, исходила из него вместе с его кровью, он стал другим человеком»⁵⁷, — пишет Вяземский великому князю. После дуэли умер в Пушкине ветхий человек, безрассудный ревнивец, действовавший под влиянием страсти, и родился новый человек, посылающий христианское прощение врагу и смиренно принимающий смертное страдание. Эту мысль Жуковский и Вяземский проводят с нажимом, с явным стремлением очистить память Пушкина рассказом о его христианской кончине. В свое время П. Е. Щеголев проанализировал рукопись письма Жуковского и показал, как Жуковский его целенаправленно редактировал и как под его пером рождались те слова умирающего Пушкина, которые друзья считали нужным оставить потомкам⁵⁸. Щеголев слишком далеко зашел в разоблачении Жуковского, в частности — в вопросе о причастии, которое Пушкин, разумеется, принял по доброй воле, а не под давлением императора. Но по сути Щеголев прав: Жуковский создавал — и вряд ли бессознательно — благотворительную легенду о смерти Пушкина с целью оставить его «правильный» образ. То же можно сказать и о Вяземском⁵⁹.

⁵⁵ Письмо А. О. Смирновой, февраль 1837 года. — Цит. по кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 606.

⁵⁶ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 399.

⁵⁷ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 227.

⁵⁸ Там же, стр. 138 — 152.

⁵⁹ См. там же, стр. 147 — 148. Подробный анализ писем Вяземского о смерти Пушкина см.: Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина, стр. 305 — 325.

Между тем легенда о внезапном просветлении на смертном одре нестойка Пушкина. За нею скрывается мысль, что если бы он не получил пулю в живот, то и не вошел бы в Царствие Небесное. До полной ясности эту мысль довел впоследствии Вл. Соловьев, который, следуя логике друзей Пушкина и опираясь на их свидетельства, писал: «Последний взрыв злой страсти, окончательно подорвавший физическое существование поэта, оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения. Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в нем действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми»⁶⁰. Дальше идут ссылки на Жуковского и Вяземского.

С одной стороны, такой взгляд упрощает в реальности сложную картину пушкинского ухода, в которой было и просветление, и животная боль, и сила духа, и отчаяние, и многое другое. Укажем на один только эпизод, о котором конечно же не упоминают ни Жуковский, ни Вяземский, но со всей достоверностью свидетельствует Данзас: «В продолжение ночи страдания Пушкина до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола; человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были pistols, предупредил Данзаса. Данзас подошел к Пушкину и взял у него pistols, которые тот уже спрятал под одеяло; отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы»⁶¹. Эта попытка самоубийства в легенду Жуковского и Вяземского не вписывается.

С другой стороны — и это главное, — мифом о внезапном преображении обесценивается весь трудный и долгий путь внутреннего самоустроения, по которому Пушкин шел всю свою жизнь и особенно интенсивно — в последние годы. Для его друзей был разителен контраст между тем Пушкиным, которого они знали раньше, и тем, которого они увидели на смертном одре. Но дело было не в том, что Пушкин стал совершенно другим, а в том, что они не знали Пушкина. Через две недели после его смерти, успев передумать и переоценить многое, Вяземский писал: «Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения!»⁶² Вяземский говорит о великодушии и силе — даже этого он раньше не видел в Пушкине! — но не говорит и не может говорить о тех глубинах духовной жизни Пушкина, которые как были, так и остались для него закрыты. Практически вся поздняя пушкинская лирика, в которой отражен происходивший в нем внутренний процесс, оставалась в его письменном столе; друзья не читали ее и уж тем более не имели возможности сопоставить с его статьями в «Современнике», с письмами — и увидеть всю сокрытую от взоров, величественную и трагическую картину его духовного восхождения⁶³. Они увидели только итог — умирание Пушкина, в процессе которого этот внутренний человек обнаружился и так их поразил.

Внутренняя жизнь Пушкина, в которой открывалась для него перспектива нового пути, была предельно далека от внешних чрезвычайно усложнившихся обстоятельств его существования, в которые он был втянут семейными делами

⁶⁰ Соловьев В. С. Судьба Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 36.

⁶¹ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 377.

⁶² Цит. по кн.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 226.

⁶³ Тут уместно напомнить изумление Е. А. Баратынского, прочитавшего в рукописях поздние ненапечатанные стихи Пушкина: «Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиной! Он только что созрел» (письмо А. Л. Баратынской начала февраля 1840 года). — В кн.: Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987, стр. 270.

и социальными отношениями. В его духовном мире происходили грандиозные события и открытия, подобные тем, что описаны в «Страннике», а в ежедневном быту он был опутан по рукам и ногам денежными обязательствами, унижительной зависимостью от двора, бесконечными цензурными тяжбами, необходимостью ездить на балы и церемонии, а с осени 1835 года ко всему этому прибавился Дантес⁶⁴, а затем и его усыновитель, и вокруг Пушкина начала клубиться такая мать, которая и сама-то по себе была непереносима, а тем более — в контрасте с образом подлинного бытия, к которому он в это время так стремился. В глубине души нарастали религиозные настроения, а внешне он был вынужденно погружен в жизнь того самого «света», который в письме П. А. Осиповой (около 26 октября 1835 года) назвал «мерзкой кучей грязи». Чтобы ощутить этот контраст, достаточно вспомнить, что летом 1836 года, когда Пушкин на даче писал стихи каменноостровского цикла, внутренне проживая события Страстной недели, — в это время Дантес, полк которого был расквартирован в непосредственной близости от дачи Пушкиных, развернул новый круг открытых ухаживаний за его женой, постоянно ездил в дом, слал ей записочки, возбуждая ее чувство и все больше провоцируя разговоры в свете.

Невыносимость жизни Пушкина в последние годы определяется не самими обстоятельствами, о которых так много написано, а разительным несоответствием этих обстоятельств и его новых духовных потребностей. Этот контраст — исходная точка дуэли.

Мы уже писали о том, что в лирике Пушкина последних лет звучит устойчивая тема резкого поступка, побега, в корне меняющего жизнь ввиду близкой смерти (Родрик, Странник). От первого лица эта тема звучит в стихотворении «Пора, мой друг, пора!..» (1835)⁶⁵, в котором мысль о возможной скорой смерти обнажает суетность быстротекущей жизни и толкает к побегу «в обитель дальнюю трудов и чистых нег», где достижимо подлинное бытие. Его образ намечен в прозаическом отрывке — плане продолжения стихов: «...поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь, etc. — религия, смерть». По верному наблюдению Б. Энгельгардта, в этом отрывке «поэт вводит смерть в программу самой жизни»⁶⁶. «Религия» перед «смертью» появилась не сразу — Пушкин вписал это слово позже, как будто продумывая путь подготовки к концу. Представлявшийся ему идеал новой жизни был связан с религией и почти сливался со смертью.

Дуэль и стала тем резким поступком, которым Пушкин мог сразу разорвать все пути, изменить жизнь — или умереть. Этот поступок назревал давно, о чем свидетельствуют две неудавшихся попытки выйти в отставку и переехать в деревню — летом 1834-го и летом 1835 года, а также три дуэльных истории, развернувшиеся подряд в феврале 1836 года, — с С. С. Хлюстиным, В. А. Соллогубом и князем Н. Г. Репниным. Во всех трех случаях Пушкин счел себя оскорбленным и был готов драться, но, получив необходимые объяснения, отступал. Однако сама его решимость показательна.

История с Дантесом не оставила Пушкину никакой возможности откладывать дальше свой давно назревший шаг. Его выстрел в противника был одновременно и расчетом с прежней жизнью, с Петербургом, со светом, с двором. Надо учесть еще, что, выйдя на дуэль, Пушкин нарушил слово, данное императору в ноябре 1836 года, — не стреляться и ничего подобного не предпринимать без его ведома. В ноябре ведь именно царь, вовремя оповещенный Жуковским, удержал его от дуэли с Дантесом. И вот теперь Пушкин нарушил слово и этим неслыханным актом непослушания разорвал связь с царем, освободился от тягостной опеки.

⁶⁴ Теперь, после публикации писем Дантеса к Геккерну, это время устанавливается достаточно точно: в марте 1836 года Дантес пишет о том, что влюблен уже 6 месяцев. — См.: «Звезда», 1995, № 9, стр. 189.

⁶⁵ Обоснование этой нетрадиционной датировки см.: Сайтанов В. А. Неизвестный цикл Пушкина. — В кн.: «Пути в незнаемое». Сб. 19. М., 1986, стр. 362 — 374.

⁶⁶ Энгельгардт Б. Историзм Пушкина. — «Пушкинист». Сб. II. Пг., 1916, стр. 95.

В рассказах А. Н. Вульфа о Пушкине, записанных М. И. Семевским, есть такое суждение: «Перед дуэлью Пушкин не искал смерти; напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт располагал поплатиться за это лишь новой ссылкой в Михайловское, куда возьмет и жену, и там-то, на свободе, предполагал заняться составлением истории Петра Великого»⁶⁷. Это суждение, с которым согласился Ю. М. Лотман⁶⁸, только потому неверно, что рационально. Пушкинские мотивы лежали в другой плоскости: им двигал не расчет, а острая духовная потребность расчистить свой жизненный горизонт, освободиться для новой жизни. В основе его поведения было, говоря словами Г. Федотова, «чаяние последнего освобождения»⁶⁹.

Для Пушкина не было противоречия между его религиозными устремлениями в последние годы и преддуэльной решимостью убить врага. На Черную речку его привела логика внутреннего развития, логика судьбы. В каком-то высшем смысле Пушкину, наверное, было и не так уж важно, останется он в живых или нет. Только так и можно понять тот факт, что он, всегда веривший в приметы, выйдя из кабинета 27 января, вернулся, чтобы снять бекешу и надеть шубу⁷⁰. Дурные приметы уже не имели значения. Все отмечают, что в день дуэли Пушкин был спокоен, бодр и весел, «пел песни»⁷¹(!) — таким бывает человек, разом сбросивший узы. Приняв решение, он уже совершил свой поступок, прорыв, побег. Остальное он доверил Провидению.

Пушкинский Странник, когда встала перед ним проблема спасения, стал вести себя так, что его почли за безумца. Такое же впечатление производил в последнее время и сам Пушкин. А. И. Тургенев записал в дневнике 2 января 1837 года: «Поэт — сумасшедший»⁷². Еще один, более далекий, современник Пушкина писал о нем после дуэли: «Он был в горячке, в бреде, в сумасшествии»⁷³. На самом деле то, что внешне казалось безумием, было поведением человека, который сделал свой внутренний выбор и пошел своим путем.

После смерти Пушкина пронизательный Гоголь говорил кому-то: «Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой»⁷⁴. Какой другой? Если выход на новый виток жизни был связан с новым для Пушкина христианским сознанием, то что он стал бы с этим делать как поэт? До сих пор его в жизни и творчестве вел только дар — как это могло быть согласовано с глубоким принятием христианской истины? На эти вопросы нет ответа, но они неумолимо возникают в связи с его гибелью...

Помимо того, что написано им на бумаге, Пушкин оставил после себя удивительный опыт жизни, прожитой ярко и сильно. И еще он оставил о п ы т с м е р т и, поразившей всех, кто при ней тогда присутствовал, и поражающий всякого, кто дает себе труд прочитать мемуары друзей и врачей Пушкина, подробно описавших его последние дни и часы.

Будучи ранен, Пушкин сразу узнал смерть и пошел ей навстречу, а когда врачи подтвердили, стал «хладнокровно высчитывать шаги ее»⁷⁵, «наблюдая ход ее как в постороннем человеке, щупал пульс свой и говорил: вот смерть идет»⁷⁶. Этот процесс он отследил до конца, обозначив его завершение слова-

⁶⁷ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 1, стр. 449.

⁶⁸ «Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа». М., 1994, стр. 424 — 425.

⁶⁹ Федотов Г. П. Певец империи и свободы. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 367.

⁷⁰ Несколько иную интерпретацию этого факта см. в кн.: Битов А. Г. Статьи из романа, стр. 230.

⁷¹ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 392.

⁷² Цит. по кн.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 242.

⁷³ Цит. по кн.: Эйдельман Н. Я. Пушкин. Из биографии и творчества, стр. 401.

⁷⁴ Цит. по кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 434.

⁷⁵ Письмо П. А. Вяземского А. О. Смирновой, февраль 1837 года. — Цит. по кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 605.

⁷⁶ Письмо П. А. Вяземского А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 года. — Цит. по кн.: «Последний год жизни Пушкина», стр. 515.

ми «Кончена жизнь!», сказанными «внятно и положительно»⁷⁷. Смерть уже не представляла для него ничего неожиданного, ничего пугающего — и это передавалось другим. В. И. Даль вспоминал: «Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться с смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил»⁷⁸. П. А. Плетнев писал В. Г. Теплякову: «Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим»⁷⁹. Умирание Пушкина показало всем, как встречает смерть человек, который давно осмыслил ее и внутренне к ней подготовился.

Его мужество в претерпевании физических мук было беспримерно. «С начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. „Я был в тридцати сражениях, — говорил доктор Арендт, — я видел много умирающих, но мало видел подобного”»⁸⁰. Очень точно сравнил Арендт Пушкина с погибающим воином — таково было всеобщее ощущение. «Условия жизни не давали ему возможности и простора жить героем, зато, по свидетельству всех близких Пушкина, он умер героически», — писал впоследствии П. П. Вяземский по рассказам отца⁸¹.

Но это героическое переживание смерти было вместе и религиозным переживанием ее как таинства отделения духа от тела. На слова Даля: «Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче», — Пушкин отвечал: «Смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил!»⁸² Ответ знаменательный: «этот вздор» — муки тела, «меня» — мой дух, возносящийся над этими муками. «Я» осознавалось как дух, уже отдельный от тела. Это был процесс не физического умирания, а духовного восхождения. «...Умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал и говорил: „Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем”. Опаматовавшись, сказал он мне: „Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко — и голова закружилась”»⁸³.

Пушкинский дух был уже на высоте головокружительной, и смерть была его великим торжеством. Эту торжественность на лице только умершего Пушкина описал Жуковский: «Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание <...> Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли»⁸⁴.

Если следовать формуле К. Зайцева, что Пушкин — это в каком-то (отнюдь не в дидактическом и не в житийном) смысле «учитель жизни», то он безусловно стал и «учителем смерти», оставив нам в ряду бесценных духовных сокровищ и умение умирать. Такая «полная смерть»⁸⁵ дается не каждому, она говорит о многом и прежде всего — о подлинной цене пушкинского слова.

⁷⁷ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 270.

⁷⁸ Там же, стр. 267.

⁷⁹ Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 588.

⁸⁰ Жуковский В. А. Письмо С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года. — В сб.: «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 398 — 399.

⁸¹ Там же, стр. 197.

⁸² Там же, стр. 269.

⁸³ Там же.

⁸⁴ Там же, стр. 406.

⁸⁵ Слова О. Мандельштама о смерти Пушкина и Скрябина. — См.: Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2-х томах, т. 2. М., 1990, стр. 157.

ПОЛЕМИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА



СЛУЧАЙ ХАРМСА, ИЛИ ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

Даниил Хармс очень не любил детей. Стариков и старух он не любил тоже — да и вообще людей не жаловал. «Я уважаю только молодых, здоровых и пышных женщин. К остальным представителям человечества я отношусь подозрительно», — писал он в дневнике. Однако уважение бывает разное; Хармс «уважал» аппетитных пышек в сугубо практическом, утилитарном смысле — как «уважают» любую свежую еду. Поскольку «земной интерес» человека — «пища, питье, тепло, женщина и отдых», а «три бабы лучше, чем одна». Правда, на беременных баб писатель свое благорасположение не распространял — напротив, считал необходимым сажать их «за загородку»: чтобы «не оскорбляли своим гнусным видом взоров мирного населения». Ну а какая причина вышеозначенной «гнусности» — понятно: «склонность к детям», которая являет собой «почти то же, что склонность к зародышу, а склонность к зародышу — почти то же, что склонность к испражнениям»... Да, Даниил Хармс и впрямь очень не любил детей — сильнее, чем всех остальных представителей человечества: «Я точно знаю, что... их надо уничтожать. Для этого я бы устроил в городе центральную яму и бросал бы туда детей. А чтобы из ямы не шла вонь разложения, ее можно каждую неделю заливать негашеной известью».

Положим, данные смертоубийственные проекты надо провести по разряду «юмора» (хотя очень уж черного); стоит также, справедливости ради, отметить, что принадлежат они все-таки не автору, но персонажу, за слова и мысли которого автор, как известно, не отвечает. Тем более что по жизни он склонен был не к нападению, но к отступлению: «Я всегда ухожу оттудова, где есть дети»; что же касается «наступательных» действий, то вопрос оставался открытым, и к недоумению примешивалось иногда даже нечто смутно похожее на жалость: «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!» Даниил Хармс способен был лишь на одно: писать для них стихи. И, право, ему можно посочувствовать.

Потому что нормальные детские писатели естественным образом любят своих читателей. И многие детские книжки — к примеру, высоко чтимые Хармсом сказки Кэрролла — создавались на основе теплых домашних рассказов, назначенных доставить удовольствие конкретным малышам. А тут вышла шуточка совершенно в пандан Хармсову черному юмору: язвительная судьба отняла у бедного поэта право публиковать свои «взрослые» сочинения, взамен предоставив единственную возможность зарабатывать на жизнь — забавлять этих «омерзительных» существ, представлявшихся ему «в лучшем случае жестокими и капризными старичками».

Злобина Алена (Елена Анатольевна) — театральный и литературный критик. Окончила филологический факультет МГУ. Автор статей в периодической печати, среди которых: «Когда бы грек увидел наши игры», «Драма драматургии», «Оранжевая для нарциссов», «Закон правды». Лауреат премий журналов «Новый мир» и «Знамя», где и публиковались названные статьи.

Поразительней всего, что забава получалась на славу: Даниил Хармс — бесспорно, один из талантливейших наших детских стихотворцев; в своем роде — пожалуй, самый талантливый. А ведь в ту пору, когда быстро крепнувший цензурный барьер преградил дорогу «идеологически чуждой» литературе, воспользоваться малышовой лазейкой пытались многие художники — Николай Заболоцкий, например, чей поэтический дар вообще-то неизмеримо выше Хармсова, но вот, в частности, в стихах для детей... У Заболоцкого они натуженные, вынужденные: поэт явно не понимает, что на самом деле нужно адресату, и, стараясь пригнуться до абстрактного «детского уровня», насилует свою творческую природу. Тогда как его собрат по «Обэриу» пишет легко, непринужденно, вот именно что играючи — и все выходит точно по росту читателя...

Творчество — всегда загадка; данный случай — загадка вдвойне. Каким образом этот мрачный детоненавистник сумел создать свой солнечно-веселый, красочный, очаровательно-причудливый детский мир? — Не понимаю; могу лишь объяснить, чем конкретно поэтика Хармса «близка детской психике» (К. И. Чуковский). Маленький человек, еще не привыкший к неизменности мира, еще не уверенный в прочной связи между предметом и набором букв, его означающим, еще не убежденный в разных элементарных истинах — типа того, что люди обязательно должны ходить на двух ногах, а собаки на четырех, — очень любит всякие потешные нарушения порядка, словесное озорство, поломки логики, шашни с бессмыслицей, по-простому называемые игрой в чепуху.

Впрочем, и для взрослого «широкого читателя» Хармс — это именно «чепуха»: бытовой синоним абсурда. Его макабрские «Случаи» вроде бы совершенно не стремятся к той надрывно-глубокомысленной серьезности, какой отличаются произведения западных абсурдистов, придавленных бессмысленностью экзистенции. Напротив, падающий со стула Пушкин или выпадающие из окон старухи имеют вид нарочито идиотический, они выставлены на посмеяние — а соответственно, очень уместны на эстраде. Для артистов-чтецов это беспрюграммный номер; привлеку в свидетели Сергея Юрского, рассказывавшего, как он строит взаимоотношения с концертными зрителями: «Мы должны пойти на компромисс: они выдержат Бродского, чтобы потом вволю насмеяться на Хармсе».

Конечно, пресловутая «широкая публика» филологу ни в коей мере не указ. Она обходится минимумом текстов, естественно выбирая те, которые легче всего поддаются упрощению (чтобы не сказать — опошлению). Впрочем, надо признать, что Хармс адаптируется без насилия, поскольку его излюбленный прием — упорный повтор — применяется в комедии с момента ее рождения, то есть с античности; столь же традиционным способом развлечения являются разнообразные колотушки — неперменная составляющая фарса. И конечно, веселье лишь увеличивается оттого, что наш юморист иногда отбрасывает все прочие составляющие, ограничиваясь собственно картиной потасовки. «Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его. Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам. Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился на пол, а Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искаленным лицом и рваной ноздрей. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал» («История дерущихся»)... Признаться, я вполне согласна с непросвещенным мнением широкой публики: чепуха и есть. Только вот членовредительство меня почему-то никогда не веселило.

Иное дело — книга Михаила Ямпольского «Беспамятство как исток. Читая Хармса», побудившая меня перечесть Хармса. Правда, сам автор смешить никоим образом не собирался: комический эффект возникает непреднамеренно — от столкновения хармсовского шутовского текста и пуленепробиваемой серьезности научного волапука, при помощи которого этот текст интерпретируется: «Хармс включает в серию „Случаи“ несколько эпизодов, посвященных ломке

намерений... Все они строятся по одной модели: „Писатель: Я писатель. Читатель: А по-моему, ты г...о!“ Привычный писательский дискурс неожиданно шокирующе прерывается, и в результате писатель *падает* и гибнет. Он не может существовать без сознания своей идентичности и без инерционного дискурса, столь важного для профессионального производства текстов... Курсив, отмечу, не мой: это исследователь выделяет слово, которое считает одним из структурообразующих в мире Хармса; а задача исследования в целом — выявить и разобрать некие философские, символические, метафизические, мистические и т. п. конструкции, на которых основывается «писательский дискурс».

На Западе подобные штудии давно стали новым общим местом, что подтверждает такой солидный источник, как Умберто Эко: «Прежде эстетики читали произведения искусства, стараясь определить принципы искусства, сейчас — чтобы извлечь философскую рефлексию. Функция философии перенесена на литературу». Российское же литературоведение еще не вполне привыкло к данному переносу — недаром книгу выпустило издательство «НЛО» («Новое литературное обозрение», 1998), самим названием утверждающее как новизну, так и возвышенную «неопознаваемость» своих интересов. Но, понятное дело, Михаил Ямпольский отнюдь не является первооткрывателем: в последние годы появилась целая, так сказать, плеяда условно молодых авторов, строящих «профессиональное производство текстов» на фундаменте нескольких опорных слов — «дискурс», «наррация» (и/или «нарративность»), «интертекстуальность», «интерполяция», — употребляемых с такой значительностью, словно бы факт простой замены привычных филологических терминов на новообретенные уже является гарантией новаторского смысла, а равным образом глубины мысли; последняя добавочно подтверждается обилием цитат — в основном философского содержания. Форма изложения при этом тяготеет к подчеркнутой «научности» и как следствие неудобочитаемости; создается даже впечатление, что нарочитая тяжеловесность «нарративных конструкций» есть обязательный структурообразующий элемент этих исследований, старающихся превратить чтение в утомительный труд, дабы в процессе свершения оно читатель проникнулся лестным чувством собственной избранности и причастности к высоким интеллектуальным материям... Конечно, недоступная профанам научная литература существовала во все века, однако ж она и рассуждала о предметах недоступных, тогда как в данном случае происходит намеренное и демонстративное усложнение предмета, всегда стремившегося навстречу публике. То есть дело идет о «ломке намерений» — привыкший к «инерционному» литературоведческому «дискурсу» потребитель неожиданно получает текст, всеми буквами утверждающий: если ты не готов принять авангардную нарративную модель, значит... см. выше.

Этот новый для нас принцип можно напрямую связать со случившимся в последнее десятилетие разделением искусства (и, в частности, литературы) на массовое и элитарное. Положим, в скрытом виде такое разделение существовало и в советские времена: пока «широкий читатель» усердно копил бумажные килограммы на всяких «Проклятых королей», «неширокий» спешил обменять макулатурное чтиво на, к примеру, Манделштама. Но внедренная в подсознание лозунговая формула «Искусство принадлежит народу» все же сохраняла некоторую действенность — имея в виду хотя бы стремление «ведов» к популяризации «истинных ценностей». Зато западные интеллектуалы вполне привыкли к тому, что тиражи их трудов ограничиваются тысячей, а то и сотней экземпляров (тираж книги Ямпольского, заметим кстати, вообще не указан); соответственно, вошло в привычку и пренебрежение к читателю, так что ихнее «ведение» давно стало — по преимуществу — интеллектуальной игрой для своих. А теперь вот и кое-кто из наших пустился по той же дорожке; и, может быть, не случайно, что первопроходцы предварительно поработали в западных университетах?

Впрочем, я вовсе не хочу сказать, будто образованность Михаила Ямпольского приобретена где-нибудь в Нью-Джерси: не подлежит сомнению, что он

копил знания всю жизнь. Результат впечатляет: исследователь свободно ориентируется в пространстве мировой философии, теологии, поэзии, мистики и лингвистики от «Махабхараты» до Дерриды, и его текст буквально нашпигован цитатной мудростью. В работу вовлечены: Барт, Фуко, Беньямин, Бергсон, Эмерсон, Бозций, Витрувий, Витгенштейн, Хайдеггер, Кьеркегор, Подорога, Поттебня, Сковорода, Адорно, Лосев, Лейбниц, Леви-Строс, Делёз, Декарт, Шеллинг, Шпет, Фрейд, Юнг, Юм, Кант, Лакан, Платон, Эмпедокл, Парменид, Парацельс, Эрвин Панофский, Вл. Соловьев, С. Булгаков, Мамардашвили, Мерло-Понти, Галилей, Галуа, Гуссерль, Гегель, Паскаль, Аристотель, Бл. Августин, Дионисий Ареопагит, Фома Аквинский, Иоахим Флорский, Павел Флоренский, апостол Павел, Гермес Трисмегист, талмудисты, каббалисты, «Энциклопедия оккультизма», «Арканы Таро», Генри Торо... но ограниченность журнальной площади вынуждает меня прервать перечень, не дойдя и до середины.

Конечно, обширная эрудиция Ямпольского не может не вызывать уважения. Но вот способы ее использования... К примеру: берется лирически-туманное письмо, в котором Хармс типа как объясняется в любви некой Раисе Поляковской. «...До Вас я любил по-настоящему один раз. Это была Эстер (в переводе на русский — Звезда)... Я разговаривал с Эстер не по-русски и писал ее имя латинскими буквами. Потом я сделал из них монограмму... Я называю ее окном, сквозь которое я смотрю на небо и вижу звезду. А звезду я называл раем, но очень далеким... И вот однажды я не спал целую ночь... Я сел и стал смотреть в окно. И вдруг я сказал себе: вот я сижу и смотрю в окно на... Но на что же я смотрю? Я вспомнил: „окно, сквозь которое я смотрю на звезду“. Но теперь я смотрю не на звезду... Тут я увидел Вас. Вы подошли к своему окну в купальном костюме. Так я впервые увидел Вас»... Устремляясь выявить содержательные глубины этого текста, исследователь для начала пристраивает к нему сонетный цикл Филиппа Сидни «Астрофил и Стелла», в котором имеется множество звезд (в первую очередь глаза-звезды) и который вдобавок «имеет двойной код чтения»: за любовной лирикой кроется лирика мистическая, отражающая «увлечение поэта астрологией и оккультной философией». Сидни тянет за собой Джордано Бруно, посвятившего ему цикл «Egoici furori», в сопоставлении с которым уточняется скрытый смысл «Астрофила и Стеллы» — ибо «свет звезд-глаз в интерпретации Бруно — это обнаруживающий себя мистический божественный свет»; следом является Эдмунд Спенсер, кажется, ничего не посвящавший автору «Астрофила...», зато бывший его другом — и тоже воспринимавший звезды преимущественно в высшем смысле... Правда, Ямпольский не настаивает, что письмо Хармса напрямую восходит к Сидни со товарищи — речь идет о «едином смысловом ходе, питающемся общим послеренессансным культурным фондом, в котором уже в средние века начинает складываться устойчивая связь между Словом, Христом и Светом». Ну а за Христом естественным образом следуют теологи — в данном случае представители «той части европейского богословия, которая известна как „негативное“»: по мнению автора, они способны наиболее авторитетно разъяснить, что «наш Бог есть абсолютно бесконечная, полностью актуальная сила, которая... во всех светах делает известными богатства сияния своей славы» (Николай Кузанский)...

Надо признаться, что поначалу этот многоумный и многоцитатный текст порядком ошарашивает, если не подавляет. И поневоле впадаешь в сомнение: может, так оно и надо? Может, Ямпольский по делу применяет «двойной код чтения» к Хармсовым романтическим высокопарностям — ведь не зря же он изучил столько серьезной литературы? Может, влюбленный поэт и впрямь смотрел на звезды, непременно имея в виду, что они «все сплочены воедино из Бога» (это уже Яков Бёме) и что «мы не можем отделить от Бога Его энергию, различить в Нем его Самого и Его энергию» (Павел Флоренский)?.. Но постепенно шок отступает, и читатель (то бишь я) рискует обратиться к автору с вопросами. Сначала робкими и скромными: а почему, собственно, пись-

мо Хармса сочленяется со стихами Сидни-Бруно-Спенсера, если те шли к звездам через любимые глаза, а наш писатель — вовсе через окно? И почему Ямпольский привлекает именно вышеименованных поэтов, если их «смысловый ход» использовало превеликое множество литераторов — на то и «общий фонд»? И почему именно «негативные теологи» призваны манифестировать Бога через Свет, коль скоро сия манифестация тоже является совершенно общим местом?.. Обнаружить логику не удается, и смелеющий читатель начинает уже потихоньку формулировать вопросы, касающиеся сути исследовательского дискурса; но тут дело доходит до первого, промежуточного вывода — «Высший свет преобразуется, таким образом, в свет-письмо», — и наше сознание, озаренное светом здорового скептицизма, проясняется окончательно. Ибо заявленное мистическое преображение может произойти лишь по воле высших светоносных сил, а поверить в их причастность к работе Ямпольского или к посланию Хармса я, извините, не могу.

И чем дальше, тем ясней становится, что первоначальную квалификацию «философская рефлексия» надо менять на определение «философская заумь» (или «заморочка»); что внушительный исследовательский инструментарий — это именно инструментарий, и существует он совершенно сам по себе, не вступая в контакт с многозначительными рассуждениями, в которых слова, цифры, даже буквы трактуются как символы, исполненные глубокого мистического содержания, а между отдаленными объектами завязываются внерациональные связи, держащиеся лишь на «вселенских соответствиях». Кстати: примерно так строили свои рассуждения каббалисты — но они-то трактовали Священное писание! И как ни относиться к их занятиям, нельзя не признать, что Боговдохновенное Слово, положенное в основу бытия, определено больше подходит для поисков эзотерического смысла, чем писания Даниила Хармса...

Но вернемся к «свет-письму», разбор которого еще далеко не закончен: к делу подключаются толкователи Торы и исследователи буквенной графики, помогающие автору рассмотреть монограмму Эстер-окно и вникнуть в скрытый смысл алфавита, где наличествует и «членение Единого», и «разрушение континуальности», и запуск «механизма парадигматической субституции», и даже «либидинозные отношения», открывающие «пространство замещений для объектов желания». То есть «Рая начинает заменять, вытеснять Эстер, рай — звезду. И конечно, в этой перестановке объектов желания существенное значение имеет то, что имя Эстер кончается на Р, а имя Рая начинается с Р». Забавно: автор, кажется, забывает, что речь идет о реальных возлюбленных Хармса! И рассматривать их имена — точнее, буквы, входящие в имена, — как элемент полностью продуманного эстетического высказывания... ну по меньшей мере неуместно. Можно, конечно, предположить, что вопрос о замещении Эстер именно Раей решало само «Сверхсветлое Светоначалое». Ну а если нет? Если б следующий «объект желания» звался, скажем, Зоей? Вероятно, интерпретация пошла бы в другом направлении: «существенное значение» получили бы два начальных З, а звезду вытеснила бы жизнь — тоже очень символично. И еще одно замечание: жаль, что Ямпольский не обратил внимания на купальный костюм, в котором Рая впервые предстала Даниилу. По-моему, это обстоятельство уж никак не менее существенно, чем передвижения буквы Р, ибо непосредственно связано с «либидинозным отношением» и может быть даже оттраковано в том смысле, что ренессансные неоплатоники стремились единственно к Духу, манифестируемому светом глаз-звезд, тогда как у Хармса духовность начинает вытесняться телесностью — тема вообще чрезвычайно важная для его писательского дискурса. Только вот интертекстуальные манипуляции с купальником производить затруднительно: субстанция новая, в «послеренессансный культурный фонд» не включенная. Зато окно предоставляет массу возможностей: про него и Гёте писал, и Гельдерлин, и Рильке, и Бодлер, и Джон Донн, и Лоренс Стерн... в общем, извилистая вязь цитат и отвлеченных комментариев тянется, как дурная бесконечность, погружая в непробиваемый транс и лишая даже способности удивляться очередным причудам наррации: «Еще раз взглянемся в отношение имен Эстер и Рая, как они

вписаны в „окно”. Эстер — звезда, в нем звучит некое высказывание, ускользающее от нас потому, что оно скрыто именем: „есть Р”. Эстер означает утверждение Р, а следовательно, оно содержит в себе и самоотрицание, потому что Р — это Рая».

Столь же сложные и мучительно долгие операции проделываются с именами предметов, понятий и действий — такими, как падение, рассечение, шар, мир (он же мыр), ноль (не путать с нулем), единица, троица. Эта последняя, разумеется, особенно значима, поскольку прямо ведет к Трине Богу — а с тем вместе дает материал для особенно трогательных сопоставлений. «Человек устроен из трех частей, / из трех частей, / из трех частей. / Хэуля-ля, / дрюм-дрюм-ту-ту! / Из трех частей человек», — восклицает Хармс; а Ямпольский принимается усердно тасовать источники, постепенно добираясь до средневекового мистика Иоахима Флорского и его «Видения Троицы в виде псалтыри с десятью струнами» — затейливой буквенно-геометрической конструкции, которая на сегодняшний взгляд и сама-то по себе выглядит не сколько диковато, а уж в соседстве с «дрюм-дрюм-ту-ту»...

Впрочем, нашему поэту случалось высказываться по поводу «трех частей» и более серьезно. Таким вот, к примеру, образом: «Основу существования составляют три элемента: *это*, *препятствие* и *то*. Изобразим несуществование нулем или единицей. Тогда существование мы должны изобразить цифрой три. Или: деля единую пустоту на две части, мы получаем троицу существования». И вообще он был очень склонен к философским (может быть, квазифилософским?) рассуждениям типа «что-то, что нигде не начинается и нигде не кончается, есть что-то, содержащее в себе ничто», — настолько, что заполнял ими целые трактаты. Положим, лично мне эти писания представляются скорее пародийными, но, разумеется, Михаил Ямпольский имеет право находить в них самый глубокий смысл. Тем более что Хармс действительно увлекался разнообразной эмблематикой, нумерологией, шифрами, криптограммами и диаграммами, может быть, и сходными с «Видением Троицы»; действительно тяготел ко всяческому мистицизму и оккультизму, от каббалистики до «Арканов Таро»; действительно был начитан в классическом богословии и действительно занимался богословием нетрадиционным — например, входил в кружок самобытного религиозного мыслителя Я. С. Друскина. А ко всему добавок «сознательно идентифицировал себя с библейским Даниилом» — хотя с чего бы, собственно? Главное же, он действительно верил в Бога. Что, на мой вкус, является самой абсурдной из всех его абсурдистских заморочек; Впрочем, абсурд на то и абсурд, чтобы не слушаться логики и соединять «вещи несовместные». Хармс поставил своеобразный рекорд: что может быть «несовместней», чем его бессмысленный, безумный, безнадежно уродливый, распадающийся на части мир, абсолютно отрицающий существование Абсолюта, — и добрый старенький Господь, восседающий в облаках?! С учеными богословскими штудиями эта картина опять же «несовместна», а между тем...

«В какого Бога вы верите? — спросил он меня однажды (вспоминает А. И. Пантелеев, бывший с Хармсом достаточно близок, чтобы обменяться молитвенниками). — В такого, как на голубом небе под куполом?.. — Нет, не в такого. — А я — в такого. Именно в такого. В седого, доброго, бородатого»... Очень похоже, что это свидетельство заслуживает доверия — во всяком случае, молитвы Даниила Ивановича, трогательно занесенные в записные книжки, рядом с признаниями в нелюбви к человечеству, обращены отнюдь не к «Богу философов и ученых».

«Боже, помоги мне сегодня выдержать экзамен. Пусть все будет хорошо с техникумом. Господи, сделай так, чтобы я продолжал дальше здесь учиться. Надежда. Крест и Мария. Крест и Мария. Крест и Мария; «Боже, сделай так, чтобы там (на поэтическом вечере. — А. З.) были люди, которые любят литературу, чтобы им было интересно слушать. И пусть Наташа будет повежливей к моим стихам. Господи, сделай то, о чем я тебя прошу. Сделай это, мой Боже»; «Как добиться мне развода? Господи, помоги! Раба Божия Ксения, помоги! Сделай, чтоб в течение той недели Эстер ушла от меня»...

Надо заметить, что эти простодушные моления как-то смягчают и, пожалуй, даже усложняют жесткий и неприятный образ Даниила Хармса, придавая ему человеческую теплоту и наивность. Но вот их-то Михаил Ямпольский и не приводит. Понятно: такой «неученый», почти детский «дискурс», никак не поддающийся многозначительным трактовкам, вступает в противоречие с его навороченными конструкциями — а он (в отличие от Хармса) заботится если не о логической последовательности, так хотя бы о последовательной сложности. Зато моему дискурсу сии тексты очень кстати, ибо, во-первых, приближают к некоторым основам Хармсовой наррации, а во-вторых, позволяют понять, почему же писатель так не любил детей.

Начнем с «во-вторых»: думается, что его «детоненавистничество» проистекало из скрытого (то бишь подсознательного) отвращения к себе. Ибо сам он всю жизнь оставался ребенком — разумеется, ровно таким, какими представлялись ему все вообще дети: «жестоким и капризным старичком». Или — в привычной формулировке — «злым мальчиком», который усердно отрывает лапки насекомым и вдумчиво ломает игрушки, чтобы посмотреть, что там у них внутри. Внутри, понятное дело, обнаруживается всякая дрянь: грязная вата, тряпье, опилки; и тогда обиженный малыш яро изничтожает обломки, уже имея в виду творческую цель — отомстить миру, явившему свое неприглядное нутро... Это стремление изломать мир вконец присутствует во многих произведениях Хармса; но что характерно, персонажи его изначально не претендуют на то, чтобы выглядеть живыми: перед нами именно игрушки — поданные «жестокоего и капризного старичка», развлекающегося придумкой кар и казней. «Однажды Орлов обьялся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы»...

Впрочем, дело идет не только о Хармсе: целые направления авангарда — причем как раз те, к которым он внутренне близок, — сильно отдают неизжитым детством. Но, разумеется, не в том классическом (и позитивном) понимании, что творчество сродни игре, а в плане художественной вседозволенности. Так, не подлежит сомнению, что первую абстрактную картину нарисовал ребенок — и произошло это в незапамятные времена, равным образом как и во все последующие времена все малыши, ломая грифели, беззаботно портили бумагу. И стихотворные абстракции, складывающиеся из бессмысленного набора звуков, имели место в любые века — только взрослые не воспринимали эти младенческие попевки как поэзию, да и сам автор обычно не записывал свои «дыр бул щыл» (хотя бы потому, что писать еще не умел), но забывал, едва выкрикнув... Однако ж «формальными средствами» сходство не ограничивается: есть и сущностные пересечения.

Радикальные авангардистские эстетики, как правило, непродуктивны: они не имеют потенциала для развития, а следовательно, не способны породить художественную традицию. И чем острее приемы, которыми пользуется художник, тем быстрее он доходит до конца перспективы. Потому что черный квадрат можно нарисовать только один раз: утратив статус эстетического открытия, он немедля возвращается в область геометрии. Ровно так же бесперспективны и детские почеркушки; но разница в том, что ребенок, вырастая, либо научается рисовать, либо (значительно чаще) оставляет краски в детской, где их и подбирает следующее поколение, — тогда как взрослый авангардист-радикал хочет окончательно «закрыть» искусство.

«У них было отвращение ко всему, что стало литературой», — вспоминал Евгений Шварц про обэриутов; Михаил Ямпольский с самого начала говорит, что Хармс стремился «создать литературу, преодолевающую линейность дискурса, казалось бы, соприродную любому литературному тексту», — и следовательно, речь идет о «литературе как антилитературе». А основой ее, по

Ямпольскому, является амнезия — и вот с этим нельзя не согласиться (наконец-то я нашла, в чем согласиться с автором!). Правда, пристрастие к пошлой последовательности и тут подвигает на ловлю блох: а зачем же потребовалось связывать писателя с «общим культурным фондом» и привлекать такое количество источников, если истоком его творчества служит беспамятство? Ну да ладно; главное, что я не согласна с интерпретацией...

«Двух слов запомнить не могу / Такая память! / Таковую память / Не пожелал бы я врагу», — говорит Хармс. И еще: «Я плавно думать не могу»: «...нет больших и единых мыслей, / такие же клочья, обрывки и хвостики. / То вспыхнет земное желание, / то протянется рука к занимательной книге, / то вдруг хватаю листок бумаги, / но тут же в голову сладкий сон стучится. / Сажусь к окну в глубокое кресло, / смотрю на часы, закуриваю трубку, / но тут же вскакиваю и перехожу к столу, / сажусь на твердый стул и скручиваю себе папиросу. / Я вижу, бежит по стене паучок, / я слежу за ним, не могу оторваться. / Он мне мешает взять в руки перо. / Убить паука!..»

Ямпольский, разумеется, не может пройти мимо «окна-монограммы, выводящего за линейность дискурса»: поэт, дескать, затем и усаживается к нему, что «то, чего он хочет, принципиально ненарративно»; я, со своей стороны, не могу не услышать характеристического призыва «убить паука» — но это, конечно, мелочь. А суть в другом: стихотворение дает очень простое и точное — исключительно простое и точное для Хармса — описание детского сознания (конечно, если не смотреть на детали). Психологам давно известно, что неспособность к сосредоточению является одной из определяющих черт детской психики — недаром же педагогические методики требуют постоянно переключать внимание первоклашек; да и многие родители, не изучавшие психологии, эмпирическим путем выяснили, что плачущего ребенка лучше не утешать, а как-либо отвлечь... И нормальное развитие в том и состоит, что постепенно человек овладевает навыками концентрации — и лишь отдельные бедолаги застревают на стадии, когда все вокруг распадается на «клочья, обрывки и хвостики» и собрать их в одно целое невозможно.

Следствием подобного восприятия может стать опять же неприязнь к миру — особенно острая, если проблема осознана; подозреваю, что именно это мы имеем в случае Хармса. Что же до случая Ямпольского и иже с ним... Как мне представляется, здесь явлен феномен подросткового сознания, лично мною изученный за годы преподавательской работы (подчеркну: в школе для одаренных детей, где конкурс — десять человек на место). Умный и любящий учиться подросток, на нынешнем жаргоне почему-то называемый «ботаником», проглатывает невероятное количество самой разнообразной литературы — предпочитая, естественно, высокоученую, дающую ему чувство взрослости и интеллектуальной полноценности; а хорошая (преимущество возраста) память позволяет держать эти книжные груды в голове и всячески ими оперировать. Его сочинения бывают так набиты цитатами, что собственный текст превращается в прослойку, своего рода мостик, позволяющий перейти от одной заимствованной мысли к другой; вдобавок он обожает сложные слова и выражения, служащие все той же творческой задаче: ощутить себя взрослым и умным.

Но при всей своей (поразительной иногда) начитанности и памятьливости подросток, как правило, еще не способен ни к анализу, ни к систематизации. В лучшем случае он распределяет освоенную информацию по принципу библиотечного каталога: философия к философии, физика к физике, греки к римлянам, а в худшем — сваливает все до кучи. И в результате выстраиваемые им связи ошеломляют случайностью и алогичностью, и сложнее всего оказывается объяснить, что одно к другому не имеет отношения; тем более что последовательная картина развития в его мозги еще не встроена, иерархия ценностей отсутствует и отдаленные объекты могут поэтом казаться близкими, а несоизмеримые величины — одномасштабными... Кстати: такие подростки обычно очень любят «детский» авангард с его манифестированным стремлением к художественной новизне и столь же декларативным негативизмом, призывающим сбросить «с парохода современности» все, что было прежде; а одна

из причин этой любви — парадоксализм отроческого сознания, которое жаждет и присвоить, и одновременно отвергнуть накопленный человечеством культурный опыт.

Но — вернемся к Хармсу и иже с ним — если внимательно проанализировать предлагаемые эстетические новшества, то обнаружится старая истина: ничто не ново под луной. Потому что Иероним Босх — куда больший сюрреалист, чем лидер сюрреализма Сальвадор Дали; потому что громоздкие каменные бабы с острова Пасхи вполне могут сойти за авангардный примитивизм, а античные гротески... Впрочем, стоп. На протяжении всего текста я постыдно пренебрегала цитатами — так хоть под конец сошлюсь на авторитет.

Гилберт Кит Честертон в своем прелестном эссе «О чтении» говорит про общепризнанно новые — для его времени — идеи: «В их успех вкрадывается одна и та же ошибка... нова не сама идея, а полное отсутствие других, уравновешивающих ее идей... Великие писатели прошлого не отдали должного нашим модным поветриям не потому, что до них не додумались, а потому, что додумались и до них, и до всех ответов на них... Откройте последний акт „Ричарда III“, и вы найдете не только все нищезанство — вы найдете и самые термины Ницше. Ричард-горбун говорит вельможам: „Что совесть? Измышление слабых духом, / Чтоб сильных обуздать и обессилить“. Шекспир не только додумался до нищезанского права сильного — он знал ему цену и место. А место ему — в устах полоумного калеки накануне поражения».

Ровно это же можно сказать и об эстетике абсурда: известно, что она является составным элементом художественной системы Аристофана («отца комедии», между прочим), Плавта, первым использовавшего «диалог глухих» — эффектный фарсовый прием, столь частый у Хармса и столь удобный для многочисленных интерпретаций Михаила Ямпольского; стоит вспомнить и шутовские интермедии того же Шекспира, подчас достигающие совершенно хармсовской бессвязности и алогичности — правда, они не в пример смешнее. Но суть в другом: они ни в коей мере не исчерпывают шекспировского «дискурса». Потому что Шекспир знал: абсурд — это только малая часть мира; и населяют ее... см. выше.

А у Хармса малая часть замещает целое. И это тоже можно считать причиной непродуктивности его эстетики: столь ограниченное пространство очень быстро оказывается исхожено вдоль и поперек. А ограниченность мира естественным образом ведет к монотонности и однообразию художественных средств — отсюда в свою очередь происходит стопроцентная воспроизводимость его стиля. Забавная деталь: самые популярные из «хармсовских анекдотов» («Лев Толстой очень любил детей...»; «Однажды Гоголь переоделся Пушкиным...») придуманы вовсе не им. И не стоит труда объяснить, почему имитации удалось отчасти «заместить» оригинал: несмотря на безупречное сходство, тексты московских художников В. Пятницкого и Н. Доброхотовой обладают большей легкостью — это именно игра в чепуху. Веселое дуракаваляние, изначально подразумевающее, что литература не сводится к «антилитературе».

...Книга Михаила Ямпольского кончается довольно неожиданно: «Человек, обнаруживающий пустоту за дискурсом, обречен на смерть, потому что носители дискурса производят его именно для того, чтобы скрыть пустоту». Речь здесь идет о маленькой пьеске Хармса, герой которой, столкнувшись с абсолютным непониманием («диалог глухих»), в итоге душит собеседника, — и «мораль этого фарса в полной мере приложима к трагедии судьбы самого Хармса». Изгиб, как всегда, загадочный, ибо — кто в данном случае обречен: читатель, обнаруживший пустоту, или «носитель дискурса»? Но насчет пустоты сказано верно. И в полной мере приложимо к сочинению самого Ямпольского. А в результате мы получаем еще одну, самую удивительную загадку: как мог человек, догадавшийся, что «носители дискурса производят его именно для того, чтобы скрыть пустоту», — произвести столько слов?



ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



НЕПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ СТРАННОСТЬ

Какие только *тексты* не попадают на глаза тому, кто сидит в редакции, окруженный осколками журнально-печатного производства! Иногда такие — что, не имея прямого отношения к публичному ходу литературных дел, соблазняют скорректировать некоторые представления об этом самом ходе...

С детства я, дочь вокалистки, слышала определение: *композиторы-дилетанты*. «Соловей», «На заре туманной юности», «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» — Алябьев, Гурилев, Варламов, такие навеки любимые (или уже не любимые поколением, выбравшим пепси? — нет, быть того не может). Наверное, это определение нынче считается ненаучным и «устар.»; во всяком случае, «Большой энциклопедический словарь» пишет против означенных фамилий: «рос. композитор». Скрябин — «рос. композитор» и Гурилев — «рос. композитор», с этим, конечно, не поспоришь. Но все-таки жаль расстаться со словом, с понятием, за которым — образ непринужденного и неприязательного любительства, следование единственно потребности «сердцу высказать себя», отсутствие институциональных, так сказать, обязательств, если и популярность, то спонтанная, как легкое поветрие. Короче, независимость от культурно-художественной «инфраструктуры», позволяющая творить «в свое удовольствие», не особенно заботясь, устарел ты или нет, похож на кого-то или не похож. При этом создания «дилетантов», попадая все-таки в круг публичного внимания, могут оказаться долговечнее, чем творения, написанные признанными членами профессионального цеха. Но и закрепившись в культуре (если повезет), они все равно остаются другими, с живым отпечатком своего «домашнего» происхождения. В чем состоит этот отпечаток применительно к вокальному сочинительству, сказать не берусь; если начну рассуждать о простоте музыкального языка, неприхотливой аранжировке и проч., обнаружу свое полнейшее невежество. А вот, наткнувшись на тексты поэтов-дилетантов, попытаюсь представить их как некое удивившее меня явление.

Только не подумайте, что речь идет о ком-то из лиц, рифмующих в горизонте художественной самодеятельности с большим или меньшим приближением к печатной планке: иногда они сами издают свои книжки, иногда их вылавливает и снисходительно поощряет, скажем, Татьяна Иванова на страницах «Книжного обозрения». Нет, речь пойдет о подлинных поэтах, не только способных при случае легко взять пресловутую планку, а резко выбивающихся из потока среднекультурного, общественно-приемлемого стихописания. Но тем не менее — о дилетантах.

Стихи — архаика. И скоро их не будет.
Смешно настаивать на том, что Архилох
Еще нас поутру, как птичий хохот, будит,
Еще цепляется, как зверь-чертополох.

Прощай, речь мерная!.. —

стойчески констатирует один из последних могикан высокой лирики нашего века, ее рыцарь, мастер и мэтр. И еще:

Ты видишь: все плотнее мрак,
Падет и смысл, как пала Троя...

...И впору в бегстве бросить стих,
Как до тебя свой щит бросали.

Александр Кушнер ошибается. Он замечает то, что зримо вокруг: усталость от «речи мерной» читателей и самих поэтов, затоваренность разноликой стихотворной продукцией при полной, казалось бы, исчерпанности заявлявших о себе в течение века эстетических направлений (акмеизм, к примеру, так и остался «непреодоленным», ибо упразднение смысла — не взятие «Трои», а поражение атакующих)... Но существует невидимая зона, где до всего этого просто нет дела.

Личная лирика как художественное высказывание из глубины собственного «я» родилась до и вне литературы, адресованной читательскому любопытству. В ее сакральной версии — это псалмы, приписываемые царю Давиду, напряженный диалог человеческого самосознания с Богом — о своем уделе; в ее мирской версии, исходящей от «частного лица», — это, грубо говоря, солдатский дневник грека Архилоха, дошедший до нас в жалких, но впечатляющих фрагментах и отражающий, по формулировке литературной энциклопедии, «непосредственные интересы» его творца. Ни Псалмопевец, ни эллинский воин не были литераторами в том смысле, в каком литератором был не только наш Пушкин, но и бродяга Вийон, участвовавший в поэтических турнирах. Они были «дилетантами», сочиняли потому, что дар слова сопутствовал всем поворотам их жизни и движениям души и непроизвольно повторял эти повороты и движения в зеркале поэзии. Такова колыбель европейской лирики, и время от времени «случай Давида» и «случай Архилоха» варьируются в дарованиях людей, вряд ли рвущихся и вхожих в «цех поэтов».

Эта не учтенная литературной ситуацией внецеховая лирика — скромный, но непреложный залог того, что брошенный щит рано или поздно будет подобран.

И поутру нас, «как птичий хохот, будит» новый Архилох в образе любителя-рыболова, опершегося не на копье, а на весло:

Темноречива речь
Ночных еще глубин.
Волне велит волна,
И бакен видит брата.
Тобой, река, творим,
Кто сам себя творил,
Кто тяжесть уловил
Рыбацкого карата.

В бетонном сне одни
Остались сын и дочь,
Подушка не нужна
Отеческой щетине.
Частицы мошкары
Просвечивают ночь.
От плачущей пыльцы —
К спасительной плотине.

Вот конец этого длинного стихотворения, сопутствующего всем этапам утреннего рыболовства, всем радостям вкушения *мира* (в обоих значениях):

Пока удит рука,
Пока гудит уда,
Пока напряжены
Капроновые жилы,
И небо, и вода,
И эти города
Пускай не навсегда,
Но хоть до смерти живы.

Передо мной книжка: Иван Васильцов. Ищите мир. Стихи. Саратов, Издательский и книготорговый дом «Пароход», 1998. Она тонковата (чуть менее ста страниц), одета в мягкую обложку блекло-аскетического вида, а на обороте титульного листа напечатано: «Автор и издатели благодарят Министерство культуры и правительство Саратовской области за финансовую поддержку издания этой книги». В соответствующем месте указан и тираж — 500 экз. Вот какой понадобился губернаторский и министерский (на федеральном, что ли, уровне?) подвиг, чтобы

издать стихи Ивана Васильцова, — правда, бумага не худшая и стихи напечатаны не в подбор. О самом же Васильцове — ни слова. Можно было позвонить в Саратов, разузнать об авторе книжки, присланной в журнал без всякой сопроводилочки и случайно привлечшей внимание моего коллеги (который вполне мог отодвинуть ее в сторону до лучших времен), а затем и мое. Да, позвонить можно было, но почему-то не захотелось. Захотелось остаться при одних стихах.

А из стихов видно, что поэт (без возрастных примет) живет — или, во всяком случае, оживает — не то в пригородном, не то в деревенском уединении, в слегка минорном согласии с отчими землей и небом. Пишет о том, чем наполнены дни и ночи такого житья, не стремясь к разнообразию и выстраиванию циклов (непрофессионализм!). Но пишет почти сплошь хорошо. И притом — не без странности, с каким-то своеобразным изворотом — не строки, а душевного зренья: «Что-то льняное, иное, / Что-то, как дом, как вода. / Шуруется небо родное / Через просвирку гнезда»; «Иголочка громоотвода, / Скамья в ожиданьи, крыльцо / И старенького огорода / Совсем оспяное лицо».

Но не нужно выхваченных строк. Журнальная шапка, под которой пишу, позволяет мне напирать на «текст» больше, чем на комментарии:

Надоела война.
И миры — надоели.
Ты родился едва,
А тебя уже съели.

Увядает цветок
Красоты Нефертити,
Умирает белок
На холодной орбите.

Починили реле,
Подсветили эпоху.
«Есть ли жизнь на Земле?» —
Крикнешь чертополоху.

Но колюче молчит
Тень травы окаянной...
В небе осень влачит
Свой хрусталик стеклянный.

Вот еще:

Душа, как столб, заземлена,
Ее цветы суровы,
Она — где зреют семена
И где мычат коровы.

И за душой богатства нет,
Есть розовая стружка,
Земля, семья, велосипед
Да рваная ватнушка.

Да зеркальце, как озерцо,
Куда смотреть — не дело:
Степнячки гордое лицо
До кости прочернело.

Деревья. Степь. Скупы сады.
Зато поля — без края.
Здесь жизнь, как формула воды,
Обманчиво-простая.

Не пожалею места для более длинной «пьесы» — о шести строфах:

Был город в несколько домов,
Точнее, в несколько дворов,
Где люди не спешили,
Любили слушать домовых
И на бумагах гербовых
Смородину сушили.

Обедню заменил обед,
И на земле давно уж нет
Высокого селенья.
Осели ветхие мосты,
Сгорели старые кресты,
Но — варится варенье!

Ведь мы когда-то жили здесь...
Воркует ягодная смесь,
Искрится банки стенка.
Течет молочная река,
И розовые облака
Напоминает пенка.

Приятно видеть молодых,
Таких далеких и родных,
Играть с прабабкой в прятки,
Перебирать в кармане медь
И, как на прошлое, смотреть
На липовые кадки.

Вдруг лопнет клюква в кипятке,
Исчезнет мать с ковшом в руке
И с выговором детским.
Навек захлопнется замок,
Растает сахарный дымок
Над флигелем соседским.

Сегодня сыро и темно
И не посеяно зерно,
Для сердца дорогое.
Здесь люди в шляпах и пальто,
Здесь все какое-то не то,
Холодное, другое.

Иногда поэт, не так-то он прост, ставит перед собой собственно литературную, технологическую задачу, и, хотя порой не худо с ней справляется, его незаемный голос вдруг вбирает обертоны уже слышанного, писанного другими. Как в этом, например, отрывке с мастеровитыми поэтическими каламбурами (поэтическим корнесловием, как еще называют такой прием):

Помаюсь, поселюсь по маю,
У улья выколю еды,
На зареве сазана смаю,
Годящегося мне в деды.

.....
Сюда бы навсегда втесниться,
Стропила клинышком раззять,
Ваукаться, воглухариться,
Поляну мятой пообмять.

Иногда вдруг слышится бардовское пение Новеллы Матвеевой, или промелькнет Заболоцкий, или обнаружит себя знакомство с Хлебниковым. Но ненарушимо главное обаятельное впечатление — безуильное следование стихом за днями жизни: сколько захочется, сколько получится.

А свобода — тучи коврига
И язвинный всплеск на мели.
А приют — старинная книга
Или просто — клочок земли.

А теперь — если уж я воздвигла вначале две «архетипические» фигуры долитературных лириков, Архилоха и Давида-псалмопевца, — представлю нечто отвечающее второму случаю.

Борис Трещанский — знаю о нем только то, что он служащий священник, свои стихи не показывает даже домашним, о печатании вроде не помышляет, — но

вот все же не обошелся без слушателя-читателя, дважды приносил в журнал по пачке листков, в полстраницы каждый, просил прочитать, оценить.

Первое чувство — недоумение. Потом признаешься себе: задело. Потом — попадаешь под гипноз этого мучительного, ртутно-тяжкого капанья стихотворных (?) строк. Ближайшая тематическая аналогия — «Мысли» Паскаля. Вера, страдание, грех, давление мира, устройство человеческого сердца, Евангелие, опыт духовной брани. В миниатюрах, строк по десяти-двенадцати. Церковные славянизмы внедрены в грамматическую форму фраз, но церковная книжность, богослужебная поэтика — не востребованы. Вместо них — я бы сказала, активное косноязычие. Мысль, пробиваясь по руслам выстраданной и не вполне преодоленной душевной смуты, встречая на пути некие неимоверные препятствия экзистенциального порядка, выходит наружу искривленной, изъязвленной стигматами. И наш автор не хочет ничего поправлять, эти следы муки, жертвы, на коих стоит мир, ему дороги; косноязычие — его принцип, если угодно, «прием». Результат иногда отдает графоманией. Но иногда — поэзией. Вот пронзительные образцы скорее второго, чем первого:

Приковываемые к наковальне
 Прощаются с простором воли,
 Но приглядишь, и в подземелии кандалном
 И даже с выколотыми глазами —
 Вид как с колокольни,
 И коль копнуть на штык,
 То под земной личиной
 Вся жизнь кишмя кишит
 И под любым нажимом
 Быть живу
 Не уничтожимо.

Никакую скорбь не пренебрегая,
 И о каждом мертвом
 В смерти общей
 Сожалел явно
 И о каждом мертвом
 В смерти общей
 И о трупе негодяя,
 Скормленного коршунам,
 И о болести страдания,
 Снимаемой за слоем слой
 До драгоценнейшей эмали
 Младенцевой омытою слезой.

Пред первым убиением
 Опьянения чаша,
 Ибо неподдельно,
 Неподдельно страшно
 Пронзить чужое тело,
 Не меньше, чем себя же,
 И по окровавленному дальше снегу
 Запутывающе свой путь —
 Наружу еще агньчим мехом,
 Но уже волчьими клыками внутрь.

Насколько же мир виден злобней
 Для матери
 Сыновнего распятия подле,
 И внесенная в жестокости обряд
 Живая кровь сочится
 А ко всему привыкший
 Очевидца взгляд
 Может досмотрев не увлажниться.

(Прошу обратить внимание на это *досмотрев* — сильное слово!)

Доколе не отомщены страдания
 И слезы не отирны
 Все безбожные братания
 Богопротивны,
 Как меха ветхого латание,
 Но переходит Ирод
 К Понтию в друзья
 И скрепляет суть их мира
 Распятие Христа, —

(намек на Лк. 23: 11 — 12: «...Ирод со своими воинами, уничивив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». По-моему, автор дает здесь очень глубокую экзегезу этой многозначительной евангельской подробности).

Прахом стряхиваемым
 Страхи прошлые
 Какими ни были клокочущими
 Зарастают пролежнями
 На замшелой плахе
 Зарастают пролежнями
 И прошедший заживо
 Через чернозем и небосклон
 Как ни страшно бывши оклеветанным
 Как ни погибельно пронзен
 Побеждающий
 Выходцем полночным с того света
 Унаследовавшим все.

(Я сохранила непоследовательное авторское отношение к пунктуации — даже и в эту малость не хотелось вмешиваться.)

Нужна ли «дилетантам» аудитория? Не без этого. Иначе зачем было заручаться друзьям Ивана Васильцова высоким покровительством чиновников? Зачем было Борису Трещанскому ждать журнальной оценки своих поэтических иероглифов? Но все-таки за ними сохраняется главная привилегия любительства — «никому / Отчета не давать». Для профессионального поэта, связанного со своим кругом ценителей и с более широкой публикой, неудача, спад, простой — это травма, причем травма на виду у всех, которую приходится преодолевать либо глухим затвором, либо сменой литературных занятий, либо насильственным продуцированием. Если же Васильцов не выпустит больше ни одной тетрадки стихов (хотя, быть может, у него все впереди, включая известность), если Трещанский вдруг сочтет сочинительство несовместимым со своим служением, вряд ли это кого-то обеспокоит. И беззаботность насчет прихода-ухода вдохновения, относительно архитектоники своего пути присутствует в их строках как вкусовой ингредиент, как изюминка.

Под профессионализмом в поэзии я вовсе не имею в виду мертвенность и техническую выучку. Напротив — высокую страсть для звуков жизни не шадить. Черта дилетанта — сначала жизнь, а потом уже звуки, как побочное следствие (до 1837 года Лермонтов был именно дилетантом). Не уверена, что, придавая известную публичность двум отмеченным мною именам, я приношу им пользу, меняю к лучшему их судьбу. Не повредит ли излишне пристальное внимание их способу приникать к кастальскому ключу?

Но мне хотелось показать, что у родной поэзии, как бы она ни притомилась и поистерлась, всегда есть некий дикорастущий резерв, подземная грибница дарований. И даже если в прошлое, как подчас пророчат, отойдет самое книжность, поэзия будет существовать после книг, как существовала она до них.



Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

Василий Белов. Час шестой. Роман. — «Наш современник», 1997, № 9 — 10; 1998, № 2 — 3.

Василий Белов. Дорога на Валаам. Писательская тетрадь. — «Москва», 1997, № 4.

Валентин Распутин. Видение. Вечером. Рассказы. — «Москва», 1997, № 3.

Валентин Распутин. Мой манифест. Нежданно-негаданно. Рассказ. — «Наш современник», 1997, № 5.

Валентин Распутин. Новая профессия. Рассказ. — «Наш современник», 1998, № 7.

Ольга Вельдина. Прокляты, но не убиты. Беседа с Валентином Распутиным. — «Юность», 1997, № 3.

Когда-то, в пору начального сознательного чтения, Валентин Распутин был для меня как Александр Пушкин. Как-то сразу почувствовалось, что «Прощание с Матёрой» и «Последний срок» обладают той же полнотой и стройностью художественного объема, теми же качествами прозрачного и крепкого материала, что «Пиковая дама» и «Капитанская дочка». «Вот она, классика!» — это ощущение поражало своей безошибочностью, отсутствием и тени опасливого сомнения, трусливых поправок на свежую дату написания текста. Что было главным, когда переворачивалась последняя страница бумажного, буквально зачитанного издания, полустертой пылью и обтрепанными краями страниц напоминавшего первую бабочку на последнем сугробе? Главным было: не только в баснословные классические времена жили люди, о которых находилось что сказать. Мы — не провинциалы в историческом времени и пространстве, мы тоже живем, мы есть, и наш сегодняшний день, наша реальность так же плодоносят, как и великий XIX век.

Более земной, менее «воздушный» Василий Белов воспринимался проще, конкретнее и, наверное, больнее. «Привычное дело» в первый раз было мною прочитано как повесть о любви, о многолетних и пожилых — так тогда казалось — Ромео и Джульетте, которым почему-то надо заготавливать сено для своей коровы, работать на колхозной ферме, возить на лошади товар в сельпо. Мне и сегодня кажется, что такое — субъективное и возрастное — прочтение тоже имело право на существование. Именно оно резче выявило тогда новизну и болезненность правды о жизни людей в незнакомых городскому обитателю условиях и местах. Тот, кто реально знал деревню разве что по «шефской» работе на комковатых и черствых полях, более всего напоминавших горожанам некачественный, кое-как разбитый растениями асфальт, все равно воспринимал «деревенскую прозу» как откровение о себе самом. Это не было данью моде. И не было только попыткой повернуться от обрыдлого «Морального кодекса строителя коммунизма» к каким-то первоначальным и простым основам нравственности, хранимым патриархальной деревней. Конечно, такие персонажи, как Иван Африканович из «Привычного дела» или Кузьма из повести Валентина Распутина «Деньги для Марии», будили в читателе нормальную человеческую совесть, заставляли, может быть, подумать по-доброму о забытой сельской (и не только о сельской, а просто о бедной, малообразованной, многодетной) родне. Но главное значение «деревенской прозы» было, на мой взгляд, все-таки в другом.

Когда-то Глеб Успенский в своей работе «Крестьянин и крестьянский труд» высказал наблюдения, которые верны и по сей, к сожалению, день: «Крестьянская пословица говорит: „Лето работает на зиму, а зима на лето“. И точно: летом с утра до ночи без передышки бьются с косьбой, с жнивом, а зимой скотина съест сено, а люди хлеб, весну и осень идут хлопоты приготовить пашню для людей и животных, летом соберут, что даст пашня, а зимой съедят. Труд постоянный, и никакого результата, кроме навоза, да и того не остается, ибо и он идет в землю, земля ест навоз, люди и скот едят, что дает земля. Сам Бог, Отец Небесный, поминается только как участник в этой бесплодной по результатам деятельности лаборатории. Бог дает дождь, ведро, нужные для сена, овса, ржи, которые нужны для лошадей, овец, коров и людей, а в результате — навоз, нужный для земли, и т. д. до беско-

нечности. Промучившись (на мой взгляд) таким образом лет 70, обыватель и сам отправляется в землю». Этот безрадостный круговорот пота и пищи, насильно увлекающий человека всего лишь к смерти, в XX веке стал еще более безысходным и жестоким: виной тому и раскулачивание, и войны, и сталинское крепостное право, и грандиозные социалистические проекты покорения природы — к счастью, не до конца осуществленные.

Об этом круговороте и писали деревенщики. Но не главным образом об этом — иначе «деревенская проза» не двинулась бы дальше физиологического жалостного очерка. Она, эта проза, стала насущна для всех, когда практически все почувствовали (не без помощи атомной бомбы) малость планеты Земля и свое, может быть, неправильное положение на ней. Городской «квартирный вопрос» был и есть всего лишь частное выражение общечеловеческой проблемы духовного взаимодействия с обитаемой средой. Расширять огороженное (улучшать жилищные условия) и создавать искусственную, взятую из головы, рукотворную среду (возводить над землей второй, третий, сотый этажи) — вот путь, по которому, казалось бы, пошла цивилизация. В деревне все было иначе. Городского жителя ужасали теснота и неудобство крестьянской избы. Но она, эта изба, продолжалась сеньями, крыльцом, двором, улицей, пастбищем, полем, лесом, болотом... Это было разомкнутое, раскрытое пространство с жилым и теплым «ядром» и с простором на все четыре стороны, которым по праву владела душа. Герой «деревенской прозы» — это всегда человек в пейзаже, человек отчасти им растворенный, но им же и подтверждаемый: родник, березняк, облако в небе — это все его «удостоверения личности». Кроме того, такой герой, в силу многодетности во многих поколениях, разомкнут и в плане родственной связи со многими, если не со всеми людьми. Разрыв этой родственности (смена деревенского образа жизни на городской) воспринимался «деревенской прозой» как большая драма. Когда Иван Африканович, затравленный колхозными порядками, отправился из родной деревни на городские денежные заработки, он, как Ромео, отправился в изгнание. Не на широкую волю с вытребованным паспортом, а в суетную тесноту чужбины, где твоя земля — только та, что под ногами, но и она буквально уходит из-под ног. Не удивительно, что вдали от дома герой оказался нелепейшим, ни на что не способным человеком. А вернулся — дома гроб с телом любимой жены. И не было повести печальнее на свете...

У «деревенской прозы» изначально имелась одна коренная «слабость», отличавшая ее от «городской прозы» или, к примеру, от «школьных повестей»: ее герой не был и принципиально не мог быть ее читателем. И все-таки «деревенская проза» не стала этнической частностью литературного процесса. Она сумела сделать очень важную вещь — «снять» замкнутость круга тяжелых и бессмысленных крестьянских работ раскрытостью героя в природу и в мир, в его красоту. Особенно в произведениях Валентина Распутина деревенский, ничего не читающий человек, проживший наедине с собой свою тяжелую жизнь, вдруг осознает свою незрячность, неслучайность своего прихода в мир, и шире — значимость и высокий смысл всякого человеческого дыхания. Старуха из повести «Последний срок» — это уже в полном смысле слова классический пример просветления духа, не имевшего помощи ни в религии, ни в литературе, но нашего все, что надо, в самой что ни на есть обыкновенной бабьей деревенской судьбе: «...после каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала: ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет». Таково общечеловеческое значение «деревенской прозы»: ведь, если подумать, круговорот простой рабочей жизни около стройки или завода не так уж отличается от круговорота крестьянского: и здесь люди — те же лошади в шахте. В городе с его кинотеатрами и магазинами, с белыми унитазами и горячей мертвой водой из-под крана человек еще и чаще, чем в деревне, ощущал себя искусственной органикой, заменимым элементом не им запущенного и не до конца понятного механизма. «Деревенская проза» всем, отчужденным от собственной жизни, подала утешение и надежду — на то, чтобы стать и быть собой. Она, может быть, выявила образ Божий в пресловутом «советском человеке». Она же сделала русскому языку, зажеванному канцелярщиной советских газет, спасительную инъекцию живых народных говоров, северо-русских и сибирских. И ведь что интерес-

но: эта проза не была отдельно стоящим явлением в искусстве. В повестях Распутина ощущается, и сегодня явственнее, чем двадцать лет назад (так в хорошем вине с годами проявляется букет), глуховатая и терпкая интонация Андрея Платонова. «Последний срок» мог бы вполне стать основой для фильма Андрея Тарковского — там подспудно присутствует чисто «тарковская» медлительная, накопительная драматургия.

И все-таки определение «деревенская проза», бывшее удачным и отражавшее литературную реальность, казалось во времена, когда, собственно, и создавался основной текстовый массив, чем-то достаточно искусственным, существующим для потребностей преподавателя и литературоведа. Белов был Беловым, Распутин — Распутиным, Личутин — Личутиным, Крупин — Крупиным. Значение каждого художника превышало значение социальной и этической общности деревенщиков. Сегодня все изменилось. Если угодно, сегодня писатели-«патриоты» стали более деревенщиками, чем были, когда создавали свои главные (по крайней мере на сегодня), классические вещи. Причина происшедшего видна невооруженным глазом. В отечественной истории совершился тяжелый перелом с непредсказуемыми последствиями; наступил ледниковый период, и стало ясно, что Россия — родина мамонтов, возможно обреченных на скорое вымирание. «Одни замолчали совсем, другие избрали средством борьбы с обрушившейся на Россию бедой публицистику. Замолчали, или, по-другому, „исписались“, сразу две трети писателей России. Даже больше. Чтобы писать светло, полезно для читателя, нужны надежда, окрыленность, запас прочности того, что называется Родиной. И все оказалось безжалостно подрубленным, из всего сочится кровь», — так Валентин Распутин обрисовал ситуацию в своем интервью журналу «Юность». Василий Белов в большом, запальчивом выплеске (как-то не поворачивается язык назвать этот текст спокойным словом «очерк») «Дорога на Валаам» рисует ту же картину внутреннего разлада, не позволяющего с радостью сесть за письменный стол: «Мои вопрошания и восклицания летят в пустоту. Никто не слышит. И демон отчаяния даже в деревне снова хватается мое сердце в свою когтистую лапу. Когда же он ее разжимает, когда вновь появляется желание труда и действия, подскакивают бесы помельче: раздражение, нетерпение, торопливость».

Действительно: беда уже свершившаяся, отстоявшаяся переносится человеком легче, чем сам разрушительный процесс, пусть даже несущий в себе надежду на лучший исход. Для писателя свершившееся даже плодотворно: оно становится материалом для творчества. А сегодня писать психологически трудно, и трудней всего сосредоточиться на творческом труде как раз реалистам. Дело не только в гражданской боли, не дающей вздохнуть, но и в особенностях метода. Нынешняя реальность фантастична — хотя бы потому, что представляет собой игру без правил, действие среди призрачных объемов скрытой информации, танец с тенями. Наверное, для художественного обобщения фантастического требуется не «жизнь в формах самой жизни», а какая-то гротесковая условность, способная переродить и переплавить реалистический текст. Мало кто из реалистов готов идти на это профессионально и с пониманием задачи, а деревенщики — те, как мне кажется, сопротивляются сознательно, чураются и открещиваются. Но за мельканием жизненных частностей им все равно рисуется фантастическое. И оно берет писателей в плен. Вторгается и в публицистику, и в саму прозу. Поэтому проза у деревенщиков сегодня совсем не та, что была двадцать лет назад.

Но обратимся сперва к публицистике — к прямому и оценочному высказыванию о невыдуманной действительности. Многое в ней резко бросается в глаза. И для того, чтобы пафосно указать на российские разрушения и потери, не требуются, вообще говоря, ни Распутин, ни Белов. Для этого достаточно средней руки газетчика. От публицистики больших мастеров слова — пусть и выбитых из нормальной творческой колеи — как-то ожидаешь большего. Ожидаешь для себя открытий. Похоже, что таким открытием — скажем по-другому: центральной позитивной идеей — сами авторы считают особый, отличный от западных моделей российский путь развития. Тут здравый смысл велит согласиться. Действительно: если не хорош для нас ни социализм (нахлебались), ни хамский капитализм по моделям развивающихся стран (а другим он у нас при самом лучшем правительстве просто

не может быть), значит, нужно искать нечто третье, такое, что позволит России сделать качественный скачок. Но вот проблема (может быть, моя личная, а может, и не только): не могу вычитать ни у Василия Белова, ни у Валентина Распутина, в чем, собственно, заключается этот особый путь. Как это должно получаться политически? А главное — экономически? Община как основа национальной экономики? Кооперация? Госкапитализм? Что? Читаем у Белова: «Мой сосед в деревне вырастил полдюжины овец, а государство не хочет их брать. Молоко тоже не принимает это государство». А почему государство, собственно говоря? Почему не какое-нибудь оборотистое ИЧП? Или тот же кооператив? Читаем у Распутина: «Порой кажется: власти сознательно отказываются кормить народ, давать ему работу и зарплату. Как будто подталкивают тем самым народ к взрыву. Как будто ждут подходящего момента, чтобы объявить чрезвычайное положение и взять страну в „ежовые рукавицы“. Даже военные не получают зарплату. Я уж не говорю, например, о крестьянах. В некоторых селах зарплату не выдают по году-полтора. Выходит, эти люди для государства просто не существуют, подобно тому как некоторые хозяева отказываются заботиться о кошках или собаках». Но если народ при властях уже состоит на положении домашнего скота — зачем еще какие-то «ежовые рукавицы»? И может ли быть конструктивное взаимодействие между властью и товаропроизводителем, если последний по определению не партнер, а пассивный, нуждающийся в заботе и попечении «друг человека»? И вообще — где анализ, где логика? Где она, национальная экономическая модель?

Но Бог с ними, с логикой и с моделью. В конце концов, писатель — не экономист и не политик, он, в конце концов, художник. И заботить его должны прежде всего судьбы словесности. В пятом номере «Нашего современника» за 1997 год Валентин Распутин предварил свой рассказ «Нежданно-негаданно» публицистическим текстом «Мой манифест». Поводом для высказывания послужили на этот раз многочисленные заявления «молодых и не в меру честолюбивых писателей» о смерти старой литературы и рождении на ее обломках литературы новой и как бы прогрессивной. Но скажите пожалуйста: когда, в какие времена и в какой стране не делалось подобных заявлений? Ведь совершенно понятно, что посредственность (которой много) без этого просто не может обойтись и моментально «падает на хвост» любой настоящей, а чаще мнимой творческой новизне, чтобы пошуметь и придать себе несуществующее значение. И так «фонит» любая литература. Но Валентин Распутин, видимо, настолько раздражен, что и этот неизбежный фон подвигает его на гневную отповедь. Получается, что мамонт, трубя, гоняется за лающей моськой, а та, конечно, довольненька: мамонт делает ей бесплатную рекламу, и получается даже, что моська его, такого большого и могучего, увлекает и ведет за собой...

Все-таки раздражение и обида (пусть и за державу) — плохие советчики там, где надо трезво думать и аргументированно что-то предлагать. Крик (отчаянный, гневный, больной — не важно какой) не может обеспечить ту высочайшую ответственность буквально за каждое слово, которой отличались когда-то художественные произведения наших деревенщиков. Сказать по правде, странное возникает ощущение от встречи с их публицистикой: как будто развевается какая-то дорогая иллюзия. И видишь уже, как забавно и нелепо было так обманываться... Очень многим, я думаю, мерещилось, что большой русский писатель способен написать и растолковать все, что только может касаться страны и людей. Так иногда в разговоре с сыном срывается с языка: «Математику за тебя Пушкин будет решать?» Имеется в виду, что классик в силу гениальности почти всемогущ и любое дело сделает лучше любого другого. Но теперь уже не скажешь высоким политикам: «Реформы за вас Распутин будет проводить?» Нет, не будет Распутин. Потому что может — не все.

В публицистике деревенщиков горько удивляет частичная потеря памяти. Вот Василий Белов описывает, как деревенские старухи в очереди за хлебом обсуждают политику: «Другая старуха поумнее, эта шумит за Зюганова». За коммунистов, значит... Позволю себе привести только одну цитату из тотемской районной газеты «Рабочий леса» — только одну из потрясающей подборки, сделанной Николаем Коняевым для книги «Николай Рубцов: вологодская трагедия»:

«4 сентября 1947 года. Из зала суда.

Опалихина Л. Е. из колхоза „Искра“, несмотря на предупреждение райуполминзага от 2 июля 1947 года о добровольной уплате недоимки мяса за 1944 — 46 гг. и первый квартал 1947 г. в количестве 105,8 кг в десятидневный срок, недоимки не погасила. 14 авг. 1947 г. народный суд 1-го участка Тотемского района по иску райуполминзага решил наложить на хозяйство Опалихиной Л. Е. штраф в сумме 1058 руб. и за недоимку мяса взыскать его стоимость деньгами в сумме 2116 руб. Овчинникова Е. В., работая пастухом, занималась дойкой колхозных коров на пастбище. Народный суд 1-го участка Тотемского района 16 августа 1947 года приговорил Овчинникову Е. В. к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. Осужденная арестована».

Кому, как не деревенщику Василию Белову, доподлинно знать о «процветании» колхозного крестьянства при коммунистах, всегда имевших «временные трудности» для должного функционирования своего режима? Тем не менее писатель агитирует нас опять хорошенько наступить все на те же до боли знакомые грабли... При том, что сам он недавно опубликовал роман «Час шестой» — большое историческое полотно, рисующее, как коллективизация и индустриализация с ее ГУЛАГом обескровливали северные деревни, подрубали под корень крепкие и работающие крестьянские семейства. Нет, прежних коммунистов, нынешних демократов, писатель призывает к большому принародному покаянию за все. Однако коммунисты новые, несколько похожие пока на социалистов, но по сути все те же «верные ленинцы» (не имеющие, кстати, никакой внятной экономической программы реформ и предлагающие вместо нее ряд благих пожеланий типа «поддержки отечественного производителя» и «помощи сельскому хозяйству»), не вызывают у Василия Белова никакого опасения. Видимо, образная память писателя, создавшего «Час шестой», оказалась сильнее памяти обычной, каким-то странным способом соткавшей над нашим социалистическим прошлым расписную завесу не бывшего счастья.

Точно та же завеса играет и в глазах Валентина Распутина. Обратимся к одному из самых последних его рассказов — «Новая профессия» (мы от публицистики как-то незаметно перешли к прозе — но при чтении того и другого этот переход действительно не очень заметен). Главный герой рассказа, талантливый молодой ученый Алеша Коренев, выброшенный, естественно, за борт новейшей истории, нашел необычный способ зарабатывать на жизнь: Алешу приглашают на богатые свадьбы, чтобы он там под видом дальнего родственника произносил проникновенные речи о большой любви. Дар красноречия, открывшийся у Алеши, позволяет «новым русским» отведать редкого деликатеса — вдохновения и искренности. Таков по крайней мере замысел писателя. Казалось бы, произведение остро нацелено на дурное сегодня. Но во всей структуре рассказа присутствует, в ней застревает то самое недавнее и замечательное прошлое, ныне изувеченное переменами: «Сегодня это уже не тот город, что был вчера, а завтра будет не тот, что сегодня. В нем так многое меняется, что, если бы удалось подсчитать, выстроить эти перемены в один ряд и окинуть взглядом, от удара долго не пришел бы в себя. Но они рассеяны среди прежнего и среди прежнего принимаются за естественное и неизбежное обновление клеток одного и того же организма, хотя, может быть, это уже другой организм. Может быть, раком страдают не только люди, но и города, государства, только „раковые“ города живут дольше». То есть «прежнее» было нормально, а новое — злокачественно. Да полно, неужели из памяти писателя Распутина стерся облик провинциального советского города, бетонного и пыльно-стеклянного, с неизбежной улицей Ленина и социалистической наглядной агитацией, более всего похожей на водочные этикетки? А пустые, как больничные процедурные, магазины «Мясо — молоко»? А злые заводские дымы и тени этих дымов, ползающие по улицам, точно какие-то сизые паразиты? А тучи голодных ворон, из которых каждая четвертая умела материться? Да неужели у нас была прекрасная эпоха? Нет, я не пытаюсь сказать, что забывать прошлое нехорошо или, допустим, безнравственно. Важнее то, что это не полезно для художественного текста. Вот и у Валентина Распутина выскакивает вдруг метафора насчет раковых метастазов — чисто газетная, упрощенная, совершенно недостойная его пера. По-

чему? Да потому, что образ сдан в аренду нехудожественной идее, все той же неотвязной публицистике.

Но вернемся к роману Василия Белова «Час шестой». Работа большая, значительная; видимо, образная и человеческая память писателя, отказываясь видеть и являть недавнее прошлое (шумите за Зюганова, дорогие товарищи!), пошла на реконструкцию более отдаленного периода российской истории. Подзаголовок романа гласит: «Хроника 1932 года». Две деревни, Ольховица и Шибаниха, переживают крутые перемены. Все население их разделилось на потенциальных начальников и потенциальных арестантов. В начальники идут главным образом люди негодные, неспособные к настоящей крестьянской работе — третьесортные, по деревенским понятиям, мужики. Разве хороший хозяин усидит в колхозной конторе, если надо сеять или косить? А эти, третьесортные, могут — и забирают все больше власти, чей источник очень далеко, аж в самой Москве. Потому и становятся они какие-то непонятные — не только односельчанам, но и себе самим. Как будто уже и не местные, а присланные, чуть ли не москвичи — но и Москве чужие, в общем, люди без места. Белов мастерски сумел передать это отчуждение начальников от своих, от себя, от корней — и неестественная живость, неестественная энергичность представителя власти выглядит как форма помертвения, как стрекотание игрушки, заведенной до упора ключиком, вставленным со спины. Потенциальные арестанты — все остальные. Один из главных героев, крепкий семейный мужик Евграф Миронов, попал из огня в полымя: отсидел в вологодской тюрьме, вернулся к семье, выброшенной из родной избы, ютящейся из милости у добрых людей, — а тут сельский сход возьми да и выбери его председателем колхоза. Крестьянский мир руководствовался крестьянским здравым смыслом: дескать, Евграф мужик основательный, серьезный, с понятием и совестью, вот он и поставит крепко общее хозяйство. Крестьяне думали, что выбирают Евграфа на его законное место. На самом деле Евграф Миронов оказался совершенно на чужом месте, где ему то и дело приходится поступать не по здравому уму, а по правилам игры и делать вид, что правая его рука не знает, что совершает левая. Другой герой романа, матрос Васька Пачин, мечтает стать красным морским офицером и учится уже на офицера в Ленинграде. Но случайная отпускная деревенская драка, попавшая в газету, напоминает начальству, что курсант Пачин на самом деле недобитый кулацкий элемент. Третьего героя, Павла Рогова, сбежавшего к семье из лагерей, травят облавой вместо медведя. Четвертый герой, Данила Пачин, тянет срок в Беломорбалтлаге, мечтая о «льготе» — о досрочном освобождении от «канавы», о возвращении домой...

Роман «Час шестой» густо населен (многие герои обречены); он не имеет резко очерченной сюжетной линии, он собран из множества небольших эпизодов — на то и хроника. Кажется, будто в романе не протолкнуться. И все-таки «Час шестой» оставляет ощущение полупустого объема. И не потому, что кишение людей, в строительном лагерном котловане похожих на «живую глину», готово вот-вот обернуться пустотой (читатель догадывается, что перед ним исчезающая масса, уже затронутая смертью). Дело в другом. В романе для полноты сюжета и конфликта не хватает противоположной силы, хотя формально она присутствует: «Данило Пачин проезжал как раз мимо Френкеля, недвижно стоявшего над „кучей малой“, шевелившейся в котловане. Опираясь на трость, начальник строительства глядел на человеческий муравейник внизу... Он мог стоять так полчаса, сорок минут, а то и час. Стоять не двигаясь, опершись на трость и рассматривая эту жалкую массу неграмотных дикарей, которых необходимо либо привести в цивилизованный европейский вид, либо вообще сократить, точнее: уничтожить. Он глядел на них и думал об их будущем. На Соловках он был таким же, как они; теперь тысячи, миллионы этих жалких существ послушны ему, Нафталию Ароновичу Френкелю. Они сделают то, что он прикажет». Далее Василий Белов приводит в романе список представленных к правительственным наградам руководителей строительства Беломорско-Балтийского канала: там помимо Френкеля имеются товарищи Коган, Берман, Фирин, Раппопорт и так далее. Целый список персонажей, персонажами не ставших...

Чтобы понять, в чем проблема, нужно опять-таки обратиться к публицистике. В самом общем виде дело обстоит следующим образом: против России существует

гигантский заговор врагов. В нем участвуют: международное еврейство; США и другие страны Запада; демократические политики во главе с Борисом Ельциным; демократические средства массовой информации, особенно телевидение; полностью все население города Москвы (см. «Дорога на Валаам», раздел «Слово к Москве»). Поскольку публицистические высказывания авторов эмоциональны и часто противоречивы, я рискую также вступить в противоречие с отдельными фрагментами текстов — хотя тут же найду другие фрагменты, подтверждающие мои, скажем так, попытки резюмировать сказанное. Итак, враждебный заговор. Сразу отметим — и тут, наверное, авторы не смогут не согласиться, — что конкретных и точных данных, подтверждающих умышленные и скоординированные действия указанных сил против русского народа, у авторов нет и не может быть. Потому хотя бы, что для сбора этих данных (допустим, что они существуют) потребовалась бы разведывательная структура не менее мощная, чем пресловутая сеть ЦРУ. Авторы опираются на факты многочисленные и, с их точки зрения, разительные, но все же вторичные и частные (в деревнях не платят зарплату, на Поклонной горе строится синагога и т. п.), которые, допустим, могут быть следствием «враждебного заговора», а могут и не быть. При отсутствии точной информации (а преступный заговор, если отбросить эмоции, есть предмет положительного знания, такие вещи доказываются, а не провозглашаются) авторы пробуют интуитивно идти от многих следствий к одной причине. Не особо вглядываясь в сплетения политических и экономических интересов, совокупно приведших нашу страну к нынешнему плачевному положению (как говорится, козе понятно, что равнодействующая интересов Запада не совпадает с российской, и с чего бы им хотеть нас в качестве сильных конкурентов?), Василий Белов и Валентин Распутин, а также многие их единомышленники верят в наличие заговора и верой этой питаются.

Вера их настолько крепка и истова, что у меня, например, даже возникает опасение: а не греховна ли она для православного человека? Вера во зло, взятое, как ни крути, из собственного ума... Впрочем, такие вопросы не мне решать, не мне выносить суждение. Вернусь к тому, что представляется все-таки более простым. Для чего нужен «заговор» людям, не причастным к художественной литературе и остающимся в поле житейской и политической реальности? Вероятно, для того, чтобы упростить причинно-следственные связи до схемы, которая может служить основой массовой идеологии. А для чего нужна фантастическая подставка величина большим писателям Белову и Распутину? Чтобы спасти Россию? Вряд ли, хотя субъективно это и есть самое горячее желание авторов. Но на самом деле, объективно, «заговор» требуется им для нужд художественного текста. Вот «заговор» как раз и есть та самая условность, которая необходима художнику для творческого освоения обступившей его фантазмагорической, изломанной реальности.

Другое дело, что условность эта художественно не выявлена. Представим себе, что Василий Белов приступил к работе над образом начальника строительства Френкеля не с ожесточенным сердцем, а с интересом к герою, с восхищением от будущего — чуждого! — результата, во всеоружии своего реалистического таланта и письма. Что получилось бы у него? Не схема, не карикатура, а скорее всего фигура противоречивая, драматическая, а может, и трагическая. Много бы осталось при этом от «заговора»? По-моему, ничего бы не осталось. А возьмись он написать рассказ о «демократической даме» — теледикторе, на которую так нападает на страницах «Дороги на Валаам»? Тоже наверняка был бы рассказ с болью за героиню, а вовсе не фельетон. Таким образом, психологический, сострадательный реализм, каким он был двадцать лет назад, каким он и стал во многом благодаря трудам и талантам деревенщиков, не берет сегодня образа Чужого. Либо сам собой, своей внутренней логикой, превращает Чужого — в своего. Либо оставляет его в реалистическом тексте в виде неживой, встроенной схемы, непрописанного пятна. Вот и у Распутина в рассказе «Новая профессия» получается то же самое. «Новые русские», гуляющие на своих безумных свадьбах, выходят у мастера какими-то неинтересными, полыми, довольно грубо раскрашенными по поверхности, да и то за счет наработанного писательского автоматизма. Даже «положительный», лирический образ девушки, с которой у Алеши Коренева почти завязался роман, тоже

оказался отторгнут живой тканью рассказа. А все потому, что девушка, оказывается, работала телохранительницей у кого-то из состоятельных дам. «Можно бы, конечно, ею увлечься... Но подумать только: как любить ушуистку? Женщина ли она?» — сомневается герой, а вместе с ним и автор. Можно было бы здесь не без сарказма напомнить, что аналогичные сомнения не так давно возникали у мужиков насчет «докторш» и «инженерш». Но не в этом суть. Суть в том, что все Чужие остаются для писателя закрытыми. Но и рассказ, с другой-то стороны, не может без них обойтись.

Допустим, что наших писателей-деревенщиков вдруг «отпустило». «Заговор» растворился в живом, проникновенном реалистическом тексте, и Белов с Распутиным стали писать совершенно так же, как писали в пору своего первого расцвета. Возможно такое? Разумеется, нет! «Все, что могла сказать „деревенская” литература, она сказала», — констатировал сам Распутин в интервью журналу «Юность». Тех русских старух, которые были последними носительницами исконной деревенской нравственности, уже физически нет на свете. Их уход — и с ними уход векового патриархального уклада русской деревни — чувствовался уже в семидесятых. «Мы с тобой, однако, уж две последние старинные старухи на свете остались. Боле нету. После нас и старухи другие пойдут — грамотные, толковые, с понятием, че к чему в мире деется. А мы с тобой заблудились. Теперечи другой век идет, не наш», — так перед смертью говорила главная героиня повести «Последний срок» своей подружке, бойкой Миронихе, все еще бегавшей бегом по деревне, но уж, видно, тоже одолевавшей остаток своего пути по земле. Сегодня лучшие, п у т ё в ы е дети этих старух сами состарились в городах, где уже давным-давно стали другими. И дети их другие, и внуки. А кто остался по деревням, не сумев выбиться, выбраться с этой беспросветной каторги, тот изуродован ненормальностью своего существования по сравнению с лучшим, городским; проще говоря — пьет. Таким образом, в реальной жизни не стало основы для главной, самой задушевной темы писателей-деревенщиков. В этом их большая творческая драма. Но ведь сами-то писатели живы! Наверное, не случись перелома российской жизни, потерявшей теперь естественный, соразмерный человеку строй и ритм, самые мощные таланты из этой генерации нашли бы и новую тему, и нового героя. Не могло такого стать, чтобы Валентину Распутину вдруг стало не о чем писать! Но перелом произошел. И говорить теперь приходится не о кризисе темы, но о кризисе метода.

Нет, я не призываю хоронить реализм: думаю, что ни один умный на такие похороны не придет, потому хотя бы, что похоронщики неизбежно положат в гроб не реализм, а всего лишь свое представление о нем. Однако и по-прежнему теперь писать уже нельзя. Помню, писатели старшего поколения всегда призывали молодежь изучать жизнь, писать только про то, что знаешь. И в устойчивых реалистических структурах это была неоспоримая истина! Более того: чтобы писать правдиво, надо было иногда не з н а т ь вместе со своим героем, «че к чему в мире деется». Теперь же — вот парадокс — литератор, оставаясь только в пределах собственного жизненного опыта, не может создать, скажем так, полноценной художественной картины мира. Если писать только про то, что знаешь и пережил, — неизбежно останешься в плену у частных, пусть трогательных, пусть душевных и лично тебе дорогих, но мира и жизни не объясняющих. В нашей новой фантазмагорической реальности слишком много происходит такого, о чем человек узнает из вторых рук — из того же, скажем, телевизора. Причем происходящее затрагивает его непосредственно, от этого никуда не денешься. Информационная лавина, о которой Валентин Распутин говорил все в том же интервью журналу «Юность», в нашем, российском, случае идет на человека с искажениями, с завихрениями, с помехами, перетекает по множеству каналов, через ряд «черных ящиков» и является на выходе уже в виде о б р а з а, то есть переработанного продукта. И если уж замахиваться на настоящий масштаб — приходится писать о том, чего не знаешь. Приходится придумывать, создавать условность, подставлять ее — как подставляют допущение в доказательство теоремы — в художественный текст. Реальность постигается художником не эмпирически, а интуитивно, скачком. И если художник талантлив, условность заработает, придуманное станет правдой.

Однако у деревенщиков «заговор», будучи неосознанной творческой потребностью, все-таки не работает на текст. Проблема в том, что конструкция эта сейчас принадлежит всем и никому. Она — общая, она обобществлена идеологией «патриотов» (кавычки в данном случае не ирония, а всего лишь способ отделить частное значение слова от общелексического). Вот почему такие разные художники, как Белов и Распутин, так фатально сейчас сближаются, многое теряя на этом сближении. Вот почему они теперь больше «деревенщики», чем в семидесятых. Из-за верности якобы реальности (из-за веры в «заговор» как в жизненный факт) и роман Василия Белова «Час шестой» оказывается, повторю, наполовину пуст. Валентин Распутин в рассказах «Вечером» и «Нежданно-негаданно», опубликованных в 1997 году в разных журналах, но объединенных общими героями (начало цикла или целой крупной вещи?), вроде бы нащупывает образ, восполняющий недостачу. Представителем «заговора» в рассказах становится... телевизор. Хотя идеологическая установка на «что такое хорошо, а что такое плохо» у автора сохраняется (в телевизоре «не наши»), но это явно уже не реальный телеик, против которого тот же Василий Белов ополчался еще в 1979 году в статье «Гримасы развального вкуса». Главный герой обоих рассказов, невзрачный, но самостоятельный деревенский мужичок Сеня Поздняков, объявил «телевизиру» войну. Дело в том, что Сеня сделал научное открытие. Оказывается, «телевизир», передавая дикую музыку, плохие новости и киношную стрельбу, губит комнатные растения, для здоровья требующие ласки. Так, «телевизир» извел Сенины лимоны, которые он, Сеня, выращивал пятнадцать лет. А выбросил хозяин «телевизир» — и лимоны снова заплодоносили.

Характерно, что «телевизир» очень мало связан собственно с сюжетами произведений. Что главное в рассказе «Вечер»? Не Сенина антителивизорная война и не вставка про новую мироедку Зуиху, закрепостившую деревенских мужиков при помощи самогона. Этот последний подсюжет, кстати, очень грубо выламывается из рассказа. Про мироедов-самогонщиков Распутин уже говорил в своей публицистике («Бутылка стоит день отработки в сенокос или на уборке картошки»), а в «Вечере» получилась даже не иллюстрация к мысли, а картинка-раскраска, для качества которой не имеет значения, какой палитрой владеет автор: хоть рубенсовской, хоть врубелевской, — картинка не оживет, чтобы стать больше самой себя. Главное в «Вечере» — именно вечер, когда остывающее, но все не гаснущее небо становится больше земли и люди на земле чувствуют отзыв простору, очищаются и примиряются с жизнью. То есть в рассказе звучит чисто распутинский мотив (был он и в «Новой профессии», когда Алеше Кореневу ночной сияющий Байкал явился как образ счастья). Чисто распутинское в рассказе «Нежданно-негаданно» — история девочки Кати, которую городская прожженная бабенка Люся, должно быть попавшая в скверный переплет, явно сбежавшая от каких-то «крутых», подбросила наивному и доброму Сене Позднякову. Катя, в свои шесть лет повидавшая всякие виды (нищенствовала на базаре под «крышей» неизвестного Ахмета, отбиравшего деньги), постепенно оттаивает у Сени в деревне, а Сеня с женой Галей боятся ее расспрашивать, чтобы не делать больно. Так ничего и не узнали: за Катей в деревню явились хозяева, увезли, а Сеня оробел, не смог защитить. «Картинка-раскраска» присутствует и тут: образ Кати, красивой чисто русской, славянской красотой, можно при желании воспринимать как символ России, попираемой инородцами. Но «линии» заданной картинке на этот раз слабы, не очень черны, их скрывает и заплетает проросшее живое. В рассказе происходит соединение детской души с миром вокруг, соединение людей — в семью. Мы, как и Сеня, не знаем, что случилось с Катей в городе (автор не нажимает, не вмешивается); пространство за пределами деревни, таящее чудовищ, так же таинственно, как и то пространство, которое в «Последнем сроке» не пропустило к старухе ее младшую дочь Таньчору. Так же таинственна в доме Сени керосиновая лампа, при свете которой Катя оживает бледненьким личиком, «представляет волшебное». Недосказанность (а «заговор» как «реальность» должен, по идее, требовать всех точек над «i»!) создает в произведении воздух, художественную полноту. Но ведь что характерно: автор весьма подробно описывает — для читателя и для Кати — Сенино хозяйство, но никаких лимонов, спасенных от «телевизира», нет и в помине! Нет и самого «теле-

визира» — а мог бы, например, пылиться где-нибудь на летней кухне... Что это значит? Это значит, что рассказ, независимо от автора, разломился на части. «Заговор» и его полномочный представитель сами собой выпали из текста. Условность, действительно нужная для правдивости художественной картины, оказалась отторгнута реалистическим текстовым организмом.

Вряд ли стоит здесь обсуждать политические и этические аспекты того, что в данной работе именуется «заговором» (так же, как нет никакого смысла полемизировать с запальчивым Василием Беловым об этическом и эстетическом вреде дамского брючного костюма). Лично я уверена, что как только «заговор» из идеологического «образа врага» начнет перерабатываться талантливым писателем в художественный образ, вся политика тут же снимется: ей просто не останется места. Ну, может, прилипнут к тексту остатки какой-то идейной шелухи, и что с того? Читателю будет понятно, что не в ней, в шелухе, значение вещи. Как это могло бы происходить на практике? Сложно сказать. Есть пример хорошего писателя (кажется, тоже «патриота») Сергея Алексеева. В его романе «Пришельцы» Запад начинает необъявленную войну против России, забрасывая в Карелию свои разведывательные подразделения под видом... инопланетян. Хорошо замаскированные «инопланетяне» действуют скрытно, к тому же их «прикрывает» бутафория: ну кто серьезный так вот возьмет и поверит в нашествие зеленых монстров? По закону приключенческого жанра побеждают, конечно, наши спецслужбы. При всей экстравагантности сюжетного хода, он обоснован у Сергея Алексеева и интеллектуально, и философски. Получилась работающая художественная модель, в которую читатель благодарно верит. При том, что автор и не думает выдавать свой «заговор» за «реальность». Кто знает, может, путь бывших деревенщиков как раз лежит к какой-то новой высококачественной приключенческой литературе? К новому романтизму? Вот и Валентин Распутин так говорит о необходимости перемен: «К нашим книгам вновь обратятся сразу же, как только в них явится волевая личность — не супермен, играющий мускулами и не имеющий ни души, ни сердца, не мясной бифштекс, приготовляемый на скорую руку для любителей острой кухни, а человек, умеющий показать, как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в ее защиту».

Пока же надо, наверное, радоваться, что наших деревенщиков не оставляет, несмотря ни на что, светлое и чуткое восприятие мира вокруг. Порукой тому — распрозрачный, пронзительный, философский рассказ Валентина Распутина «Видение». Его надо читать как стихотворение в прозе, надо проникнуться его осенней печалью и вместе с автором смело посмотреть туда, где, может быть, лежит продолжение земного пути. «„Хорошо, хорошо“, — нашептываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали», — пишет Валентин Распутин. Действительно — светится. И видно издалика.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.

*

ПОСЛЕДНЯЯ

Нонна Слепакова. Полоса отчуждения. Смоленск, «Амипресс», 1998, 264 стр.

Это последняя книга Нонны Слепаковой. Она успела составить свое избранное из стихов, написанных за сорок лет непрерывной и редкой по интенсивности работы, и умерла за три дня до выхода книги, в Петербурге, на Петроградской стороне, на которой прожила всю жизнь и последним поэтом которой была.

Книга вышла в Смоленске, где Слепакова никогда не бывала и где нашлись деньги, бумага, типография, а главное — люди, сделавшие ей этот запоздавший подарок.

Я — литературный ученик Нонны Слепаковой и знал ее достаточно близко. В этом главная трудность разговора о ней: как ни хороша ее книга, вместившая действительно лучшие стихи, — за ее пределами осталось бесконечно многое, в

том числе и лежащее в архиве, и раздаренное друзьям, и написанное на случай... Слепакова была поэтом феноменально богатым — как верно сказал о ней ее друг, московский поэт Александр Зорин: «Нонна может сесть к столу и шутя, за десять минут, написать шедевр». Полный классический сонет на заданную тему Слепакова писала за полторы минуты — часто предлагала это шуточное соревнование своим студийцам, и никто не мог за нею угнаться. В ней вообще было очень много жизни, и в этом смысле молодежь тоже не могла угнаться за ней — а молодежью Слепакова была окружена до последних дней. Ей никогда нельзя было дать тех шестидесяти (и каких шестидесяти!), которые она прожила: невзирая на весь ужас и отчаяние ее поздней лирики, даже в ней звучит такая витальная сила, такая заразительная энергия, особенно заметная на фоне тотальной энтропии, поразившей нашу поэзию, что в конечной способности русской души и русского стиха выдержать все наши мерзости перестает сомневаться.

Вскоре после ее смерти я перечел сборник — и обнаружил, что автор его выглядит куда классичней, сдержанней, комильфотней, если угодно, чем живая и реальная Нонна Менделевна Слепакова, которую в кругу учеников было принято называть «Величество» — или, на французский манер, «Са Мажесте». Но ограничимся только книгой, откажемся от соблазна подменить разбор воспоминаниями — и будем ждать, когда за последней прижизненной книгой выйдет первая посмертная, которую будет собирать уже не автор. Туда и войдет все, что осталось за бортом.

«Последний» — вообще одно из ключевых слов в поэтике Слепаковой, и последней она себя ощущала всегда, причем в обоих значениях слова. Автобиографический роман, ныне выходящий в Петербурге (при жизни она опубликовала только первую часть), назывался вначале «Последняя в девятом-первом». Девятый-первый был ее класс, в котором она вечно числилась последней — не по успеваемости, но по дисциплине: она оканчивала школу в 1953 году и в реальность тогдашней школы решительно не вписывалась. Последней была она и в семье, где из-за своеволия и самолюбия вечно оказывалась одна против всех. «Последней петербургской поэмой» назвала она свой «Монумент» — горько-иронический парафраз «Медного всадника», в котором вместо чиновника Евгения — диссидент, а вместо Петра на коне — Ленин на броневике (вещь эта, абсолютно чуждая фельетонности, написана в 1970 году, но напечатана впервые лишь семнадцать лет спустя, в «Часе пик»; в книге главная поэма Слепаковой выходит наконец без купюр и досадных ошибок). И наконец, едва ли не главное стихотворение поздней Слепаковой — «Очередь», которое в книге (единственная печатка) наехало на предыдущий «Салют», не вошло в оглавление и оказалось без первых стрóf, так что есть двойная надобность процитировать его:

Чем медленней хожу, тем более бегу,
Ушедших торопливо нагоняя,
Хоть лезу на рожон и ждать от них могу
За долгую задержку — нагоняя.
Их опыт площадной и лестничный язык
Разрух, очередей и коммуналок
Передо мной опять воочию возник
И не обиден более, но жалок.
За чем они стоят в раю или в аду?
Чем хвастаются после, отоварясь?
С ехидным торжеством, когда я подойду,
Мне скажут: «Вы последняя, товарищ».
«Товариш», не товар, отнюдь не «госпожа» —
Мне «госпожа» звучит не лучше «суки», —
Меж мертвых и живых не жажду рубежа,
Таящегося в пышном этом звуке.
Не то чтобы хочу, о младости стена,
Совково называться по-простому,
Но, видимо, ничем не выбить из меня
Старинной тяги к равенству Христову.
Я просто к ним иду, их выкормыш-птенец,
И после промедлений многолетних
Степенно стану в хвост, гордясь, что наконец
Сумела сделать первыми последних.

Выполнить эту старинную заповедь и была призвана Слепакова (так, во всяком случае, она понимала свой путь). И книга ее показывает, насколько она преуспела. Прежде всего Слепакова — в некотором смысле последний летописец Петроградской стороны, последний питерский поэт, столь высоко ценящий фактуальность, детальность, пристальность — все то, что мы охотнее признаем достоинствами прозы, нежели поэзии. Она не любила, когда ее называли поэтом Некрасовской школы, поскольку назвать ее так — значило бы именно к этой зоркости и пристальности (свойству скорее внешнему, вторичному) свести своеобразие ее поэзии. Но некрасовская выучка тут чувствуется: Слепакова дотошна, подробна, ее стихи так насыщены реалиями «быта моих времен» (как называется ее программный монолог семидесятых), что впечатление плотности, чисто физической упорядоченной тесноты — ножа не всунешь! — возникает, как и при взгляде на знаменитую невскую перспективу. «Так изящно сжат простором, так изысканно-стеснен», — писала молодая Слепакова о Петергофе в бунтарском по тем временам стихотворении, и все понимали, какая стесненность имеется в виду (речь шла о Фонвизине и Екатерине); но именно эта классическая стесненность, верность канону и придает ее поэзии необходимое напряжение, заставляет почти физически ощущать, как современный материал сопротивляется стиху — и все-таки покоряется мастеру. Дома в Петербурге стоят плотно, геометрически-тесно, и именно отсюда проистекает парадоксальное ощущение простора и воздушности, столь знакомое каждому, кто бывал когда-то поражен видом на Неву со стрелки Васильевского острова. Правда, Петербург Слепаковой — вызывающе непарадный, именно что характерный для Петербургской стороны, мокрый, полуразрушенный, нарочито сниженный, данный через быт, — но как этот быт узнаваем, как точно запечатлен:

Между рамами окна
 В синей мисочке котлеты
 Основательно подъеты —
 Замелькала синька дна.
 Керосин в железной фляге
 С жирной пробкой из бумаги
 Гулко-гулко бултыхнул:
 Стало мало, вот и гул.
 В коробке остатки спичек
 Загремели пустотой.
 Полинял практичный ситчик...
 Что творится? Жизнь, постой!
 Жизнь! Ведь не было износу!
 Жизнь! Ведь не было износу!
 ...Мама курит папиросу,
 Нескончаемую сроду,
 И на юбку пепел сеет,
 И чуть слышно отвечает:
 — А у нас вот не скудеет!
 А у нас вот не мельчает! —
 Фляга в целости застыла,
 Керосина не убудет, —
 Все здесь будет так, как было,
 Все здесь было так, как будет.

Но от спички нашей вечной,
 От немеркнущего ситца —
 В край скудеющий, беспечный
 Невозможно отпроситься.

В этом вся Слепакова: от зоркости, пристальности, изобразительной точности — внезапный переход, метафизическая дерзость; и последние — крошечные, еле уловимые — детали быта стали-таки первыми, переведены в иной план. Мир Слепаковой настолько узнаваем, что, кажется, исчезни завтра Петроградская — или по крайней мере ее родная Большая Зеленина, — и по слепаковской книге можно будет ее восстановить: по «Праздничному пути» и «Утреннему пути», по «Семейной небыли» и «Окну на Гатчинской улице». Эта пристальность на протяжении всей слепаковской жизни в литературе ей не изменяла — она точна и пластична в стихах, прозе, драматургии. В остальном ее поэтика существенно менялась.

Слепакова с ранних лет почти демонстративно противопоставлена тому, что стало (не знаю уж, с чьей легкой руки) называться петербургской школой: «культурность», понимаемая как нагромождение греко-римских реалий, отсылок, цитат — главным образом из Боратынского и Мандельштама... длинная строка... так называемый дольник, а чаще — александрийский стих... Эти приторно-сладкие, тяжеловесные, антологические стихи, временами напоминающие путеводитель по историческому центру Петербурга, писались во множестве; на смену антологичности пришло «кушнерианство», неприкрытое эпигонское паразитирование на одном из лучших русских поэтов современности (друге, ровеснике, иногда оппоненте, а во многом единомышленнике Слепаковой). Слепакова любит короткую строку, предпочитает ямбу — хорей, и от петербургской школы в ее лирике, нарочито будничной и немногословной, главным образом четкое следование русскому поэтическому канону. Соблазны авангардизма Слепакова с молодости отменяла, и даже шестидесятнические скромные новации коснулись ее в минимальной степени: пара стихов с ассонансными рифмами, с утренне бодрыми настроениями и романтической простотой, странствия, — но это было легко преодолено. Слепакова первых своих книг, «Первого дня» и «Освобождения снегиря», — вся сдержанность, вся жар под золой. Однако в последних книгах, начиная с «Лампы», она все больше раскрепощается, все чаще обращается к прямому, гневному, страстному монологу — и сила темперамента тут такова, что в потоке речи плаваются, растворяются абсолютно непозитические реалии и понятия. В последние годы Слепакова не чуждается гражданской лирики, к которой, впрочем, и всегда относилась без дешевого «кружкового» снобизма. Поэзия должна делать и эту грязную, черную работу — говорить о современности на ее языке. Конечно, это не политическая лирика и не стихотворная публицистика, которую с таким упоением километрами гонят иные шестидесятники и их последователи; это именно гражданская лирика в высшем смысле слова, потому что бежать от своего времени Слепакова не могла и не хотела. Вдруг оказалось слишком много «последних», вытесненных из жизни, не находящихся в ней места; и это был, что называется, ее контингент.

Ей было не привыкать к этой нише. Последняя в девятом-первом, обойденная славой в начале пути, известная узкому кругу ценителей в семидесятые, оказавшаяся ни с кем (то есть против всех) в восьмидесятые, вместе с большинством поэтов ставшая маргиналом в девяностые, она, ежели можно так выразиться, уже умела все это, поскольку всю жизнь хлебала большой ложкой. Тут и вечные бытовые унижения, с такой испепеляющей, лавинно-нарастающей ненавистью перечисленные в стихотворении «Памяти Тани»; и явное несоответствие таланта и славы; и годы замалчивания; и панибратское хамство литначальства; и выживание поденщиной — что до перестройки, что после; и все это — помноженное на ее уникальный женский, человеческий и поэтический темперамент, то есть переживаемое стократ острее. Поэтому в девяностые годы Слепакова закономерно стала голосом всех отверженных. И тут-то к ней пришла поздняя слава: ее последних книг было не достать, журналы охотно брали подборки. Жить на поэзию было нельзя, но жить поэзией — можно; и Слепакова с болью и ненавистью говорила за всех и обо всех. Некоторые ее поздние стихи шокирующе-страшны, в них она договаривается до той правды, которую и наедине с собой обычно не проговариваешь (вспомним хотя бы «У одра», «Бред», «Стихи о трех повешенных»). Это по-прежнему в высшем смысле «культурные», стройные и строгие стихи, чуждые лобового, публицистического пафоса, но в них слышится такое омерзение, такая боль и тоска, что главным свидетельством нашего времени вполне может остаться именно эта книга:

В ночь, когда Отчизна пышет
Смесью гноя и ликера, —
На войну! Война все спешет:
Ни урока, ни укора,
Только рок! Под звуки вальса
Не пойдут юнцы к убою!
Рок победы, раздавайся —
Над врагом ли, над собою...
Росс незрелый, неуклюжий
И не храбрый — веселися,

«Сникерс» хавая над лужей,
 Где мозги в мазут влилися.

 Пейте, матери, пииты,
 Желторотые солдаты, —
 Так и этак без защиты,
 Так и этак виноваты.

Что у другого было бы невыносимой газетчиной, или пошлостью, или диссонансом — в стихах Слепаковой органично, ибо все сплавляет воедино жар ее неутолимого желания высказаться, выговориться до конца, назвать и заклясть, утешить и оправдать. Это яростная поэзия. Последними были все — чеченцы, русские, пииты, солдаты, старики, дети: все унижены. Лирическая героиня Слепаковой — и в этом особенность, уникальность ее места в русской женской поэзии — вообще постоянно унижена и не боится об этом говорить. Ее знаменитое стихотворение «Последние минуты» — своего рода манифест этой униженности, «последности», вытесненности из высшего круга: героиня, прощающаяся с любимым у подъезда, мучительно стыдится своей улицы, описанной — редкость у Слепаковой! — тем шестистопным ямбом, который только подчеркивает, по контрасту, все прелести окраины:

Тянулись ко мне изнывшие в разлуке
 Суставы сточных труб, брандмауэры, люки.

 Мы вышли из такси, и тотчас, у ворот,
 Весенний льдистый вихрь освобожденной пыли
 Ударил нам в лицо, пролез и в нос, и в рот...
 Окурки трепетно нам ноги облепили,
 И запах корюшки нас мигом пропитал,
 Чтобы никто уже надежды не питал.

И это-то болезненное внимание к унижению, гордость, мгновенно готовая обернуться доверием, мучительное, надрывное сострадание (и готовность к тому, что оно будет отвергнуто и попрано, чтобы мы не забывали, где живем!) — все это делает поэзию Слепаковой истинно христианской. Слепакова всегда страдает одиночке, меньшинству, последнему. А то, что она была последним, кто в нашей поэзии это умел, — увы, подтверждается слишком многими примерами в современной словесности. Здесь нет места и времени рассказывать об исторических стихах и поэмах Слепаковой; негде процитировать ее «Сказ о Саблукове» — еще один простой, но эпически-мощный манифест неучастия, самостояния, отдельности. Скажу лишь, что Слепакова всем своим творчеством доказывает: потрясение возможно там, где есть острый глаз, сильная эмоция и христианское (пусть внецерковное, пусть подчас антицерковное) стремление сделать последних — первыми. Дать голос безгласным, дать надежду отчаявшимся, дать оправдание бессильным постоять за себя (именно такое понимание поэзии Слепакова прокламирует в превосходной «Легенде о льве святого Иеронима»). И книга Нонны Слепаковой, и вся ее жизнь — не только самое убедительное свидетельство о нашем времени, на взгляд автора этих строк, но и существенное оправдание его в глазах будущего.

Город, где хнычет гармошка,
 Город, где рычет резня,
 Темечком чувствовать можно,
 Но оглянуться нельзя.
 Там огнедышащи купы
 Вспухших церквей и домов,
 Там освежаваны трупы
 Нерасторопных умов.

 Боже! Дозволь уроженке
 С Пулковских глянуть высот
 Хоть на бетонные стенки
 С черными зенками сот.
 Как убежишь без оглядки,
 Без оборота назад —
 В том же ли стройном порядке
 Мой покидаемый ад?

Так же ли кругло на грядке
 Головы ближних лежат?
 Так же ли в школьной тетрадке
 Хвостик у буквы поджат?
 Слушаться я не умею
 И каменею на том —
 Ломит кристаллами шею,
 Сводит чело с животом,
 Дальнего запаха гари
 Больше не чует мой нос,
 Губы, что вопль исторгали,
 Оцепенели на «Гос...»

Не в назидание бабам
 Солью становится плоть:
 В непослушании слабом
 Пользу усмотрит Господь, —
 Чтоб на холме я блистала,
 Дивно бела и тверда,
 Солью земли этой стала
 И не ушла никуда.

Дмитрий БЫКОВ.

*

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ЗАМКА

Луи-Фердинанд Селин. Из замка в замок. Перевод с французского, комментарии, примечания Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича. СПб., «Евразия», 1998, 435 стр.

Преодоление литературы — вещь столь же старая, как и сама литература. Интереснее всего в этом вопросе, однако, — тот факт, что «преодоление» если начинается, то на фоне литературного пышноцветия. Луи-Фердинанд Селин — пример именно такого расклада. Первые свои романы — «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» — он написал в то время, когда Джойсов «Улисс», самое литературное произведение века, еще задавал тон на писательской сцене.

Парадокс, но и антилитературные романы Селина — романы, отрицающие «линейное письмо», классический сюжет и умеренность любого толка, — в конечном итоге тоже пыталась съесть литература: его взгляд на мир разбазарили последователи и единственное, что у Селина не смогли отнять, — это голос. Но что, как не голос, остается от человека?

Видимо, учитывая национальную особенность превращать в литературу все, что угодно, Селин поступил гораздо радикальнее и умнее Рембо — собственной биографией он отверг любые попытки внести его имя в официальную литературу: «Если бы мне дали Нобеля, мне было бы чем заплатить за электричество», — вот все, что он заметил по ее поводу.

Луи-Фердинанд Детуш родился в 1894 году в буржуазной семье. В романе «Смерть в кредит», посвященном своему отрочеству, он специально сгущал «свинцовые мерзости» биографии: действительность уже тогда не слишком привлекала его своей «комнатной температурой».

Призванный на Первую мировую войну, Селин получает тяжелое ранение в сражении под Поэлькапелль и весь остаток жизни страдает сильнейшими приступами мигрени. Выбыв из армии (1916), он отправляется по контракту в Африку, где некогда болтался и Рембо. Спустя шестнадцать лет Селин, уже ставший врачом, дебютирует как писатель: «Путешествие на край ночи» с подробностями ужасов Первой мировой приносит ему подозрительно шумную славу, и только литературные дрязги Гонкуровской комиссии по премиям лишают его награды. Ее получает некий Ги Мазелин за роман «Волки»; тоже вариант судьбы.

После путешествия в Россию его симпатии к стране, где переведенное Эльзой Триоле «Путешествие...» называли «гигантской фреской умирающего капитализ-

ма», исчезают, но в СССР он по-прежнему в почете, и только Горький замечает, что главный герой Селина если куда и попадет, то скорее к фашистам, нежели в руки строителей светлого будущего. После публикации антисоветского эссе «*Mea culpa*» роман Селина с коммунистами заканчивается.

Что касается слов Горького, то великий пролетарский писатель не ухватил главную черту в творчестве французского коллеги — тот факт, что Селин заставлял идею работать на себя, а не наоборот, как это делали соцреалисты всех мастей.

Когда французы позорно сдали Париж, Селин остался в городе и примкнул к коллаборационистам. Вряд ли здесь имели место нацистские убеждения, просто он показал французам: если по уши попадаешь в дерьмо, глупо делать вид, что дерьмо тебя не касается, — в дерьме надо сидеть. Иными словами, чем хуже, тем лучше. «Продать Дом Инвалидов на вес, дать орден Почетного легиона маршалу Абецу, уступить площадь Звезды под гараж, за двадцать марок отдать могилу Неизвестного солдата, а линию Мажино за один поцелуй», — сказал Селин в крошечном эссе «Безделушки для погрома», которое Франция ему так никогда и не простила.

Что касается романа «Из замка в замок», он был написан после войны, опубликован в 1957 году, считается первой частью трилогии, куда позже войдут романы «Ригодон» и «Север», и представляет собой повествование от первого лица о событиях, которые пережил Селин уже после другого бегства — бегства фашистов и оккупационного правительства.

В 1944-м правительство Петэна — и с ним Селин в качестве врача, — покинув Париж, оказались в немецком замке Зигмаринген, ситуация в котором напоминала, пожалуй, наш Крым 1919 — 1920 годов: неразбериха, войска всех мастей и обремененный пафос временных правительств. Единственное, что было известно наверняка, — обратной дороги нет. Селин (как и 1142 участника «исхода») прекрасно знал, что французы-победители будут мстить всем, кто остался с оккупантами, не только за коллаборационизм, но и за свою прежнюю трусость. Такая месть, как известно, бывает жестока вдвойне. Позже Селин, его жена и их кот Бебер перебираются в Данию, где у Селина были небольшие сбережения. Известное сравнение Дании с тюрьмой срабатывает буквально: Селину светит 75-я статья за содействие оккупантам, и он попадает в другой замок — с решетками на окнах. Примерно в это же время, кстати сказать, другой великий «коллабос» — Эзра Паунд — также видит небо сквозь металлические прутья.

В названии романа Селина использовано слово «Chateau», в чем легко можно усмотреть пародийный смысл, если учесть, что «шато», замок в окружении виноградников, всегда считался символом французского благосостояния. Что касается сюжета, его пересказ, собственно, нами уже закончен — остается добавить, что после Дании Селин был амнистирован и небогато прожил остаток дней в Медоне. Теперь о прозе Селина не с точки зрения сюжета, а с точки зрения подачи материала, то есть о том, что, собственно, и делает Селина «реформатором французского языка» и классиком литературы.

«Да, еще бы!.. после восьми месяцев в том сучьем кутке... я весь покрылся язвами... но я вам об этом уже говорил, я повторяюсь... тсс!.. я вам, наверное, надоел!.. э, теперь мне на это насрать, меня теперь волнуют другие проблемы! не менее значительные!» «И все-таки! все-таки!.. запомните!.. все, что я пишу!.. это вам не какие-нибудь рассказы!.. тут у вас сомнений быть не должно! как? да что? нет! как у меня написано!.. так все и было!»

Две эти цитаты интересны своими родовыми чертами, так как все «новаторское» письмо Селина строится именно на контрапункте сбивчивых монологов (тут русский читатель, скорее всего, вспомнит не столько «Записки из Мертвого дома», сколько «Записки из подполья» Достоевского) — и точных, по цифрам, датам и именам, исторических свидетельств глазами «проигравшего». Можно сказать, что «горячка» была лишь одной из форм его почти судебных показаний: подача «большого» материала выверялась с точностью до точки и восклицательного знака, что говорит в первую очередь о полной авторской вменяемости.

Но никаких иллюзий — национальных или религиозных — Селин уже не питает. Национальная идея — после того, как во Франции «просрали» все, что мож-

но, — пошла для Селина прахом; что касается религиозных мотивов, то единственный абсолют, который Селин готов признать, — это судороги смерти и распад материи. Как практикующий врач он точно знал: здесь слукавить невозможно.

Письмо Селина и есть в какой-то степени попытка перевести в язык этот распад, опыт которого писатель вынес на собственной шкуре. Его роман — это мир глазами побежденного: взгляд с той стороны края ночи, когда зрачок приобретает особую чувствительность к свету. Поэтому сочинения Сартра или Миллера рядом с антилитературным письмом Селина — это опыты в альбом продвинутом по части «умной литературы» барышням, и тошнота если и возникает, так только от приторности изложения. Письмо Селина — а не сартровское «глубокомыслие» — демонстрирует витальную «тошноту» на первоисточнике — на языке. Пеллагра, которая разъедала Селина в датской тюрьме, будет лучшей метафорой его повествования.

Проза Селина в романе «Из замка в замок» — в отличие от ранних романов 30-х годов с относительно линейной структурой — полностью построена на имитации речи. Сюжетная линия безнадежно сплетается в клубок, и только по хвостам, которые из него торчат, можно различить авторский замысел. Два варианта прочтения этого романа: без учета исторической подоплеки (и тогда слова Селина выходят из своего времени и завораживают своим вечным чревоуещанием) — и с помощью энциклопедических справок о тогдашней политической ситуации, которые, впрочем, не снижают пафоса воспаленного письма. Сам Селин не утруждает себя пояснениями, кто такой Ахилл, почему члены правительства «коллалос» жили на разных этажах замка и почему Сартра он без конца называет «Тартром». Свою речь Селин строит с условием, что слушатель не станет перебивать, как не перебивают актера во время драматического монолога.

На первые сто страниц Селин вываливает почти всю информацию, которая ждет читателя в романе: раздает тумачи трусливым и алчным французским литераторам, вскользь описывает замок, датскую тюрьму, пеллагру и разорение своей квартиры на Монмартре. Как в увертюре, он набрасывает основные линии и сюжетные повороты сперва в свернутом виде — и только потом следует их раскрытие. Лишь после первого — и весьма продолжительного — приступа «горячки» он начинает подробный разговор. Роман делится на разной величины главки, каждая из которых построена примерно по одному психологическому принципу: от случайной детали Селин переходит к воспоминанию, потом к «хаотичным» «матюгам» в адрес персонажей и положений (интересным прежде всего своей лингвистической «температурой»), потом парабола идет на спад, и все заканчивается не так уж плохо для «порнографа, предателя, пьяницы и извращенца»: финал — это, как правило, ностальгическая нота светлого тона, будь то речной трамвай из детства или пейзажи Дуная.

Здесь есть своя система: «Что за бессвязный бред я несу! я начал перечитывать написанное... тут сам черт ногу сломит! то об одном!.. то о другом!.. бац! и нить повествования окончательно ускользает!.. я понимаю, что это моя вина!.. и все-таки, если я говорю слабым голосом и постоянно перескакиваю с одного на другое, то этим я просто напоминаю большинство гидов, вот и все! когда вы наконец вникнете в суть того, что я говорю, ваши претензии отпадут сами собой!.. поэтому я повторяю!.. следуйте за мной!.. я болен, кровать подо мной трясется, тем лучше!.. лучше для вас!.. обзорная экскурсия в глубь воспоминаний!.. пусть же приступ меня как следует встряхнет! Вытрясет из меня все детали!.. и даты!.. я хочу, чтобы вы знали все...»

Гид — изобретение буржуазное. Приглашая в путешествие по замку, Селин предлагает свой вариант путеводителя, ибо после всего, что случилось, замки (принадлежавшие когда-то «коронованным гангстерам»), по его мнению, следует если и не разрушить, то по крайней мере перестроить, а путеводители — соответственно — переписать. Что Селин и делает: его постафкианский замок — это скопище упырей и беженцев. И если все-таки возможна литература «после Освенцима», то «Из замка в замок» — ее один из первых образцов: с приставкой «анти».

...В романе Селина герой настолько очевиден, что в какой-то момент, замороженный его монологами и пунктуацией, читатель перестает воспринимать его как

героя в привычном смысле этого слова. В этот момент — пародийной альтернативой — Селин представляет нам второго главного героя: кота Бебера.

Перед бегством из Парижа Селин подобрал на Монмартре кота. В саквояже с дырочками этот кот путешествовал с Селином и его женой всюду: от Германии до Дании и обратно — во Францию. Нацисты оставляли право на жизнь только породистым котам, помоечному Беберу грозила казнь, и лишь стараниями Селина его «любимый еврей» остался жить. Так вот этот кот и есть в некотором роде единственный положительный герой, этический индикатор письма, поскольку животным — и кошкам в особенности — Селин доверял больше, чем людям. Всякий раз, когда в целях «литературности» он прибегает к элементарному вымыслу, кот Бебер исчезает из его — и читательского — поля зрения: эгоистичное и ворчливое alter ego писателя, кот Бебер сам знает, когда, где и зачем ему появляться.

И последнее. Жак Бреннер в «Моей истории современной французской литературы» вспоминал свою встречу с Селином в «Галлимаре». Только что вышел роман «Из замка в замок». Селин сидел у редактора, «держался очень скромно и казался усталым». Бреннер попросил написать книгу. С трагически-высокопарным видом Селин что-то начертил на первой странице. Когда Бреннер раскрыл книгу, там были написаны самые банальные слова посвящения. И только подпись сохраняла авторскую ухмылку: «Л. Фердин». Так, напоследок, Селин еще раз произдевал над литературой.

Глеб ШУЛЬПЯКОВ.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ. У войны не женское лицо. Последние свидетели. М., «Остожье», 1998, 464 стр.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ. Цинковые мальчики. Зачарованные смертью. Чернобыльская молитва. М., «Остожье», 1998, 608 стр.

Мир не только активно сопротивляется человеку, но и не умещается ни в какие теоретические схемы. Именно эту скептическую, «постмодернистскую» ситуацию в культуре и отражают книги С. Алексиевич. Поэтому «отсутствие» автора так же естественно для ее работ, как и ориентация на «конструкцию», коллаж вместо традиционной установки на «произведение».

В сущности, то, что делает Алексиевич, можно назвать «роман-газетой», где журналистский коллектив и главный редактор соединены в одном лице. Роднит с журналистикой и злободневность затрагиваемых проблем, и постоянный «подогрев» фактов, и прием контраста, бьющий по нервам без промаха.

Но при всей внешней открытости для массового читателя, все же по большому счету Алексиевич — писатель для писателей, философов, ученых. Ее тексты дают богатейший материал для изучения современного массового сознания.

С самого начала своей литературной работы Алексиевич уходила от застывших идеологических схем — к реальности. Реальностью же у нее, как и у каждой женщины, оказывается быт. Сначала это быт Великой Отечественной, потом Афганистана, Чернобыля. С полным правом Алексиевич можно назвать бытописателем трагедии. Но если в ранних работах быт был мостиком к бытию, к пониманию героического, устанавливающим связь между высокой идеей и живым человеком, то в случае с Афганистаном быт стал самодовлеющим и, по мнению некоторых участников этой войны, не вместил всей правды о ней. Это, в сущности, и вызвало тот судебный процесс, материалы которого также вошли в книгу. Именно там прозвучал вопрос, который часто сопровождает знакомство с произведениями Алексиевич: нужна ли нам такая страшная правда?

Мудрее всех в этом конфликте оказался бывший афганец Павел Шетько: «Здесь одни пострадавшие стороны: любовь, которая не приемлет горькую правду о войне; правда, которая должна быть высказана, несмотря ни на какую любовь; честь, не приемлющая ни любви, ни правды». В центр общественного внимания попал узел проблем, который ни развязать, ни разрубить. У самого

Шетько только один, но очень существенный упрек: как ему показалось, «в книге практически нет любви к юности, брошенной на заклятие».

Именно через быт Алексиевич обнажает варварство любой войны. И шире — жестокость мужского мира. У жизни не женское лицо — для наивного советского сознания это было открытием. Хотя именно об этом твердят и мифы, саги, предания, и факты давней и новой истории. Ничего нового о природе человека книги Алексиевич не добавляют. Достаточно познакомиться с Ветхим Заветом, чтобы убедиться: человек — величина неизменная и меняться не склонен, во всяком случае так быстро, как ему самому бы хотелось. И более того: мир сопротивляется, мстит человеку — сила противодействия равна силе воздействия.

Чернобыль — именно такая месть, расплата за избыточную рациональность и волюнтаризм, которые идут всегда рука об руку. «Чернобыльская молитва» — лучшее произведение Алексиевич. Здесь она подошла к порогу медленно нарастающей в ее «роман-газетах» жестокости мира. Может, поэтому, а может, потому, что изменилось время, читателей у последней книги оказалось меньше, чем у первой, сделанной гораздо менее профессионально и искусно. Многие откладывают «Чернобыльскую молитву» — хочется читать о любви. Улавливая читательские настроения, писатель работает именно над этой темой. Ведь только любовь в состоянии преодолеть ужасы нашего мира, внести пусть краткую, но обнадеживающую и спасающую гармонию.

Подозреваю, что основной читатель Алексиевич сегодня на Западе; только благополучные люди могут безболезненно выдерживать тот психологический груз, который взваливает на них автор. И, видимо, в этом выходе к мировому читателю книги Алексиевич получают некий добавочный смысл: из них узнается, что люди, способные выдерживать такой быт, неодолимы. Алексиевич демонстрирует первозданную мощь народа, и военным стоит подумать о премии для писателя, с которым они по недомыслию пытались судиться.

Можно спорить о том, что представляют собой книги Алексиевич — журналистику? литературу? — но бесспорна

их содержательность, новизна, смелость, их насушность для нашего времени. Не случайно почти все пишущие о ее работах невольно вовлекаются в круг затрагиваемых проблем, становятся соавторами и героями. К той литературе, когда писатель пописывает, а читатель почитывает, книги ее не имеют отношения.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 432 стр.

«Нас мало. Нас, может быть...» — сегодня эта формула вполне применима к литературной критике. Ибо поэтов в наше время много, поболее, чем запоминающихся стихотворений, да и количество «хорошо пишущих» прозаиков в 90-е годы изрядно превышает число хорошо читаемых романов и повестей. А вот тех, кого можно назвать критиками в строго-буквальном смысле слова, — раз-два и обчелся. Ведь мы не числим в этом ряду ординарных журналистов, не имеющих собственной литературной стратегии, не умеющих открывать новые имена, а лишь обслуживающих готовый писательский успех. Перестали быть критиками и некоторые наши высокомерные коллеги, заявляющие, что современной литературы они не читают, и публикующие время от времени тавтологические статьи о Пастернаке, Булгакове или еще какой-нибудь давно открытой Америке. Иные из них даже публично отрекаются от собственной «почвы и судьбы», от первой профессии, заявляя, подобно И. Золотусскому: «Там мне было тесно. Не те масштабы». Не знаю, где приют своей гордыне нашел этот ветеран нашего цеха: ни в академики, ни в политики, ни в банкиры он вроде не вышел, с чего бы это ему бросаться высоким званием русского критика?

Но у нас сейчас речь идет о совсем другом случае, когда ученый академического склада после диссертации о В. А. Соллогубе, монографии о Жуковском, изрядного числа предисловий и комментариев к классике первой половины XIX века вдруг нашел себя — и

весьма счастливо — в критике текущей словесности. И тесно ему не стало, и масштаб мышления он отнюдь не утратил. Название сборника статей Андрея Немзера испытующие двусмысленно: малоначитанные завсегдагаи тусовок и презентаций видят тут в первую очередь намек на газету «Сегодня», где публиковалась значительная часть составивших книгу материалов; филологическое же ухо прежде всего слышит здесь переключку с Тыняновым, отнюдь не случайно занявшимся в первой половине 20-х годов злостной критикой и посвятившим тогдашнюю прозу статью «Литературное сегодня». Тынянову пестрое и неравноценное «сегодня» было необходимо для того, чтобы глубже и точнее понять литературу XIX века, прочувствовать единое кровобращение словесности двух столетий. Думается, и теперь такой исследовательский универсализм плодотворен: пушкинисту и блоковеду не вредно почитать Т. Кибирова, а гоголеводу — Ю. Буйду или А. Хургина.

Дело еще и в том, что систематическим обозревателем нынешней текущей прозы мог стать только академический филолог. Сергей Чупринин лет пять назад (на страницах той же газеты «Сегодня») констатировал: наши толстые журналы приобретают «академический» характер и статус. А из этого следует, что «простому» критику, не обогатившему свою память достаточным знанием культурных богатств, с современной академической словесностью явно не совладать. Положа руку на сердце, такие произведения, как «Последний роман» М. Берга, «Знак зверя» О. Ермакова, «Монограмма» А. Иванченко, «Клеарх и Гераклея» Ю. Латыниной, «Венецианец» Лейбгора, и многие другие «объекты», освещенные Немзером, по самой своей строчечной сути нуждаются не столько в чтении, сколько в изучении. Точнее сказать, изучение — единственный возможный способ их прочтения. Это не какие-нибудь там примитивные Пруст, Фолкнер или Набоков, сюжеты и характеры которых могут быть в целом восприняты и без помощи дипломированных специалистов.

Положив немало сил и времени на распутывание сюжетно-семантических узлов, дешифровку туманных символов и выявление «интертекстов» модной

прозы, Немзер не заразился от нее эстетским снобизмом. Для него «литературное сегодня» немислимо без донные действующих шестидесятников (В. Аксенов, Ю. Алешковский, А. Битов), без критических реалистов с их социально-политической сюжетикой и проблематикой (А. Азольский, В. Астафьев, Ю. Давыдов, С. Залыгин, Л. Зорин, А. Рыбаков). Разбор может быть весьма строгим (как в случае с «Тавром Кассандры» Ч. Айтматова), но при этом малейшие подозрения в поколенческой или групповой дискриминации здесь заведомо исключены. Эстетическую позицию Немзера можно определить как просвещенный традиционализм, равно отдаленный от жаргонного кривляния критических «постмодернистов» (без кавычек не обойтись) и догматизма «традиционалистов» дубоватого склада, просто не осиливших авангардно-модернистской эстетики нашего века.

Непредвзятость позиции Немзера, его готовность понять и осмыслить все, что дышит современностью, вовсе не означает всеядности и пресловутой «объективности», просто немислимой в таком субъективно-личностном деле, как критика. Потому его книга не справочник и не путеводитель, а скорее живая картина сегодняшней прозы, где значимо и присутствие одних персонажей, и отсутствие других: В. Володину и А. Славовскому, в частности, посвящено по три этюда, в то же время за кадром остались, к примеру, Д. Бакин, Ф. Искандер, Л. Петрушевская, В. Токарева, Л. Улицкая, о каждом из которых, я уверен, критику есть что сказать. «Азбучный порядок» размещения статей (по алфавиту фамилий писателей) невольно провоцирует на поиски лакун и умолчаний, и автор в предисловии обстоятельно упреждает упреки, ссылаясь в конце концов на известную формулу Козьмы Пруткова. Впрочем, этого любимого и Немзером и мною классика мы, оказывается, понимаем по-разному: по-моему, глубокий подтекст сакраментального афоризма состоит в том, что «объять необъятное» очень даже можно, и ПСС Пруткова как целое обнимает всю вселенную. Литературную же вселенную, не рецензируя персонально каждого Пупкина, можно объять при помощи теоретических и историко-литературных обобщений.

Употребив это слово, я бестактнейшим образом наступаю рецензируемому автору на любимую мозоль, поскольку знаю: он принципиально против забегания «вперед истории», против построения гиперболических гипотез и проектирования будущего. Не умея без подобных грешных дел обойтись, не могу не заметить эту разность в наших позициях.

Исследовательская позиция критика обуславливается не абстрактной «методологией», а складом характера и образом письма. Оставляя обобщения науке, Немзер в критической практике избирает в основном не анализ, а «путь синтетический», пользуясь выражением из предисловия Иннокентия Анненского к его «Книге отражений». Такая эмоциональная живопись, техника «отражения» особенно ощутима в статьях о наиболее близких ему писателях, тех, кого он на прошлогодней международной конференции в Иерусалиме назвал «сорокалетними 90-х годов». Помимо уже названных Буйды, Володина и Слаповского сюда входят А. Дмитриев и, пожалуй, еще П. Алешковский, В. Кравченко, М. Вишневецкая, М. Палей. Писатели все культурные, сориентированные на вечные ценности, склонные сочетать психологизм с не слишком иррациональным гротеском. Единственный, на мой вкус, их общий изъян — некоторое

эмоциональное малокровие. И в этом смысле Немзер — донор, готовый поделиться своей энергией с теми, в кого он верит, чьи темы он может подхватить и продолжить своим голосом.

Порой такая установка на суггестивный эффект вступает в противоречие с материалом, когда довольно картонные страсти М. Вишневецкой ставятся в сверхпрестижный контекст: «Тьма догадок, предчувствий, страхов, недоумений и чужих фраз останется с тобой. Как Блок. Как у Блока». Или когда фрагментарному сочинению М. Безродного по дружбе переадресуется пушкинский комплимент: «половина войдет в половицы». Цитатная шутка? Но какова реальная доля правды в ней? Хорошо бы узнать, каким конкретно (пусть одним) собственным и оригинальным сочетанием слов заслужил «приятель молодой» отзыв, столь смахивающий на поздравительный адрес.

Впрочем, перефразируя финал одной из вошедших в книгу статей, подытожим: Немзер «уверен в своей любви» к словесности в целом и к некоторым писателям в особенности. Один-двое из его заветной обоймы выйдут в классики непременно. Или представим даже, что не выйдут, что из «сорокалетних 90-х годов» в литературе останется прежде всего критик Немзер. Тоже вариант по своему удачный.

Вл. НОВИКОВ.

В статье старшего научного сотрудника Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» В. Елисеевой «О „вкусе к подлинности” и „реставрации” Михайловского» («Новый мир», 1998, № 10) отделом публицистики были сделаны необходимые, на наш взгляд, сокращения. К сожалению, они не были согласованы с автором статьи. Приносим свои извинения В. Елисеевой.

Отдел публицистики.

АНКЕТА

«ВЫРАЖАЕТСЯ СИЛЬНО РОССИЙСКИЙ НАРОД!»

Тема этой анкеты выросла прямо из редакционных будней. Уважаемые авторы — и поэты, и прозаики — борются за возможность использовать в творчестве любую — без каких-либо ограничений — лексику как свое невесть кем попираемое конституционное право, а не менее уважаемые читатели предъявляют нам по этому поводу вполне обоснованные претензии («почему мы должны за свои деньги...»). Вот мы и решили обратиться к некоторым литераторам и одному примкнувшему к ним режиссеру со следующими наиболее важными вопросами:

1. Как лично вы относитесь к употреблению в искусстве так называемой ненормативной лексики?

2. Актуально ли сегодня, с вашей точки зрения, деление лексики на цензурную (нормативную, литературную) и нецензурную (ненормативную, обсценную)? Если, как считают некоторые, такое деление себя изжило, то является ли это прогрессивным движением от принуждения к свободе или процессом разложения, действительного кризиса в обществе и культуре?

3. Не считаете ли вы, что в перспективе все лексические слои современной речи переплавятся в единое (не табуированное) целое, так что новые поколения уже не будут обращать внимания на то, что когда-то шокировало, раздражало или огорчало их отцов и дедов?

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

1. Употребление так называемой ненормативной лексики, по моему мнению, полностью оправдывается, когда в этом есть художественная необходимость. Скажем, у Венедикта Ерофеева именно использование ненормативной лексики и создает уникальный художественный стиль. Его гениальный роман просто не существовал бы, если бы автор поставил своей задачей написать его «стерильным» языком.

Что же касается моей собственной работы, я не обладаю достаточной мерой артистизма, чтобы заставить работать на себя эту пограничную, опасную, исключительно богатую область языка. Но я хочу оставить за собой право распоряжаться собственной речью. На первой странице моей последней книги «Веселые похороны» присутствует слово, которое на бумаге выглядит как «pиздец». Его нарисовал на майке герой — смертельно больной художник, и сделал это с улыбкой... Матерная брань звучит по-разному: то омерзительно и грязно, то — остро, талантливо, смешно. И мы всегда чувствуем эти нюансы.

Гораздо более, чем ненормативная лексика, мне омерзительна роль цензора. Именно цензора мне более всего хочется послать не просто на три буквы, а сделать это виртуозно, элегантно, изысканно. Но нет у меня нужного дарования...

2. Деление лексики на цензурную и нецензурную, нормативную и ненормативную не только не актуально, но и очень условно. В конце концов, на светском рауте даже слово «сопли» неуместно, а между тем это прекрасное слово, не имеющее синонимов. Острая насмешка над ханжеской попыткой обойти его имеется в литературе — не угодно ли? — вместо «вытереть сопلي» — «обойтись посредством платка»...

3. Лексические слои современной речи даже и не собираются переплавляться в единое целое. Испокон веку живой язык делился на региональные, социальные, профессиональные, возрастные и другие разновидности, своего рода «фени». Между ними происходят всякие интересные взаимодействия, но мне кажется, что никакого «усредненного» языка быть не может. Взгляните на сегодняшние газетные тексты — это же совершеннейшая «фения». И, скажем, молодежный жаргон, даже

самый острый, мне представляется гораздо более интересным с точки зрения языка. Там слышится иногда живое, новое слово.

Язык живет, дышит, выбрасывает на берег, как морская волна, то мусор, то драгоценную жемчужину, то дохлую рыбу. И пусть живет.

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

Видит Бог, я не собиралась отвечать на эту анкету. Ну куда мне? Столько молодых и рьяных знают и умеют сказать про это так, что мне и не снилось. К тому же на столе у меня дивная книга — двуязычный журнал по русской и теоретической филологии «Philologica» и в нем — Цявловский со своим исследованием знаменитой баллады «Тень Баркова». Уж сказано так сказано. Но прелесть жизни в России — в непредсказуемости моментов этой жизни, в чистой игре в наперсток, когда не знаешь, как тебя подставят и чем возбудят.

Вот и со мной. Живу себе тихо и целомудренно, чиню свой примус, никого не трогаю и анкетку «Нового мира» отодвигаю от себя подальше, как мне не пристало.

Но Россия! Но жизнь! Но наперсток!

По телевизору оказывают честь ревнителям чистоты речи. Малый театр. Задумчивый покойный Островский в халате при входе. В президиуме, слава Богу, живой драматург без халата. И ревнители — Зюганов и Селезнев. Глаза у них добрые-добрые... Как и полагается радетелям. «Я просто стесняюсь, — стесняется Селезнев, — говорить слово „транш“», — и на лице легкий румянец, как от первого поцелуя. Мимическими средствами спикера поддерживают однопартийцы и единомышленники в борьбе со срамным словом.

Тут-то и случилось со мной то, что я себе в голову еще накануне не брала. Я поняла: если они — Зюганов и Селезнев — за чистоту речи (хоть за какую), то я категорически и навсегда против. Потому как именно их вожди придумали поставить двух глухонемых наборщиков, мужа и жену, чтоб набирать «Тень Баркова». Это ими — всеми вместе — была создана и внедрена такая затхлая уткоречь, что живому русскому человеку, простому Феде и Васе, выживать можно было только с матом. В нем крылась единственная возможность выразимости и понимаемости после всех этих орсов, уксов, ниипроммашей и прочей, извините, хрени, по сравнению с которой бедный транш — просто цветочек с клумбы. К великому горю, так было на Руси всегда: жуткая фальшивая власть-система — и оторопелый от нее народ. Степень несовпадения всегда соответствовала силе падения с высоты молотка на большой палец ноги и соответствующей реакции. Типа: «Транш твою мать!» Никогда, никогда ничего не изменится, даже если все наборщики будут глухонемыми, а всем читателям выколоть глаза.

Да, писатели будут пытаться найти — у них нет другой миссии — язык, соответствующий состоянию человеческой души, дабы не лгать. Лучшие из них находят его, не впадая в экспрессивность матерщины. Другие не откажут себе в радости использовать народный восклик, будучи уверенными: искреннее и крепче все равно не скажешь. Кто я такая, чтобы их судить? Чистота речи — это не замена «переводом» (или «подаванием») «транша» и не явление игуменьи (ревнителей) в самый что ни на есть момент, когда горло переполнено словами заборов:

И с острым ножиком в руке игуменья явилась...
 Являют гнев черты лица,
 Пылает взор собачий.
 Но вдруг на грозного певца
 И хуй попа стоячий
 Она взглянула, пала в прах,
 Со страху обосралась,
 Трепещет бедная в слезах
 И с духом тут рассталась.

(Пушкин.)

Какой замечательный конец баллады — сдохла игуменья. Смею вас уверить: правильно сделала. Язык наш — единственный, кто адекватен безумию времени. Называя кошку кошкой, он дарит нам выживание и надежду.

А ревнители пройдут вместе с траншем, мат же вечен.

МИХАИЛ БУТОВ

Ну, всякое бывает. Иногда веселит, иногда бесит — тут все зависит от контекста. Причем зависит весьма нелинейно. Я убежден, что, скажем, в сочинении про каких-нибудь маргиналов, бомжей из подвала, стилистически строго запрещено материться или писать на арго. С другой стороны, наоборот, в тексте, где ничего подобного вроде бы не предполагается, могут возникнуть очень даже любопытные эффекты, которые чуткого читателя только порадуют. Я полагаю, введение в текст того, что мы называем ненормативной лексикой, ни для кого уже давным-давно не провокативно и само по себе не оказывает никакого действия, а в произведении все, что художественно не нагружено, является недостатком, пустотой. Ну а художественное ее употребление, не скатывающееся в пошлость или дешевое заигрывание со вкусом к низкому, — на мой взгляд, одна из самых сложных стилистических проблем, стоящих перед сочинителем. И недаром сверттактичный Венедикт Ерофеев останется в веках, а забавную, но чисто провокативную, идущую напролом прозу Юза Алешковского уже подзабывают. Так что лучше в эти области не соваться, если не чувствуешь острой необходимости. Но с волей к самоограничению в современном искусстве дела, известно, обстоят так себе.

Между тем, как матерщинник с тридцатилетним стажем, я не могу не возвысить голоса в защиту некоторых понятных и, если быть честными, близких почти каждому носителю русского языка (а также изрядной доле африканского, арабского, латиноамериканского и проч. населения планеты) слов и оборотов. И не противопоставить их крепкую, здоровую, карнавальную, как ввернул бы бахтинист, сущность совершенно чудовищной пошлости нынешних калек (ударение по вкусу)-эвфемизмов, пестуемых на СМИ. Кто хоть однажды видел передачу «Про это» — поймет меня. Признаться, редко я испытывал настолько тошнотворные ощущения, связанные с насилием над языком. Ладно еще ведущая: с нашими журналистами, особенно по такого рода тематике, все ясно давно и бесповоротно. Но монструозное речевое поле навязывается и всякому, с кем она ведет беседу, как некий нормативный образец. И вот девушка, пускающаяся на людях в откровения, судя по всему, пребывает в уверенности, что текст типа «только имея секс с двумя партнерами, я способна испытать оргазм», чем-то выгодно отличается (в сторону серьезности, что ли, весомости, значимости самого предмета высказывания?) от менее выпяченного перевода — думаю, всякий читатель без труда сам проделает его. Тут, конечно, напрашивается возражение: а ведь и впрямь отличается, если первый вариант я ничтоже сумняшеся написал, а второй — не отважился? Но, по моему, отличие это чисто формальное, и перед нами классический случай, когда нормативные границы уже не отделяют овец от козлиц и злаки от плевел, ибо по обе руки — сплошные козлицы и плевелы. В русском языке странная ситуация. Ни нормативный, ни ненормативный его слои совершенно не приспособлены, чтобы говорить о чисто плотских (в современной терминологии — сексуальных) материях. Он пригоден, чтобы повествовать о любви, о страсти и о похоти тоже (но похоти человеческой, с элементами рефлексии), — и даже передача «Про это» могла бы звучать совсем иначе, с новым уровнем содержательности, когда бы ее создателям хватило интеллектуальных способностей и душевного кругозора сместить точку зрения на свой предмет. Но «естественной» потребностью вроде голода и т. п. половое влечение для русского языка (прошу не путать с «русской душой», в которую я не верю) все еще не стало, и станет ли...

Очевидно, я полагаю, что языковая судьба определенной тематики тесно связана с судьбами бранной лексики в языке. Если наш совсем, кстати, недавно, на наших глазах возникший и несколько вивисекторский на вкус «цензурный» секслексикон, а с ним заодно и большая часть жаргонизмов тут же погружают уже не в болота, а прямо-таки в океаны пошлости, то, обращаясь — по какому бы то ни было поводу (я имею в виду, конечно, речь публичную: литературную, журналистскую) — к бранным и нецензурным словам, мы вынуждены помнить по меньшей мере о двух вещах. Первое: они никогда не бывают нейтральными, но либо — опять-таки в зависимости от контекста — ироничны, либо трагически-экспрессивны. Второе: в русском языке ругани целая иерархия. (Правда, планоч-

ка допустимого, условно допустимого, почти недопустимого — и так далее — все время ползет вниз. Когда я был ребенком, на улице редко можно было услышать слово «жопа». А моему ребенку по эфирному телевидению в четыре часа дня транслируют мультфильмы, где слово «сука» произносится чаще, чем какое-либо другое.) У нас и внутри мата есть свои разделения. Кстати, большинство литераторов, интуитивно или сознательно — не ведаю — их чувствуют и дальше все тех же «сука», «блядей» и «мудаков» предпочитают не заходить. И мне кажется, что именно в силу этих причин речь литературная, которая по природе своей всегда старается увеличивать собственное напряжение, ассимилируя «низовую» лексику как бы в «нормальный» литературный язык, играет против себя. Если уж используешь брань — она должна оставаться бранью: иначе зачем она вообще? Чтобы следовать за неким «живым», реальным разговорным языком? Интересно, еще сохранились писатели, всерьез усматривающие в этом задачу литературы? Тем более, что именно у «живой» речи сегодня участь более чем печальна. Не стану утверждать, что так во всех русских деревнях, но в тех, где за последние годы побывал я, главным образом на севере, без мата не разговаривают. Действительно, как в анекдоте, разучились иначе соединять слова. И эта речь, в которой вроде бы все доступно, все открыто, не осталось уже ни сакрального, ни запретного и сама память о возможности подобных разделений исчезает, а потому и все как-то усреднено, в одну краску писано, — сразу теряет костяк, ничего не держит, вырождается катастрофически и становится плохо применима даже к самым обыденным вещам, ибо привести к ней сколько-нибудь развернутую мысль — дело на практике затруднительное. И напротив, из того, что мне доводилось слышать, самая чистая, самая красивая и, если позволено так выразиться, самая работающая русская речь была у енисейских староверов, в чьей среде, конечно, любая брань, включая и ту, что нами уже давным-давно как брань не воспринимается, строжайшим образом запрещена.

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА

1. Ненормативная лексика в искусстве не должна изменять своему статусу; она по определению является нарушением нормы, она запретна, нецензурна и только в этом своем качестве может быть использована. Вопрос об отношении к ней распадается, как я понимаю, на два отдельных вопроса: об употреблении и обозначении. Не употреблять ее вообще прозаики, наверно, невозможно — как все сущее, она может понадобиться. Что касается способа обозначения, то я думаю, что тут необходимо придерживаться не случайно возникшей традиции. Многообразие выражает определяющую особенность этой лексической категории: слово-отщепенец, слово-изгой с неприличным, непозволительным смыслом, постыдной, запретной сущностью. Явное его начертание игнорирует специфический эмоционально-экспрессивный оттенок, связанный с запретом, а многообразие отсылает непосредственно к звучанию, минуя обозначение, и тем самым, опираясь на воображение, добросовестно его передает.

В спектакле и в фильме можно прибегнуть к произнесению, подобному многообразию, произнесению, скажем, неразборчивому, с приглушенным или даже выключенным (в кино) звуком, при котором мимика и ситуация подскажет характер лексики. Это, разумеется, только один из способов избегания ненормативной лексики. «Искусство есть искусство есть искусство», как сказал поэт, и оно заключается в том, чтобы уметь видеть множество синонимических путей выражения, уметь находить и преодолевать препятствия. Запреты нужны искусству; человек, практически имеющий с ним дело, это знает. Мне даже приходилось печатно произносить «похвалу цензуре»; талантливые авторы, обходя цензурные препоны, оттачивают свое умение, и не всегда обходной маневр оборачивался потерей, иногда — удачей. Общие законы искусства, требующие преодоления трудностей, в высшей степени относятся и к естественной, так сказать, цензуре.

2. Деление лексики всегда актуально. Принадлежность слова определенному лексическому (стилистическому) слою — не выдумка лингвистов; это природная,

так сказать, прописка, адрес, местожительство слова, различать который — первое условие писательского (и читательского) труда. Другое дело, что в разговорной речи, к которой широко прибегает современная проза, происходит смешение всех слоев, и оно, это смешение, выступает то как завоеванная автором свобода, то как неряшество, художественная ограниченность, смердяковская вседозволенность. В талантливом произведении (например, Венедикта Ерофеева) ненормативная лексика уместна и нужна, в бездарном — все ненужно и оскорбительно, не только ненормативная лексика.

О свободе мне хочется сказать, что она не приобретается в искусстве сообща. Конечно, прекрасно, что советская цензура отменена, но отрицательные последствия свободы именно потому столь разительны, что в искусстве все зависит от того, кому в руки попадает возможность высказывания; выход к трибуне свободен, но хороша речь или плоха, целиком зависит от того, кто ее произносит. Прошу прощения за эту банальную мысль, которую в условиях *неслыханной* гласности не упускаю повода повторять. В этой связи скажу, что в современной прозе я нахожу больше примеров, говорящих о *кризисе*, о *процессе разложения*, чем о *движении от принуждения к свободе*. О причинах этого, вполне вероятно, временного явления здесь говорить не приходится, отважусь отослать читателя к моей статье «Литература и здоровье» («Звезда», 1998, № 11), в которой я сделала попытку указать на эти причины.

3. Понятие литературной нормы (и соответственно ее нарушения) составляет основу художественной речи, которая не может быть поколеблена. «Переплавка» лексических слоев в единое целое (то есть безразличие к стилю) была бы равносильна смерти словесного искусства. Что касается разговорного языка будущих поколений, то несомненно он будет отличаться от нынешнего именно таким образом: в него войдут словоупотребления, которые многих из нас сейчас коробят и огорчают. Я уже смирилась с общепринятым: «Вы не подскажете?..» или с формой «оплачивайте за проезд». Язык часто видоизменяется как бы в сторону неграмотности, хотим мы того или не хотим. Однако обценная лексика играет все ту же роль, что играла в прошлом веке, и составляет принадлежность если не определенной категории людей, то во всяком случае — определенного контекста-ситуации. Нецензурные слова употребляются обычно (мне даже кажется, что — всегда) в целях снижения ситуации, это простейший способ почувствовать себя на высоте положения не напрягаясь. Трудно себе представить, что все люди (или большинство) откажутся от многообразных языковых возможностей, требующих речевой изобретательности, и опустятся до готового и самого примитивного средства самоутверждения. Придется при этом предположить, что разница ситуаций перестанет существовать. Возможно ли это?

Не берусь прогнозировать будущее; подозреваю, что оно таит множество неожиданностей, но относительно некоторых вещей можно твердо сказать, что их не может быть никогда. Безразличие к лексике (отказ от нормы) означало бы не только ликвидацию словесного искусства, но и мысли вообще: оттенки смысла выражаются стилистическим значением слова и его коннотативными связями. Конечно, лексический диапазон расширяется, словарь обновляется. В какую сторону? Замусорить бытовую речь отдельных групп населения можно, что было сделано с успехом в советское время и уже блистательно отражено в литературе (вспомним Зоценко, Петрушевскую); кстати говоря, в «вегетарианские» брежневские времена разговорная речь разных слоев населения радушно приняла тюремно-лагерно-блатной язык «зоны», шеголеватый, гротескно видоизменяющий советские идеологизмы, газетные штампы и ритуальные формулы официальных «радений», сослужив тем самым службу демократическим переменам, сыграв, с чисто социальной точки зрения, положительную роль; теперешняя российская *безбрежная* свобода по-своему расшатывает языковую норму, литератору видеть это неприятно, но замусорить язык как феномен нельзя — он развивается, слава Богу, по своим естественным законам.

ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ

На все вопросы я ответил семь лет назад, в статье «С веселым призраком свободы» (это строка из «Кавказского пленника»), напечатанной в «Континенте», 1992, № 3 (73) и перепечатанной «Нашим современником», 1993, № 5. Постараюсь не очень повторяться.

1. Вопрос поставлен слишком общо, он как-то не в курсе дела. «Ненормативная лексика» — не одно сплошное целое, есть разные категории и степени ненормативности. Есть обычно «низкая» лексика, которая при таланте, вкусе и чувстве меры может быть необыкновенно уместна и порой выполнять высокую функцию (как, например, во вдохновенном монологе толстовского Кутузова перед войсками). Есть лексика откровенно подлая — в том числе уголовная и матерная; ее место — в темных углах жизни и души; выходя на свет («книга, спектакль, фильм»), она распространяет в нем свою тьму. Вошедшее в обычное употребление слово «разборка» не только говорит о том, что уголовное сознание обрело в жизни «легитимный» статус, но и способствует этому. Матерное слово служит по природе для ругани, оскорбления, унижения; входя на «законных» основаниях в сферу искусства — у которого совсем иные функции, — оно влечет в этой сфере мутации, может быть, необратимые; к тому же само слово теряет при этом свою специфику недозволенности, исключительности, а предмет, лишенный специфики, есть ничто, пустота, которой искусство, как и природа, не терпит. Пушкин не предназначал для печати свои похабные строки не из-за цензуры, просто он знал, что всему свое место.

Отвечая на вопрос так же общо, как он поставлен: в стремлении лишить ненормативную лексику ненормативности, ввести подлость в обычай — признак угрожающей духовной вялости, что-то импотентное. По поводу такого стремления сегодня хотелось бы, честно говоря, выразиться крайне ненормативно, но воспитание мешает, культурная традиция.

2. Вертикальное измерение в человеческой деятельности и духовной действительности «актуально» всегда так же, как в физическом мире; бытие, как и всякая система, иерархично; свобода как таковая существует лишь в системе, иерархии ценностей. Во что она превращается, когда ее признают ценностью *единственной*, и объяснять в наше время не надо.

Если такие представления «изживают» себя, становятся «неактуальны» — теряет актуальность и прямохождение человека, пусть и сохраняясь в физическом смысле; а человеческая деятельность перестает быть таковой, постепенно становится какой-то другой, пока без названия.

3. Если предположить, что к этому идет и в самом деле, то надо признать: мы эволюционируем от состояния высокоорганизованности, структурированности — свойственной, как известно, системам высшего порядка — к состоянию, ну скажем, амебы. В это не хотелось бы верить хотя бы потому, что не хочется верить, будто человеческой глупости и впрямь нет границ.

ВАЛЕРИЙ БЕЛЯКОВИЧ,

*художественный руководитель и главный режиссер
Московского театра на Юго-Западе,
заслуженный артист России*

1. Отрицательно. Мне лично стыдно за ненормативную лексику на репетициях. Это происходит от бессилия. За этими словами ничего нет, это беспощадно, оскорбительно. Это крайний метод, экстремальная форма. К ней прибегаешь, чтобы проняло, дошло. Но это и необязательно, и нежелательно. Всегда можно найти литературную замену.

Когда произношу сам — стыдно, когда слышу, как говорят другие, — оскорбительно. Допускать это можно только в тесном кругу, между близкими, которые простят, поймут и оценят правильно.

Я работаю с одними и теми же актерами по двадцать лет. И вот мы иногда добавляем в наши разговоры соли, перца. Эта приправа со знаком минус. Иногда — повод для новой характеристики, иногда — чтобы взбодриться. Но это очень тесные отношения. А если десять посторонних человек слышат — это неприлично. Когда я сочиняю свои рассказы, в частности об армии, пользуюсь ненормативной

лексикой. Проще — позволяю себе мат. Это речевая характеристика замполита, к примеру. Но рассказ — это диалог, читатель волен отбросить книгу, не приняв участия в этом диалоге.

Со сцены — не представляю себе.

Меня и на улице мат коробит.

Наш театр был первым, которому М. Волохов принес «Игру в жмурики». Мы не стали это играть. «Художественным» мат может быть только в экстремальных, исключительных случаях, в крайней ситуации, надо иметь на это право. Только тогда, если по-другому просто нельзя, если цель не выразить иначе. А пьеса Волохова — это вообще придуманный мат, это такая игра, спекулирующая на «горячей» теме. Автора на самом деле это все не волнует, это от него далеко по существу, и берется он за это, чтобы просто привлечь к себе внимание. Что и произошло. Ионеско одобрил автора, может быть, как современного представителя «сумасшедшей» русской литературы — добросовестного фиксатора жизни извращенного и безнравственного общества (о чем сказано в предисловии к пьесам Волохова)¹.

С другой стороны, мне нравится «Достоевский» В. Сорокина. Я бы хотел эту пьесу поставить. Там есть бездны, которых мы боимся и от которых шарахаемся, а мне они интересны как художнику. Я в них хочу заглянуть, потому что жизнь интересует меня в полном объеме, интересует весь спектр человеческих психологических возможностей. Но там есть эта лексика, эти выражения.

И это все шоковые впечатления.

Лучше все-таки без этого.

Не пристало засорять великий и могучий ненормативной лексикой. Но она живет, как живут амебы, жизнь ведь не стерильная, и прорывается язык подворотен, тюрем и лагерей.

В то же время есть люди, которые остаются верны человеческому языку. Недавно я шел по Страстному бульвару и на углу Большой Дмитровки увидел, как мужик наклонился, поднял что-то с земли и положил на подоконник. Я подошел полюбопытствовать. Это был кусок хлеба. Можно оставаться верным человеческому языку, как и человеческому отношению к хлебу, который не должен валяться под ногами.

2. Деление и сегодня, и всегда актуально. Должен быть и в языке «запас», как в любви. Целоваться на улице можно (мне это не нравится. Зачем показывать всем свое счастье?), но если допустить, что можно все, — это будет уже окончательное оскотинивание, оносороживание. Это значит, носороги бегают по улицам. Если деление изжило себя, это — разложение, упадок, деградация. Как в еде, как во всей жизни есть основное и то, без чего можно обойтись, так и в языке. Для словарной лексики есть такой «боеприпас» с отрицательным зарядом.

3. Да, наверное, эти времена грядут. Мы все вместе идем к этой дыре. Но если все переплавится, начнется поиск другой крайности. Появится что-то другое на замену тому, что переплавилось и перестало быть чрезвычайным.

Я обучался ненормативному языку на улице, в ПТУ, в армии. Бывает, если мать ругнется, то тут же скажет: «Господи, прости меня, грешную», — она знает, что это грех. Но для нее многие слова, вполне цензурные, звучат как непристойные, если они означают явление, о котором не принято говорить в обществе. Сейчас восьмиклассники стоят возле школы и неумело матерятся. Они не умеют по-русски говорить, а уже «лепят горбушку» и чувствуют себя героями.

Мат, грубая, грязная брань — оскорбление человечеству.

А крайности, чрезвычайное — в человеческой природе.

Как это примирить — не знаю.

ВЕРА ПАВЛОВА

Натка, вернувшись из пионерлагеря:

— Мама, что со мной? Я хотела сказать «украли», а с зубов сорвалось совсем другое слово!

¹ Волохов Михаил. Игра в жмурики. Сборник пьес. М., «Журн. „Глагол“», 1993, стр. 9.

Однажды сорвалось и при мне: слово, означающее «конец» и с ним рифмующееся.

Оно прозвучало с такой нимфеточной грацией, что вызвало к жизни стишок:

Аве тебе, матерок,
легкий, как ветерок,
как латынь прелата,
налитой и крылатый,
как mots парижских заплатки
на русском аристократки,
как чистой ночнушки хруст, —
матерок из девичьих уст!..

Что греха таить, с зубов — срывается. (Подруга, на исповеди: «Батюшка, матерюсь. А как не материться-то, когда такая жизнь? Что остается-то?») На что батюшка, оторопев от напора: «Что же, мне благословить тебя материться?») Но на бумаге...

Я написала с десяток стихотворений, в которых употребляется слово, означающее «конец», но с ним не рифмующееся. Я включила их в книжку «Небесное животное». Мне казалось, что текст удержит нимфеточное несоответствие слова с устами, что он сохранит порывистость «сорвавшегося с зубов», что, наконец, можно так организовать его, что табуированные слова станут словами среди слов... Мне казалось. Теперь мне кажется, что эти слова никогда, ни в речи, ни тем более на бумаге, не станут словами среди слов. Не стоило публиковать эти стихи. (Писать — дело другое. Писать надо все.) Хотя однажды, кажется, получилось.

Стихотворение называется «Подражание Ахматовой»:

И слово «хуй» на стенке лифта
перечитала восемь раз.

В моей второй книге ненормативной лексики нет.

Р. С. Музыканты называют матерные слова «мелизмами».

«Мелизмы — небольшие относительно устойчивые мелодические украшения, обозначающиеся особыми условными значками. Делали менее заметным быстрое затухание звука при игре на клавиатуре» («Музыкальная энциклопедия»). То есть имитировали певучесть = эмоциональность, «человечность» звука.

Вероятно, клавишинно сухая речь требует мелизмов...

В заключение этой короткой анкеты мы посчитали не лишним привести еще одно мнение, высказанное ровно восемьдесят лет назад, ну а устаревшее ли — судить не нам. Это соображение философа и богослова С. Н. Булгакова, вернее, одного из участников написанных им в 1918 году диалогов «На пиру богов», в чьи уста автор, несомненно, вложил и собственные мысли:

«Светский богослов. Вот еще по поводу русского духа я хотел указать: не задумывались ли вы, какое ужасное значение должна иметь для него привычка к матерной ругани, которую искони смердела русская земля? Притом с какой артистической изощренностью, можно прямо целый сборник из народного творчества об этом составить! И бессильны против этого оказывались и церковь, и школа. С детьми и женщинами тяжело по улице ходить в провинциальных городах наших. Кажется, сама мать-земля изнемогает от этого гнусного непрестанного поругания. Мне часто думается теперь, что если уж искать корней революции в прошлом, то вот они налицо: большевизм родился из матерной ругани, да он, в сущности, и есть поругание материнства всяческого: и в церковном, и в историческом отношении. Надо считаться с силою слова, мистическою и даже заклинательною. И жутко думать, какая темная туча нависла над Россией, — вот она, смердяковщина-то народная!» (Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1993, стр. 594.)

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Кобо Абэ. Собрание сочинений. Том 3. Тайное свидание. Вошедшие в ковчег. Романы. Составление, перевод с японского, примечания В. Гривнина. СПб., «Симпозиум», 1998, 477 стр., 8500 экз.

Ингеборг Бахман. Малина. Роман. Перевод с немецкого С. Шлапоберской. М., «Аграф», 1998, 368 стр., 3500 экз.

Роман одного из самых известных австрийских писателей и поэтов середины века Ингеборг Бахман (1926 — 1973), упоминания о которой русский читатель встречал в повести Фриша «Монток» и которую принято считать прототипом героини романа «Назову себя Гантенбайн». В свою очередь, роман «Малина» (1971) критики прочитывают еще и как «женскую контрверсию» романа Фриша.

Юрий Буйда. Прусская невеста. Рассказы. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 310 стр.

Первая книга уже известного прозаика, автора «Нового мира». Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Борис Виан. Собрание сочинений. Том 4. Сколопендр и планктон. Катавасия в Анденнах. Романы. Начинаящему живодеу. Голова кругом. Полдник генералов. Строители империи. Пьесы. Составитель В. Лапицкий. СПб., «Симпозиум», 1998, 448 стр., 8500 экз.

Гарсия Лорка. Поэма о Канте Хондо. Перевод, комментарии Э. Каменщиковой. Иркутск, 1998, 127 стр., 500 экз.

Виталий Диксон. Карусель. Книга рассказов и исторических новелл. Иркутск, 1998, 382 стр.

Новая книга прозы иркутского прозаика.

Игорь Иргеньев. Ряд допущений. Стихотворения. М., Издательство «Независимая газета», 1998, 398 стр., 1500 экз.

Н. Казандзакис. Я, грек Зорба. Роман. Перевод с новогреческого. М., Издательство «Спика», 1998, 320 стр., 20 000 экз.

Катя Капович. Суфлер. Роман в стихах. М., «Московский Парнас», 1998, 185 стр., 500 экз.

Книга русского поэта и прозаика, живущего в США; написана в «старомодном жанре повествовательной поэмы».

Игорь Клех. Инцидент с классиком. Рассказы и эссе. М., «Соло», «Новое литературное обозрение», 1998, 256 стр.

Первая книга известного прозаика, автора «Нового мира». Журнал намерен отрецензировать это издание.

Николай Кононов. Змей. Книга стихов. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 72 стр.

Новая книга стихов петербургского поэта, составленная из стихотворных циклов «Лёт глупых насекомых на свет» и «Под воздействием колебаний». Длинная стихотворная строчка Кононова, до сих пор являвшаяся одним из отличительных знаков его поэтической манеры, сменилась в новой книге на короткую.

Стивен Крейн. Голубой отель. Новеллы. Составитель Л. Г. Беспалова. М., «Текст», 1998, 223 стр., 7000 экз.

Георгий Кружков. Бумеранг. Третья книга стихов. М., «АРГО-РИСК», 1998, 63 стр.

Анатолий Кудрявицкий. Граффити. Книга новых стихотворений. Москва — Париж — Нью-Йорк, «ТРЕТЬЯ ВОЛНА», 1998, 80 стр.

Павел Нерлер. Ботанический сад. Стихи. 1970 — 1987. М., «Арт-Бизнес-Центр», 1998, 150 стр.

Вторая книга стихов поэта и литературоведа (комментатора стихов О. Мандельштама).

Л. Соловьев. Повесть о Ходже Насреддине. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1998, 608 стр., 11 000 экз.

Лев Толстой. Избранные, собранные и расположенные на каждый день мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. Круг чтения. М., «ЭКСМО-пресс», 1998, 1039 стр., 10 000 экз.

Евгений Федоров. Бунт. М. «ПКФ „SOBA”», 1998. Часть первая. 291 стр. Часть вторая. 334 стр.

Полное издание романа, публиковавшегося отрывками в виде отдельных произведений: «Жареный петух» («Нева», 1990, № 9), «Илиада Жени Васяева» («Звезда», 1994, № 4), «Одиссея» («Новый мир», 1994, № 5), «Умерла насякомая» («Континент», 1996, № 3), «Бунт» («Континент», 1997, № 1). О прозе Федорова см. статью Дмитрия Бака «Обретенное время Евгения Федорова, или А лагерь *сotte à лагерь*» («Новый мир», 1998, № 5).

Марк Харитонов. Способ существования. Эссе. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 416 стр.

«Эта книга в основном... родилась из заметок, которые я веду много лет, чаще всего на мелких листках, напоминающих фантики. Конфетные обертки, на чистой стороне которых любил записывать мелькнувшие мысль или впечатление герой моего романа „Линия судьбы, или Сундучок Милашевича”... заметки, разделенные годами и месяцами, как будто продолжают друг друга: ты думаешь над близким кругом тем и проблем, обнаруживаешь все те же пристрастия — в совокупности все это, помимо намерений, обрисовывает твою личность» (от автора). Разделы книги: «Труд души», «Определение свободы», «Об искусстве как способе существования», «Заметки читателя», «Мой век» и другие.

Е. Холмогорова, М. Холмогоров. Вице-император. Роман. М., «АРМАДА», 1998, 460 стр., 10 000 экз.

Исторический роман о драматической и неоднозначной в русской истории фигуре графа и «бархатного диктатора» при Александре II Михаила Тариеловича Лорис-Меликова (1825 — 1888). Текст романа сопровождается историческим комментарием и хронологической таблицей.



Г. В. Адамович. Собрание сочинений. Литературные беседы. В 2-х книгах. Вступительная статья, составление, примечания О. А. Коростылева. СПб., «Алетейя», 1998, 2000 экз.

Книга 1. «Звено». 1923 — 1926. 570 стр. Книга 2. «Звено». 1926 — 1928. 506 стр.

Анархисты. Документы и материалы. В 2-х томах. 1883 — 1935. Том 1. 1883 — 1935. Составитель, автор предисловия и комментариев В. В. Кривенький. М., «РОССПЭН», 1998, 703 стр., 1000 экз.

Н. И. Балашов. Слово в защиту авторства Шекспира. М., «Академические тетради», 1998, 144 стр., 1000 экз.

Книга, содержащая научную полемику с книгой И. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса».

Часть своих аргументов в защиту авторства Шекспира ученый изложил во время пресс-конференции, которую проводили редакция журнала «Новый мир» и автор публикаций о «шекспировском вопросе», появившихся в журнале («Писательская артель „Три Шекспира”» — 1998, № 6; «Закон правды» — 1998, № 10), Алена Злобина. Кроме Н. И. Балашова в обсуждении проблемы приняли участие известный поэт-переводчик и автор статей об английской литературе Г. М. Кружков, театральные работники Н. А. Кайдалова и ряд журналистов.

С. Е. Бирюков. Теория и практика поэтического авангарда. Тамбов, Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 1998, 187 стр.

Автор монографии — известный поэт и теоретик современной авангардной поэзии.

Михаил Геллер. Российские заметки. 1991 — 1996. М., «МИК», 1998, 320 стр., 1000 экз.

Исторические этюды, писавшиеся с натуры известным русским историком (с 1963 года — эмигрантом), профессором Сорбонны Михаилом Геллером (1922 — 1997); книга составлена из заметок о событиях в России, которые Геллер ежемесячно публиковал в выходящем в Париже польском журнале «Культура».

М. Горький. Неизданная переписка. М., «Наследие», 1998, 344 стр., 1000 экз.

Переписка Горького с Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Короленко. Впервые публикуется черновой набросок, озаглавленный «Иосиф Сталин», объемом менее машинописной страницы — след несостоявшегося (Горькому удалось уклониться от этого заказа) жизнеописания Сталина. В книгу включен также текст газетной статьи Горького из цикла «Несвоевременные мысли», не входившей впоследствии в книжные переиздания цикла. Издание содержит обширные комментарии и указатель имен.

С. Кабалоти. Поэтика прозы Гайто Газданова 20—30-х годов. СПб., «Петербургский писатель», 1998, 333 стр., 2000 экз.

Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Составление В. Третьякова. М., «ТЕРРА — книжный клуб», 1998, 336 стр.

Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. Подготовка текста, вступительная статья, комментарий К. М. Поливанова. Биографический очерк А. А. Баранович-Поливановой. М., «МИК», 1998, 104 стр., 1000 экз.

Русское градостроительное искусство. Москва и сложившиеся русские города XVIII — первой половины XIX века. Под общей редакцией Н. Ф. Гуляницкого. М., «Стройиздат», 1998, 439 стр., 10 000 экз.

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923 — 1960. Справочник. Составитель М. Б. Смирнов. Под редакцией Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. М., «Мемориал», «Звенья», 1998, 600 стр., 2000 экз.

Первое документированное описание советской лагерной системы. Более пятисот статей о лагерях и органах управления лагерей, написанных на материале архивных фондов центрального аппарата ОГПУ — НКВД — МВД. Основной объем справочника составляют статьи о лагерях, в каждой из которых указывается время существования, подчинение, дислокация, производственный профиль, численность, начальники; называются архивные источники и место хранения. Вступительная часть составлена из развернутых статей «Система мест заключения в РСФСР и СССР. 1917 — 1930» М. Джекобсона и М. Б. Смирнова, «Система мест заключения в СССР. 1929 — 1960» М. Б. Смирнова, С. П. Сигачева, Д. В. Шкапова. Посвящение: «К 25-летию выхода в свет книги А. И. Солженицына „Архипелаг ГУЛАГ“».

Спиноза. Трактаты. М., «Мысль», 1998, 446 стр., 5000 экз.

И. Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии. Том 1. 1882 — 1912. Составление, редакция, комментарии В. П. Варунца. М., «Композитор», 1998, 551 стр., 1000 экз.

Мишель Турнье. Элеазар, или Источник и Куст. Жиль и Жанна. Романы. Перевод с французского И. Я. Волевич, Е. В. Морозовой. М., «МИК», 1998, 238 стр.

Б. А. Успенский. Царь и патриарх. Харизма власти в России. Византийская модель и ее русское переосмысление. М., «Языки русской культуры», 1998, 676 стр., 2000 экз.

Г. Флоровский. Догмат и история. Составитель Е. Холмогоров. Общая редакция Е. Карманова. М., Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998, 478 стр.

М. Фуко. История сексуальности — III. Заботы о себе. Киев, «Дух и литера», «Грунт»; М., «Рефлбук», 1998, 288 стр.

Б. Целлер. Герман Гессе, сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Перевод с немецкого Е. Нечепорука. Челябинск, «Урал LTD», 1998, 311 стр., 10 000 экз.

Ольга Щербинина. Символы русской культуры. Екатеринбург, 1998, 160 стр.

Статьи фольклориста и литературоведа о характере использования фольклорных и мифологических архетипов в русской литературе прошлого века и в современной народной культуре.

П. И. Щукин. Воспоминания. Из истории меценатства в России. Составитель Н. В. Горбушина. Под редакцией С. О. Шмидта. М., 1997, 320 стр., 3000 экз.

Илья Эренбург. Портреты современных поэтов. СПб., «Журнал „Нева“», 1998, 41 стр., 1000 экз.

Переиздание популярной в 20-е годы (издания: Берлин, 1922; Москва, 1923) книги Эренбурга; современная поэзия в лицах — короткие эссе об Ахматовой, Балтрушайтисе, Бальмонте, Брюсове, Блоке, Белом, Волошине, Есенине, Вяч. Иванове, Мандельштаме, Маяковском, Пастернаке, Сологубе, Цветаевой.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



*«Аргументы и факты», «Vestnik», «Вечерний клуб», «Волга»,
«Вопросы литературы», «Время МН», «Грани», «Демократический выбор»,
«День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Известия»,
«Иностранная литература», «Коммерсант-Daily», «Круг чтения»,
«Литература в школе», «Литературная газета», «Литературный европеец»,
«Митин журнал», «Московские новости», «Наука в России», «Наш современник»,
«Нева», «Независимая газета», «Новая газета. Понедельник», «Общая газета»,
«Октябрь», «Русская мысль»*

Николай Александров. «Хоровод» от «Гранта», или Магия слова. — «Ex libris НГ», 1998, № 40.

«Хоровод» Антона Уткина («Новый мир», 1996, № 9, 10, 11), по мнению критика, много теряющий в журнальном прочтении, наконец вышел отдельным изданием. Директор издательства «Грант» Олег Мельников обещал также издать всех финалистов нынешнего Букера. Ловим на слове: пусть начинает с И. Полянской («Прохождение тени» — «Новый мир», 1997, № 1, 2).

Александр Архангельский. У микрофона Галич. 80 лет со дня рождения одного из создателей жанра авторской песни. — «Известия», 1998, № 196, 17 октября.

Авторская песня 60 — 70-х годов: вынужденный суррогат социального действия. Любое серьезное явление в культуре устаревает, но, перемещаясь в область истории, вновь обретает смысл, вызывает интерес: «Когда Галич *вернется* к нам таким образом, обнаружится его истинный масштаб, одними (по старой памяти) преувеличиваемый, другими (по неведению) столь же резко преуменьшаемый».

См. также статью Андрея Немзера «Русские плачи» («Время МН», 1998, № 96, 19 октября); *русские плачи* — не только название одной из песен Галича, но, по мнению критика, вообще формула его поэзии.

Юрий Безелянский. Веничка. — «Вечерний клуб», 1998, № 42, 22 — 28 октября.

Одна из публикаций к 60-летию Венедикта Ерофеева (1938 — 1990). С трогательными подробностями: «Не любил Ахматову и Булгакова (по воспоминаниям, „Мастера и Маргариту“ ненавидел так, что его трясло)».

«Ерофеев расплатился жизнью за то, что сразу сумел написать гениальный текст, оказавшийся сильней автора», — пишет о юбиларе Михаил Новиков («Коммерсант-Daily», 1998, № 200, 27 октября).

Станислав Рассадин в юбилейной статье «Какой ценой купил он право...» («Новая газета. Понедельник», 1998, № 42, 26 октября — 1 ноября) сравнивает Ерофеева-первого (Венедикта) и Ерофеева-второго (Виктора), естественно, в пользу первого и к моральной невыгоде второго.

О Венедикте Ерофееве см. также высокоумное рассуждение Ольги Седаковой «Пир любви на „шестьдесят пятом километре“, или Иерусалим без Афин» («Ex libris НГ», 1998, № 41, октябрь), предназначенное для тома «Пир в мировой литературе», который готовится к выходу в Италии, оно сопровождается уточняющей репликой Бориса Сорокина: мол, зачем от ерофеевских: «Петушков» прыгать сразу к «Пиру» Платона, когда «Мокрое» Достоевского гораздо ближе и естественнее?

A propos: на фоне необходимых юбилейных мероприятий (открытие памятника Веничке на Курском вокзале и др.) стоит для равновесия перечитать на досуге *необычайную* статью Вл. Новикова «Выдуманный писатель» (Новиков Вл. Заскок. М., «Книжный сад», 1997, стр. 103 — 112).

Павел Белицкий. Слишком человеческое. О серьезном отношении к поэзии. — «Независимая газета», 1998, № 191, 14 октября.

Автор статьи называет некоторые *новые имена* в поэзии: Николай Штромило, Кирилл Анкудинов, Андрей Чемоданов, Максим Амелин, Михаил Свищев. Кстати, Максим Амелин три раза печатался в «Новом мире» (1997, № 11; 1998, № 6, 11), ему присуждена наша журнальная премия по итогам 1998 года. В № 9 «Нового мира» за 1998 год была напечатана статья Владимира Славецкого «Обратная перспектива» с выразительным подзаголовком «„Амелинский сезон“ в поэзии конца века».

Светлана Бойко. За каплями Датского короля. Пути исканий Булата Окуджавы. — «Вопросы литературы», 1998, № 5 (сентябрь — октябрь).

Философско-религиозный разбор симпатичных стихотворений, не выдерживающих такого мощного напора.

Михаил Брашинский. Самые знаменитые черные очки в истории кино. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 203, 30 октября.

К сорокалетию фильма-легенды Анджея Вайды «Пепел и алмаз». О том, что такой фильм мог бы вызвать сегодня в России, как и сорок лет назад в Польше, политический скандал: *герой, правый националист, убивает коммуниста, не теряя при этом романтического ореола*. На вопрос: «Почему ты носишь темные очки?» — герой фильма в исполнении Збигнева Цибульского отвечает: «В память о неразделенной любви к родине». Автор статьи Михаил Брашинский считает, что сегодня многим из нас стоило бы задуматься о походе в ближайшую «Оптику».

Вера уходит в прошлое. Беседу вел Евгений Шкловский. — «Московские новости», 1998, № 36, 13 — 20 сентября.

Беседа с прозаиком Владимиром Шаровым в связи с его новым — *серьезным*, как и все предыдущие, — сочинением «Старая девочка» («Знамя», 1998, № 8, 9). Оказывается, в основе романа лежит реальная история его «тетки, замечательной женщины... После расстрела мужа она, боясь ареста, почти не выходила из дома, как могла, отгородилась от жизни, которой жили другие...» Так — реализм? Кто бы мог подумать.

Как раз об этом см. статью Марии Ремизовой «Контракт шифровальщика» («Независимая газета», 1998, № 195, 20 октября). Набелело: «Есть сорт писателей, к ним принадлежит и Владимир Шаров, которые норовят загнать художественную реальность в рамки шарады, предлагают читателю единственный род развлечения — разгадывать подоплеку символов и аллегорий, которыми они, в соответствии с натужно выдуманной идеей, изволят наполнить прозаический текст». Но: «...я хочу нормального романа, повести, на худой конец, коротенького рассказа — но чтобы это не было ни историософией, ни культурологией, ни лингвофилософией, а было просто — литературой». И заключительный аккорд: «Шифровальщик, изыди...» (*Голос за сценой: «Не изыди...»*)

Владимир Войнович. «Писателю важно иметь лишь внутреннюю свободу и ясное понимание того, что он хочет сделать». Беседу вела Лариса Докторова. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4241, 15 — 21 октября.

Несмотря на творческие успехи (почти закончен новый роман «Монументальная пропаганда» о коммунистке, которая сначала любила Сталина, а потом любила памятник Сталину), настроение у писателя пессимистическое: «Мне совсем не хочется хоронить литературу, но нужно смотреть правде в глаза».

«Гипотезы» Ролана Быкова. Записал Игорь Герб. — «Время MN», 1998, № 94, 15 октября.

Задуманная Роланом Быковым, но так и не написанная книга «Гипотезы». Тридцатипятилетние раздумья: мы не знаем своего фольклора, а то, что знаем, не понимаем. Главная мысль: сказочные сюжеты мигрируют, но взаимовлияния культур при этом не происходит, «барьер языка — менталитета — мышления не дает возможности разным народам понять друг друга», сюжетная основа всегда переосмысливается, иногда противоположным образом. Юрий Лотман, побеседовав с Быковым о Гоголе, назвал собеседника *диким структуралистом* и подарил свою книгу, Ролан Быков обложился шестью словарями и одолел полстраницы.

Главлит и литература в период «литературно-политического брожения в Советском Союзе». Вступительная заметка, публикация и примечания Т. Горяевой. — «Вопросы литературы», 1998, № 5 (сентябрь — октябрь).

Бдительное око цензуры. Документы, записки, справки Главлита 1966 — 1969 годов. «Неправильная позиция редколлегии («Нового мира». — *А. В.*) по отношению к критике

произведений, опубликованных в «Новом мире», усугубляется еще и тем, что редакция не откликнулась на критические выступления делегатов XXIII съезда КПСС в адрес журнала...» (из записки начальника Главлита А. Охотникова в ЦК КПСС от 28 апреля 1966 года).

Владимир Глоцер об обэриутах. — «Круг чтения». Литературный альманах. Международная ассоциация творческой интеллигенции «Мир культуры». Главный редактор Л. П. Дорофеева. Выпуск 6 (1998).

Ряд материалов, подготовленных, составленных и прокомментированных Владимиром Глоцером: «„За стол садясь рядом с девою...” (Экспромты обэриутов)»; «Даниил Иванович... уехал к Николаю Макаровичу»; Даниил Хармс, «Голые люди дерутся ногами...». Тут же — материалы Владимира Глоцера о художнице Елизавете Бём (1843 — 1914) и о письме Лидии Чарской Корнею Чуковскому.

В этом же выпуске иллюстрированного альманаха Игорь Клев пишет о Пушкине, Андрей Битов и Алексей Пурин — о Набокове, Сергей Аверинцев — об Ахматовой и Пастернаке, Михаил Гаспаров — о Мандельштаме, Андрей Синявский и Андрей Битов — о Зошенко, Игорь Золотусский — о Булгакове, Андрей Бычков — о Добычине... Много других интересных материалов для культурного чтения.

Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод и предисловие Ст. А. Айдиняна. — «Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли. № 185 (1998).

Вслед за приветственным словом от президента Российско-итальянской научно-исследовательской «Академии Феррони» печатается новый русский перевод первых трех песен «Божественной комедии». «Намерение было создать даже не перевод, а музыкально-поэтическое переложение, в котором проставлены мистические акценты там, где они провидятся», — объясняет переводчик. Итак:

Дорогу-жизнь пройдя до середины,
Я заплутал. Опомился в лесу,
Лес оборвался в темноту долины.

Галина Ельшевская. Российский детективный роман с натуры. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4239, 1 — 7 октября.

О том, что в российском детективе «сбитость всех норм порождает возникновение этических невероятных моделей и самостийных жанровых конструкций».

Иван Есаулов. Мистика в поэме «Двенадцать» А. Блока. — «Литература в школе». Научно-методический журнал. Основан в 1914 году. 1998, № 5.

К 80-летию опубликования поэмы. Зыбкость границ между светом и тьмой, сближение — почти до неразличения — Божественного и дьявольского. Механизм духовной подмены, перекодировка традиционного материала.

Дмитрий Зарубин. Бабушка, почему у тебя такие большие зубки? — «Волга», Саратов, 1998, № 9.

Жизнь на свалке и вне ее. Автор повести живет в Старом Осколе (Белгородская область).

Михаил Золотоносов. Беспощадная Эмма. — «Московские новости», 1998, № 40, 11 — 18 октября.

О скандальных «Воспоминаниях» Эммы Герштейн (СПб., «ИНАПРЕСС», 1998): почти роман. Она «пишет не о Льве Гумилеве, не об Анне Андреевне или Осипе Эмильевиче, их нарциссизме и изящных словесных вывертах, а о жизни в целом, в результате чего и великие становятся „частностями” эпохи, к которой пытались приспособиться. Главный (и захватывающий) сюжет романа — жизнь остатков Серебряного века в невыносимых условиях, попытки — ради самореализации — устроиться „заодно с правопорядком”, воруя у государства кусочки счастья».

Интеллигенция отстранена от власти. Беседу вела Софья Митрохина. — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1998, № 40, 7 — 14 октября.

Беседа с главным редактором журнала «Континент» Игорем Виноградовым: журнал стоит на позициях демократии и экономического либерализма; интеллигенция — это та образованная часть общества, которая выдвинута народом, чтобы генерировать и формулировать идеи; лидеры всех партий и движений не умеют говорить с народом и непонятны ему.

Как могли, так и играли. Беседу вела Ольга Тимофеева. — «Общая газета», 1998, № 41, 15 — 21 октября.

Большое интервью с Анатолием Найманом. В частности — о романе «Б. Б. и др.» («Новый мир», 1997, № 10): «Сколько было обвинений меня в некорректности по от-

ношению к главному герою. А я лично знаю трех человек, которые претендуют на его место».

Владимир Кантор. Соседи. Повесть. — «Октябрь», 1998, № 10.
Ночь. Интеллигент с портфелем. Мрачный *народ* с ломиком.

Эмиль Коган. Смех победителей. — «Вопросы литературы», 1998, № 5 (сентябрь — октябрь).

Жуткий смех в «Конармии». Автор, литературовед, с 1968 года живет во Франции.

Татьяна Кравченко. Привет из ада. — «Независимая газета», 1998, № 189, 10 октября.

Восторженный, с благодарностью за доставленное удовольствие отклик на рассказы Вячеслава Пьецуха, появившиеся одновременно в сентябрьских номерах «Нового мира» («Памяти Кампанеллы», «Жена Фараона») и «Октября» («Паскалеведение на ночь глядя», «Кончина и комментарии») и построенные, по мнению критика, на одном приеме — «причудливом и неожиданном сочетании реального и ирреального, обычного и абсурдного».

См. также два эссе Вячеслава Пьецуха «Одна, но пламенная страсть» и «О социалистическом реализме...» («Дружба народов», 1998, № 10).

Геннадий Красников. Мефистофель русской поэзии. — «Независимая газета», 1998, № 200, 27 октября.

Беседа с поэтом Юрием Кузнецовым, который раздает всем сестрам по серьгам. О Маяковском: «Кого бы я хотел сбросить с постамента (да и то во сне), так это Маяковского за его антиэстетизм, хамство, культ насилия». О фронтовом поколении в поэзии: «Они и примкнувшие к ним не написали ничего великого, а донесли окопный быт, а не бытие войны, и, кроме двух выдающихся стихотворений (одно Твардовского, „Я убит подо Ржевом“ и другое Исаковского, „Враги сожгли родную хату“), не написано ничего значительного о войне». О «шестидесятниках»: «Это жалкие, инфантильные люди и не достойны сильной ненависти. Среди них нет ни одного настоящего поэта. Я их всегда презирал». Об Америке: «Давно бездуховна, давно продала душу дьяволу, мамоне, наживе». О дьяволе: «Да, нечисти много в моих стихах. Но она не воспета... а заклеймлена, заточена в слово, и если мое слово крепко, то сидеть в нем этой нечисти до светопреставления и не высовывать нос наружу».

Зоя Крахмальникова. Псевдodemократическая драма. — «Независимая газета», 1998, № 190, 13 октября.

«Партия, именующая себя коммунистической, в демократической России должна быть объявлена *вне закона*».

Алла Кторова (Вашингтон). Кто убил поэта? Древнеиудейские имена в русской традиции. — «Независимая газета», 1998, № 203, 30 октября.

Ответ на мучительный для некоторых современников вопрос, почему застреливший на дуэли Лермонтова Николай Мартынов был по отчеству *Соломонович*. Цитата: «В Православной Церкви существует так называемая Неделя святых праотцев, отмечаемая в конце декабря, и рожденным в это время младенцам можно давать древнеиудейские имена, как мужские — *Соломон, Давид, Самуил, Товий, Авраам, Наум, Исаак, Иуда, Иов, Моисей*, так и женские — *Сарра, Лия, Руфь, Ревекка, Рахиль* и прочие. В наше время подобные имена дают детям, как правило, родители-сектанты. Но перевернув страницу истории чуть вспять, мы найдем и Сарру Юрьевну Ржевскую, родственницу Пушкина; другую Сарру, дочь Толстого-Американца; Рахиль Ивановну Ласточкину, мать актера Мозжухина; Сарру Дмитриевну Лебедеву, скульптора нашего времени, и множество других известных лиц. Имя *Рафаил* еще в прошлом и в начале нынешнего века было очень популярно в среде русского дворянства...»

Илья Кукулин. «Русский бог» на rendez-vous. — «Вопросы литературы», 1998, № 5 (сентябрь — октябрь).

О том, что цветаевский цикл «Стихи к Пушкину» (1931) очевидным/неочевидным образом соотносится со стихотворением Вяземского «Русский бог», поэмой Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и самоубийством самого Маяковского.

Яцек Куронь, Яцек Жаковский. Семилетка, или Кто украл Польшу. Главы из книги. Предисловие и перевод с польского К. Старосельской. — «Иностранная литература», 1998, № 10.

Две главы из книги воспоминаний и размышлений известного польского диссидента и политика Яцека Куроня о событиях 1989 — 1996 годов сопровождаются статьей Егора Гайдара «Детские болезни постсоциализма».

Владимир Лемпорт. Наваждение. Повесть. — «Литературный европеец». Ежемесячный журнал Союза русских писателей в Германии. Франкфурт-на-Майне, 1998, № 5, продолжение следует.

Известный советский монументальный скульптор — об эмигрантской жизни. Не художественность, а откровенность. «Подобно старцу из „Руслана и Людмилы“, который целый век совершал подвиги во имя покорения сердца холодной Наины, я пытался завоевать любовь нашей Софьи Власьевны. Но не завоевал. Она осталась холодна, и я уехал. Уехал от глупой мамы и попал к жестокой мачехе». Бездна вкуса: мелькают скульптор Эрнст Бесфамильный, главный редактор журнала «Материк» Вольдемар Максим и проч. Видимо, давно написано: читателя объясняют, что такое фломастер.

А. Ф. Лосев. «Любовь на земле есть подвиг...». Публикация, подготовка текста и примечания А. А. Тахо-Годи. — «Октябрь», 1998, № 10.

Дневник 1914 года, изъятый вместе с другими бумагами в 1930 году при аресте и вернувшийся из Центрального архива ФСБ в 1995 году. Молодость. Любовь. Наука.

Николай Набоков. Багаж. (Часть вторая. «Между войнами»). Предисловие Ив. Толстого. Перевод с английского Е. Большелавовой и М. Шерешевской. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 10.

Фрагмент мемуарной книги (Нью-Йорк, 1975) композитора, музыковеда, культурного организатора Николая Дмитриевича Набокова (1903 — 1978), двоюродного брата знаменитого писателя. Берлин, Париж. Есенин с Айседорой в берлинском кабаке. Рильке, Дягилев, Стравинский.

Виталий Найшуль. «Нам предстоит перетряска, подобная 1991 году». Интервью взяла Зоя Светова. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4239, 1 — 7 октября.

Беседа с директором Института национальной модели экономики. «Как ни странно, для того, чтобы частный интерес заиграл в полную силу, у власти должны быть люди идеалистические, абсолютно индифферентные к материальным стимулам» — это о том, что в Чили при Пиночете у власти пребывали «реформаторы, настоящие идеалисты, католические консерваторы». В интервью также мелькает интересное выражение об антикризисной программе «академиков»: *возрастной реванш*.

Андрей Новиков. Дым от отечества. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 10, октябрь.

«Мы — наследники Григория Отрепьева, князя Курбского и генерала Власова...» Антипатриотический и антиправославный манифест, сочиненный публицистом Андреем Новиковым. Цитирую: «Россия... есть в полном смысле слова недоразумение европейской цивилизации, следствие ее внутренней болезни, ее, так сказать, шизофренический синдром, „раздвоение“ изначально целого. Вот почему мы выступаем за уничтожение России и русского народа и за создание на их месте принципиально иного Русского Королевства, восходящего к существовавшему некогда и противостоявшему Москве Русско-Литовскому княжеству. Новое Русское Королевство должно принять католицизм и быть включено в состав новой Священной Римской Империи, образ которой вырисовывался в последний раз в Третьем Рейхе. Мы считаем поражение Адольфа Гитлера и генерала Власова в 1941 — 1945 гг. тяжелым ударом по европейской версии России, по всем мыслимым европоцентристам, живущим в этой стране. Введение католицизма в России должно расколоть ее изнутри, подобно тому, как была расколота сербская Югославия. Должна быть создана нация „русских хорватов“, русских европейцев. Для этой цели должны быть задействованы все геополитические и духовные каналы, включая независимую Украину и Балтийские государства. В сочетании с усилиями западной элиты в самой России и персоналистскими (квазикатолическими и квазипротестантскими) течениями в русском Православии это приведет к уничтожению духовного бастиона русского тоталитаризма и созданию подлинно Новой России... Наша цель — возвращение в Средневековье, т. е. в тот момент, когда Россия „выпала“ из Европы, и начало новой русской истории — без царей, холопов, но с герцогами и королями, прекрасными дамами и странствующими рыцарями. Если для этой цели понадобится еще одна Мировая Война, то мы готовы к Войне». В предисловии главный редактор газеты Владимир Бондаренко с отвращением объясняет, что публикует статью Андрея Новикова даже не для полемики, а для *яности зла*, исходящего от интеллигенции.

Олег Павлов. Беглый Иван. — «Дружба народов», 1998, № 10.
Еще рассказ из цикла «Правда Карагандинского полка».

А. М. Панченко. У власти не должны стоять гении. Беседовала Татьяна Вольтская. — «Литературная газета», 1998, № 40, 7 октября.

Академик Александр Михайлович Панченко: у власти должны стоять *средние люди*, хорошо знающие свое дело. И еще: Россия выигрывает только большие войны, проигрывать умеет только малые.

Борис Парамонов. То, чего не было. «Оттепель» и 60-е годы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 10.

Эпоха 1953 — 1968 годов, не имеющая собственного содержания: промежуток, пустота. Попытка тех лет реставрировать легенду о хорошем ленинском коммунизме, то есть *реакция* в прямом смысле слова. В то же время «в комсомольских питомниках всюду шел процесс секуляризации коммунистического человека, вырывались его квази-религиозные корни. Нарождалась новая психология приобретательства и консьюмеризма, идеология „хорошей жизни“. Это был глубоко позитивный, перспективный и высококультурный процесс, в отличие от реакционного процесса „оттепельного“ коммунистического ренессанса». Неспособность шестидесятников-*идеалистов* к нормальной государственной работе. Горбачев. Гамсахурдиа. Сергей Ковалев. Резюме: «Мир спасется грешниками».

Тут же напечатаны «Два послания Борису Парамонову» от Александра Эткинда: «юбилейное» и «критическое».

Письма Надежды Яковлевны Мандельштам к Лидии Яковлевне Гинзбург. Подготовка текста Н. К. Цендровской (при участии А. Г. Меца). Комментарии Л. Я. Гинзбург. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 10.

59 писем 1959 — 1967 годов (оригиналы принадлежат А. Кушнеру, которому Л. Гинзбург завещала свое литературное наследие). И вот поразительное место: по прочтении статьи Б. Я. Бухштаба о поэтах середины прошлого века Надежда Яковлевна замечает: «Страшно — поэты-однодневки. Вдруг и наши такие: Анюта, Марина, Ося, Борис. Ведь современникам ничего не видно» (из письма 1963 года). Огорчает отсутствие писем самой Гинзбург, в некоторых случаях ее ответы важны.

Константин Плешаков. Сердечная болезнь левизны в мазохизме (к вопросу о Ярославе Могутине). — «Митин журнал». Главный редактор Дмитрий Волчек. Санкт-Петербург, 1998, № 56.

Ярослав Могутин как левый писатель. «Как и Маяковский, Могутин хочет быть первым во всем. Литература. Новая мораль (menage a trois В. В. с Бриками так же ужасал и приятно волновал приличную публику, как ужасают и волнуют ее сегодня начальные могутинские похождения). Политический радикализм. Даже желтая блуза Маяковского является абсолютным аналогом могутинского порнопоэтирования. Как и с Маяковским, с Могутиным может приключиться беда: он может сделаться ангажированным... знаменосцем „однополой“ литературы». *Ну уж беда...*

Валентин Распутин. «От каких несчастий мы произошли?». Беседу вела Наталья Желнорова. — «Аргументы и факты», 1998, № 42, октябрь.

Беседа о русском национальном характере: «Но если мы так порочны, так нравственно безобразны, настолько не годны для соседства и дружбы, отчего ж тогда десятки и сотни умнейших людей Европы искали утешение и видели надежду в России? .. Не потому ли, что, несмотря на свои недостатки, отвечает русский человек главному замыслу вообще о человеке?»

Мария Ремизова. Дух эллинизма веет, где хочет. — «Ex libris НГ», 1998, № 41, октябрь.

Это «попытка эстетического ниспровержения материализма, в конечном счете и породившего в русле одного из своих течений все те тюрьмы и лагеря, давшие мощный поток лагерной прозы», — пишет Мария Ремизова о полном книжном издании лагерной эпопеи Евгения Федорова «Бунт» (М., 1998), отдельные части которой печатались в «Новом мире» (1994, № 5) и других журналах. В № 5 «Нового мира» за 1998 год была напечатана обширная статья Дмитрия Бака о лагерной прозе Евгения Федорова.

Анна Саакянц. Поэт, дочь поэта. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4238, 4239, 4240.

Ариада Сергеевна Эфрон — переводчик. «В 1972 году вышел двухтомник Теофиля Готье; для первого тома А. С. перевела десять стихотворений из цикла „Эмали и камни“, „заменив“ запрещенного в то время Гумилева. Ее переводы совсем не похожи на гумилевские и, по-моему, не уступают им».

Виталий Свинцов. Вера и неверие: Достоевский, Толстой, Чехов и другие. — «Вопросы литературы», 1998, № 5 (сентябрь — октябрь).

Интересные наблюдения над верой/неверием русских классиков несколько подпорчены стремлением убедить нас в необходимости Бога, не связанного ни с какими конфессиями.

Свободный «узник». Интервью подготовила М. Тарасенко. — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1998, № 43, 29 октября — 4 ноября.

Интервью со Львом Разгоном в связи с Днем политзаключенных СССР (30 ноября). «У Солженицына, которого я, кстати, не люблю, есть абсолютный шедевр — „Один день Ивана Денисовича“...» Далее: «Мне его (Солженицына. — А. В.) откровенно жалко, поскольку это — писатель с неудачной литературной судьбой». Почему? Потому, что двадцать лет писал «Красное Колесо», которое «читать нельзя».

Ольга Седакова. Поэзия и антропология. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4239, 4240.

Впечатление *нечеловеческого* («человек такого создать не мог!») как сущность истинного поэтического произведения.

Никита Струве. Глубокое раскаяние требует гениальности. Беседу вел Вячеслав Репин. — «Литературная газета», 1998, № 43, 28 октября.

Известный деятель русской эмиграции, многие годы руководивший парижским издательством «ИМКА-пресс»: русской литературы перестроечного, переходного времени *еще нет*. Литература сейчас — не первая забота, не всегда она нужна, не всегда востребована, потом — сегодняшняя литература еще окончательно не определилась. Уникальное явление Солженицына. Но «суд его над сегодняшним политическим положением в России, мне кажется, односторонен, слишком утопичен и максималистичен».

Еще одна беседа живущего в Париже писателя Вячеслава Репина с Н. А. Струве будет напечатана в ближайших номерах «Нового мира». Беседу Вячеслава Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францискским Василием (Родзянко) см. в № 7 «Нового мира» за 1998 год.

И. З. Сурат. «Сонет». — «Наука в России». Издание Президиума РАН, Министерства науки и технологий РФ. 1998, № 5 (сентябрь — октябрь).

Три пушкинских опыта сонетной формы. Пушкин и Вордсворт. Пушкин и Сент-Бёв.

Владимир Сурин. Непассионарность как политический фактор. — «Независимая газета», 1998, № 204, 31 октября.

У России есть все, чего нет у Чечни. Но у Чечни есть в избытке то, чего нет у России, — *пассионарность*. «Причинами отсутствия пассионарности у русской нации являются, во-первых, эра построенного на русских костях кремлевского социализма и, во-вторых, историческая усталость от своей этнической неприкаянности». Автор статьи — главный редактор «Читательской газеты».

Александр Тарасов. Черная кошка на красном фоне. Провинциальные впечатления. — «Октябрь», 1998, № 10.

О *левых рэдикалах* в российской глубинке. С натуры. Очень живо. По-своему ново. Более чем актуально.

Анна Тоом. Маэль Исаевна. Документальная повесть. — «Вестник/Vestnik», Балтимор (США), 1998, № 13, 14, 15, 16.

Филолог Маэль Исаевна Фейнберг (урожд. Хургина; 1925 — 1994) — жена известного пушкиниста Ильи Львовича Фейнберга («Незавершенные работы Пушкина»), мать другого пушкиниста — рано умершего Александра Фейнберга («Заметки о „Медном всаднике“»). Семья и вокруг. Павел Антокольский. Переделкино. «Советский писатель».

См. также посмертную подборку стихотворений Маэль Фейнберг в «Новом мире» (1996, № 10; публикация Владимира Глоцера).

Виктор Топоров. В поисках литературного процесса. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 10, октябрь.

В связи с выходом книги Андрея Немзера «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» (М., «Новое литературное обозрение», 1998): «Немзер хорош и сейчас, но он был бы куда лучше на правах видного участника подлинного и полнокровного литературного процесса, а не того мнимого и фантомного, который он сам с завидной энергией и мастерством пытается организовать».

Об этой книге А. Немзера см. рецензию Вл. Новикова в настоящем номере «Нового мира».

Юрий Трифонов. Из дневников и рабочих записей. Публикация и комментарий Ольги Трифоновой. — «Дружба народов», 1998, № 10, 11.

60-е. Начало публикации см. в № 5, 6 «Дружбы народов» за 1998 год.

Олег Хлебников. Гласность, вопиющая в пустыне. — «Новая газета. Понедельник», 1998, № 40, 12 — 18 октября.

Картинка из жизни. Автор статьи едет в поезде с Украины в Россию. Возле Белгорода в вагон входит продавец московских газет («с лицом кавказской национальности», уточняет автор). Автор с вожделием смотрит на газеты, продавец с не меньшим вожделием — на «Новый мир» в руках у автора. «„Все мои газеты по одному экземпляру — за ваш „Новый мир“!“ — наконец решился продавец. — „Но это же старый, апрельский номер“. — „Не важно! Я „Новый мир“ вообще пять лет в руках не держал“...» Обмен состоялся. Автор погружается в ностальгические размышления о самой читающей стране.

Михаил Чулаки. Слава РПЦ(м)?! — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 9.

Атеистическая статья *вольнодумного* питерского прозаика, от начала до конца проникнутая неприятным чувством превосходства над *одурманенными* соотечественниками.

См. также в газете «Известия» (1998, № 191, 10 октября) письмо М. Чулаки *против* альтернативной воинской службы.

Виктория Шохина. Ошибка госсекретаря Даллеса. 40 лет назад Борис Пастернак был исключен из Союза писателей СССР. — «Независимая газета», 1998, № 204, 31 октября.

Вопреки распространенному мнению, что Борис Пастернак получил Нобелевскую премию за «антисоветский» роман, официальная ее формулировка гласила: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы», покрывая, таким образом, все творчество Пастернака.



ПОПРАВКА: в ноябрьской «Периодике» за прошлый год на стр. 248 следует читать: **Кирилл Кобрин.** Фабрика и ее работник. Л. С. Выготский и глобальные русские общественно-культурные проекты XX века. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 6.



ДАТА: 19 февраля (3 марта) исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеси (1899 — 1960).

Составитель **Андрей Василевский.**



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

10 лет назад — в № 2 за 1989 год напечатаны драма в трех действиях Владимира Набокова «Изобретение Вальсы», фрагменты из книги Даниила Андреева «Роза Мира», началась публикация романа Джорджа Оруэлла «1984» в переводе В. Голышева.

30 лет назад — в № 2 за 1969 год напечатан «Кубик» Валентина Катаева и записи А. Твардовского «С Карельского перешейка» (1939 — 1940).

35 лет назад — в № 2 за 1964 год напечатана повесть С. Залыгина «На Иртыше. (Из хроники села Крутые Луки)».

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
МАКСИМА АЛЬБЕРТОВИЧА
АМЕЛИНА

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
НЕЗАВИСИМОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
«АНТИБУКЕР» 1998 ГОДА!

Премированные подборки стихотворений
«Элегии начало» и «За Сумароковым с победною оливой»
печатались в журнале «Новый мир» (1998, № 6, 11).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АНДРЕЯ ГЕРМАНОВИЧА
ВОЛОСА

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
НЕЗАВИСИМОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
«АНТИБУКЕР» 1998 ГОДА
ЗА РОМАН-ПУНКТИР «ХУРРАМАБАД»!

Фрагменты премированной книги печатались
в журнале «Новый мир» (1997, № 8; 1998, № 7, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (стр. 172; спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить подписку на 1999 год непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Для членов творческих союзов, студентов, преподавателей средних и высших учебных заведений, ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены льготы. В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry of the issue is presented by new poems by Alexander Kushner, Inna Lisnyanskaya, Alexander Shatalov and Vladimir Zakharov. We are publishing the end of the novel «Freedom» by Michail Butov. Alexander Solzhenitsyn continues his essays of exile «A Seed Got Between the Two Millstones».

In the section «Philosophy. History. Politics» physicist Yuri Simonov in his essay «Liberalism and Christianity» reflects upon the attitude to Christianity in the modern world. The article «Destruction of Psychotechnics» by Nikolay Kurek deals with the school of psychology which was severely criticized and forbidden in the Soviet period.

In the section «Far Nearness» we are publishing an article by Irina Surat speaking about Pushkin's death.

In the article «Kharms' Case or the Optical Illusion» Alena Zlobina enters into polemics with the book by Michail Yampolsky about Daniil Kharms.

Literary criticism of the issue is presented by the work «The Inimitable Oddity» by Irina Rodnyanskaya on amateur poets.

The questionnaire of the issue contains questions of the use of obscene words in belles-lettres texts as well as of the modern Russian colloquial language. Ludmila Ulitskaya, Galina Shcherbakova, Michail Butov, Yelena Nevzglyadova, Valentin Nepomnyashchy, Valery Belyakovich, Vera Pavlova answer the editors' questions.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гравин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Фильшова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор Л. Б. Левова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.10.98 г. Подписано к печати 24.12.98 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 15,0 п. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 800 экз. Зак. 4767. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

В 1999 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);
 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);
 МИХАИЛ БЕЛЕНЬКИЙ. Обсерватория (повесть);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
 Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Пиночет (повесть);
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. После инфаркта (повесть);
 АНАТОЛИЙ КИМ. Близнец (роман);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ. Достоевский и пол;
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);
 АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. День денег (плутовской роман);
 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Желябугские Выселки (двучастный рассказ); Адлиг Швенкиттен (односуточная повесть);
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Актриса и милиционер (повесть);
- а также романы, повести, рассказы ВИКТОРА АСТАФЬЕВА, ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**